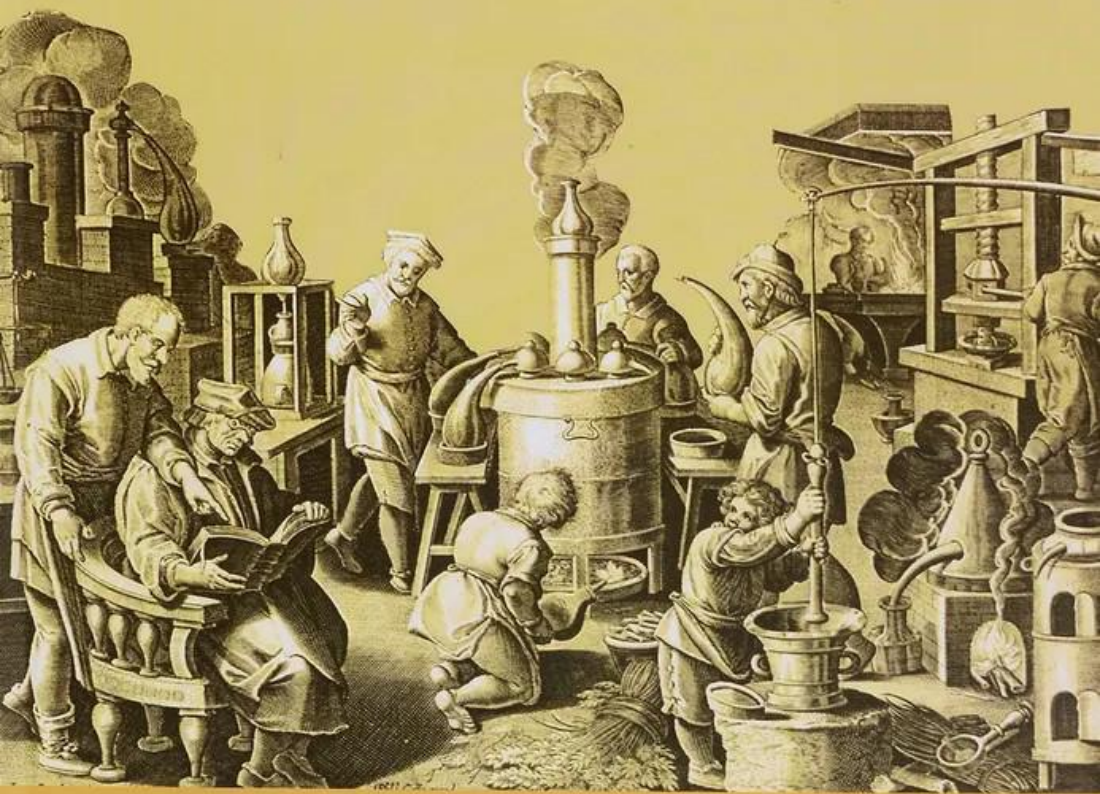




Н.И. Кареев

ПЕРЕХОД
ОТ СРЕДНИХ ВЕКОВ
К НОВОМУ ВРЕМЕНИ



ИСТОРИЯ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ
В НОВОЕ ВРЕМЯ



**АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ПРОЕКТ**

Н. КАРѢЕВЪ.

ИСТОРІЯ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ ВЪ НОВОЕ ВРЕМЯ.

(Развитіе культурныхъ и социальныхъ отношеній).

~~~~~  
Томъ I.

ПЕРЕХОДЪ ОТЪ СРЕДНИХЪ ВѢКОВЪ КЪ НОВОМУ ВРЕМЕНИ.

~~~~~  
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
ТИПОГРАФИЯ И. А. ЕФРОНА, ПРАЧЕШНЫЙ ПЕР., № 6.
1892.

Н.И. Кареев

ИСТОРИЯ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В НОВОЕ ВРЕМЯ

Развитие культурных и социальных
отношений

ПЕРЕХОД ОТ СРЕДНИХ ВЕКОВ
К НОВОМУ ВРЕМЕНИ

«Академический проект»

Москва, 2016

УДК 94(100)''05/...''
ББК 63.3(0)4/6
К22

*Издано при финансовой поддержке Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям
в рамках Федеральной целевой программы
«Культура России (2012–2018 годы)»*

Кареев Н.И.

К22 История Западной Европы в Новое время. Развитие культурных и социальных отношений. Переход от Средних веков к Новому времени. — М.: Академический проект, 2016. — 383 с. — (История Европы: эпохи).

ISBN 978-5-8291-1889-1

В настоящее издание входит капитальный труд известного русского историка и социолога Н.И. Кареева «История Западной Европы в Новое время» (изданный в 1893–1917 гг.), который охватывает значительный период европейской истории, начиная от позднего Средневековья до начала XX в. Эта работа возникла из читанных им общих курсов новой истории, имевших своей целью выяснить значение двух главных переворотов в жизни европейского Запада за последние четыре века, то есть Реформации и Революции, в связи с общим характером новой истории с ее отличием от средневековой. Книга написана на высоком теоретическом уровне с привлечением огромного количества источников. Исторические события освещаются в связи с общим культурным контекстом, что позволяет увидеть некоторые скрытые механизмы-двигатели исторического процесса и проследить их взаимное влияние, обеспечивая необходимую для исторического анализа широту взгляда, проследить процесс становления современно-го европейца. Книга издается впервые с момента своего выхода в свет.

Первый том «Переход от Средних веков к Новому времени» может рассматриваться как своего рода большое введение, призванное обосновать целостность западноевропейской истории. Кареев пишет: «Средневековый католицизм и феодализм носят на себе следы обособления, новая история принимает все более и более универсальный характер, и в этом последнем обстоятельстве заключается право новой западноевропейской истории на особое внимание, в силу чего особый интерес получает и западное Средневековье, подготовившее романо-германские народы к той поистине всемирно-исторической роли, какую играют они сами и к какой призван всякий народ, усваивающий западную цивилизацию и участвующий в ее переработке в цивилизацию общеевропейскую и даже общечеловеческую».

Книга может быть рекомендована как историкам-профессионалам, так и всем, кто интересуется историей Европы.

УДК 94(100)''05/...''
ББК 63.3(0) 4/6

ISBN 978-5-8291-1889-1

© Составление, оригинал-макет, оформление.
«Академический проект», 2016

Предисловие

Издаваемые мною один вслед за другим три тома «Истории Западной Европы в Новое время», посвященные — один «переходу от Средних веков к Новому времени», другой — «Реформации и политической жизни в XVI и XVII вв.», третий — «XVIII веку и революции», — за которыми со временем имеет последовать и изложение истории XIX столетия, — возникли из читанных мною общих курсов новой истории, имевших своею целью выяснить значение двух главных переворотов в жизни европейского Запада за последние четыре века, т. е. Реформации и революции — в связи с общим характером новой истории в ее отличии от средневековой. Тому изложению, в каком дается здесь обзор главнейших явлений западноевропейской истории в Новое время, не соответствует, однако, вполне ни один из читанных мною курсов, которые и не могли бы быть соединены в одно целое, если бы даже и были хорошо записаны слушателями. Так как, во-первых, студенческие записи лекций, допускавшиеся мною к литографированию, никогда не были настолько удовлетворительны, чтобы могли появиться в печати, я и не был в состоянии ими воспользоваться, издавая эту книгу: пришлось писать все вновь. С другой стороны, отдельные курсы, читавшиеся в разное время и имевшие далеко не один и тот же характер, трудно было бы слить в одно такое целое, какое я желал бы сделать из общего обзора всей новой истории: поэтому я поступил так, как будто бы мне предстояло изложить в одном курсе всю новую историю с необходимым к ней введением, не особенно стесняясь отведенным на ее прохождение временем, т. е. составил общий план курса, выработал его детальную программу и распределил по ее рубрикам необходимый исторический материал, кое-что оставив в том виде, как оно было в читанных мною курсах, кое-что, напротив, изменив, одно сжав и сократив, другое, наоборот, распространив и расширив, иное совсем выкинув, а местами сделав новые вставки, поскольку всего этого требовали те или другие соображения, вытекавшие из общего плана. Отказавшись, далее, от того, чтобы придать изложению форму лекций, я старался, однако, в построении целого, распределении частей и выборе материала не отступать от действительно читавшихся мною курсов, за которыми я желал сохранить по возможности общеобразовательный характер¹. Считаю, наконец, необходимым по этому поводу указать и на то, что курсы, о которых я говорю, читались мною или университетским студентам младших четырех семестров историко-филологического и юридического (в Варшаве) факультетов, или воспитанни-

¹ См. статью мою «Всеобщая история в университете» (Истор. Обзор., т. III).

кам университетских классов Александровского лицея, или слушательницам Высших женских курсов и только в период сильного сокращения исторического преподавания на историко-филологических факультетах специалистам-историкам. Самый повод составления настоящей книги был тот, что в Александровском лицее, где мною прочитывается курс новой истории при пяти лекциях в неделю (две в одном классе для XVI—XVII вв. и три в другом для XVIII—XIX столетий), состоялось советское постановление, обязавшее профессоров заменить литографированные записки печатными книгами: издаваемый мною обзор важнейших эпох новой истории и был мною принят ввиду указанной необходимости. Конечно, в действительности читаемый мною в лицее курс, при том количестве лекций, какое на него приходится (около 130 в год), не достигает размеров настоящей книги, хотя в основу ее плана и положена принятая мною для этого курса программа, но взявшись за хлопотливое дело письменного изложения своих лекций для печати, я желал воспользоваться этим случаем, чтобы составить пособие, которое пригодились бы не одним моим лицейским слушателям. Наша учебная и популярная историческая литература очень бедна: в ней именно почти совсем нет общих трудов по всей новой истории, которые могли бы быть рекомендуемы по своему характеру студентам, только что приступающим к изучению истории, затем вообще лицам, желающим познакомиться с главными событиями новой истории, не имея ни времени, ни даже подготовки, необходимых для чтения более объемистых или более специальных трудов, наконец, пожалуй, и многим начинающим преподавателям, особенно в провинциальной глуши.

Таково происхождение настоящей книги, что я считал необходимым поставить на вид, дабы читатель заранее знал, какой характер она имеет. Ввиду назначения своего преимущественно служить пособием на той степени ознакомления с историей, которая следует за усвоением гимназического учебника, книга эта предполагает в читателе знание тех исторических фактов, из которых состоит главный запас сведений в этой области, даваемый средней школой: это не учебник, отличающийся от употребляемых в школе лишь бóльшим количеством собственных имен, фактов, хронологических дат и подробностей, но сохраняющий в сущности тот же характер исключительно передачи фактического материала, а книга, в которой имеется в виду главным образом уже обобщенное знание. Университетские курсы истории не могут и не должны быть распространенными учебниками, но должны быть своего рода монографиями, в которых выясняется лишь одно какое-либо явление или одна группа явлений и связь, существующая между ними. В общем вступлении к нашему обзору, помещенном в начале настоящего тома, выяснено, что же именно в истории Западной Европы в Новое время берется нами в основу всего изложения: во избежание недоразумений и на заглавном листе обозначено, что главный предмет книги — развитие куль-

турных и социальных отношений; этим читатель предупреждается, что в книге он не найдет особенно много фактов из дипломатической и военной истории. К сказанному можно еще прибавить, что раз книга не учебник, при составлении которого гнались бы за обилием фактического материала, она вовсе не может служить для разного рода справок биографического, хронологического, литературного и т. п. содержания, тем более что многие области, даже несомненно входящие в культурную историю (напр., живопись или архитектура, домашний быт и общественные обычаи и т. п.), совсем нами не затронуты, и целые страны или эпохи вводятся в изложение отрывочно, мимоходом, без всякой заботы о том, чтобы по одной нашей книге можно было познакомиться с историей всех государств и с каждою из них равномерно, без хронологических пропусков, совершенно так же, как мы не ставили своею целью передавать все, что характерно для данной эпохи, не делая, напр., различия между ее духовными стремлениями и характеризующими ее модами. С другой стороны, ставя своею целью обобщение самых общих знаний, всегда долженствующее предшествовать специальным занятиям, я не считал нужным останавливаться на разборе спорных и темных вопросов новой истории, особенно вроде, например, виновности или невиновности Марии Стюарт и Валленштейна или авторства 12 крестьянских статей и т. п.; зато я счел небесполезным предпослать крупным отделам самые общие указания на их разработку в исторической науке и вообще указывать на литературу, иногда, впрочем, просто ради того, чтобы представить, как тот или другой отдел разработан в науке, уже судя хотя бы по одному количеству посвященных ему трудов. Говорить подробно даже о наиболее важных исторических трудах, чтобы характеризовать их содержание и значение, я считал здесь излишним, т. к. предполагая сделать это в особом труде, а более обстоятельная историография лишь увеличила бы объем книги. Замечу еще, что я старался не пропустить ни одной русской (оригинальной или переводной) книги, но систематически, кроме исключительных случаев, воздерживался от указаний на статьи в общих и специальных изданиях, ибо это потребовало бы чересчур много места: для таких указаний опять нужен был бы особый труд. Еще менее считал я возможным говорить об источниках: во-первых, материал, которым наука пользуется для истории Нового времени, так обширен и так разнообразен, что одно перечисление его заняло бы весьма много места, а во-вторых, в таком общем пособии, каким должна быть настоящая книга, оно было бы и излишним. Вообще и анализ литературы предмета, и ознакомление с источниками относятся уже к той стадии исторических занятий, на которой имеется в виду не получение общего исторического образования, а приобретение знаний и навыков, необходимых для самостоятельных исследований.

Каждый том настоящей книги, составляя часть одного целого, имеет и самостоятельное значение. Первый том, служащий введением ко всему

курсу, представляет собою изображение политических, социальных, культурных и религиозных отношений главным образом в XIV и XV вв., в эпоху упадка средневековых феодализма и католицизма. Второй может быть назван историей религиозной Реформации, т. к. последняя с вызванною ею католической реакцией составляет тут главное содержание. Третий посвящен истории революции, которую невозможно изучать вне ее связи «со старым порядком» и идеями XVIII в., а также без всякого отношения к просвещенному абсолютизму. Общая связь между этими тремя томами заключена в той мысли, что новая история есть история разложения средневековой католико-феодальной системы западноевропейского общества и что двумя главными событиями, игравшими особенно важную роль в этом разложении старого строя жизни, были Реформация XVI в. и революция XVIII столетия. Этою общею мыслью обуславливается и то, на какие явления обращено в книге наибольшее внимание, и то, какие эпохи излагаются подробнее, причем в целом изложение делается вообще тем подробнее, чем ближе подвигается к новейшему времени.

Н. К.

*Сельцо Аносово.
29 августа 1892 г.*

Переход от Средних веков
к Новому времени

Вступление

I. Западноевропейская история¹

Установление точек зрения, с которых рассматривается в этой книге новая западноевропейская история. — Обособление Запада. — Значение западноевропейской истории во всемирной. — Общая основа западноевропейской истории и взаимодействие отдельных народов. — Неодинаковое значение западноевропейских народов.

Я хочу прежде всего установить те точки зрения, с которых мною будет рассматриваться история Западной Европы в Новое время. Что именно дает нам право выделять западноевропейскую историю в особый отдел всеобщей истории? Ответив на этот вопрос в том смысле, что в историческом отношении Западная Европа представляет из себя обособленное целое, я укажу на

¹ Ориентироваться в общем ходе западноевропейской истории могут помочь: *Гизо*. История цивилизации в Европе (*Guizot. Hist. de la civilization en Europe*); *Фриман*. Общий очерк истории Европы (*Freeman. General sketch of history of Europe*).

Руководства по новой истории на русском языке, выходящие из рамок среднеучебных заведений: *Вебер Г.* Курс всеобщей истории, т. III и IV, в обработке проф. В.Н. Бузескула (с указаниями на литературу); *Зеворт Э.* История Нового времени в переводе под ред. и с дополнениями проф. И.В. Лучицкого (важны дополнения по экономической истории).

Более подробное изложение событий и явлений новой истории можно найти в соответствующих томах больших немецких всемирных историй Шлоссера (переведена по-русски), Беккера и Вебера (переведена), из которых самая полная и новая последняя; новой истории (XVI—XVIII вв.) в ней посвящены т. X—XIII. *Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen* Онкена представляет из себя собрание отдельных произведений целого ряда немецких историков, которые будут указаны каждое в своем месте. Есть еще одно подобное немецкое издание, в котором новая история (в трех томах) принадлежит Филиппсону. Философское и объединенное рассматриванием общих явлений историческое сочинение *Laurent. Etudes sur l'histoire de l'humanité* в последних своих томах (начиная с VIII) заключает в себе новую историю; на отдельные его тома будут делаться указания. Особо ставим *Freeman. Historical Geography of Europe* (переводится на русский язык).

Есть еще так называемые культурные истории, из которых назовем сочинения *Kolb'a* *Culturgeschichte der Menschheit* (*Кольб*. История человеческой культуры); *Hellwald'a* *Culturgeschichte in ihrer natürlichen Entwicklung*; *Henne am Rhyn'a*. *Die Culturgeschichte der Neuzeit*; *Carriere'a* *Die Kunst im Zusammenhang der Culturentwicklung* (*Каррьер*. Искусство в связи с общим развитием культуры). Особый тип представляют собою новые французские учебники по истории цивилизации. Новая история входит и в сочинения по философии истории, указанные в I томе моих «Основных вопросов философии истории». Наконец, в соответственных местах будут названы сочинения по истории отдельных стран, периодов, явлений, событий, лиц и предметов.

то, что вследствие этого мы имеем право рассматривать ее историю и в так называемые Средние века, и в Новое время не только как сумму частных историй, т. е. историй отдельных наций и государств, но и как историю одного западноевропейского общества, одной западноевропейской цивилизации. Мы увидим, между прочим, что западноевропейская гражданственность и образованность имела общее происхождение в Западной Римской империи, в христианстве и в германском быту, что она приняла своеобразные формы феодализма и католицизма, что эти феодализм и католицизм легли в основу всего быта Западной Европы, в основу жизни общественной — государственной, правовой и хозяйственной, — в основу духовной культуры — морали и всего миросозерцания, и вместе с тем мы увидим, что развитием и господством феодальных и католических воззрений и отношений характеризуется социальная и культурная сторона этой истории. Средние века недаром называют католико-феодальными: с известной точки зрения на историю европейского Запада с падения Западной Римской империи и основания в ее провинциях варварских государств в V в. до монархии Карла Великого позволительно смотреть как на время приготовления католико-феодальных форм средневековой жизни, которые достигают полной выработки и господства в последующие века, говоря вообще, до окончания Крестовых походов, чтобы в XIV и XV вв. обнаружить начало упадка и разложения, которыми и характеризуется вообще вся новая западноевропейская история. В дальнейшем я и намерен показать, что, имея право на выделение истории Западной Европы в особый отдел науки, мы, кроме того, можем разделить это историческое целое на две части, на Средние века и на Новое время, относя к первым эпохи развития и господства католико-феодального быта и начиная последнее с ясных признаков разложения этого быта. Но, может быть, выбор католицизма и феодализма как двух понятий, около которых группируются наиболее существенные явления средневековой истории, сделан произвольно? Чтобы на этот счет не оставалось ни малейшей тени сомнения, нам нужно будет рассмотреть, насколько действительно научно такое представление средневековой истории, от которого будет зависеть и наше понимание новой истории, прежде всего как разложения средневековых форм быта. Я надеюсь, что краткий очерк двух основ этого быта, который будет сделан далее, убедит в основательности такого исторического построения, ибо в общих чертах будет показано, как были проникнуты началами феодализма и государство, и право, и народное хозяйство в Средние века, тогда как католицизм, взятый с культурной точки зрения, был целым миросозерцанием, охватывавшим, кроме, конечно, религии, и философию, и науку, и мораль, и теоретическую политику средневекового общества. Если в истории самое существенное — идеи и учреждения или — говоря другими словами — духовная культура и социальный строй, то в Средние века и то и другое вполне характеризуются существен-

ными признаками двух вышеназванных явлений. Этот небольшой очерк культурного и социального значения явлений, о которых идет речь, определит и ту точку зрения, с которой мы будем рассматривать новую западноевропейскую историю: эта будет главным образом история идей и учреждений, история духовной культуры и социального строя. Выяснение именно принципа, положенного в основу такого взгляда на историю, потребует равным образом нескольких общих соображений, и ими можно будет закончить общее вступление в историю Западной Европы последних веков. Вот краткий проспект того, о чем прежде всего будет идти речь, и резюмируя то, что только что было сказано, я позволю себе теперь же, в самом начале определить задачу, поставленную настоящему обзору новой западноевропейской истории. *Выделяя именно Западную Европу в особый исторический мир, рассматривая этот мир как единое целое, объединившееся в Средние века католико-феодальными формами культурного и социального быта, начиная новую историю этого целого с разложения названных форм, я ставлю задачу дать цельное и стройное представление того, как развивались социальная организация и духовная культура у народов Западной Европы в Новое время.*

Начало средневековой западноевропейской истории совпадает с ее обособлением от истории других частей того человечества, которое было объединено на началах греческой по происхождению своему цивилизации под властью мировой державы Рима и наконец вселенскою христианскою церковью. В VII в. от этого исторического мира, в котором более, чем когда-либо до того времени, были осуществлены объединительные тенденции человечества, ислам, ставший во враждебные отношения к христианству, отторгает азиатские и африканские области. За христианством остаются европейские провинции империи, но и здесь происходит распадение. Римская империя, кольцом окружавшая Средиземное море и занимавшая обширную территорию между 10° и 60° в. д. и 30° и 50° с. ш., делилась на две части приблизительно по линии, совпадавшей с меридианом 37° в. д.: в центре этой территории, в центре Средиземного моря находились два полуострова, Греция и Италия, стоявшие во главе и впереди всей остальной массы земель и одинаково отдаленные один от западных, другой от восточных пределов империи, и вот именно между этими полуостровами проходила упомянутая линия, бывшая границей между эллинизмом и романизмом, между сферами распространения греческого и латинского языков. Столица империи была на Западе, но и Восток получил свою столицу — свой новый Рим в Константинополе. Это было в первой половине IV в., а в конце того же столетия единая империя распадается окончательно на две, на Восточную и Западную. Культурный дуализм Греции и Рима, так сказать, переходит в политический дуализм Восточной и Западной империи, и это распадение завершается церковным разделением IX в. Единство классической

цивилизации, единство государственное, единство религиозное нарушаются: Запад и Восток обособляются один от другого, и чем дальше, тем больше. И судьба этих двух половин европейского цивилизованного человечества была разная: Западная античная империя падает в 476 г., Восточная переживает ее на целое тысячелетие (до 1453); в пределах Западной и под влиянием начал римских основывают свои государства народы германские, на Востоке к греческому миру примыкают славяне; Западная романо-германская Европа объединяется под духовную власть римского первосвященника, превращаясь в настоящую церковную монархию, и обособляется в особый мир средневековой Священной Римской империи с феодальными формами; она готовится перейти в свою новую историю, как одно целое с общими всем ее народам историческими традициями и жизненными задачами, в то время как Восточная империя и славянские государства, к ней примкнувшие, делаются добычей азиатского варварства, начиная с русской земли, подпавшей под монгольское иго, и кончая самой Византией, завоеванной турками. В конце Средних веков Запад обнаруживает несомненное превосходство над Востоком и вместе с тем выходит из своей замкнутости. Период средневекового разъединения кончается, и в Новое время европейский Запад, открывший и колонизовавший новые материки, простиравший свое влияние на отдаленные страны азиатского Востока и проложивший этому влиянию путь в глубь Африки, приобщивший к своей цивилизации страны восточной греко-славянской Европы, явился в роли продолжателя той объединительной деятельности, которая в древности выпала на долю эллинизма, римского владычества и вселенской церкви. Это выступление Запада из замкнутости и обособленности тоже может быть признано одною из граней, отделяющих Средние века от Нового времени, и если средневековая западноевропейская цивилизация, как таковая, была одним из продуктов культурного, политического и церковного разделения Европы (другим продуктом был «византизм»), то новая цивилизация, наоборот, отличается преобладанием универсального (в более широком смысле, чем универсален был католицизм) над частным: с одной стороны, недаром Новое время отделяется от Средних веков такими крупными явлениями, как Возрождение и Реформация, в которых Западная Европа возвращалась к античной образованности и первоначальному христианству, обновляя ими свою слишком проникшуюся влияниями местной, замкнутой жизни цивилизацию, с другой стороны, недаром в это же время открывает она новые страны и новые пути на Восток и начинает влиять своей обновленной цивилизацией на народы, жившие раньше вне ее обособленного мира. Средневековый католицизм и феодализм носят на себе следы обособления, новая история принимает все более и более универсальный характер, и в этом последнем обстоятельстве заключается право новой западноевропейской истории на особое внимание, в силу чего особый интерес получает и западное Средне-

вековые, подготовившее романо-германские народы к той поистине всемирно-исторической роли, какую играют они сами и к какой призван всякий народ, усваивающий западную цивилизацию и участвующий в ее переработке в цивилизацию общеевропейскую и даже общечеловеческую. Но мы все-таки не должны забывать того, что Средние века на Западе с всемирно-исторической точки зрения были веками обособленности, веками, когда вырабатывались своеобразные формы духовного и общественного быта, формы, начавшие разрушаться, но и в разрушении своем пошедшие в дело как материал для новой постройки. Вот все главное, что я хотел сказать в доказательство права исторической науки выделять западную, романо-германскую, в Средние века католико-феодальную Европу в особый исторический мир, и к этому пришлось прибавить одно соображение, в силу которого особое право на внимание получает история этого мира, как на своих плечах понесшего главным образом работу объединения истории, начатую в пределах Европы греками и римлянами, но оборвавшуюся с появлением ислама и разделением церкви, — получает такое право, какого с всемирно-исторической точки зрения не имеет после падения классического мира ни один другой исторический мир. Петровская реформа два века тому назад, когда Западная Европа уже пережила две первые крупные эпохи своей новой истории, Возрождение и Реформацию, приобщила и Россию к миру западноевропейскому и восстановила единство европейской цивилизации, и это для нас, русских, делает особенно важным знакомство с новой историей и преимущественно с двумя последними ее веками, сделавшимися и нашей новой историей как время нашего европейского существования. Но возвратимся к нашей теме и покажем, что Западная Европа не только обособилась в Средние века извне, но и внутри объединилась на почве некоторых общих начал, позволяющих нам говорить об ее истории не как о сумме частных историй, но как об общей истории нескольких народов и государств.

Основами общей истории Западной Европы как единого культурно-исторического целого являются, во-первых, общая первоначальная ее почва, во-вторых, постоянные взаимодействия между отдельными народами, населяющими Западную Европу. Только что было указано на обособление культурное, политическое и церковное Западной империи от Восточной, но это обособление имело один из своих корней в той романизации Запада, которая составляет один из основных фактов европейской истории. В V в. в пределах романизированной части империи основываются германские государства — вестготское в Испании, англосаксонские в Британии, франкское в Галлии, остготское (а в VI в. и лангобардское) в Италии, не считая других менее значительных. Начинается варварский период средневековой истории, характеризующийся общими чертами во всех этих государствах: в римской провинции с романизированным населением являются отдельные германские

племена, возникают варварские государства, в пределах которых начинается взаимодействие римских и германских начал быта, и составляющее одну из важнейших особенностей истории этого периода на западе европейского материка. При Карле Великом делается попытка объединения романо-германского мира под единою властью, и если монархия франкского короля, ставшего римским императором, распалась (843), идеальное ее единство как восстановленной Западной Римской империи продолжало существовать, причем империя эта, перенесенная Оттоном Великим на немецкую нацию, сделалась распространительницей западных начал на Востоке, среди западного славянства. Во всех государствах, возникших из монархии Карла Великого, развился феодализм, занесенный в середине XI в. из Франции и в Англию, благодаря ее завоеванию нормандским герцогом Вильгельмом, так что феодализм делается явлением общим многим западноевропейским странам. Везде наступает эпоха большего или меньшего ослабления королевской власти, большего или меньшего усиления духовной и светской аристократии, подчинения ей народной массы, из которой повсеместно в эпоху Крестовых походов начинает выделяться городское население, добывающееся гражданской свободы и даже политической независимости. В отдельных странах эти общие всем им политические и общественные элементы — королевская власть, феодальные сеньоры, города и крестьянство — комбинируются различным образом, но везде возникает форма сословной монархии с представительными учреждениями, в которых духовенство, дворянство и горожане проявляют свои политические права: кортесы на Пиренейском полуострове, английский парламент, французские генеральные штаты и немецкие ландтаги выросли на одинаковой почве. К концу Средних веков мы наблюдаем повсеместное усиление королевской власти, которая в Новое время делается абсолютной. Везде она встречает оппозицию, имеющую, впрочем, разный успех, одерживает, однако, победу (кроме Англии), особенно усиливается во Франции, и в XVII в. французский абсолютизм задает тон и другим странам. Во второй половине XVIII в. так называемый просвещенный абсолютизм, а в конце Французская революция получают также общеевропейское значение. О тесной связи между историческою жизнью отдельных западноевропейских народов в XIX в. и говорить нечего. То же самое мы увидим, если перенесем свое внимание с политики на культуру. Западная Римская империя пала уже принявшему христианство, в которое Рим обращает постепенно и варваров — ариан и язычников — германцев и скандинавов, западных славян и венгров, давая им Священное Писание, богослужение и церковную письменность на общем для всей западной церкви латинском языке. Эта церковь организуется в папскую теократию и дает народам Запада общую культуру. Единство последней при географической близости и аналогичности форм быта отдельных наций делает возможными международные взаимодействия в области духовной культуры, что между

прочим отразилось в литературе. К концу Средних веков католицизм везде вызывает против себя оппозицию национальную, государственную, сословную, интеллектуальную и моральную, везде так называемая «порча церкви» вызывает религиозный протест и желание реформы. На смену средневековой культуре в XIV в. в Италии приходит гуманистическое движение Возрождения, проникающее позднее в другие страны, а в XVI в. примеру Германии, приступившей к религиозной реформации, следуют Швейцария, Дания, Швеция, Англия, Франция, Шотландия, Польша, Нидерланды и т. д. Борьба протестантизма с католической реакцией — опять явление общеевропейское, как и Просвещение XVIII в., обобщившее в себе прогрессивные стремления гуманизма и протестантизма. Этот очерк до некоторой степени мог бы служить и программой дальнейшего изложения, в котором идея единства западноевропейской культурно-социальной истории есть одна из основных идей. Мы можем смотреть на этот мир, романо-германский по своему главному этнографическому составу, как на одну большую страну, в которой совершается единая история, история взаимодействия римских и германских начал — политических и общественных, феодализации развития и падения католической системы, образования сословной монархии, гуманизма и протестантизма, католической реакции и абсолютизма, Просвещения XVIII в., просвещенного деспотизма и революции и т. д., история, в отдельные эпохи и в разных направлениях которой играют более видную роль то одна нация, то другая, причем движение, возникшее у одного народа, передается другим, как это было с перенесением французского феодализма в Англию, итальянского гуманизма в иные земли, германской реформации почти во всю Западную Европу, английского деизма и политических идей во Францию, французского просвещения к разным другим народам и т. п. Понятно, что в этой общей западноевропейской истории не все нации играли одинаковую роль: одни из них действовали и постояннее, и разностороннее, и самостоятельнее, тогда как другие выступали лишь временно, оказывали влияние в одном каком-либо отношении, не проявляли большой оригинальности. Ко вторым мы отнесем, например, Чехию, Испанию, Польшу, Швецию, история которых не представляет такого интереса, как история Франции, Англии, Германии или Италии¹. Собственно говоря, на последних и следует сосредоточить

¹ По истории отдельных стран существуют книги, охватывающие их прошлое в целом и подходящие под тип: а) школьных пособий, б) более обширных и научных компендиумов и с) многотомных трудов, и книги, в которых рассмотрены только отдельные периоды. Из этих книг одни представляют из себя совершенно отдельные труды, другие входят в состав коллекций. Между последними отметим английскую серию учебников, введением к которой служит указанная выше книжка Фримана, и коллекцию отдельных больших историй Heeren'a и Uekert'a. За более подробными справками отсылаем к «Лекциям» Петрова, а здесь укажем на пособия, которые могут быть рекомендованы для справок и для первоначального ознакомления с историей Франции, Англии и Германии, на которых главным образом и сосредоточено изложение событий и явлений Нового времени. *Duryy. Histoire de France. A. Rambaud.*

все внимание как на странах, в которых происходило наиболее значительное и влиятельное историческое движение, так что главнейшие явления западноевропейской культурной и социальной жизни могут с удобством быть представлены на примере национальной истории французов, англичан, немцев и итальянцев, но и тут необходимо сделать различие между теми и другими странами: общее значение их истории было неодинаково, и в разные эпохи наибольшего внимания заслуживает то та, то другая страна, да и разные общины для всей Западной Европы явления принимали более рельефные очертания или прямо возникали и раньше, и самостоятельнее либо в одной, либо в другой стране. Вот почему, останавливаясь вообще главным образом на истории этих четырех стран, в истории каждой мы должны обращать особое внимание лишь на известные периоды, а с другой стороны, и то или другое общеевропейское явление рассматривать главным образом на примере той страны, где оно возникало раньше и самобытнее, получало более сильное и всестороннее развитие, делалось фактором не только внутренней жизни, но и воздействия на другие страны. Таково, например, будет наше отношение к итальянскому Ренессансу, к немецкой Реформации, к английским политическим учреждениям и идеям, к французскому абсолютизму, французскому просвещению и Французской революции. Принимая все это за основу, я буду вводить другие страны в свое изложение по мере надобности и при надлежащих случаях. С такой точки зрения и получают особое значение отдельные западноевропейские национальные истории. Сделаю еще одно замечание: и Франция, и Англия, а особливо Италия со времени католической реакции и Германия после Тридцатилетней войны в известные эпохи не будут останавливать на себе большого внимания с нашей стороны, а в известных случаях и совсем о многих явлениях в их жизни придется умалчивать.

Итак, мы выделяем Западную Европу в особый исторический мир и рассматриваем его как одно целое, хотя и расчлененное на части, а не как простую сумму совершенно независимых одна от другой стран. От этого будет зависеть и то, что мы не станем ни выходить за пределы этого мира, ни останавливаться на его внешних отношениях к другим историческим мирам, ни изучать взаимодействия отдельных его стран как самостоятельных целых, взаимодействия, проявлявшегося главным образом в сфере внешней политики, дипломатии и войны, хотя, конечно, нам и не будет возможности замыкаться в указанных рамках, раз все это, вместе взятое, также влияло на внутреннюю жизнь этого мира.

Histoire de la civilisation française; Green. A short history of England и его же History of english people (Грин. История английского народа); Nitzsch. Geschichte des deutschen Volkes (до 1555); Gebhardt Bruno (в сотрудничестве с несколькими учеными), Handbuch der deutschen Geschichte. Другие указания см. в соответственных местах.

II. Католицизм и феодализм

Католицизм и феодализм в жизни Западной Европы. — Сравнение между ними. — Католическая система. — Проникновение феодальными началами разных сторон общественной жизни. — Новое время как эпоха разложения католико-феодального быта. — Два общественных слоя, созданных католицизмом и феодализмом. — Два типических представителя католико-феодального общества. — Взаимные отношения католицизма и феодализма. — Государство и личность в католико-феодальных рамках. — Наступление Нового времени. — Что разумеется под новой историей?

Переходим теперь к указанию места, какое занимают католицизм и феодализм в культурной и социально-политической истории Западной Европы. Уже было сказано, что средневековая цивилизация романских и германских народов с теми нациями иного происхождения, которые к ним примкнули в историческом отношении, была католико-феодальная: это положение нуждается в объяснении и развитии. Внутренняя жизнь каждого общества складывается из двух сторон, из духовной культуры, под понятие которой мы подводим религию, мораль, философию, науку, литературу и искусство, и из социальной организации, охватывающей собою области государства, права и экономических отношений, и мы потому именно можем приписывать такое важное значение католицизму и феодализму в жизни Западной Европы, что первый накладывал свою печать на всю духовную культуру Средних веков, а второй лежал в основе всей ее социальной организации и притом так, что и культурная сфера находилась под влиянием феодальной организации, и область политических и общественных учреждений в свою очередь испытывала на себе действие идей католицизма, в силу чего должно было происходить и своеобразное сочетание и взаимодействие католических и феодальных воззрений и учреждений.

Мы могли бы сравнить католицизм и феодализм с двумя силами, о которых говорится в руководствах физики, с силами центростремительной и центробежной. Значение первой силы принадлежало католицизму: он, так сказать, *стягивал западные народы к одному общему центру и объединял их в одно целое*, бывшее таковым не только в культурном, но и в политическом отношении. Духовным центром был Рим. Римский епископ стоял во главе церковной организации, которая охватывала все народы Западной Европы, учения которой были общепризнанными, которая господствовала над светским обществом и стремилась к господству над государством. Это была как бы духовная монархия, разделявшаяся на несколько государств-провинций, и ее моральное единство поддерживалось тем, что один и тот же язык у всех католических народов был языком религии, богослужения, науки, образования. Рассматриваемый со светской точки зрения, этот мир, объединенный на почве религии, являлся и как одно идеальное целое и в политическом отношении, т. е. как Священная Рим-

ская империя, во главе которой стоял император, представитель высшей светской власти в западном христианстве, как папа был носителем верховной власти в делах духовных. *Новая история Западной Европы начинается с распада этого единства* под влиянием идей национальной и государственной, и в этом отношении особое значение принадлежит эпохе религиозной Реформации. Рядом с объединительной тенденцией католицизма действовали другие силы, силы центробежные, нашедшие свое выражение к феодализму. Феодализм — синоним местного обособления, раздробления наций и государств на мелкие владения, синоним развития маленьких местных центров, расторжения политических и социальных уз, которые скрепляли отдельные местности в крупные политические организмы. Универсальная папская монархия, дополненная Священной Римской империей, и маленькая феодальная сеньория, бывшая не то поместьем, не то государством, составляли две противоположности исторического бытия средневековых наций Западной Европы, но та самая сила, которая разлагала папскую монархию, *сила национальных и государственных стремлений сплавивает в Новое время бывшие феодальные владения в более крупные политические организмы.*

Рассмотрим теперь каждую систему в отдельности. Католицизм не только объединял западноевропейские нации в одно культурно-историческое целое, он создавал еще силы, которые занимали господствующее положение в средневековом обществе: церковь была организацией, обладавшей материальной мощью, благодаря своей крупной поземельной собственности, которая доставляла социальное первенство своим представителям — духовенству, и благодаря своей сплоченности под единою властью, игравшей роль духовного руководства в жизни общества, вследствие большей образованности своих членов среди других, остававшихся невежественными сословий. Под ее влиянием теоретическое и практическое мирозерцание Средних веков получило церковный характер: философия (вместе с наукою) превратилась в прислужницу богословия (*philosophia est ancilla theologiae*), этическое мирозерцание прониклось идеалами монашеского аскетизма, политические теории приняли теократический характер, и все это отразилось и в преобладании церковной письменности с ее житиями святых, благочестивыми легендами и назидательными проповедями отречения от мира и подчинения церковному авторитету и в религиозном характере, каким отмечены произведения средневекового искусства. Одним словом, вся духовная культура Средних веков подчиняется одному общему началу, во имя которого должна была существовать единая церковь, господствующая над нациями и государствами, единый общественный класс как призванный быть духовным руководителем других сословий, единый взгляд на человека и мир, отрицавший самостоятельность мысли, инстинкты людской природы, интересы земной жизни. Вне этого мирозерцания не было ничего цельного и самостоятельного, и нужно было пройти большим периодам времени прежде, нежели гуманизм, *открывающий собою Новое время в истории духовной культуры,*

поставил задачу выработки светской образованности. Такое же всеобъемлющее значение в социальной жизни принадлежит феодализму. Все отношения этой жизни могут быть подведены под категорию отношений политических, юридических и экономических, и все они в Средние века принимают особый, феодальный характер. Средневековое государство было государством феодальным: оно отличалось и от античного, и от нового, позднейшего государства особыми чертами, которым мы даем название феодальных. Какие это были черты, мы увидим после, и тогда же будет показано, что черты эти характеризуют и средневековое право, и средневековое хозяйство. Это была своеобразная система общественной жизни, находившая одинаковое выражение в формах быта и политического, и юридического, и экономического: нам еще придется не раз употреблять прилагательное «феодальный» при самых разнообразных существительных, относящихся к подробностям государственного и общественного быта, каковы учреждения, монархия, сословия, войско, судоустройство, землевладение и т. п. Феодализм наложил свою печать и на область моральных и политических идей, и на внешний быт общества, образовав в одном отношении известный взгляд на человека и его достоинство, известный кодекс чести и приличий, известное понимание взаимных отношений между личностью и государством, а в другом создав своеобразную бытовую обстановку феодального двора и феодального замка, феодальной войны и рыцарского турнира, не говоря уже об отражении этого быта в литературе рыцарских эпоса и лирики. *Высвобождение из-под господства феодальных начал — и государства, и права, и народного хозяйства и знаменует собою историю Нового времени, взятую с социальной точки зрения.*

Силы, создавшие образованность и гражданственность новой Европы, вышли из недр католико-феодального общества: это были силы, выросшие из его рамок, ставшие во враждебные к нему отношения, и вся дальнейшая история Западной Европы была не чем иным, как борьбою новых культурных и социальных сил со средневековыми традициями и интересами, нашедшими свое олицетворение в католическом клире и феодальной аристократии, со стороны которых время от времени возникала реакция против победоносного движения новых начал жизни. В самом деле гуманизм эпохи Возрождения, протестантизм реформационного периода, Просвещение XVIII в., создававшие новую цивилизацию европейских народов, были три последовательных момента в той идейной борьбе, какую новая Европа вела со средневековым миросозерцанием, а в гуманизме, протестантизме и Просвещении прошлого века заключается вся история духовных движений XIV—XVIII столетий. С другой стороны, такое же отношение к феодализму имеют параллельные явления роста государственной власти и гражданской свободы, развития королевского абсолютизма в XV и XVII вв. и городского сословия, просвещенного абсолютизма второй половины прошлого столетия и революции 1789 г. с ее последствиями, т. е. явления, которыми наполняется вся почти политическая история тех же XIV—XVIII сто-

летий. Два великих события, около которых группируется вся новая история, Реформация XVI в. и революция XVIII в. имеют прямое отношение к католицизму и феодализму, и вплоть до великой реакции, наступившей после падения наполеоновой империи, противодействие правительственным и народным начинаниям исходило от представителей старого средневекового быта.

Католицизм и феодализм создали в западноевропейском обществе привилегированный его слой, распадавшийся на духовное и светское сословия, на клир и дворянство — со своими традициями и интересами, переживавшими разные изменения, которым подвергалась жизнь общества. Истинный источник силы одного сословия заключался в той власти, которою оно пользовалось вследствие своего морального значения, вследствие того, что церковь отдавала в его руки духовное руководство над обществом: в этом была и социальная традиция клира, противодействовавшего всему тому, что освобождало светское общество из-под его влияния или отдавало это руководство в другие руки. Источником силы дворянства была власть, какую давало ему над народом крупное землевладение, соединявшееся в феодальную эпоху с обладанием суверенитетом и в течение веков сообщавшее дворянству особые права над населением страны, и социальной традицией дворянства сделалось оберегание своих привилегий, своего господства над народом, недопущение к этому господству других элементов общества. Эти традиции идут из глубины Средних веков и доходят до XIX в.: с особою силою они возродились в эпоху общей реакции 1815—1830 гг., которая показала, как они были живучи и в Новое время.

В этих традициях переживали отдаленную старину социальные интересы обоих сословий уже без тех культурных идеалов, которые были созданы средневековыми католицизмом и феодализмом: последние давали известные права, но и предъявляли известные требования, воплотившиеся в двух характерных типах средневекового общества, в типах, которые мы можем найти и в тогдашней жизни и в тогдашней литературе житий святых, моральных поучений, рыцарских романов и дворянской лирики. Католицизм и в действительности, и в идеале создал монаха-аскета, феодализм рыцаря-воителя, хотя, конечно, не все рыцари и не все монахи соответствовали своему идеалу: католицизм и феодализм создали монашество и рыцарство, одно как высшее проявление духовного сословия, другое — как высшее проявление феодального общества. В своей основе монах и рыцарь — противоположности: монастырский устав и кодекс рыцарской чести предъявляли разные требования человеку, исходя из разных на него взглядов, ибо смиренное послушание, нестяжание, удрочение своей плоти и полнейшее целомудрие помыслов, налагавшиеся как обязанность на монаха, были действительною противоположностью той гордой независимости с развитым чувством личной чести, той войнолюбивой погоне за добычей, той веселой науке турниров и пиров, тем авантюрам и культу дамы, из которых слагалась жизнь настоящего рыцаря. И между обоими обществами было еще сословное соперничество — из-за власти, из-за влияния, из-за богатств, и часто

замок был во вражде с соседним монастырем. Но при всем том была и другая сторона этих отношений: католицизм и феодализм, духовенство и дворянство, монашество и рыцарство сживались друг с другом, вступали во взаимодействия, т. к. жизнь не может состоять из чистых противоположностей, а потому сглаживает возникающие в обществе противоречия, усложняет рождающиеся из их взаимодействия явления. Так и тут было: католицизм и феодализм не только не существовали отдельно один от другого, но один, так сказать, проникал в другой, и сообщая ими производились особые в буквальном смысле католико-феодалные явления. И это стоит отметить, ибо и упадок всего того, что было обязано своим возникновением одновременно и католицизму, и феодализму, относится к числу признаков наступления Нового времени.

Феодалное общество состояло из лиц, принадлежавших к католической церкви, которая сама находилась в феодалном обществе. Особенно интересны с этой точки зрения первенство духовного чина в феодалной организации и вторжение феодализма в самую церковь. Средневековый епископ или аббат был не только духовным сановником, не только принадлежал к сословию, пользовавшемуся первенством, но был, кроме того, феодалным сеньором и входил в состав феодалной иерархии в качестве чьего-либо вассала, у которого могли быть и свои вассалы. Благодаря этому сливались воедино значение церковного сана и значение феодалного чина, и епископ мог быть одновременно, как это было сказано одним летописцем, и «хорошим рыцарем, и превосходным пастырем» (*bonus miles et optimus pastor*). Зависимость епископа от папы и от светских государей, зависимость от одного в качестве представителя духовной власти в своей епархии, и от других, как обладателя лена, породила спор за инвеституру, в котором участвовали церковь, не желавшая лишиться своих феодалных владений, и империя, бывшая в сущности агрегатом феодалных сеньорий, между которыми находились и церковные земли. Расторжение этой связи между духовным саном и светским владением относится к новой истории, когда происходит секуляризация церковной собственности, сначала в одной части Европы под влиянием религиозной Реформации XVI в., потом в другой под непосредственным действием просвещенного абсолютизма и Французской революции. Мы имеем еще пример соединения монашества и рыцарства в особых монашеско-рыцарских орденах, каковы были иоанниты, тамплиеры, тевтоны, меченосцы: это были союзы, носившие на себе черты обоих учреждений, духовные корпорации, мечом защищавшие христианство от неверных и войною же распространявшие религию мира и любви среди язычников. Они возникают в эпоху Крестовых походов, которые сами были грандиозным предприятием католико-феодалной Европы: эти походы велись по инициативе и с благословения церкви главным образом силами феодалного мира, жаждавшего войны и завоеваний. Крестовые походы сделались невозможными в Новое время, в эпоху упадка католицизма и феодализма. Взаимно проникались оба общества также и нравами, обычаями, воззрениями один дру-

гого. Феодальный епископ или аббат часто сам был дворянского происхождения, часто вел образ жизни, мало отличавшийся от образа жизни какого-либо графа или барона, имел вассалов, придворных слуг, крепостных, участвовал в сословно-представительных учреждениях, строил себе укрепление, подобное феодальному замку, и т. п. С другой стороны, рыцарство принимает религиозный характер и заимствует у церкви обряд посвящения. Вместе с этим в рыцарскую поэзию проникают элементы монастырской легенды, и романтизм носит на себе следы своего двойного происхождения в быту феодальном и в церковной письменности. Последняя сама не остается чуждою влиянию феодального быта, и легенда готова переносить на небо черты светского общества, изображая рай в виде феодального двора, ставя ап. Петра в вассальные отношения к Иисусу Христу или говоря о духовной борьбе как о рыцарском турнире. Так срастались и переплетались между собою отдельные стороны католического и феодального быта.

Этимися рамками определялось положение средневекового государства и положение личности в обществе. *Католическая церковь и феодальная сеньория находились в антагонизме с государством.* С одной стороны, над государственною властью стоял авторитет папы, с другой — она имела дело с непокорными вассалами: тенденцией католицизма было сплотить все западные нации в одну духовную монархию, в которой высшая власть принадлежала бы папе, а государи отдельных стран были бы простыми приказчиками римской курии, тогда как тенденцией феодализма было сделать государство из каждого поместья, превратив королей в «первых между равными» феодальных сеньоров. Таким образом, с двух разных сторон государство отрицалось обеими средневековыми системами, с одной стороны, во имя папской теократии, поглощавшей в себе отдельные нации, с другой — во имя феодальных сеньорий, раздроблявших государство на суверенные поместья. Процесс, давший в результате обе системы, рассматриваемый не с положительной, а с отрицательной точки зрения был процессом ослабления и разложения государства, расхищения его достояния представителями материальной силы общества, заключавшейся в землевладении. *Новое время есть время роста государства, его борьбы с католицизмом и феодализмом,* борьбы, проявляющейся и в Реформации XVI в., и в абсолютизме (особенно просвещенном XVIII в.), и в революции 1789 г. В этой борьбе государство находит содействие и опору со стороны светского общества и народной массы, выделяющих из себя новые нецерковные элементы интеллигенции, каковы легисты, гуманисты, ученые и т. п., и новые нефеодальные классы общества, каковы горожане. Появление этих элементов и классов — тоже признаки наступления Нового времени. Нужно, однако, прибавить, что государство вступало в борьбу с церковью и феодализмом главным образом на политической почве, оставляя за ними прежнее значение в культурной и социальной сферах и даже само проникаясь многими элементами католико-феодальных воззрений и форм быта.

Католицизм и феодализм выделили из народа два класса, которым принадлежала духовная и материальная власть в обществе. Светское общество, т. е. дворянство, горожане и крестьяне, по отношению к клиру были в полном духовном подчинении, отрицавшем какую бы то ни было моральную свободу личности. С другой стороны, политический феодализм дополнялся в области социальных отношений крепостничеством, лишавшим народную массу и материальной свободы. Одним словом, *католико-феодальные формы средневекового строя были неблагоприятны для индивидуальной свободы*, причем католицизм стеснял внутреннюю свободу личности, феодализм — внешнюю. Господство католико-феодального строя предполагает не только слабость государства, но и неразвитость личного начала в общественной жизни, равно как и разрушение этой системы велось не только сверху, т. е. государственной властью во имя так или иначе понимаемого общего блага, но и снизу, подавленными силами общества во имя личной свободы, была ли то гражданская свобода, которой добивались горожане и крестьяне, тяготевшие феодальным гнетом, или свобода духовная, деятелями которой являлись гуманисты, реформаторы, просветители XVIII в. Появление первых признаков эманципационных движений в обществе было также провозвестием Нового времени.

Я надеюсь, что изложенного будет достаточно для оправдания той точки зрения, с которой Средние века характеризуются как время установления и господства католико-феодальной системы культурных и социальных отношений, а Новое время обозначается как время упадка и разложения этой системы. В истории Нового времени мы все еще имеем дело с этими двумя основными явлениями западноевропейской образованности и гражданственности, но это — эпоха их упадка, разложения, успешной борьбы с ними, их приспособления к новым рамкам. Я позволю себе резюмировать все сказанное, чтобы представить, в каких явлениях вообще мы должны видеть существенные особенности новой истории.

1. Средневековое объединение Запада на почве католицизма нарушается религиозной Реформацией XVI в., подготавливавшейся уже в предыдущие столетия.
2. Средневековое феодальное раздробление уступает место национальному объединению Нового времени.
3. Средневековая, чисто церковная культура сменяется светской образованностью Нового времени, прежде всего проявляющейся в гуманизме XIV—XVI вв.
4. Средневековые феодальные начала перестают господствовать в политических, юридических и экономических отношениях Нового времени.
5. Главнейшие движения Нового времени, реформационное в XVI в. и преобразовательное в XVIII в. (просвещенный абсолютизм и Французская революция), были движениями одно антикатолическим, другое — антифеодальным.
6. Средневековые католицизм и феодализм создали два привилегированных сословия, которые время от времени производят реакции против

враждебных им сил Нового времени, и ими же были созданы идеалы монашества и рыцарства, заменяющиеся в Новое время иными идеалами.

7. В Средние века произошла феодализация церкви, конец которой приходит с началом секуляризации церковных земель в эпоху Реформации. В Новое время падают монашеско-рыцарские ордена и прекращаются Крестовые походы.

8. Средневековая католико-феодалная система возможна была лишь при ослаблении государственной власти и личной свободы, Новое же время есть эпоха развития государственности и индивидуализма, причем, заметим мимоходом, первая делала более быстрые успехи, чем второй, пока со стороны последнего не началась реакция против поглощения личности в государстве.

За начало новой истории принимается обыкновенно конец XV в. (открытие Америки) или начало XVI в. (начало Реформации 1517 г.), а само XV столетие с предыдущим веком иными относятся к Новому времени, иными к Средним векам, что указывает на их двойственный, переходный характер, вследствие чего одни явления в их истории имеют, несомненно, значение фактов новой истории (например, гуманизм), тогда как другие отмечены еще чертами католико-феодалного быта. Вообще строгой грани установить здесь нельзя; хронологическое отделение Средних веков от Нового времени всегда будет нарушаться их разграничением с точки зрения культурно-социальной, ибо и в Средних веках мы найдем немало явлений, из которых развилось все культурное и социальное содержание новой истории, и, наоборот, в Новом времени придется встречаться с такими остатками и следами средневекового быта, которые не могут считаться простыми переживаниями. Тем не менее XVI в. мы уже несомненно относим к Новому времени, а не к Средним векам; XIII столетие во всяком случае будем считать средневековым, отнюдь не новым, но о XIV и XV можно еще спорить. Начиная более подробное изложение с XVI в., я предпошлю ему общее изображение XIV и XV вв.¹ Главным же предметом нашим будет история новой европейской гражданственности и образованности, выросшей на средневековой почве, но измененной расширением исторической сцены в конце XV в. (открытие Америки и морского пути в Индию) и обращением к классическому и христианскому источникам цивилизации (Возрождение и Реформация).

¹ История Европы в переходную от Средних веков к Новому времени эпоху была предметом соч. Fr. Kortüm'a и K.A. von Reichlin; *Meldegg*. Geschichte Europa's im Uebergange vom Mittelalter zur Neuzeit. Этот труд (два тома) может служить дополнением к нашему обзору, заключая в себе внешнюю политическую историю с середины XV в. до начала XVI (приблизительно до Реформации), историю открытий и завоеваний вне Европы от открытия Америки до завоевания Мексики и Перу, равно как историю образовательных искусств и отдельных наук в эту же эпоху (кроме краткого очерка «Возрождения наук посредством классических занятий» и довольно большого очерка реформационной эпохи), т. е. таких предметов, которые выходят из плана нашего обзора и по которым, между прочим, см.: *Peschel*. Geschichte des Zeitalters der Entdeckungen; *Falkenstein*. Geschichte der Buchdruckerkunst; *Poppe*. Geschichte der Erfindungen. Кроме того, обращаю внимание на 9-й том *Weltgeschichte Ranke*.

III. Культурно-социальная история

Теоретическая точка зрения. — Прагматическая и культурно-социальная история. — Существенное содержание истории. — Католико-феодалная среда с точки зрения принципов и интересов. — Применение той же точки зрения к новой истории. — Общая история и истории специальные. — Бессознательная философия общества и социальная структура. — Идеологизм и экономический материализм. — Переход к дальнейшему.

Предыдущие рассуждения определяют то существенное содержание, которое должно наполнить внешние рамки нашего изложения западноевропейской истории в Новое время. Католицизм и феодализм не произвольно выбранные явления: это — понятия, в которых обобщается громадная масса самых важных и разнообразных фактов культурной и социальной жизни западных народов, это — общие категории, по которым могут быть разнесены господствующие идеи и главные учреждения Средних веков. Одним словом, вышеизложенный взгляд на содержание средневековой и отчасти новой истории есть результат обобщения, а не априорное построение, основанное на каких-либо отвлеченных соображениях, — результат обобщения, произведенного, однако, все-таки с известной теоретической точки зрения. Я и займусь теперь принципиальным обоснованием этой точки зрения¹.

Известно, что история занималась прежде всего событиями, складывающимися из человеческих деяний. Назовем историю событий историей прагматической и противопоставим ей историю культурно-социальную, предметом которой является материальный, духовный и общественный быт народов. В сущности события и быт, человеческие действия и формы жизни суть только две стороны одного и того же процесса, находящиеся между собою во взаимодействии, причем одну сторону мы представляем себе как последовательность прагматических фактов (событий, происшествий, отдельных поступков), находящихся между собою в причинной связи, т. е. связанных между собою как причины и следствия одни других, а другую сторону рассматриваем как последовательность фактов культурных и социальных, соединенных между собою отношениями эволюционными, т. е. развивающихся одни из других, представляющих собою лишь разные моменты в развитии одних и тех же явлений. Взаимодействие между этими двумя сторонами истории заключается в том, что человеческие деятельности, слагающиеся в прагматические факты, в исторические события, в общественные движения, бывают обусловлены известными обстоятельствами культурного и социального свойства и в свою очередь имеют результатом своим изменения в формах

¹ См. мои «Основные вопросы философии истории» (2-е изд., 1887) и «Сущность исторического процесса и роль личности в истории» (1890).

культурного и социального быта, в свою же очередь еще зависящих таким образом от прагматической стороны истории. История Крестовых походов есть история прагматическая, в которой мы можем связать отдельные моменты как причины и следствия, но эта история событий, совокупность которых составляет собою Крестовые походы, вполне уяснится для нас, если мы обратим внимание на культурные и социальные условия, породившие эти походы, условия католико-феодалного быта, и лишь тогда получится полное знание этого предмета, когда приняты будут в расчет культурно-социальные результаты этого прагматического движения, результаты в известных изменениях быта. С другой стороны, трансформация католико-феодалного общества в общество Нового времени относится к истории культурно-социальной, в которой одни стадии общественного быта представляются нам развившимися из других, но эта трансформация имела свои причины в известных событиях, в известных движениях, происходивших в отдельных слоях общества или в целых нациях, в известных поступках отдельных личностей и имела свои прагматические следствия, вызывая новые и новые поступки, движения и события. Одним словом, сцепления прагматических фактов, образованные по принципу причинности, и ряды фактов культурно-социальных, основанные на идее развития (эволюции), постоянно между собою переплетаются, т. е. деяния и события, идущие своим чередом, и формы быта, следующие одни за другими своим же порядком, находятся еще и во взаимодействии, т. к. факты прагматические, кроме причин и следствий в области таких же прагматических фактов, состоят под влиянием условий и участвуют в создании результатов культурно-социальных, а культурно-социальные факты, помимо принадлежащей им эволюционной связи, имеют еще каузальную связь с фактами прагматическими, порождаясь ими, как их следствия, и порождая их, как их причины. Если историк обязан представить историю общества, состоящего из отдельных действующих личностей и существующего с определенными мировоззрением и строем, то лучше всего он решит свою задачу, когда изобразит взаимодействие прагматизма с культурой и социальной организацией, взаимодействие человеческих деятельностей (с их условиями и результатами) и духовно-общественной среды (с присущими ей мотивами и вырабатывающимися в ней следствиями этих деятельностей). Я не привожу здесь тех выводов, которые можно сделать отсюда для теоретического понимания сущности исторического процесса, т. к. это завело бы нас слишком далеко, и не касаюсь сложного и трудного вопроса о роли личности в истории, определяемой как взаимодействие между личностью и культурно-социальной средой, т. е. между деятельностями отдельных индивидуумов и формами быта целого общества, т. к. и этот вопрос отвлек бы нас в сторону, но вот те выводы, которые необходимо нужно сделать для определения того, что же должно считаться существенным содержанием истории, рассматриваемой с самой общей точки зрения.

Этих выводов два. Во-первых, в области прагматических фактов наибольшую важность имеют те, которые не только порождали другие прагматические факты, но и оказывали действие на культурно-социальную среду. С этой точки зрения можно классифицировать исторические события по их значению для развития форм быта: в драматическом отношении событие может быть весьма интересным, весьма эффектным и в качестве такового обратить на себя внимание психолога или художника, но оно может быть лишено всякого значения в смысле фактора, игравшего роль в эволюции культурных и социальных форм, и, наоборот, для истории изменений, происходящих в этих формах, могут иметь значение такие человеческие деяния и поступки, которые не привлекут к себе внимания психолога, а еще менее того сделаются предметом художественного изображения. С другой стороны, и в области фактов культурно-социальных не все имеют равное историческое достоинство и притом с двоякой точки зрения, а именно есть такие, которыми обуславливается или, наоборот, совсем не обуславливается прагматическое движение истории, и кроме того, есть такие, которыми определяется или совсем не определяется индивидуальное существование в самых важных своих сторонах, — и на этом-то вот нам нужно остановиться. Условия духовно-общественной среды, определяющие действия, которые входят в состав исторического прагматизма, бывают двух категорий: поступки человека, получающие историческое значение, могут быть обусловлены или известными принципами, воспринятыми личностью, или известными интересами, ею разделяемыми, и в этом смысле самое важное в культурно-социальной среде заключено в ее принципах и интересах, которые оказывают влияние на содержание событий, совершающихся в данной среде. Культурная или социальная форма, не имеющая принципиального значения или не воплощающая в себе какой-либо интерес, с точки зрения общей и внутренней истории народа является чем-то частным, второстепенным, внешним, несущественным, ибо она не определяет дальнейшего исторического движения, и во всяком случае она не может идти в сравнение с таким культурным или социальным явлением, в котором заключен принцип или интерес, способный подвинуть отдельную личность на деятельность с характером историческим, сплотить отдельные личности в большую или малую культурную или социальную группу, в нацию или государство, в партию или сословие, в школу или фракцию, вызвать общественное движение, разделить общество на отдельные классы или направления, борьба между которыми будет также входить в состав прагматической стороны исторического процесса. Возможность такой роли культурно-социальных фактов, имеющих значение принятых в обществе принципов или отношение к интересам, существующим в обществе, обуславливается тем, что положение и судьба личности в обществе определяются именно формами, в которых проявляются принципы или интересы целого общества или отдельных его групп, каковы партии или классы: в другом месте я уже доказывал, что культурно-социальными элементами первостепенного значения яв-

ляются поэтому идеи и учреждения, — идеи, в которых формулируются известные мировоззрения, известные моральные и социальные принципы, известные интересы национальные, государственные, сословные, классовые, партийные, профессиональные, и учреждения, опять-таки имеющие основу в тех или других интересах и охраняемые теми или другими принципами.

Становясь на такую теоретическую точку зрения, мы можем смело сказать, что культурно-социальные принципы и интересы и связанные с ними идеи и учреждения средневекового общества целиком воплощаются в понятиях и отношениях, совокупность которых мы обозначаем как католицизм и феодализм. Мы видели, что в связи с ними находятся важнейшие исторические движения Средних веков и Нового времени, видели и то, что ими определялось индивидуальное существование одних людей как духовных пастырей и светских господ, других как пасомых и управляемых. И в основе католицизма, и в основе феодализма лежали известные принципы, в которых заключались и общепринятые взгляды на человека, на его права и обязанности, на основания общественных различий, на источники влияния и власти, на задачи общественной жизни и т. д. и т. п., — принципы, по традиции переходившие из одного поколения в другое, определявшие деятельность и судьбу отдельных личностей, сплавивавшие их в одном общем деле, имевшие своих специальных представителей в лице духовных и дворян. И католицизм, и феодализм были, кроме того, двумя организациями, соответствовавшими известным общественным интересам, удовлетворявшими известным потребностям, — организациями, которые равным образом определяли судьбу и деятельность отдельных личностей, группируя их в особые классы по их интересам и стремлениям. Одним словом, обобщая культурные и социальные факты Средних веков, мы получаем понятия католицизма и феодализма, в которых заключается или около которых сосредоточивается вся бытовая история европейского Запада в течение нескольких столетий, и на эти общие понятия наводит нас применение в средневековой истории того теоретического воззрения, по которому существенное в жизни народов суть их идеи и учреждения, в которых формулируются и воплощаются те принципы и интересы, какими живут и подвигаются к деятельности отдельные личности, общественные классы, сословия, парии и иные особые группы, наконец, целые нации и государства и даже целые исторические миры вроде рассматриваемого нами западноевропейского мира.

Я не стал бы прибегать к приведенным теоретическим соображениям, если бы дело касалось только средневековой образованности и гражданственности, выразившейся в католико-феодалной системе идей и организации учреждений, если бы не было надобности указать на некоторые общие положения, которые положены в основу нашего изображения новой истории. Признавая в историческом процессе взаимодействие личности и культурно-социальной среды, взаимодействие людских деятельностей с формами духовного и общественного быта и тем самым определя относительную важность тех или других

прагматических и культурно-социальных фактов, я и в дальнейшей истории должен буду выдвигать на первый план те события и движения, в которых проявились известные принципы и интересы внутренней жизни западноевропейских обществ или которые вносили изменение в данную систему принципов и организацию интересов, — сосредоточивая вместе с тем все внимание в области прагматических фактов на идеях и учреждениях, опуская все, что не имеет принципиального в духовном или общественном смыслах значения, что не относится к интересам отдельных личностей или групп, что безразлично, одним словом, с самой общей точки зрения на жизнь общества, хотя и было важным при более специальных точках зрения техники и эстетики, обычаев и нравов, комфорта и приличий, привычек и условных правил и т. п., которыми также, конечно, история и может, и должна заниматься, но которые нами сознательно устраняются из рассмотрения, дабы основные архитектурные линии культурно-социального здания новой истории не были загромождены и закрыты пестрой орнаментикой подробностей внешнего быта вроде описания жилищ, одежды, домашней утвари, орудий труда, вооружения, украшений всякого рода, технических производств, увеселений, зданий, картин, статуй, житейских сцен и т. д., одним словом, всего того, что поддается изображению в иллюстрирующем описании рисунке, но что само по себе безразлично с точки зрения принципов и интересов, доступных только абстрактному воспроизведению: ведь и католицизм с феодализмом можно было бы представить не в виде абстрактной системы, не в виде схематической организации, а в конкретных образах готического собора и феодального замка, церковных процессий и рыцарских турниров, или в виде бытовых сцен, которых так много можно найти в новейшей исторической живописи или иллюстрации к историческим сочинениям.

Для того чтобы оправдать такой взгляд на историю, — конечно, не исключаяющей других взглядов, — нужно составить себе надлежащее представление о том, чем должна быть общая история не как сумма или механическое соединение специальных историй религии, философии, науки, литературы, государства, права, народного хозяйства, а как история самого общества, в котором существует все это, и история личности, через которую, в которой и для которой равным образом все это существует, я же именно и имею в виду историю общества и тех условий, которыми оно определяло индивидуальное бытие в разных местах, в разные времена и в разных общественных классах и положениях. В социальной и исторической жизни различаются обособленные до некоторой самостоятельности по своему содержанию и по способам своего развития сферы, каковы религия, философия, наука, литература, политика, народное хозяйство и т. п., так что состояние или развитие каждой такой сферы может быть представлено отдельно. Тем не менее все они существуют не сами в себе, а в целом общественной жизни, находясь между собою в известных взаимоотношениях, почему, например, изменения в экономической сфере отражаются так или иначе и на политике, и на праве, и на моральных

принципах, равно как и идейные изменения не проходят бесследно для истории государственных учреждений, правовых норм, социально-экономических отношений или для истории литературы и искусства. Каждая специальная история изображает одно какое-либо частное развитие и только, так сказать, через его призму рассматривает эволюцию самого общества и другие частные эволюции, но то, что при изображении частной сферы культурно-социального быта имеет большое значение, может быть лишено всякого интереса, будучи перенесено на почву всей совокупности явлений духовной и общественной жизни народов. Я держусь той точки зрения, что общая история возникает не из простого соединения специальных явлений, а из такого их сочетания, при котором все слишком специализирующее отдельные стороны общественного бытия стусевывается. Общий историк не может и не должен вносить в свое изображение прошлого всего того, что вносят в свои исторические представления специальные историки литературы или права, церкви или искусства, философии или хозяйственного быта, политических учреждений или науки. Общий историк будет пользоваться фактами той или иной специальной истории, когда в них особенно рельефно выражается эпоха, когда они имели особое влияние на всю общественную эволюцию, ибо для него важны литературные или юридические явления, церковные или эстетические факты и т. п. не сами по себе, а как частные отражения общего состояния общества, не как звенья в процессе литературных, правовых, религиозных, художественных изменений, а как факторы всей общественной эволюции. Общий историк стремится найти и определить общую подкладку фактов, относящихся к разным сферам жизни, то общее русло, по которому совершается течение отдельных элементов культурно-социальной среды: специальные историки, рассматривающие общую эволюцию через призму эволюций частных, конечно, будут несколько различным образом представлять себе общий фон общественной жизни в данное время, и например, для историка литературы он будет иной, чем для историка права, но обязанность общего историка в том и заключается, чтобы, так сказать, привести к одному знаменателю условные точки зрения специалистов по литературе и по праву, по церковной или художественной истории, по политической экономии или философии и представить общую подкладку всего разнообразия исторической жизни. Понятное дело, что отношение специальной истории к общей определится местом и значением данной частной эволюции в эволюции общей вообще и в частности значением одной в другой в данное время и в данном месте. Например, вообще в жизни общества политические формы играют более важную роль, чем технические приемы и эстетические принципы архитектора, скульптора, живописца и композитора, а в одной и той же области содержание, внутренний смысл, принципиальная сторона важнее формы, внешних признаков, стороны технической, или церковные вопросы в XVI в. стояли с жизнью в более тесной связи, чем впоследствии, равно как

французская просветительная литература XVIII в. соприкасалась с общим ходом истории сильнее и многостороннее, чем средневековая монастырская письменность¹.

Что же можно принять за общий фон исторического изображения с наиболее общей точки зрения? Отдельные элементы культуры далеко не в равной степени (и в одних и тех же элементах далеко не в одинаковом смысле отдельные их стороны) бывают показателями уровня интеллектуального и морального развития личности в разных обществах и в различных слоях одного и того же общества, равно как и сами элементы эти и их отдельные стороны — опять-таки совершенно не так одни, как другие, — могут служить для характеристики общего состояния целой страны, всего ее населения, общего развития целого общества и разных групп, входящих в его состав. Человеческое самопонимание, теоретическое и практическое, выражающееся в том, как человек сознает не только свое «я» со стороны его ума, чувства и воли, но и свои отношения к миру и человеку, — самопонимание, заключающееся в религиях, философских системах, моральных кодексах, политических принципах, научных теориях, это самопонимание, способное сделаться общественным фактом, раз оно не ограничивается единичной личностью, а составляет бессознательную философию целого общества, и есть одно, что составляет общий фон эпохи², взятый с внутренней или идейной его стороны, но у этого фона есть и другая сторона, сторона внешняя, сторона фактических отношений между людьми, складывающихся в известные постоянные системы, которые мы можем назвать социальными формами, или общественной структурой, являющейся нам в виде политической организации государства с санкционируемым им правом или социального — в более тесном смысле — строя экономических классов. Индивидуальное самопонимание, переходящее в бессознательную философию общества, способную уясняться умственной деятельностью отдельных личностей, и общественное устройство, определяющее положение и судьбу всех членов данного общества и членов отдельных его классов — вот тот общий фон, о котором идет речь как о предмете главного интереса общей истории. Бессознательная философия общества есть результат психического воздействия одних его членов на других, и с этой стороны она составляет психологическую подкладку исторического бытия. Но люди обмениваются не одними идеями: они обмениваются продуктами своего труда и взаимными услугами, т. е. находятся не только в психическом взаимодействии, но и во взаимодействии экономическом, на почве которого вырастает известная общественная структура. Материальные и духовные потребности личности удовлетворяются в обществе, таким образом, взаимодействием двоякого рода, и соответственно этому осно-

¹ См. более подробное развитие этой мысли в моей книге «Литературная эволюция на Западе» (1886).

² См. развитие этой мысли в моей статье «Философия, история и теория прогресса» (Истор. Обзор., 1890, т. I).

ва культурно-социальных явлений есть основа двойственная — психологическая и экономическая.

Было время, когда историческая наука искала основы исторического процесса в одном движении идей, видя в переменах, которые происходят в сфере культурных идей общества, источник всех исторических перемен. Односторонность исторического идеологизма очевидна сама собою, но не менее очевидна и односторонность того «экономического материализма», который поставил себя на место прежнего исторического мирозерцания, объявив, что экономический строй общества каждой данной эпохи представляет ту реальную почву, свойствами которой объясняется в последнем анализе вся надстройка, образуемая совокупностью не только правовых и политических учреждений, но и воззрений религиозных, моральных, философских и прочих каждого данного периода. В своем представлении исторического движения на Западе я буду исходить из той общей мысли, что обе эти общие концепции ложны как односторонние увлечения, неспособные объяснить все в истории, и тем не менее истинны как обобщения определенных категорий фактического содержания истории, но не могу здесь взять на себя задачу теоретически обосновать свой тезис о несводимости всех культурно-социальных фактов или к одной идейной, психической основе, или к одной основе материальной, экономической¹. Политическая и юридическая надстройка на экономическом фундаменте еще допустима, да и то с разными оговорками, но чтобы роль таких же надстроек играли религия, философия, наука, поэзия, искусство, с этим согласиться нельзя. С двух разных точек зрения общественная среда, конечно, должна и различным образом представляться историку: или это среда, определяемая преобладающими в ней идеями, или это среда, характеризующаясь господствующими в ней интересами, и т. к. ни в одном, ни в другом случае на известной ступени общественного развития среда эта не бывает однородною, распадаясь на группы с разными идеями и на классы с неодинаковыми интересами, а между этими группами и классами происходит борьба, то борьба эта понимается или в смысле столкновения принципов, или в смысле столкновения интересов. Оба взгляда необходимо дополняют один другой, и хотя культурные группы и социальные классы не всегда и не во всем совпадают одни с другими, тем не менее общность интересов, одинаковость положения в обществе всех членов одного и того же социального класса предрасполагает к тому, чтобы они и в культурном отношении составляли одну группу в обществе.

Теперь мы и перейдем к изображению культурно-социального состояния западноевропейского общества при переходе от Средних веков к Новому вре-

¹ Отсылаю к своим статьям: «Политическая экономия и теория исторического процесса» (Истор. Обзор., 1891, т. II), «Заметки об экономическом направлении в истории» (там же, 1892, т. IV) и «Источники исторических перемен» (Русское Богатство, 1892, I). Более обстоятельно предмет этот будет рассмотрен в IV томе «Основных вопросов философии истории».

мени, исходя из той точки зрения, что католицизм был для средневековой Европы не только вероисповеданием, но и целой системой индивидуального и социального самопонимания, отражавшегося и на учреждениях того времени, а феодализм — всеобъемлющей структурой общества, проявлявшейся и в области идей моральных и социальных. Так как нужно прежде познакомиться с внешним положением носителей средневекового мирозерцания, то мы и начнем с рассмотрения общественной структуры Средних веков, чтобы узнать вместе с тем, какие общественные классы принимали участие в прагматической стороне новой истории, рассматриваемой как борьба представителей различных культурно-социальных принципов и интересов. Но и потом перед тем, как перейти к католицизму, нам нужно будет еще остановиться на личном начале в процессе истории.

Политические формы конца Средних веков

IV. Феодалное устройство¹

Социальная и политическая стороны феодализма. — Его определение. — Королевская власть, церковь и города в феодальную эпоху. — Господство феодализма в разных сторонах быта. — Феодальные реакции. — Дворянство в сословно-представительных учреждениях.

Определяя феодализм, мы должны различать в нем две стороны, из которых одна и появляется ранее, и позднее исчезает в общественной истории европейского Запада, тогда как время господства другой охватывает собою сравнительно меньший промежуток времени. Одна из этих сторон — социальная, другая политическая. Когда заходит речь о феодализме, обыкновенно имеется в виду вторая сторона и под ним тогда разумеется распадение государства на мелкие владения, в которых власть государя смешивается с властью помещика и которые находятся в иерархической зависимости одни от других: существенными чертами феодализма с этой точки зрения являются раздробление верховной власти, соединение ее с землевладением и установление вассальной иерархии между государями-помещиками. Процесс, приведший государство к такому состоянию, заключался в расхищении королевских прав аристократическими элементами общества, в смешении частно-правовых, аграрных отношений с отношениями государственными, политическими и в развитии совершенно особенной формы политической зависимости, в силу которой один феодальный владелец был вассалом другого и сам мог иметь вассалов. Чем независимее были феодальные владельцы от короля, чем более землевладение было основой политической власти и чем более общество расчленилось по иерархическим ступеням, тем более та или другая страна в разные времена или разные страны в одно и то же время могут быть названы феодальными. С другой стороны, процесс разрушения феодализма, взятого с политической своей стороны, должен был заключаться в государственном объединении, в отделении верховной власти от землевладения и в исчезновении вассалитета: верховная власть сосредоточивается в одних руках, феодальные сеньоры превращаются в помещиков, иерархическая лестница заменяется всеуравнивающим подданством. Рассматривая с такой точки зрения внутреннюю историю Западной Европы, мы можем сказать, что эпохой полного развития политического феодализма — да и то не везде в одинаковой степени — было время, протекшее от распада монархии Карла Великого до конца Крестовых походов, т. е. беря круглые цифры, от 850 до 1250 г., т. е. около четырех веков, период, примыкающий

¹ Ориентироваться по вопросу о происхождении феодализма и найти литературу можно во вступительной главе соч. проф. П. Г. Виноградова «Происхождение феодальных отношений в лангобардской Италии». Литература вообще весьма обширна.

своим началом к долговременному процессу феодализации, а в последних своих временах сливающейся с эпохой Возрождения государственного начала и роста королевской власти, которая к эпохе Реформации делает значительные успехи. Таким образом, новая история начинается в эпоху разрушения политического феодализма. Сводя, далее, к основному началу явление феодализма как политической системы, мы должны признать, что начало это заключается в нераздельности власти и землевладения: в феодальной системе немыслимы ни землевладение без власти, ни власть без землевладения; в постепенном соединении того и другого и заключался процесс феодализации, в разлучении — процесс разрушения политического феодализма.

Переходим к другой стороне феодализма. История Западной Европы в социальном отношении за весьма продолжительный период времени может быть представлена как история сначала постепенного приобретения землевладельческим классом политической власти, а потом постепенной утраты этой власти: до полного торжества политического феодализма во второй половине IX в. уже существовало крупное землевладение с некоторыми особенностями, подготовлявшими переход верховной власти к ее представителям в обществе, и это же землевладение продолжало существовать и в эпоху полного разрушения политического феодализма, сохраняя, однако, многие черты, присущие землевладению предыдущих периодов, так что и до установления феодальной системы, и после ее падения с землевладением связаны некоторые весьма характерные особенности, и они-то придают земельной собственности феодальный характер. Давая определение феодализму, Гизо, а за ним и другие историки рядом с соединением верховной власти и землевладения и с установлением вассальной иерархии между владельцами ставят еще юридическое явление замены полной земельной собственности условною, в силу чего земля находится не в полном, а в зависимом обладании, т. е. она бывает или феодеом, владелец которого владеет в зависимости от своего сеньора, как его вассал, обязанный ему службою, или бывает цензивой, которую человек держит в зависимости от землевладельца, будучи обязан по отношению к нему известными повинностями. Двойное право на одну и ту же землю (*dominium utile* и *dominium directum*), характеризующее феодальные отношения, ведет свое начало из времен более ранних, когда короли меровингского периода раздавали бенефиции за службу, из еще более ранних времен, когда именно в Римской империи под названием эмпитевзиса возникла особая поземельная сделка, представлявшая из себя нечто среднее между куплей-продажей и арендой, причем эмпитевт делался вечным владельцем земли, но и вечно же должен был платить оброк ее настоящему собственнику. С другой стороны, двойное право на землю пережило политический феодализм, и если оно не было особенно тяжело для владений дворянства, потомков феодальных сеньоров, то продолжало еще тяготеть над «держаниями» простолюдинов, имевшими свой первообраз в эмпите-

тевзисе. В эпоху полного развития феодализма это двойное право совпадало с политической иерархией: феодал был собственностью сеньора, но собственностью условною, ибо она ему принадлежала, как вассалу высшего сеньора, от которого и находилась в зависимости. Иное значение имело то же двойное право по отношению к «держаниям» простолюдинов, т. к. было связано не с политической, а с социальной, в более тесном смысле с экономической стороною феодализма, т. к. обладание феодалом было соединено с правами верховной власти, а держание земли для ведения на ней хозяйства за уплату оброка или за отбывание натуральных повинностей представляло собою чисто экономическое отношение. Обработка наследственного участка земли в зависимости от феодального владельца и составляет социальную сторону феодального устройства, которое в данном отношении можно определить как *соединение крупного землевладения с мелким хозяйством, имевшее своим следствием обеспечение землею народной массы, с одной стороны, а с другой — сопровождавшееся юридическою зависимою этой массы от землевладельцев.* Формы соединения крупной собственности с мелким хозяйством могли быть весьма разнообразны, допуская и краткосрочную аренду участка свободным человеком, и вечное пользование одним и тем же участком со стороны крепостного, и разные промежуточные формы, но сущность дела оставалась та же, и прототипом такого соединения было хозяйственное устройство последних времен Римской империи, когда латифундии дробились на мелкие хозяйственные единицы, находившиеся в обработке прикрепленных к земле колоннов. Феодальное землевладение тем и характеризуется, что лишь на незначительной части земли велось собственное хозяйство сеньора барщинным трудом подвластных крестьян, вся же остальная земля на разных условиях зависимости раздроблялась на мелкие участки, что ставило народную массу в непосредственное распоряжение почвой и делало невозможным образование сельского пролетариата. Зависимость от сеньора таких крестьянских наделов, выражаясь современным термином, могла быть разная, но существование из римской еще эпохи колоната, продолжающегося в средневековом серваже (крепостничестве), вытекавшая из германских взглядов потеря свободы человеком, который садился на чужую землю, переход к крупным собственникам государственных прав над населением, жившим в их сеньориях, — все это создавало и личную зависимость народной массы от феодальных господ, которая была тем больше, чем сильнее был развит политический феодализм. Иерархическое расчленение общества, начинавшееся сверху от королевских вассалов и доходившее до последних подвассалов, продолжалось и внизу, где также мы замечаем разные степени не-свободы и лица, и земли, находившейся в его пользовании, но наиболее характерной особенностью социального феодализма было крепостничество, чисто юридическая зависимость человека от человека, сопровождавшая зависимость экономическую. Феодальный сеньор, господствующий над за-

крепощеным населением, этот государь-помещик, являющийся вассалом другого такого же государя-помещика, только как бы сменил собою простого помещика (поссессора) римской эпохи, когда государство было еще сильно, но феодальный сеньор и в Новое время, когда королевская власть уже превратила его в простого подданного, хотя бы и привилегированного, продолжает оставаться помещиком, держащим в экономической и юридической от себя зависимости крестьянское население. Социальный феодализм и начинается раньше, и кончается позже феодализма политического.

Какое же будет полное определение феодализма, если принять в расчет все вышесказанное, т. е. и политическую, и социальную стороны этого устройства, имевшего такое важное значение в истории Западной Европы в Средние века и в Новое время? Я думаю, что вывести такое определение будет нетрудно, если мы обратим внимание на то, что в основе этого устройства находилось *обладание крупной земельной собственностью, сообщавшее владельцу права государственной власти, хотя и в политической зависимости от высшего владельца, и ставившее в юридическую зависимость от него самого народную массу, которая, однако, вела самостоятельное хозяйство на мелких участках*, так что в феодализме соединялись с крупным землевладением и верховная власть, и юридическая зависимость массы, и мелкое хозяйство. Процесс разложения феодализма, начавшийся в политической сфере разлучением землевладения и верховной власти, которая стала отходить к королям, продолжался в социальном отношении в двух параллельных процессах: с одной стороны, это было высвобождение лица и земли из-под той крепости, какую на них налагало феодальное право, причем лично свободные крестьяне весьма еще долгое время имели доступ только к несвободной земле, подлежавшей двойному праву, так что принцип условной собственности оказался более живучим, чем власть человека над человеком; с другой стороны, это было постепенное открепление крестьянства от земли, разрушение тех связей, которые установились между крупным землевладением и мелким хозяйством, и подготовка крупного хозяйства, основанного на труде сельского пролетариата, пример чего представляет Англия.

Процесс феодализации захватил собою все стороны общественного устройства. Между прочим, он сказался на характере королевской власти, на политическом положении духовенства, на быте городов в Средние века.

В числе крупных собственников, по рукам которых разошлась верховная власть и которые сделались сеньорами по отношению к жившим на их землях людям, были и духовные лица — епископы, аббаты, каноники, — делающиеся иногда могущественными владетельными князьями. Это был своего рода церковный феодализм, развивавшийся параллельно с феодализмом светским, так что рядом с титулованными сеньорами, расхитившими должности герцогов, графов, маркизов и т. п., и простыми баронами, в феодальной иерархии мы встречаем и лиц, облеченных духовным

саном архиепископа или епископа, или аббата. Когда пал политический феодализм, высшее духовенство испытало судьбу дворянства: оно превратилось в привилегированное сословие, сохранившее крупное землевладение, сеньориальные права и крепостных крестьян. С другой стороны, процесс феодализации отразился и на судьбе городов, т. к. они подпали под власть светских или духовных сеньоров, т. е. графов и епископов, которые стремились и над горожанами установить широкие права, какими пользовались над деревенским населением. Таким образом, город превращался в часть феодальной сеньории, горожане делались чуть не крепостными своих сеньоров. Правда, в эпоху Крестовых походов они освобождаются и часто сами организуются в самостоятельные владения с республиканским устройством, и таким образом рядом с духовными и светскими сеньориями, управлявшимися монархически, появляются своего рода сеньории республиканские, внутри себя уничтожающие всякие следы феодализма, но и они вдвигаются в общую политическую систему как коллективные бароны, тоже в своем роде королевские вассалы, нередко приобретая и сеньориальные права над окрестным сельским населением. Но церковь лишь одною своею стороною могла подчиняться феодальным порядкам, а города, по существу дела, были живым против них протестом, приняв деятельное участие в разрушении феодализма.

Феодализировалась и королевская власть, т. е. та самая политическая сила, которой впоследствии пришлось играть первенствующую роль в деле разрушения политического феодализма. Верховная власть ушла из королевских рук и раздробилась между множеством феодальных сеньоров, наиболее значительные между которыми были королевские же чиновники, сделавшиеся наследственными. В этом процессе национальная королевская власть могла и совершенно исчезнуть, как это и случилось в Италии: сохраниться она могла, лишь опираясь на феодальное владение, ибо вне землевладения не было верховного права, и для короля таким образом оставалась роль феодального сеньора, государя-помещика по отношению к собственным доменам и главы феодальной иерархии по отношению к другим государям-помещикам, среди которых он был только, как первые Капетинги во Франции, первый между равными (*primus inter pares*). Мы еще увидим, что и в Новое время, сокрушив феодализм и даже сделавшись абсолютными монархами, короли сохранили еще некоторые черты своего происхождения в феодальном мире.

Необходимо освоиться с этими основными чертами феодализма для того, чтобы понимать внутреннюю историю Западной Европы в эпоху его постепенного разложения. Необходимо, с другой стороны, всегда помнить, какой смысл скрывается под целою массою выражений, свидетельствующих о том, как широко захватывалась и глубоко проникалась феодализмом общественная жизнь Запада. Феодализм и феодализация, феодальное государство и общество, феодальный сеньор или монарх, феодальная сеньория или монархия, феодальное дворянство, феодальная присяга (вассала сюзерену), феодальная

служба, феодальное войско, феодальный замок, феодальное право, феодальные кутюмы (сборники права), феодальное судоустройство и судопроизводство, феодальная зависимость, феодальное землевладение, феодальные повинности, феодальное хозяйство и т. д. — вот целый ряд выражений, которые встречаются на каждом шагу в истории политического и социального быта Запада, и к ним нужно прибавить еще феодальные понятия, феодальные традиции, феодальные стремления, с которыми историку приходится иметь дело и в довольно поздние времена. Дело в том, что феодализм был не только устройством, но и традицией, в которой воспитывались целые поколения, принадлежавшие к феодальному сословию. Разрушаемый сверху действием государственной власти, подкапываемый снизу работой народной массы, феодализм уступал занятые позиции только с боя и, теряя под собою почву, старался возратить утраченное при первой к тому возможности. Отсюда целый ряд феодальных реакций с характером антигосударственным или антинародным, смотря по тому, где представлялась большая возможность отстаивать старину — в области ли политической, или в области социальной. С такими феодальными реакциями мы встречаемся и в новой истории, и соответственно с тем отношением, в каком находятся между собою политическая и социальная стороны феодализма, крепче и упорнее всего держались именно социальные притязания общественного класса, экономическая сила которого заключается в крупном землевладении. С течением времени эти притязания изменялись: традиция подвергалась влиянию новых обстоятельств, и когда, например, уже трудно было мечтать об индивидуальном расхищении верховной власти, подобном тому, какое было в эпоху феодализации, являлась мысль о приобретении политического влияния всем сословием, или когда уже нечего и думать было о восстановлении всех утраченных прав над населением, оставалось хлопотать о приумножении социальных привилегий, которые отличали бы дворянское сословие от нижестоящих общественных классов.

В новой истории за немногими исключениями мы имеем дело с феодальным дворянством как с сословием, уже утратившим суверенные права, но сохраняющим старое социальное положение и даже приобретающим новые привилегии. Политическая его роль в эпоху, предшествующую развитию королевского абсолютизма, когда оно превращается в дворянство придворное или служилое, заключается в том, что вместе с высшим духовенством оно занимает первенствующее место в сословно-представительных учреждениях, с которыми королевская власть принуждена идти рука об руку в переходную эпоху от монархии феодальной к монархии абсолютной. Эти сословно-представительные учреждения сами возникают на почве феодального быта с прибавкою нового, городского элемента, внесшего в политическую и социальную жизнь Западной Европы новые начала. Взаимоотношение этих двух элементов — феодального и муниципального — составляет также одну из видных сторон истории европейских народов.

V. Муниципальный быт¹

Социальное и политическое освобождение городов. — Его значение в истории. — Роль городов в образовании сословно-представительных учреждений. — Различное положение городов в отдельных странах. — Образование городского сословия. — Борьба аристократии и демократии в городах. — Дальнейшая судьба городов.

Процессом феодализации общества и государства был захвачен и городской быт: над городами установилась политическая власть светских и духовных феодалов, графов и епископов, и вместе с этим произошло уменьшение гражданской свободы городского населения. В эпоху Крестовых походов в главнейших континентальных государствах Запада, путем восстаний и договоров, совершалось освобождение городов из-под феодального гнета, и в этом освобождении мы замечаем два разных процесса, которые могли и не совпадать один с другим: с одной стороны, это было *приобретение горожанами прав свободного состояния*, т. е. прекращение в городах социальной стороны феодализма с несвободой лица и земли, и в многих случаях этим и ограничивались главные изменения в городском быту; с другой, происходило *приобретение городами прав верховенства над своими жителями и территориями*, иначе говоря, это было появление рядом с феодальными владениями, управлявшимися монархически, своего рода муниципальных сеньорий, находившихся под властью коллективных баронов, появление городских республик или коммун, как они назывались на севере Франции. В обоих случаях принципам феодализма наносился ущерб, и впервые основы нового социального и политического быта развивались в городах. Землевладение, на которое опиралась феодальная система, не играло в городах той роли, какая ему принадлежала в деревенской жизни: материальную подкладку городского быта составляют промышленность и торговля, и значение недвижимого имущества вытесняется значением имущества движимого, капитала. Таким образом, в городах возникает общественный класс, которому впоследствии суждено было вступить в конкуренцию с представителями зем-

¹ Смирнов А. Коммуна средневековой Франции; *Thierry A.* Essai sur la formation et les progrès du tiers état; *Luchaire.* Les communes françaises à l'époque des Capétiens directs. Désmolin. Mouvement communal et municipal au moyen âge; *Маурер.* Введение в историю общинного, подворного, сельского и городского устройства и общественной власти (*Maurer.* Einleitung zu Geschichte der Mark-, Hof-, Dorf- und Stadtverfassung); *Idem.* Geschichte der Stadtverfassung im Mittelalter; *Hüllmann.* Städtewesen des Mittelalters; *Sohm R.* Die Entstehung des deutschen Städtewesens; *Hegel.* Städte und Gilden der germanischen Völker im Mittelalter; *Idem.* Geschichte der Städteverfassung in Italien. Stephen und Merewether. History of the corporate boroughs. Ср. книгу проф. И. И. Дитятина «Устройство и управление городов России», где есть небольшой очерк истории происхождения городского самоуправления в Западной Европе.

левладения, опираясь на другую экономическую силу, и аграрная система, лежавшая в основе всей общественной жизни в феодальную эпоху, должна была уступить известную долю места в экономическом быту промышленности и торговле. Это, однако, не все еще: города, много ранее и гораздо полнее, нежели деревни, достигли освобождения лица и земли от феодальной зависимости, ибо в них исчезает крепостничество и двойное право на поземельную собственность, делавшее из ее фактических обладателей только зависимых и обязанных оброком держателей. Другими словами, в городском быту восторжествовали принципы личной и имущественной свободы, которыми и определилось содержание права, вырабатывавшегося в городах. В этом смысле они, как говорит Маурер¹, «сделались центрами новой свободы и нового права, ибо, прибавляет он, городская свобода и городское право были существенно отличны от старой народной свободы и старого народного права»: в этой новой свободе и этом новом праве лежал зародыш совершенно Нового времени, и через дальнейшее его развитие города сделались предтечами Нового времени, полное проявление которого наступило лишь в XIX в.

Не менее важна была и политическая сторона процесса, и опять-таки в двояком отношении. Во-первых, многие континентальные города добились политической автономии, образовав из себя суверенные коммуны, т. е. общины, перенесшие на себя ту верховную власть, которая над ними принадлежала епископу или графу. Таковы были итальянские средневековые республики, таковы были южно-французские муниципии, управлявшиеся выборными консулами, таковы были северно-французские присяжные коммуны (*communes jurées*), имевшие своих мэров, таковы были в Германии имперские города (*Reichsstädte*), как бы ни различались все они между собою по своему устройству, по степени своей самостоятельности и по своему положению среди других политических сил той или другой страны. *В этих городах-государствах верховная власть покоилась уже не на землевладении, а на воле граждан, так или иначе проявлявшейся в народных собраниях*, и феодальное смешение государственных и частно-правовых понятий и отношений, таким образом, вытеснялось из политической жизни. Другими словами, идея государства Нового времени впервые осуществлялась в городах, и в них же получила начало монархическая власть без феодальной окраски. О последнем речь еще впереди, а пока лишь вкратце укажем на то, в чем дело. Итальянские городские республики к концу Средних веков стали подпадать под власть князей (*principi*), не имевшую ничего общего с властью феодального сеньора, государя-помещика, или с властью феодального короля, сюзерена, стоявшего во главе вассальной иерархии, ибо власть эта не имела в своей основе ни феодального землевладения, ни вассальных отношений. Итак, в городской жизни второй по-

¹ Maurer. Geschichte der Städteverfassung in Deutschland. I. S. 657.

ловины Средних веков возникают новые основы государственного права, и последнее вследствие этого освобождается от примеси частно-правовых отношений и понятий, вносившихся в эту область феодальным соединением землевладения и верховной власти. В этом и заключается одна сторона политической роли средневекового города. Другая сторона — участие городов в национальной политической жизни в форме появления их представителей в сословно-представительных учреждениях.

Я не буду останавливаться здесь на тех союзах, которые заключались между городами одной и той же страны для защиты своей независимости, как это было в Италии еще в XII в. или в Германии с эпохи великого междоусобицы: союзы эти имели мало внутренней прочности, нередко выдвигали на первый план лишь торговые цели (Ганза) и за немногими лишь исключениями не развивались впоследствии в постоянные политические федерации, как это было в Швейцарии и Нидерландах, причислявшихся к Германии. Довольствуюсь лишь общим указанием на этот факт, чтобы остановиться на другом. Города, освобождавшиеся от феодальной зависимости и добивавшиеся самоуправления, делались политической силою, с которою приходилось считаться и феодальному миру, и королевской власти. Последняя, как было сказано, является во всех государствах при переходе в Новое время окруженною сословно-представительными учреждениями, которые, как мы это увидим, возникают первоначально на почве феодальных отношений, обязывавших королей в известных случаях совещаться с вассалами и испрашивать их согласия на те или другие мероприятия: весьма естественно, что приобретение горожанами политического самоуправления, ставившего коммуны на одну доску с феодальными сеньориями, должно было повлечь за собою появление и городских властей на подобных политических собраниях, что мы и наблюдаем действительно в германских имперских сеймах (рейхстагах), в английском парламенте, во французских собраниях государственных чинов (генеральных штатах) и т. п., где горожане являются как особый государственный чин (*Reichsstand* в Германии), как третье сословие (*tertius status, tiers état*) рядом с духовными и светскими сеньорами. Таким образом, города занимают совершенно самостоятельное место в системе сословной монархии, и собственно говоря, *лишь с присоединения городских представителей к духовным и светским сеньорам в средневековых политических собраниях последние организуются в сословно-представительные учреждения*, игравшие свою роль в разрушении политического феодализма.

Со времени освобождения городов и появления их в сословно-представительных учреждениях политическое могущество распределялось между четырьмя отдельными силами: во главе стоял король с большим или меньшим феодальным характером власти; далее шли духовные феодалы, занимавшие особое положение в обществе и государстве, благодаря своей

принадлежности к церковной организации; за ними мы видим светских сеньоров, имевших источник своей силы исключительно в феодальном быту; наконец, как третье сословие выступают города, добившиеся автономного положения. Комбинация этих четырех элементов в разных государствах была различная, и положение городов в отдельных странах было потому далеко не одинаковое. Там, где сильнее было феодальное раздробление, т. е. где более была ослаблена центральная власть, городам легче было совершенно выделиться из государственного единства и достигнуть полной независимости, как это случилось в Северной Италии, которая вся разделилась на самостоятельные республики, и, наоборот, там, где, как в Англии, лучше сохранилось государственное единство под королевским верховенством, города не могли выделиться из этого единства в самостоятельные коммуны. Германия и Франция в этом отношении стоят посередине, и чем более успехов во второй из этих стран делал процесс политического объединения под королевским главенством, тем все более и более утрачивали коммуны свою автономность, тогда как в Германии противоположный процесс распада на княжества сопровождался и политическим выделением городских территорий: французские и немецкие города, не достигавшие такой полной независимости, какую пользовались итальянские республики, и в то же время имевшие столь значительную автономию, какой не знали города Англии, были своего рода муниципальными оазисами среди массы феодальных владений и вместе с ними входили в состав некоторых высших национально-политических единиц. В указанном отношении городские общины могли бы быть поставлены в такой ряд: итальянские республики, немецкие имперские города, французские коммуны и города английские.

Различны были и взаимные отношения между феодальными (духовными и светскими) элементами, с одной стороны, и городами — с другой, в отдельных странах. В Италии, можно сказать, феодальные элементы были поглощены городом, ибо владельцы должны были вступить в число граждан, среди которых они заняли, правда, привилегированное положение, вошедшие в состав городской аристократии. Вследствие этого *в Италии городской быт разрушил политический феодализм, оставив, однако, неприкосновенными социальные отношения феодального характера в деревнях*. В Италии как бы сохранился еще римский принцип, в силу которого город не отделялся от своего уезда, если позволительно так выразиться, и под словом *civitas* разумелось не только городское поселение, но и вся его округа, так что вся территория разделялась на *civitates*, в которых не делалось никакого различия между городом и его уездом. Эти *civitates* феодализировались и раздроблялись, но победа городского населения над феодальными сеньорами сопровождалась включением их самих в гражданские общины, а их земель в городские территории. Невыделенность города, но уже

в обратном смысле, представляется нам и в Англии, где во второй половине XI в. установился своеобразный феодализм, одною из особенностей которого и было то, что здесь равным образом *не возникло резкой противоположности между городом и уездом, но таким образом, что не город поглощал собою уезд, а наоборот, последним поглощался первый*. Положение английского города в государстве определялось не только тем, что в Англии политического раздробления в феодальном смысле не было, но и тем, что административное и феодальное деление территории не создавало условий для того, чтобы города могли обособиться от остальной страны. Английский феодализм значительно отличался от континентального, ибо он не раздроблял страны на самостоятельные владения, не превращал помещиков в государей, не разрывал непосредственной связи свободного населения с королевскою властью, хотя и имел все главные признаки, характеризующие социальную сторону феодализма: феодальный владелец не ослаблял связь города с государством, становясь на место последнего; городу нечего было освобождаться из-под власти сеньора; для него не было оснований выделяться в особую коммуну, а с другой стороны, сохранение старого самоуправления графств было отрицательною причиною того, что в Англии не выработалось различия между самоуправляющимся городом и земством, управляющимся феодальными сеньорами. Другое дело — *Франция и Германия, где возникло резкое различие между городом и феодалом, где города выделались из состава феодальных владений для того, чтобы вести совершенно отличную от них жизнь, не поглощая собою внегородских территорий, как это было в Италии, и не сливаясь с ними, подобно английским городам*. И здесь, и там, — в одной стране раньше, в другой позже, — происходило политическое раздробление с переходом власти к землевладельцам, раздробление, на почве которого только и мыслимо было позднейшее обособление городов, какого не могло быть в Англии при лучшем сохранении государственного единства, но французские и немецкие города и думать не могли о том, чтобы поглотить собою внегородские территории и на них распространить верховную власть, которая здесь остается за феодалами.

Говоря о городах, достигших политической самостоятельности во Франции и Германии, мы не должны упускать из виду, что далеко не все города в обеих странах превратились в такие автономные общины. Во Франции областями их распространения были юг, где с XI в. развились муниципии с консулами во главе, и север, где возникли присяжные коммуны, да восток, сливающийся уже с германским миром, в западной части которого главным образом и сосредоточивались имперские города. В центре Франции, а также и на западе города ограничились приобретением одних гражданских прав: это так называемый *bonnes villes du roi*¹, не выделяв-

¹ Привилегированные города (фр.). — Прим. ред.

шиеся из политического состава королевских доменов. Равным образом и в Германии, чем далее мы будем отходить на восток от Рейна, тем менее будут встречаться на нашем пути имперские города, сбросившие с себя земское верховенство (*Landeshoheit*) князей, и наоборот, крайний восток Германии, где возникли в конце Средних веков габсбургские и гогенцоллернские владения (позднейшие Австрия и Пруссия), представляет из себя страны, где существовали только земские города (*Landstädte*), находившиеся в зависимости от княжеской власти. Впрочем, и они участвуют в сословно-представительных учреждениях отдельных земель, на которые распалась Германия, в тех земских сеймах (ландтагах), о которых нам придется еще говорить, подобно тому, как во французские генеральные штаты были привлечены и *bonnes villes du roi*, а в английский парламент — города, бывшие в своем роде *bonnes villes du roi* и *Landstädte* по своему положению в государстве.

Был ли город автономной коммуной или входил в состав более крупного политического тела, становился ли он под непосредственную власть короля или оставался под властью феодала, его население в сословном смысле, — за исключением Англии, — строго отличалось от негородского населения. Феодалное общество знало два класса людей — феодалных сеньоров и зависимое от них крестьянство, связанных между собою вассалитетом, феодалным землевладением, а в городах возникает связь гражданства и подданства, первая там, где город был и государством, вторая — когда город не достигал коммунальной автономии. В последнем смысле любопытно появление во Франции так называемых «королевских горожан» (*bourgeois du roi*), т. е. лиц, которые не подлежали сеньориальному суду и вместе с тем были гражданами не той или другой коммуны, а всего королевства. С другой стороны, состав гражданства средневековых муниципий не был однородным. Мы уже видели, что итальянские коммуны приняли в свой состав феодалные элементы, составлявшие с наиболее зажиточными горожанами аристократический класс городского населения. То же наблюдается и в южно-французских городах, которые по условиям своего быта подходят близко к городам итальянским. Тем не менее и в присяжных коммунах севера Франции, не допускавших в свой состав феодалных элементов, возникло различие между *la haute bourgeoisie* и *le menu peuple*. Городской патрициат и плебс существовали равным образом и в немецких *Reichsstädte*. Во всяком случае это не были настоящие демократии, т. к. общий принцип сословного строя средневекового общества отразился и на городском быту, так что не только устанавливалось в городах общественное неравенство, в силу чего на небольшую кучку полноправных граждан приходилась целая масса подданных граждан, но нередко бюргеры не противились соблазну иметь собственных крепостных, хотя общим правилом было приобретение личной свободы крепостным,

переселявшимся в город. На почве гражданского неравенства происходила весьма ожесточенная борьба аристократии и демократии, бывшая в итальянских республиках повторением аналогичного явления в античных гражданских общинах, борьба, во время которой возникала своего рода городская тирания (принципат), губившая республиканскую свободу. Подобно тому, как это было и в античном мире, борьба эта принимала не только политический характер борьбы за власть, но и обуславливалась областью экономических интересов, причем пускалась в ход, как это было, между прочим, и в Германии, та промышленная организация, которая известна под названием цехов. Внутренние несогласия во французских коммунах и притеснения, которым горожане подвергали крестьян, нередко служили для королей поводами для уничтожения коммунальных хартий, т. е. для превращения коммун в обыкновенные королевские города.

Дальнейшая судьба политически автономных городов была различная. В Италии республиканская свобода уступает место развитию княжеской власти (принципата), во Франции объединительная политика королей не делает никакого различия между феодальными владениями и коммунами, в Германии на городскую независимость посягает княжеская власть, развивающая свое земское верховенство. В общем, муниципальный быт, повторявший в иной только форме феодальную раздробленность, склоняется к упадку в конце Средних веков перед объединительными стремлениями нового государства. Там, где централизация делала успехи, от него, как и от быта феодального, сохраняется некоторый остаток местного самоуправления, корпоративных привилегий и муниципальных традиций, со стороны которых возможна была при подходящих условиях такая же реакция, к какой еще бóльшую способность мы замечаем со стороны феодализма. Остается еще особое городское сословие, отличное и от феодальных сеньоров, и от крестьянства, свободное от феодальных прав и участвующее в сословно-представительных учреждениях и в обоих отношениях сливающееся с гражданством (*bourgeoisie*, *Bürgerthum*), которое выработалось в таких городах, каковы вообще все английские, французские *bonnes villes du roi* и немецкие *Landstädte*.

Переходим теперь к сословно-представительным учреждениям, которые, имея в своей основе феодальную систему, получили полное развитие только с того времени, как в них стали принимать участие и горожане.

VI. Сословно-представительные учреждения¹

Сословная монархия и сословно-представительные учреждения. — Их состав. — Их происхождение. — Договорный характер постановлений этих собраний. — Главные их права. — Междусословные отношения в собраниях государственных чинов. — Генеральные штаты во Франции с точки зрения взаимного отношения между сословиями. — Генеральные штаты и королевская власть в Средние века. — Значение штатов.

Между эпохами, когда королевская власть покоилась главным образом на феодальной основе, будучи как бы вершиною феодальной лестницы сеньоров и вассалов, и эпохой, когда утвердилась на Западе абсолютная монархия, воплощавшая в себе верховенство государства, мы имеем право поместить эпоху *сословной монархии, осуществлявшей государственное единство при распределении власти между королем и государственными чинами, т. е. самостоятельными сословиями, эпоху сословно-представительных собраний, при посредстве которых общественные элементы принимали участие в политической жизни и приучались к совместной работе, объединявшей эту жизнь.* Эта эпоха обнимает собою главным образом XIV и XV вв., захватывая, впрочем, и более раннее, и более позднее время: в самом деле, начало аррагонских и кастильских кортесов относится к XII в., но наибольшего могущества они достигают лишь в XIV; в середине XIII только века возникает английский парламент, получающий окончательную организацию лишь в начале XIV столетия и только к середине XV в. приобретающий все те права, с какими он переходит в Новое время; к началу XIV в. относится возникновение и французских генеральных штатов (*états généraux*), но уже к середине следующего столетия обнаруживается, что дальнейшая их роль особого значения иметь не будет; германский имперский сейм (*Reichstag*) более древнего происхождения, но не с ним нужно сравнивать названные собрания, а с немецкими земскими сеймами или ландтагами, образовавшимися в отдельных княжествах, преимущественно в XIV в. и достигшими наибольшей силы к середине следующего столетия. XVI и XVII вв. представляют собою уже эпоху падения этих учреждений, и сам английский парламент, непрерывно существующий и поныне уже более шестисот лет, переживает в это время весьма опасный кризис.

¹ *Guizot. Histoire des origines du gouvernement représentatif; Picot. Histoire des états généraux; Unger. Geschichte der deutschen Landstände.* Ср. книгу проф. В.Н. Латкина «Земские соборы древней Руси сравнительно с западноевропейскими представительными учреждениями», где есть (мало обработанные, впрочем) отделы, посвященные последним.

Одна была эпоха возникновения и развития сословно-представительных учреждений, один и тот же, в сущности, был и их состав: элементы были одинаковые, только в разных комбинациях. На первом плане нужно поставить *элементы феодальные и церковные, бывшие, в сущности, и феодальными*, на втором плане *элемент городской*. Епископы и аббаты могли являться в них как представители церкви (епископы в английском парламенте), но главным образом как духовные вассалы, что устраняло из этих собраний низшее духовенство. В качестве королевских вассалов и феодальных сеньоров появилось на них дворянство — или одно высшее, как это было в Кастилии и первоначально во Франции, или и высшее, и низшее, разделяясь часто на две палаты (*brazo de nobles* и *brazo de caballeros* в Арагонии, *barones majores* и *barones minores* с рыцарями в Англии, *Herrenstand* и *Ritterstand* в Германии). Рядом с ними города, имевшие самоуправление, представлены были первоначально не выбранными *ad hoc* депутатами, а муниципальными властями (консулами, эшевенами, мэрами, бургомистрами, ратманами) или уполномоченными от них лицами. Таким образом, собирались государственные чины, т. е. главным образом местные феодальные и муниципальные власти, обладавшие хотя бы частицею суверенитета, соединенного с феодальным землевладением или с коммунальной свободой, — чего строго утверждать, впрочем, нельзя (особенно по отношению к Англии), — и верховная власть, раздроблявшаяся в феодальном и муниципальном быту между сеньорами и коммунами, здесь как бы снова соединялась воедино. Уже от местных условий зависели различия в комбинации этих феодальных и муниципальных элементов. Во Франции, например, духовенство, дворянство и буржуазия составляли три отдельных штата, тогда как в Англии в парламенте образовалось две палаты, из которых одна (верхняя) составила из высшего духовенства и крупных баронов, а другая (нижняя) — из представителей мелких баронов (*barones minores* — вассалы короля), рыцарей (подвассалов) и горожан.

Еще важнее различие в участии членов этих собраний по личному праву и по представительству: первая форма более древняя, была происхождения феодального, вторая, позднейшая, получила особое развитие со времени присоединения к собранию феодалов и городского сословия. Дело в том, что феодализация захватила в свой процесс и те политические собрания, которые существовали в государствах, основанных германскими племенами в римских провинциях, как продолжение старых народных вече, с тем лишь различием от последних, что благодаря расширению территорий, на которых расселялись германцы, и благодаря уменьшению количества свободных людей эти собрания получили аристократический характер, т. е. на них съезжались только одни духовные и светские вельможи государства. Превращение этих вельмож в феодальных владельцев повлекло за собою превращение и их съездов в феодальные собрания королевских вассалов, с которыми сю-

зерен должен был в известных случаях совещаться, согласия которых в известных случаях он должен был испрашивать. На таких собраниях каждый появлялся по личному своему праву в качестве королевского вассала, сеньора, государственного чина, как лицо, связанное с сюзереном феодальным договором, как носитель известной доли верховенства в стране. Там, где политическое раздробление сделало большие успехи, *феодальный сейм получал характер международного конгресса, характер собрания суверенных владетелей, съехавшихся для каких-либо соглашений общего характера*, причем каждый договаривался от своего имени: такова в основе своей королевская курия во Франции, или курия пэров, таков и германский имперский сейм в ту эпоху, когда каждый имперский чин (*Reichsstand*), появлявшийся на этом сейме, пользовался полным земским верховенством. Когда рядом с феодальным суверенитетом стал суверенитет муниципальный, и городские власти стали принимать участие в этих конгрессах всех самостоятельных политических элементов страны. Генеральные штаты во Франции и выработались из собрания с таким конгрессивным характером, когда к высшему духовенству и дворянству присоединились городские эшечены, мэры и консулы, что случилось в первый раз, как известно, в 1302 г. при Филиппе IV Красивом. По мере того, как короли разрушали феодальный и муниципальный сепаратизм, духовные лица, дворяне и горожане, заседавшие в собраниях штатов, все более и более переставали быть суверенными сеньорами и начальниками суверенных коммун, чтобы превратиться в депутатов от отдельно существовавших сословий духовенства, дворянства и горожан и притом в депутатов, избранных сословиями: это и есть сословно-представительное учреждение в собственном смысле, каким не мог сделаться немецкий рейхстаг, пошедший, наоборот, по пути развития в конгрессивном направлении, по мере того, как на сейме стали появляться лишь непосредственные (*reichsunmittelbare*) чины империи, с течением времени высвободившиеся из-под власти императора и захватившие земское верховенство. Конгрессивность собрания соответствует феодальному и муниципальному раздроблению, какое мы наблюдаем во Франции перед окончательным формированием генеральных штатов, а в Германии с эпохи великого междуцарствия; сословной монархии как объединенному целому именно и соответствует политическое собрание без конгрессивного характера, на котором появляются не самостоятельные политические элементы, а представители сословных интересов в целом государстве. В этом смысле в сравнение с французскими генеральными штатами могут идти в Германии только земские сеймы (ландтаги), на которых были представлены земские чины (*Landstände*) отдельных княжеств. Английский парламент, о котором будет идти речь особо, является с характером именно учреждения, выросшего из феодальных и городских элементов на почве единого государства, чем и обуславливается совершенное отсутствие конгрессивного начала в его истории.

Конгрессивность собраний — там, где она имела место, — придавала принимавшимся ими решениям значение договоров между заинтересованными сторонами, между королями и сословиями: всякая общая мера могла быть результатом только соглашения между участниками собрания. Но и вообще *сословно-представительные собрания, как выросшие на феодальной почве, были основаны на договорном начале, поскольку сама феодальная связь была не чем иным, как договором*, в силу которого сюзерен и вассал принимали на себя известные обязательства один по отношению к другому и поскольку один имел право считать себя свободным от своих обязанностей, раз другой нарушал свои. Собрание вассалов одного и того же сюзерена становилось также в договорные к нему отношения в том смысле, что принятое сообща решение было результатом обоюдного соглашения, в котором участвовали все заинтересованные. Договор мог получать и письменную форму, самый крупный пример чего представляет собою английская Великая хартия 1215 г. (*magna charta libertatum*)¹, бывшая, однако, лишь одною из хартий, дававшихся королями баронам королевства и в первое время (при Генрихе I) по поводам, вытекавшим из чисто феодальных отношений. Договорное право, обеспечивавшееся хартиями, предполагало право вооруженного сопротивления при нарушении хартии: в основе и тут лежал феодальный взгляд, позволявший вассалу «дезавуировать» своего сюзерена, т. е. разрывать с ним основанную на феодальной присяге связь, сохраняя за собою свой феод. В двух важнейших случаях договорное соглашение требовалось как условие действительности решений: с одной стороны, новые законы могли вводиться (и могли отменяться старые) лишь с общего совета и согласия всех (*omnium consilio et consensu, mit Vollwort und Rath der Stände, mit Wissen und Willen der Landschaft*), — право, которого, однако, не могли добиться французские генеральные штаты, — с другой, главной функцией этих собраний было вотирование налогов, установление и взимание которых могло совершаться только с согласия самих плательщиков. Другими словами, *главными правами сословно-представительных учреждений были участие в законодательстве и право установления налогов*. Этими правами разные учреждения пользовались не в одинаковой степени, и одно и то же учреждение обладало ими в разное время не в одной и той же мере. Переход сословной монархии в монархию абсолютную и заключался в прекращении этих собраний, причем и законодательная власть, и право обложения сосредоточиваются в руках короля или князя, как это было в Германии с эпохи Тридцатилетней войны. Падение сословно-представительных учреждений в XVI и XVII вв. происходило не без борьбы с их стороны, и только благодаря энергичному сопротивлению, приведшему к двум революциям (1640—1649 и 1688—1689 гг.), отстояла Англия свой парламент в тот XVII в., когда абсолютизм утверждается в государствах европейского континента.

¹ Великая хартия вольностей (лат.). — Прим. ред.

В то время, когда кортесы, штаты и сеймы находились в периоде наибольшего процветания, *государство имело форму союза самостоятельных сословий с органом своим в представительном учреждении под главенством королевской власти*. Другими словами, в основе этих учреждений лежал сословный строй общества, и взаимные отношения сословий в самой общественной жизни отражались на отношениях, какие возникали между их представителями в собраниях государственных чинов: если между сословиями были единение и солидарность, учреждение, в котором они были представлены, оказывалось способным к сильному действию, к отстаиванию приобретенных прав и к приобретению новых; тогда как междусословный антагонизм и раздоры, перенесенные из повседневной жизни в собрание сословных представителей, отражались и на этих собраниях, подрывая их значение в государственном быту и внося в них элементы разложения. Пример солидарного выступления отдельных классов общества представляет собою английский парламент, заслуживающий особого внимания и по той роли, какая ему принадлежит в новой истории; примером сословного разъединения и почти постоянных раздоров в собраниях могут служить французские генеральные штаты, которые в Новое время лишь раз, во второй половине XVI в., сделали попытку возвратить утраченное, приобрести новые права и, как нарочно, именно в такое время, когда со значительною силою проявился антагонизм, существовавший издавна между дворянством и горожанами.

Одним из основных фактов истории Франции можно считать *резкий антагонизм, в каком находились между собою в этом государстве феодальное дворянство и городское сословие*: с эпохи освобождения коммун вплоть до великой революции 1789 г. и времен Реставрации (1814—1830), т. е. в течение более нежели семи веков, аристократия и буржуазия не могли прийти к какому-либо соглашению, и одним из самых избитых положений истории сделалось то, что *своей победой над феодализмом французские короли были в значительной мере обязаны союзу с горожанами*, помогавшими усиленно королевской власти насчет духовных и светских сеньоров. Это относится главным образом ко времени, предшествовавшему образованию генеральных штатов, когда одновременно с ростом королевской власти при Капетингах XII и XIII вв. происходило и городское движение, подкапывавшее феодализм снизу совершенно так же, как короли разрушали его сверху. Враждебные отношения установились между обоими сословиями и в генеральных штатах, которые в последний раз собрались, как известно, в 1614 г.¹, чтобы окончить свое существование среди непрекратившихся сословных раздоров и своею неспособностью к солидарному действию санкционировать абсолютизм, утвердившийся во Франции вопреки усилиям штатов второй половины XVI в. Причина такого явления лежала в резкой противоположности,

¹ Генеральные штаты 1789 г. в счет не идут.

образовавшейся во Франции между сеньорией и городом, между феодализмом и муниципальным бытом, между положением, интересами, стремлениями, традициями и понятиями дворянства и буржуазии: эта противоположность и тянется через всю французскую историю от первого городского восстания против феодальной власти до последней попытки феодальной реакции в XIX в., и ею обусловлены были те отношения, какие необходимо должны были образоваться между представителями обоих сословий на генеральных штатах во все три века их существования (1302—1615).

Первое явление, бросающееся в глаза в истории генеральных штатов, заключается с этой точки зрения в том, что дворянство отказывалось видеть в «третьем сословии» (*tiers état*, как стали его называть с конца XV в.) равноправный с собою элемент, хотя уже при первом короле, созывавшем генеральные штаты, т. е. при Филиппе IV Красивом (штаты собирались при нем в 1302, 1308, 1313 и 1314 гг.), делались уже попытки совокупного действия «благородных и коммун» в разных частях Франции для ограничения произвола короля. Приниженное положение городских представителей продолжается вплоть до генеральных штатов 1614—1615 гг., как мы это увидим впоследствии, а союзы были явлением лишь временным и непрочным, раз вне штатов феодальная аристократия и буржуазия представляли собою два враждебные друг другу лагеря. В Англии в нижней палате произошло слияние мелких королевских вассалов, рыцарей (подвассалов) и горожан, слияние, подготовившее самую жизнь, которая способствовала соединению, а не разъединению интересов этих общественных элементов, и кроме того, особые условия не ставили верхнюю палату в резкую противоположность с нижней. Притом духовенство в Англии не составило особого «штата», т. к. высшее слилось в верхней палате с крупными вассалами, а низшее, лишенное сословного представительства, не выделилось в особый класс, отличный от рыцарства. В Англии поэтому сословность не получила такого развития, как на материке вообще и в частности во Франции, где генеральные штаты были представительством сословных интересов, постоянно сталкивавшихся между собою. Лишь первый «штат», духовенство, состоявшее впоследствии и из аристократических, и из демократических элементов, играло роль умерителя и посредника при различии в интересах светских сословий. Сословная рознь была одной из причин слабости и других представительных учреждений, и чем более каждое отдельное сословие теряло под собою почву по мере того, как разрушался политический феодализм и города лишались своей самостоятельности, тем все менее и менее их представительные собрания могли играть роль в политической жизни.

В эпоху Реформации и религиозных войн во второй половине XVI в. генеральные штаты сделали попытку ограничения королевской власти периодически собирающимися штатами с правом широкого участия в законодательстве, и это происходило как раз в то время, когда во Франции происходила

феодалная и муниципальная реакция против королевской власти. Такое явление было повторением того, что уже раньше бывало в истории генеральных штатов: события XVI в. будут для нас непонятны, если мы не посмотрим, что в этом отношении представляют собою XIV и XV столетия.

Первые генеральные штаты были собраны Филиппом Красивым в 1302 г. во время спора с папою Бонифацием VIII: это собрание, как известно, провозгласило полную суверенность королевства и зависимость короля в светских делах лишь от одного Бога, и штатам 1302 г., таким образом, принадлежит важное место в истории национально-государственного самосознания Франции. Второе собрание (1308) имело опять-таки особую цель: король наносил удар ордену храмовников и опять опирался на духовенство, дворянство и города. Таким образом, *штаты возникают во Франции по королевской инициативе как опора государственной власти*. Но у дела была и другая сторона: тот же Филипп IV созывает штаты в 1314 г., дабы получить субсидии, которые ему были необходимы для войны, а земли светских вассалов и духовенства, равно как города, имевшие хартии вольностей, не подлежали налогам без собственного согласия, *в силу чего одним из самых ранних прав штатов сделалось право самообложения*. При Филиппе Красивом дворянство даже соединяется с горожанами для отпора чрезмерным денежным требованиям короля и деспотическим его замашкам. При совершавшейся в начале XIV в. перемене династии были собрания духовенства и дворянства, которые за отсутствием горожан не были настоящими штатами (лишь в первом собрании было несколько парижских граждан): исключили из права престолонаследия дочь Людовика X (в 1317 г.), а по его смерти (в 1328 г.) отдали корону Филиппу VI Валуа. В первую половину того периода, когда царствовала в Франции династия Валуа (1328–1589), штаты играли наибольшую роль в истории страны. *Опираясь на право вотирования субсидий, сословные представители делали время от времени попытки вмешательства в издание новых законов*. Именно штаты 1355 г. (при Иоанне Добром) объявили, что они дадут согласие на налоги, в которых нуждалось правительство, лишь под условием таких-то и таких-то реформ, между прочим обуздания произвола чиновников и гарантии того, что никто не будет лишаем права судиться своими естественными судьями. Соглашаясь на налоги, штаты сами назначили особых лиц для их сбора и хранения. В следующем (1356) году, после того, как король попал в плен к англичанам, штаты, руководимые парижским купеческим старшиной (*prévôt des marchands*) Стефаном Марселем, которого поддерживали ланский (Laon) епископ Роберт Лекок и один из членов дворянства (Jean de Picquigny), настояли на целом ряде реформ, выработанных особой комиссией и принятых затем самими штатами. Между прочим, дофин, управлявший Францией, должен был заменить своих советников особыми уполномоченными трех сословий, без которых он не стал бы ничего предпринимать, но он от этого отказался. Провинциальные штаты, к кото-

рым он обратился, примкнули к программе Марселя: они же поддержали и требование штатов 1357 г., выработавших знаменитый «ордонанс» (указ) этого года. Содержание его было таково: можно было взимать лишь те налоги, которые были вотированы штатами, оставлявшими за собою и контроль над расходами; не позволялось лишать кого бы то ни было права судиться своими естественными судьями (по феодальному праву каждый судится своими пэрами, равными) и подчинять трибуналам, назначаемым королем; кроме того, вводились другие реформы, которые должны были установить законный порядок на место произвола. Но в 1358 г. дофин, утвердивший своим согласием этот ордонанс, объявил его отмену, опираясь на то, что духовенство и дворянство не оказывали особенного рвения его поддерживать, но это вызвало только известное парижское восстание под начальством Марселя, к которому примкнули некоторые другие города, встретив, однако, несочувствие собранных Карлом в Компьене штатов. Дофин (впоследствии король Карл V) подавил восстание и если потом собирал штаты, то только для того, чтобы опираться на них в продолжавшейся войне с англичанами, что не мешало ему устанавливать налоги без согласия сословий. Роль их потом падает, созываются они редко или заменяются нотаблями (именитыми людьми) из трех сословий по королевскому приглашению (в начале царствования Карла VI), и лишь новые бедствия государства в конце XIV и начале XV в. вызывают новое политическое движение, в котором, как и в 1357—1358 гг., главную роль играет Париж, на этот раз руководимый мясниками и их челядью. Это было в 1413 г. В Париже произошло восстание под предводительством Кабоша, и по его имени был назван ордонанс (*ordonnance cabochienne*), представленный дофину (впоследствии король Карл VII) и заключавший в себе требование целого ряда реформ административных судебных и финансовых, но это движение не было поддержано более значительными силами, и ордонанс так и остался простой программой. Франция переживала бедственную Столетнюю войну с Англией, страна была разделена и разорена, и штаты, собиравшиеся Карлом VII в двадцатых и тридцатых годах XV в., имели для него лишь значение опоры в борьбе с английским королем Генрихом VI, провозгласившим себя королем Франции и захватившим добрую ее половину. Из этих штатов особое значение принадлежит только одним орлеанским 1439 г.: они дали одному королю право составлять войско и взимать налоги, т. е. сеньоры лишались феодального права содержать военные отряды, и устанавливалась постоянная армия, содержимая на постоянный же налог. Через три года неверское (Nevers) дворянство протестовало против такого налога, но король объявил ему, что для взимания субсидий нет более надобности в созвании генеральных штатов, и что так смотрят на дело многие сеньоры. Карл VII так и не созывал штатов во все остальное время своего царствования, т. е. в течение целых двадцати лет (1440—1461). Таким образом, в 1439 г. *штаты утрачивают свое право вотировать субсидии*, право, которым

как раз главным образом и пользовался английский парламент, расширяя свое политическое значение. Духовенство и дворянство были, однако, изъятые из обязанности платить поземельный налог, и этого было достаточно, чтобы установилась постоянная королевская таля (*taille*), падавшая на поземельную собственность третьего сословия, а оно, несмотря на это, в свою очередь оказывало поддержку королевской власти, когда последняя стесняла старые права двух первых сословий. *Сословная рознь и была, таким образом, основной причиной того, что штаты не удержали за собой права вотирования субсидий.*

После этого штаты собираются редко и роли не играют. В 1467 г., при Людовике XI, только один раз их и созвавшем, сословия уполномочили короля принимать новые меры для блага королевства без созыва штатов, и, желая нарушать один трактат, он в 1470 г. прибегает только к нотаблям. Затем были созваны штаты в Туре во время несовершеннолетия Карла VIII (1484), замечательные тем, что здесь впервые под третьим сословием разумеются представители и сельского населения. Эти штаты возвратились было к традиции пятидесятих годов предыдущего столетия, но все осталось в области одних пожеланий. Карл VIII ни разу не собирал потом штатов, Людовик XII — один раз (в 1506 г.), Франциск I — ни разу, заменив их два раза нотаблями, да и то местными (1526 и 1527 гг.) для протеста против уступки Бургундии испанскому королю, Генрих II — один только раз (в 1545 г.), причем многие члены собрания были назначены самим королем, и лишь во второй половине XVI в., как мы увидим впоследствии, штаты возвратились к традициям 1355—1357 и 1484 гг., хотя опять безуспешно.

К концу XV в. штаты изменили свой характер. Это не был, во-первых, конгресс политических властей, это было собрание выборных от отдельных сословий, причем избиратели давали своим депутатам указы. Во-вторых, в штатах 1484 г. к выборам были допущены и деревни, хотя представителями крестьян были все-таки горожане. В-третьих, намечалась уже бессословная подача голосов: уже в штатах 1308 г. голоса подавались не по сословиям, как в 1302 г., а поголовно, что случалось и впоследствии, штаты же 1484 г. были разделены по «нациям» (6 крупных делений государства), причем в каждой нации все депутаты подавали голоса вместе. Впрочем, на этот счет во Франции не установилось определенного правила.

Штаты, несомненно, служили объединению федерации сеньорий и коммун в одно государство. Они были опорой для королей в их внешней политике. По их указаниям производились многие правительственные реформы. В трудные минуты они даже становились во главе управления, но они не только не утвердили за собою законодательных прав, но даже сами отдали королям несомненно принадлежавшее им право налогов, и причиной того, что им не удалось утвердить своего значения, была, между прочим, застарелая сословная рознь.

VII. Великая хартия¹

Эпоха возникновения парламента. — Особые условия английской истории. — Сохранение в Англии германских учреждений. — Феодализм в Англии. — Первые хартии. — Magna charta libertatum. — Ее утверждение в жизни. — Содержание хартии и сделанные в ней изменения. — Историческое ее значение. — Местное самоуправление в Англии.

Из всех представительных учреждений, возникших в конце Средних веков, самое выдающееся историческое значение принадлежит английскому парламенту: возникнув полувеком раньше генеральных штатов, он получил свою окончательную организацию лишь в эпоху первых генеральных штатов, а к тому времени, когда последние утратили самое важное свое право, т. е. к середине XV в., парламент, наоборот, является уже во всеоружии всех тех прав, с которыми сохраняется в течение Нового времени. С другой стороны, ровно два столетия отделяют дату его возникновения от того момента, когда нормандский герцог Вильгельм завоевал (откуда и его название — Завоеватель) королевство англосаксов, основал в нем новую династию и ввел в Англии феодальные порядки, раздав феодалам своим нормандским вассалам и другим пришедшим с ним баронам. Один из его ближайших преемников, как мы увидим, уже дает хартию, или грамоту, в которой очень важное место принадлежит статьям, ограничивающим право короля как сюзерена в пользу его вассалов, а ближе к первым годам парламента, всего за полвека появилась знаменитая magna charta libertatum Иоанна Безземельного, в которой он соглашается на разные уступки, потребованные возмущившимися баронами и отчасти горожанами. Познакомимся теперь с периодом времени между завоеванием Англии норманнами (1066) и началом парламентов (1265), в почти равных промежутках от начала и конца какового периода были даны королями первая по времени (1100) и первая по значению Хартия вольностей.

История Англии после норманнского завоевания не может быть понята без рассмотрения особенностей английского феодализма, создавшего вместе с отсутствием в первоначальной истории Англии римского элемента и островным положением этого государства совершенно особое для него положение среди других европейских народов.

Римская провинция Британия была мало романизирована, когда ее покинули (в начале V в.) римские легионы, а потом (в середине V в.) заняли язычни-

¹ По истории английского парламента см.: *Stubbs*. The constitutional history of England; *Гнейст*. История государственных учреждений Англии (*Gneist*. Englische Verfassungsgeschichte); *Вутми*. Développement de la constitution et de la société politique en Angleterre; *Фриман Э., Стейббс В.* Опыты по истории английской конституции; *Градовский А.* Государственное право европейских держав, т. I. Сочинение о Великой хартии названо ниже.

ки англосаксы, вытеснившие прежнее кельтское население и лишь через полтора века начавшие принимать христианство (в конце VI столетия). Семь англосаксонских государств, слившихся в первой половине IX в. в одну Англию, не входили в состав и франко-римской империи Карла Великого, из расчленения которой произошли средневековые Франция, Германия и Италия. Наконец, феодализм, выработавшийся на материке из взаимодействия римских и германских начал, был занесен в Англию извне, хотя социальная феодализация уже совершалась в ней сама собою, причем, однако, в политическом отношении страна сохраняла все существенные черты германского устройства вплоть до завоевания норманнами. Англия — и в этом состоит первое ее отличие от главных стран материка — *сохранила в чистоте черты германского политического быта*. Англосаксонский король не был ни преемником власти римских цезарей, ни феодальным сюзереном. Древнегерманское общегосударственное вече продолжало существовать, хотя и в аристократической форме витенагемота, собрания «мудрейших» из народа, т. е. духовных и светских вельмож с королевскими чиновниками. Королевство разделялось на ширь или графства, которые как политические единицы были древнее самого королевства, и в них, с одной стороны, сохраняются народные вече, а с другой, поддерживается связь с центральным правительством в лице королевского чиновника — шерифа. В более мелких делениях, в сотнях и общинах сохраняются народные суды и сходки. По праву завоевания Вильгельм Нормандский занял место прежних королей по отношению к англосаксонскому населению, сохранив в существенных чертах устройство государства, им найденное, и подтвердив права свободных жителей широв, что создавало для последующей английской истории такую основу, какой мы не находим ни в романских странах, ни в самой Германии, прошедшей через период франкской империи. Благодаря этому сохранилась непосредственная связь короля с населением, и Вильгельм *обязал присягою по отношению к себе не одних только пришедших вассалов, но и их вассалов, равно как и прежнее население*. С другой стороны, вынужденный раздать своим баронам и рыцарям земли в лен, новый английский король принял меры к тому, чтобы феодалы не захватили в свои руки верховной власти. Уже одно то, что сохранялась старая англосаксонская организация с довольно значительною властью короля, усилившеюся благодаря завоеванию, и с местным самоуправлением, — создавало препятствие к тому, чтобы бароны, владевшие феодами от короля, превратились в полных господ над своими землями и поделили между собою Англию на политически независимые организмы: если и существовала местная свобода от центральной власти, то она была не феодальная, а старонародная, выражавшаяся в самоуправлении широв. Кроме того, Вильгельм позаботился, чтобы *владения, розданные им в виде феодов, не составляли сплоченных территорий*, которые могли бы превратиться в независимые сеньории: многие вассалы получали весьма большие феоды, но земли, их составлявшие, были разбросаны по многим ширам, что препятствовало их

выделению в самостоятельные территории. Благодаря всему этому *в Англии мы не видим полного развития характерных черт политического феодализма*: страна остается единою, не раздробляясь на независимые сеньории, хотя и учреждаются феоды; бароны, владеющие землею на феодальном праве при зависимости всей собственности от короля, не превращаются в государей, хотя и развивают большое политическое могущество; наконец, политическая связь между королем и нацией не разрешается в вассальную иерархию, т. к. присягою обязаны были по отношению к королю все. Одним словом, политическая феодализация Англии не получает полного развития, хотя в ее государственный быт и вносятся развившиеся во Франции феодальные отношения и понятия, и хотя в первой половине XII в., во время возникших тогда споров за престол между членами династии, феодальная аристократия и пыталась расширить свои права в смысле захвата суверенных прав.

Через без малого столетие после завоевания на английский престол вступил Генрих I (1100), давший первую грамоту английскому народу. Завоевание усилило власть короля, которая при преемнике Вильгельма (Вильгельме Рыжем) сделалась деспотическою, и враждебность баронов к его брату Генриху I заставила последнего опереться на народ. В своей хартии он отказывается от «злых обычаев» своего брата, поработившего и грабившего церковь, обещает баронам не злоупотреблять своими правами по отношению к вассалам и не вымогать от них денег, в неопределенных выражениях говорит и об обеспечении прав народа, исполняя законы доброго короля Эдуарда (Исповедника, последнего англосаксонского короля), т. е. сохраняя старое устройство королевства, но особенно видное место в этой хартии принадлежит определению взаимных отношений между королем и феодальными баронами. Проходит еще полвека и после упомянутой усобицы, бывшей весьма благоприятною для баронов, на престол вступает энергичный Генрих II, основатель династии Плантагенетов (1154), известный своею борьбою с духовною властью в лице архиепископа кентерберийского Фомы Бекета, отец Ричарда Львиное Сердце и Иоанна Безземельного, вынужденного на Великую хартию вольностей. Уже Генрих I подтвердил прежние соображения широв под председательством шерифов и под контролем королевской курии, причем попытки распределения налогов самими жителями, делавшиеся уже при Вильгельме Завоевателе, при Генрихе II получают более правильный характер. Вместе с этим при том же короле военная служба вассалов заменяется особым налогом — *scutagium*. В борьбе, которую вели английские короли с баронами, до конца XII в. сочувствие народа было на стороне первых, но в XII в. тяжелые подати, налагававшиеся на феодалов, горожан и сельчан, сближают всех в оппозиции против короля, к чему при Иоанне Безземельном присоединяется недовольство внешней политикой короля. Известно, при каких обстоятельствах Иоанн Безземельный, стесненный со всех сторон, вынужден был дать *magnum chartam libertatum*. Нам

нужно ближе познакомиться с ее содержанием, не излагая всех 63 ее статей, а останавливаясь на наиболее существенных из них¹.

Король Иоанн от своего имени (хотя хартия имела договорное происхождение) объявлял «архиепископам, епископам, аббатам, графам, баронам, судьям, лесничим, шерифам, превотам, чиновникам, всем бальифам и своим вассалам», что «по внушению Бога и для спасения души», «ради славы Бога, величия святой церкви и блага королевства», «по совету» таких-то и таких-то лиц он подтверждает свободу, права и вольности английской церкви и пожаловал от себя и от имени преемников своих разные «вольности всем свободным людям королевства». Первые статьи хартии говорят о вольности церкви (1) и устанавливают законы о королевских правах и доходах при переходе феодалов по наследству, об опеке над малолетними вассалами, о браках наследников, о вдовьем приданом и праве вторичного замужества, т. е. о таких вопросах, которые вытекали из феодальных отношений, что было и в хартии Генриха I (ст. 2–8), и, кроме того, законы о долговых обязательствах (ст. 9–11). Далее идет статья (12), где сказано, чтобы упомянутый скутагий, которым заменялась личная служба вассалов, и субсидии (*auxilium*) «назначались в королевстве только общим королевства собранием», за исключением законной субсидии, платившейся по феодальному праву вассалами в случае плена сюзерена, посвящения в рыцари его старшего сына и первого брака старшей дочери, причем эта статья распространялась и на город (*civitas*) Лондон, который по следующей статье должен был «владеть всеми старинными вольностями и своими свободными обычаями и на суше, и по водам»: права Лондона уже раньше обеспечивались грамотами Вильгельма Завоевателя, Генриха I и привилегией 1191 г., утверждавшей в городе коммуну, но в той же (13) статье король выражает желание: чтобы «все другие общины (*civitates*), бурги, города, порты владели всеми вольностями и своими свободными обычаями», которые, нужно заметить, в сравнении с лондонскими правами значили весьма мало. Знаменитая 14-я статья должна быть приведена целиком. «При созыве же общего государственного собрания, — говорится в ней, — для вотирования субсидии в других случаях, помимо трех вышеозначенных, или вотирования щитовых денег (скутагий) приглашали бы мы архиепископов, епископов, аббатов, графов и крупных баронов призывными грамотами (они получили название *writ*’ов) за личную нашею печатью, а кроме того, через шерифов и наших бальифов окружную грамотою приглашали всех тех, которые держат феодалы непосредственно от нас, к определенному дню, т. е. по меньшей мере за сорок дней до срока и в определенное место, но во всех призывных грамотах указывали бы причину приглашения; и так, когда уже разосланы приглашительные грамоты, дело в назначенный день подлежит решению согласно с мнением присутствующих, хотя бы не все из приглашенных явились». По-

¹ Пользуемся русским переводом Великой хартии в труде г. Н. Ясинского «История Великой хартии в XIII столетии». Киев, 1888. С. 11–34.

том одна (15) статья запрещает кому бы то ни было взимать субсидию с его свободных людей, за исключением трех законных случаев и лишь в законном размере; за нею следует статья (16), не позволяющая принуждать к феодальной службе сверх того, что следует. Особого внимания заслуживает и статья 18, по которой следствия по некоторым делам производились лишь в ширах 4 раза в год королевскими объездными судьями «с 4-мя рыцарями (*milites*) каждого графства (шира), wybranными в графстве», причем заседания (ассизы) должны были происходить «в день и на месте ширмота», т. е. суда графства, на котором присутствовали епископы, графы, бароны и все свободные жители шира. Отдельные статьи (20–22) касаются условий наложения штрафов на лиц разных состояний, не исключая и крепостных крестьян, равно как ограничивают произвол королевских чиновников и т. п. (26 и след.): к числу этих статей относится, как одна из важнейших в хартии, и статья 39, устанавливающая личную свободу: «ни один свободный человек пусть не подвергается аресту, заключению в тюрьме, конфискации владений, лишению покровительства законов, изгнанию или другой каре; мы не пойдем на него (войною), не пошлем за ним (войска), разве лишь по законному решению его (пэров) или по закону страны». К статьям, обеспечивающим свободу личности, относятся и те (41–42), в которых даруется свобода въезда и выезда, путешествия для купцов и для других людей. Или вот еще статья (52), начинающаяся словами: «если кто без законного суда его пэров будет лишен владения или отстранен нами от имений, движимого имущества, вольностей и права, то мы немедленно это ему возвратим, а если по этому поводу возникнет процесс, тогда поступать по решению 25 баронов», о которых упоминается в статье (55), отдающей на решение 25 баронов вопросы о несправедливых и незаконных взысканиях и штрафах. Любопытна еще статья (60), приглашающая всех королевских вассалов соблюдать по отношению к своим вассалам все обычаи и вольности, пожалованные королем. Остается сказать еще о статье 61, заключающей в себе гарант того, что все будет неприкосновенно исполняться: бароны должны были «избрать 25 баронов в королевстве, каких пожелают, обязанных всеми своими силами соблюдать, поддерживать и принуждать к тому, чтобы соблюдали мир и вольности», пожалованные королем «для лучшего прекращения возникшего между ним и его баронами раздора»: 25 баронов должны были блюсти, чтобы хартия не нарушалась, и если бы король не восстановил нарушенного права, они будут при содействии всей страны «принуждать и преследовать его всеми способами, какими бы могли», не касаясь только особы короля, королев и их детей, и при этом разрешалось всем желающим приносить присягу в повиновении 25 баронам. Таково содержание знаменитой хартии, из-за которой велась еще продолжительная борьба, пока существенные ее постановления не вошли окончательно в силу. Сущность этой борьбы была следующая. Иоанн отказался от исполнения хартии и нашел поддержку в папе Иннокентии III, разрешившем его от присяги, а врагов ко-

роля, наоборот, отлучившем от церкви; началась решительная борьба с баронами, но Иоанн умер в 1216 г. Царствование его преемника Генриха III, у опекунов которого в самом начале бароны вытребовали подтверждение хартии, наполнено борьбою короля с баронами, предметом которой была хартия. Правительство утвердило ее за исключением нескольких статей, и еще несколько раз Генрих III ее утверждал именно каждый раз, когда ему приходилось созывать совет баронов, соглашавшихся на субсидии лишь под условием нового подтверждения хартии, причем бароны оказывались весьма неуступчивыми. При нем, как мы увидим, и возникает парламент во время новой борьбы баронов с королем. Несколько раз подтверждал хартию и Эдуард I, вступивший на престол в 1272 г., постоянно, однако, с ограничениями, пока наконец бароны не потребовали категорического подтверждения. В это время король был в ссоре не только с баронами, но и с духовенством, а сверх того, вел еще войну во Фландрии: ему ничего не оставалось делать, как согласиться на *confirmatio chartarum*, и после этого копии с королевских хартий должны были находиться во всех кафедральных церквях и по два раза в год прочитываться народу. Великая хартия, изданная в начале XIII в. и до конца этого столетия бывшая предметом спора, является как бы исходным пунктом дальнейшего развития государственной жизни в Англии. *По своему происхождению и содержанию она, несомненно, имеет характер феодальный*: это — договор между королем и его вассалами, и многие статьи хартии прямо касаются отношений, возникших на почве феодального быта, тех самых, которыми занята, например, и упомянутая хартия Генриха I, причем за вассалами короля признается право платить известные налоги только по собственному их согласию, данному в особом собрании (ст. 12 и 14). Было бы, однако, несправедливым видеть в хартии только одну эту сторону: утверждая права и вольности церкви, она не забывает столицы государства, пользовавшейся особыми привилегиями, гарантирует права других городов и бургов (ст. 13), признает старое устройство широв (ст. 18), берет под свою защиту всех свободных людей против баронов и обязывает вассалов короля соблюдать по отношению к своим вассалам то же самое, что король обязался соблюдать по отношению к ним самим (ст. 16 и 60), охраняет от чиновничьего произвола даже крепостных крестьян, а знаменитой статьей 39 гарантирует личную неприкосновенность (развитием этого принципа был во второй половине XVII в. *Habeas corpus act*) и законный суд равных (*legale judicium parium*), из которого впоследствии развился суд присяжных и т. д. В этих статьях заключаются *принципы, вышедшие уже из тесных рамок феодального быта, принципы, способные быть примененными к целому народу и к высшим формам общежития*. Но гарантия того, что хартия будет соблюдаться, была чисто феодальная: она заключалась в праве баронов на вооруженное сопротивление, к которому приглашался всякий, кто бы ни пожелал. Статья 61 хартии ставила королевскую власть в зависимость от олигархии 25 баронов, и в этом, — хотя, конечно, и не в одном этом, — заключалось то,

что Иоанн Безземельный не хотел исполнять хартию. При подтверждениях хартии в XIII в. в нее вносились изменения, состоявшие, главным образом, в некоторых пропусках, с одной стороны, и добавлениях — с другой. Первое подтверждение хартии регентами королевства в 1216 г. исключало из хартии, между прочим, статью о 25 баронах, статью 12 и статью 14 и дополняло ее некоторыми постановлениями, ограждавшими население от произвола чиновников. Менее важные изменения были произведены при подтверждении хартии в 1217 г., в каком-то виде ее текст и повторялся потом при всех последующих подтверждениях при Генрихе III, не мешавших ему, впрочем, постоянно нарушать хартию. Несмотря на исключение из хартии статей 12 и 14, в действительности право баронов вотивировать налоги не было отменено, и этим, как было сказано, пользовались бароны, давая деньги лишь под условием утверждения хартии. Упомянутая *confirmata charta*, признанная Эдуардом I в 1297 г., обещая соблюдать ненарушимо во всех пунктах Великую хартию (и еще одну специальную хартию Генриха III), дополняет ее наконец статьей, восстанавливающей, в сущности, пропущенные статьи 12 и 14, но тогда уже существовал самый парламент: король давал теперь обещание за себя и своих наследников духовенству, аристократии и общинам (*a tote commune de la terre*) не взимать субсидий, пошлин и сборов, иначе как с общего согласия всего королевства и на общую пользу. Ввиду именно того, что в 1297 г., когда давалось это обещание, парламент, образовавшийся в середине века, пользовался этим правом, и статья *confirmationis chartarum* уже санкционировала только существовавший факт.

Обоюдный договор, каким была Великая хартия, полагал начало ограничению королевской власти в Англии, и «вольности» даровались ею не одним только феодалам, но и «всем свободным людям королевства», как сказано в первой же статье вслед за подтверждением прав церкви, или «всем жителям», как это повторяется в последней статье. Другими словами, в *Великой хартии* поставлены рядом элементы феодальный и национальный, сохранивший свою живучесть от англосаксонских времен. В истории Англии она сделалась краеугольным камнем политической свободы, фундаментом, на котором устроилась вековое здание английской конституции. Одновременно с «золотою буллою» Андрея II Венгерского (1222), подтверждавшею и определявшею права магнатов и ничего не говорившею о каких-либо вольностях прочих классов населения, сходная и по форме, и по частностям содержания с другими средневековыми хартиями, дававшимися разным чинам, *magna charta libertatum*, важна именно своим всесловным характером, чем Англия была обязана сохранению народных прав англосаксонского периода во время норманнского завоевания. В состав этого права входило и самоуправление графств (широв), ведущее свое начало из самых отдаленных времен, и на почве этого самоуправления легче было вырасти и развиться самоуправлению государственному. Если крупные бароны и составили в Англии особую аристократическую палату, то

в нижней палате были представлены именно эти графства, в которых из мелких баронов, подвассалов, просто свободных людей, вместе с горожанами, не выделившимися в суверенные коммуны, выработался с течением времени особый класс людей, который и стал играть роль как в местном самоуправлении, так и в парламенте, чем устранялся резкий сословный антагонизм континентальных «государственных чинов» и создавалась связь между местной и общегосударственной жизнью и притом так, что местное самоуправление не расчленило единого государства на что-либо подобное феодальным сеньориям или муниципальным республикам, а общегосударственное единство не убивало местной самостоятельности. Это самоуправление графств заслуживает того, чтобы дать ему общую характеристику.

У англосаксов в эпоху их появления в Британии мы наблюдаем существенные черты того общественного устройства, какое за четыре века перед тем было, по описанию Тацита, у всех германцев. Деревни соединялись в сотни, имевшие свои вече (гемоты) или собрания с судебной и полицейской функциями, а города получили значение отдельных сотен, подчиняясь вместе с ними юрисдикции графств. Последние возникли отчасти из прежних самостоятельных королевств и получили название широв. В них сохранялись народные вече (фолькгемоты), как собрания графств (ширггемоты), где тоже решались судебные дела, но более крупного значения, равно как дела по общему управлению графством, в том числе и церковные, для чего собрания созывались два раза в год и должны были *de jure* состоять из всех свободных людей сотен, хотя *de facto* состав их с течением времени сделался аристократическим. Во главе графств стояли королевские наместники (ольдермены) с помощниками своими герефами (ширгерефами), которые и сделались впоследствии настоящими управителями графств. Эти местные учреждения, как мы знаем, были сохранены после норманнского завоевания и послужили основой, на которой и развилось английское самоуправление, т. к. Вильгельм Завоеватель, считая себя вступившим на престол не по праву победителя, а как законный наследник, дал обещание соблюдать законы «доброго короля Эдуарда Исповедника», своего предшественника. Генрих I подтвердил, что ширггемоты и бурггемоты, равно как и сотенные собрания, будут созываться по-прежнему. К эпохе издания Великой хартии победители и побежденные ассимилировались, старые, народные, и новые, феодальные, учреждения срослись вместе, и, как мы уже видели, хартия упоминает о собраниях графств как о существующем учреждении. Графство не было ни территорией какого-либо города, ее в себе и поглощавшего в политическом отношении, ни «графством», в смысле графств французских, представлявших из себя отдельные владения: оно было, так сказать, земством, хотя полноправными их гражданами уже до норманнского завоевания были не все жители, а только свободные, число которых уменьшалось благодаря тому, что в Англии еще до Вильгельма Завоевателя происходил процесс, аналогичный социальной феодализации на континенте.

VIII. Возникновение парламента

Мнение Фримана о связи, существующей между витенагемотом и парламентом. — Magnit consilium. — «Безумный парламент». — Роль Симона Монфортского. — Начало представительства. — Парламент 1295 г. — Англия в XIV и XV вв. — Парламент и континентальные чины. — Состав верхней и нижней палаты. — Сравнение парламента с польским сеймом. — Земля и власть в Англии.

«В истории Англии, — говорит один из ее историков, — не было ни одной эпохи, в которую не существовало бы в той или другой форме народного собрания: был ли то витенагемот, великий совет или парламент — всегда существовало собрание, с большим или меньшим основанием считавшее себя вправе говорить от имени народа». В другом месте тот же историк, описав англосаксонский витенагемот, происшедший из общенародного веча, как собрание (гемот) мудрых (витанов), указывает на то, что «из этого-то учреждения непосредственно и выработался парламент. Относительно одной из его палат, — продолжает он, — можно выразиться определеннее: сказать, что она образовалась из древнего английского собрания — этого мало; можно прямо сказать, что она совершенно тождественна с этим древним собранием. Палата лордов не происходит от древнего витенагемота — это тот же витенагемот: между исчезновением первого и возникновением второго не было никакого перерыва. Король Вильгельм (Завоеватель) созывал своих витанов так же, как король Эдуард (Исповедник) созывал их в свое время, ... и вообще после норманнского завоевания “великие советы” отличаются таким же неопределенным и изменчивым характером, как и англосаксонские гемоты». «Я решительно утверждаю, — говорит он еще, — что палата лордов представляет или точнее есть не что иное, как древний витенагемот»¹. Приведенные слова принадлежат Фриману, и чтобы понять их, нужно припомнить то, что сказано было раньше о превращении старогерманских общенародных веч в собрания духовных и светских вельмож, наследственных и служилых, по мере того, как увеличивалась государственная территория, усиливался аристократический класс и уменьшалось количество свободных людей, имевших личное право участвовать в вече. Таким аристократическим сеймом² и был англосаксонский витенагемот. Фриман, быть может, только слишком резко выставляет на вид непосредственность связи между витенагемотом и парламентом, но с самой общей точки зрения он прав: *между парламентом и витенагемотом существует такое же соотношение, какое мы видим и на материке между позднейшими собраниями «го-*

¹ Фриман Э., Стебс В. Опыты по истории английской конституции. М., 1880. С. 47, 54—55, 57.

² Фриман здесь несколько иного мнения.

сударственных чинов» и прежними аристократическими сеймами. Последние, будучи преемниками народных веч, заменялись в феодальную эпоху собраниями вассалов (феодалынные курии), присоединение к которым других элементов и превращало их в государственные чины. Принимая такой порядок собраний (вече, сейм, курия, штаты), не нужно только настаивать на их непрерывности и непосредственности той связи, какая между ними существовала. В Англии норманнское завоевание и деспотизм первых королей, равно как наплыв континентальных баронов, между которыми поделено было много земли, и введение феодальных порядков должны были произвести перерыв, но, с другой стороны, перерыв этот не продолжался все два века, протекавшие между норманнским завоеванием (1066) и началом парламента (1265), ибо уже много раньше этого последнего события мы встречаемся в истории Англии с так называемым великим советом (*magnum consilium*). Что же такое был этот великий совет и какую роль он играет в образовании парламента?

Правление первых норманнских королей в Англии мы имеем полное право называть личным, а новая феодальная аристократия не настолько еще упрочилась, чтобы сразу начать играть ту роль, какая принадлежала континентальным феодальным сеньорам. Тем не менее мы узнаем из источников того времени, что собрания вассалов все-таки происходили, хоть особого политического значения они и не имели. Гнейст видит в них даже только простые придворно-военные парады, да и Стебс полагает, что функции национальных советов были более номинального, чем реального свойства. Во всяком случае, произошла феодализация этих собраний, превращение их в собрание королевских вассалов, совет и согласие (*counsel and consent*) которого в принципе, по крайней мере, ограничивали власть короля. При Генрихе II, т. е. через столетие после норманнского завоевания, этот совет правильно созывается по два и по три раза в год и по своему составу походит на королевский суд феодальных вассалов, состоя, впрочем, кроме духовных и светских вельмож, и из фригольдеров¹, число которых впоследствии сократилось, и занимаясь делами политическими, законодательными, финансовыми и судебными, и при этом *de jure* для решения дел испрашивался совет нации, законы издавались «*cum consensu et consilio*» собрания и даже обсуждались вопросы податного обложения. Так дело тянулось до эпохи Великой хартии и образования парламента, т. е. до XIII в. Такова была исстари существовавшая почва, на которой позднее вырос английский парламент: его возникновению предшествовала длинная традиция, какой не имели генеральные штаты во Франции, возникшие по инициативе Филиппа Красивого. Большой совет (*magnum consilium*) Генриха II является, действительно, как бы продолжением витенагемота на новых

¹ Свободные землевладельцы. О них ниже.

началах — с большею властью короля, чем та, какою пользовались последние англосаксонские государи, и с более определенным составом обыкновенной феодальной курии. Иоанн Безземельный, возведенный на престол баронами помимо прав его малолетнего племянника Артура, время от времени созывал своих вассалов, предпочитая, впрочем, личное правление. Великая хартия, как мы видели, обязывает его налагать щитные деньги (скутагий) и чрезвычайные пособия (*auxilium*), как с общего совета (*per commune consilium*), в который король должен был приглашать крупных баронов и высшее духовенство личными грамотами, а прочих вассалов через шерифов. Мы видели также, что, несмотря на пропуск при подтверждении хартии статей 12 и 14, заключавших в себе эти обязательства, порядок вещей, ими санкционированный, не был отменен, и принцип, по которому должен был существовать *commune consilium regni*, не потерял своей практической силы и в царствование Генриха III, во вторую половину которого и возникает настоящий парламент.

Генрих III жил в ссоре со своими подданными, и во главе образовавшейся против него феодальной оппозиции стал Симон Монфортский, француз по происхождению, получивший в Англии лейчестерский феод с графским титулом и женившийся на сестре короля, но тем не менее бывший с ним не в ладах. В 1258 г. Генрих III созвал в Оксфорде *magnum consilium*, который уже раньше стал называться парламентом¹, по случаю предложения папою сицилийской короны старшему сыну короля: приобретение этой короны требовало субсидий, и вот Генрих III собирает вельмож и вассалов (*proceres et fideles*) своего королевства в *magnum consilium*. Прелаты и бароны на этом собрании потребовали, между прочим, периодических созывов совета и учреждения комиссий для преобразования управления, на что король дал согласие. В силу этого Генриху III была представлена петиция о прекращении злоупотреблений и назначен был комитет из 24 баронов, из которых 12 было указано самим королем, а 12 избрано баронами: роль его должна была быть посредническая, и в числе членов его членом от оппозиции был Симон. Этот комитет выработал так называемые «оксфордские провизии», т. е. целый проект конституции чисто олигархического характера: парламент должен был превратиться из национального совета, с согласия которого решались законодательные и финансовые вопросы, в учреждение, которое управляло бы государством при посредстве баронских комитетов. Генрих III принял эти условия, но для него этот парламент 1258 г. должен был казаться «безумным» (*insane parliamentum*, как называли собрание 1258 г. сторонники короля), да и помимо того, с протестом против баронской олигархии выступили мелкие бароны и рыцари (подвассалы), подавшие в этом смысле петицию и требовавшие иных преобразований.

¹ Мы увидим, что это название для собраний стало употребляться и в других странах.

Король между тем не подчинялся «провизиям» и даже нарушал прежние законы страны. В это-то время и выдвинулся Симон Монфортский, сделавшийся необыкновенно популярным среди всех сословий английского общества. Началось междоусобие (1263), в битве при Люисе (*Lewes*) Генрих III потерпел поражение и попал в плен (1264), а победитель Симон, признанный протектором королевства, занял положение, напоминающее диктатуру. Но он воспользовался победой, чтобы положить начало новому элементу в великом совете, который только благодаря этому и изменился не по одному названию, но и по существу дела, превратившись в позднейший парламент. *Magna consilia* Генриха III состояли лишь из лиц, которые по своим должностям и феодам призывались им на совещания, и только изредка по специальным вопросам приглашались выборные от рыцарства. Сделавшись фактическим владыкою государства, Симон от имени короля созывает в парламент на 20 января 1265 г. для умиротворения страны и установления новых порядков прелатов и преданных новому правительству баронов, а кроме них, шерифы должны были «прислать» (*venire faciant*) по два рыцаря от каждого графства, по два горожанина из бургов и по четыре выборных от пяти портов королевства. *То есть в парламенте 1265 г. рядом со старыми членами подобных собраний, являвшихся по личному праву, мы видим и выборных представителей от графств и городов, и с этого времени ведет в Англии начало правильная представительная система.* Между тем король и его старший сын (Эдуард) нашли сторонников среди вассалов: принц бежал из-под надзора Симона, война возобновилась, и в битве при Эвсгэме (*Evesham*) Симон потерпел поражение и лишился жизни, прославленный потомством и историей как борец за народную свободу. Победители составили особый акт (*dictum de Kenilworth*), которым Генриху III возвращалась полная власть, но в пределах законов и обычаев королевства и с соблюдением Великой хартии, и дело, по-видимому, кончилось отменой не только постановлений «безумного парламента», но и нововведения Симона Монфортского. Генрих III мирно пользовался плодами своей победы до самой своей смерти.

Призыв представителей графств и бургов для заседаний в парламенте не был совершенною новостью и не был также заимствованием извне (подражанием арагонским кортесам, с которыми Симон Монфортский мог быть знаком как уроженец Южной Франции): такой призыв случался и раньше, и *начало представительства существовало в Англии и ранее 1265 г. в местных учреждениях.* В истории самого представительства английский ученый Стебс (*Stubbs*) различает три разные стороны: 1) самое начало представительства, которое было знакомо англичанам из практики низших судов, судов сотен и широв, 2) *одинаковое применение этого начала ко всем классам общества* и 3) порядок самого производства призыва. Вите-нагемот и великий совет не были собраниями представительными, но в парламенте рядом с непредставительною палатой пэров образовалась

представительная палата общин, в которой были представлены все классы общества, причем члены первой (лорды, пэры) призывались в собрание парламента личными пригласительными грамотами, а депутаты через шерифов. В 1265 г. Симоном Монфортским положено было начало правильному и неслучайному представительству графств и городов в тяжелую годину междоусобной войны с обращением не к одним ширам, но и к бургам, и самая призывная грамота 1264 г. была одинаковым обращением к духовенству, аристократии, графствам и городам, что указывало на желание *Симона Монфортского слить воедино все классы общества в общем национальном деле*. При этом вдобавок была соблюдена форма созыва одних — личными приглашениями, других — через шерифов, уже намечавшаяся статьей 14 Великой хартии, той самой статьей, которая была из нее выпущена при ее подтверждениях.

Верхняя и нижняя палаты образовались, однако, не в 1265 г., а уже в XIV в. С Эдуардом I до 1297 г. продолжалась еще борьба за хартию, завершившаяся, как мы видели, окончательным ее утверждением (*confirmatio chartarum*), а до этого времени царствование Эдуарда I было продолжением того, что представляли собою последние годы Генриха III после победы при Эвсгеме и кенильвортского «dictum'a», хотя король все-таки созывал и *magnum consilium*, приглашая, впрочем, по частным вопросам и для отдельных совещаний и выборов от графств и городов (1275, 1282, 1283, 1290). Первый парламент в форме того, который был созван Симоном Монфортским, относится после этого только к 1295 г.: Эдуард I был вынужден к этому внешними неудачами и затруднениями и необходимостью получить большие субсидии. В пригласительных грамотах этого года, между прочим, говорилось, что «всех касающиеся дела всеми должны и одобряться» (*ut quod omnes tangit ab omnibus approbetur*) и что представители-рыцари графств и представители городов должны иметь полномочия (*plenam et sufficientem potestatem*) говорить и действовать от их имени, но сделано было, однако, различие (впоследствии уничтожившееся) между *magnum consilium* и общинами в том смысле, что первый приглашался *ad tractandum, ordinandum et faciendum*, а вторые — *ad faciendum quod tunc de communi consilio ordinabatur*. В той же форме повторился парламент и в следующем году, а через год произошла известная уже *confirmatio chartarum*, за которою последовали новые уступки со стороны короля.

Так возник парламент в Англии. XIV и XV вв. в английской истории были весьма бурной эпохой, открывающейся двадцатилетним царствованием Эдуарда II (1307—1327), который все это время находился в борьбе с баронами и был низложен парламентом с престола, а потом умерщвлен, — и оканчивающейся тридцатилетним междоусобием Алой и Белой розы, т. е. ланкастерской и йоркской династии. В середине этого периода (1399) повторяется факт низложения короля (Ричарда II), сопровождаемый передачею престола парламентом в ланкастерскую династию, что было причиною внутренних

смут XV в. Несмотря на это, английские политические учреждения именно в это время и развиваются на основах принципов 1215 и 1265 гг. *В первой половине XIV в. парламент получает ту организацию, которую и сохранял потом в течение шести веков до нашего времени; а к середине XV в. прочно устанавливается и его компетенция.*

Английский парламент вполне подходит под понятие сословно-представительного учреждения, ибо в нем были представлены три сословия, которые составляли из себя английскую нацию, т. е. духовенство, бароны и общины, но отличие этих сословий от континентальных заключалось в том, что в Англии они не сделались сословиями замкнутыми, с особыми привилегиями, их разъединявшими, и *с представительством сословным здесь соединилось представительство местное*, имевшее корни в отдаленной старине и с течением времени все более и более получавшее перевес. «Общины» Англии, представленные в нижней палате, ближе подходили к понятию нации, нежели разрозненные «чины» континентальных государств. Палата лордов была простым продолжением великого совета, состоя из прелатов и крупных баронов, так что является с чертами, характеризующими аналогичные учреждения континента, но настоящую самобытность представляет нам из себя палата общин: в ней слились воедино мелкое баронство и рыцарство с гражданством. Рассматривая эту организацию, мы должны спросить: почему в Англии не образовалось особого «чина» — духовенства? Ответ на это заключается в том, что высшие духовные лица, подобно крупным баронам, получали личные приглашения на собрания парламента, и было весьма естественно, что эти духовные и светские вельможи стали заседать вместе. Что касается до низшего духовенства, имевшего свои епархиальные собрания, то оно участвовало в парламентах в лице своих начальников или делегатов, которые заседали то отдельно от рыцарей, то вместе с ними, пока не произошло совершенное отделение их от парламента, т. к. низшее духовенство предпочло вотировать субсидии не в парламенте, а в своих специальных собраниях (конвокациях). Таким образом, высшее духовенство слилось с крупными баронами, а низшее устранилось от парламента, и клир не составил особого «штата». С другой стороны, при первых двух Эдуардах и рыцари от графств, и городские депутаты вотируют то вместе, то отдельно, и только при Эдуарде III окончательно сливаются в одно целое — палату общин, что произошло, кажется, в сороковых годах XIV в.: например, о парламенте 1343 г. известно, что лорды собрались в «белой палате», а рыцари и «коммонеры» в «крашеной». На почве общественной жизни графств происходило слияние разных социальных элементов. Мелкие бароны (*barones minores*), вассалы короля, и рыцари (*milites*), подвассалы, имели много общих интересов и совершенно одинаково призывались в парламент циркулярами на имя шерифов. Старинные собрания графств были наиболее удобным средством для призыва в *magnum consilium* мелких баронов по статье 14 Великой хартии,

а потом и рыцарей (правильно с 1295 г.), тем более что рыцари от графств издавна выбирались для разных местных дел. В этих собраниях они избирались *de jure*, по крайней мере, всеми имевшими право участвовать в самих собраниях, а таковыми были все «свободные держатели» (*libere tenentes*), с 1430 г. (статут Генриха VI) с 40 шиллингами поземельного дохода. Английское рыцарство не было замкнутым сословием: в него проникали свободные собственники, горожане, приобретающие рыцарские поместья, и из него выработался для всех открытый поместный класс — джентри, вполне определившийся вследствие закона о цензе в 40 шиллингов, — класс, с которым благодаря этому закону тесно соединился и класс фригольдеров, т. е. мелких свободных собственников нерыцарских имений. Таким образом, *к середине XV в. произошло слияние в общем земстве мелких феодальных и просто свободных социальных элементов*, причем своим феодальным характером это земство не очень резко отделялось от феодального элемента верхней палаты. Прежде нежели джентри выработался окончательно, началось слияние его представителей с представителями городов.

В Англии города не были коммунами во французском смысле. Лишь немногие из них получили хартии, делавшие из них особые графства, т. е. ставившие их наравне с последними: большей частью города не выделялись из графств, в которых находились. Политическое значение городов (особенно в сравнении с джентри) было незначительно (исключая Лондон), да и не было определенного порядка их созыва в парламент. Все это мешало образованию особой палаты горожан, и, наоборот, было много причин для того, чтобы их *представители соединялись с рыцарями от графств*. Члены низшего дворянства покупали себе дома в городах, горожане приобретали имения в графствах, да и браки между обоими сословиями были часты. Оба они были членами одного и того же графства, подчинены одному и тому же шерифу, и городская милиция должна была являться туда же, куда являлась и сельская и т. д.

Какой же был состав каждой из этих палат?

Верхняя палата состояла из лиц, начавших называться пэрами королевства и носивших разные аристократические титулы: их право было быть лично призываемыми в парламент и составлять особую его часть. Мало-помалу звание пэра сделалось независимым от феодального землевладения, ибо королевская власть имела право приглашать, кого ей было угодно. Тем не менее пэрство сделалось наследственным, и наследственность основывалась не на феодальном держании, а на факте королевского приглашения, причем звание пэра переходило только к одному старшему сыну. Благодаря этому *английская аристократия не была уже прямо феодальною аристократией, и самое звание пэра было особым политическим правом, не распространявшимся на остальных детей пэра*, которые, таким образом, сливались с остальной массой. Должностные лица великого со-

вета мало-помалу утрачивают свое значение, сливаются с недолжностными, и сам королевский совет наполняется пэрами.

В нижней палате было 74 рыцаря от графств, по два из каждого 37 графства, на которые делилась Англия. *Городское представительство было крайне неправильно*, да и не особенно города дорожили этим правом: многим казалось тяжелым платить два шиллинга в день своему депутату, а интереса к парламентской деятельности не было. Кроме того, часто в вопросе о налогах выгоднее было не выделяться из графства, где налоги были ниже. Сговорчивость горожан заставляла, однако, королей увеличивать число городов, призывавшихся в парламент: они могли составить противовес против джентри, но они часто и уклонялись от появления в парламенте. К концу царствования Эдуарда I число призываемых городов было 166, а после Ричарда II только 99, кроме Лондона. Распределены эти города были между графствами крайне неравномерно, а право избирания весьма различно в разных городах — где в руках замкнутой олигархии, где в руках граждан и т. п. Несмотря на все это, *горожан в парламенте к концу Средних веков было больше, чем рыцарей от графств* (первых 226 на 74 вторых), хотя руководящая роль принадлежала все-таки последним, ибо в местной жизни графств главными деятелями были они.

Таков был состав английского парламента, в основе которого лежали местное самоуправление и слияние сословий в одно целое. Несмотря на относительную самостоятельность графств, парламент не превратился в конгресс послов от самобытных политических организмов, у которых были бы сепаратистские тенденции, а слияние сословий не позволяло ему сделаться простым соединением отдельных и друг к другу враждебно расположенных чинов. *В английском парламенте счастливо сочетались принципы государственного единства и местного самоуправления, элементы феодальные и нефеодальные, земские и городские.* В обоих отношениях полную противоположность английскому парламенту мы видим в конгрессивном и односословном польском сейме, организовавшемся к началу XVI в. Сравнение между обоими учреждениями будет бесполезно¹.

Польский сейм состоял из двух палат: из сената и посольской избы. Сенат был королевским советом раннего происхождения и состоял из епископов и вельмож (панов), т. е. был чем-то вроде английского *magnum consilium*, а в посольской избе была представлена только одна шляхта, или рыцарство (*rycerstwo*), выбиравшее своих послов на воеводских сеймиках, т. е. на поголовных собраниях шляхты в отдельных воеводствах, на которые делилось государство, причем послы не получали тех полномочий, какими были снабжены английские рыцари от графств, а снабжались инструкциями сеймиков, связывавшими их самостоятельность: *односословность и конгрессив-*

¹ См. мою книгу «Исторический очерк польского сейма» (М., 1888), где делается сравнение сейма с другими учреждениями подобного рода.

ность посольской избы главным образом и отличает ее от палаты общин. В Польше все захватила в свои руки шляхта, считавшая себя земским элементом (*ziemiańskie*) и исключившая из сейма городское сословие, а с другой стороны, сейму как общегосударственному собранию не удалось подчинить себе воеводские сеймики (нечто вроде собраний графств), и с течением времени сеймиковый сепаратизм даже получил преобладание над сеймом. Произошло и то, и другое в Польше, во-первых, потому, что в эпоху возникновения сейма в Польше городское население в ней было немецкое, сторонившееся национальной польской жизни, а во-вторых, потому, что воеводства, бывшие некогда удельными княжествами, не успели окончательно сплотиться в единое государство ко времени возникновения общего сейма, оставаясь чуть не в личной только унии между собою, как совершенно отдельные земства. Если английский парламент был выражением единства земли и органом общесословного представительства, то он имел все преимущества, перед континентальными «государственными чинами», в которых были представлены с наибольшею силою местные и сословные интересы, но нигде до такой степени интересы отдельных местностей и отдельного сословия не брали такого перевеса над общегосударственными и национальными, как в Польше с ее конгрессивным и односословным сеймом. Англия нашла середину между принципом крайней централизации, возобладавшим впоследствии во Франции, и принципом крайней децентрализации, проявившимся в Польше, и возвысилась не только над односословностью, которая нашла свое выражение в исключительно шляхетском составе польской нижней палаты, но и над чисто механическим соединением трех сословий во французских генеральных штатах. Англия была сильна началом земли, противопоставившимся началу власти, но именно единой земли, хотя и разделенной на графства, а не земель с преобладанием местных интересов, как в Польше, и именно земли, а не отдельных чинов, споривших за сословные свои привилегии, как во Франции, или одного сословия, стремившегося захватить всю власть в свои руки с ущербом для других сословий, как опять-таки в Польше. Благодаря этому Англия избежала и французского королевского деспотизма, возвысившегося над сословною разрозненностью генеральных штатов, и польской шляхетской анархии, действовавшей на государство разлагающим образом, избежала власти, не понимающей интересов земли, и не сделалась землей, не желающей знать никакой власти.

Какие же установились отношения между властью и землей в Англии?

IX. Права парламента

Политическая теория Брактона и Фортескью. — Права парламента при Эдуарде III. — Два политических направления при Ричарде II и революция 1399 г. — XV в. в Англии. — Общий взгляд на компетенцию парламента. — Его финансовая власть. — Законодательная инициатива и билли. — Права палат парламента и его членов. — Суд парламента над королевскими советниками. — Англия при Тюдорах и Стюартах. — Середина XIII и XVII вв. в истории Англии, Германии и Франции.

В конце Средних веков в Англии уже существовала теория ограниченной королевской власти, сделавшаяся общим достоянием нации, ее политической традицией. По этой теории, закон считался выше короля, а источником закона были совет и согласие представителей земли, — *принципы, противоположные тем, которые заявлялись на континенте юристами, изучавшими римское право*. Идея эта развивалась уже при Генрихе III судьей Брактоном: король выше всех в королевстве, но сам он состоит под Богом и законом, ибо закон делает его королем, и о существовании закона напоминают королю его товарищи (*comites*, т. е. графы и бароны) как о границе его власти, сам же закон устанавливается «с совета и согласия» страны и короля (*legis habet vigorem quicquid de consilio et consensu magnatum et reipublicae communi sponione, auctoritate regis, juste fuerit definitum*). Главным теоретиком этой идеи был в середине XV в. Джон Фортескью, одно время бывший канцлером и воспитателем сына Генриха VI Эдуарда, бежавший во Францию во время войны двух роз и там написавший сочинение в похвалу законам своей родины (*De laudibus legum Angliae*). Этот государственный человек был юрист, отдававший преимущество английским принципам перед римскими и французскими, являясь сторонником ограниченной монархии (*limited monarchy*) против абсолютной (*absolute monarchy*). По его теории, основы которой были заимствованы у Фомы Аквинского, есть два вида правлений — королевское (*dominium regale*), основанное на личной силе правителя; и политическое (*dominium politicum*), требующее народного согласия. Англия же соединяет в себе оба эти правления, имея короля и законы, издаваемые с согласия всех, т. е. она есть третья форма: *dominium regale et politicum*. В первом виде правления силу закона имеет то, что благоугодно государю (*quod principi placuit legis habet vigorem*), но этого-то и нет в Англии, ибо без согласия подданных король не может ни изменять законов, ни налагать на народ податей. Тем не менее Фортескью признавал за королями особые права в некоторых исключительных случаях, главным образом во время войны и внутренних смут. Такова была идея, но в подробностях существовали спорные права, относительно которых полити-

ческая жизнь еще не решила — принадлежат ли они одному королю или и относительно их нужны «совет и согласие». Из-за этих прав велась борьба еще в Средние века, борьба, окончившаяся лишь в XVII столетии.

Мы упоминали, что царствование Эдуарда II (1307—1327) прошло в борьбе короля и аристократии и что король был низложен. Борьба продолжается и при Эдуарде III (1327—1377), но тут за парламентом окончательно утверждается право вотирования субсидий: *король мог объявлять войну, деньги же получить мог только через парламент*, и на этом праве утвердилось еще другое, право законодательства, т. е. или парламент вотировал законы, проекты которых вносились в него из королевского совета, или сам подавал королю петиции, которые с королевского утверждения превращались в статуты. Правда, парламентская петиция иногда изменялась при утверждении королем, но парламент добился мало-помалу того, чтобы таких изменений не было. Третьим правом парламента было *право контроля над королевскими советниками*: король был неответственен, отвечать за его действия должны были дурные советники, и парламент пытался было приобрести право участвовать в самом назначении королевских советников (чтобы они брались из палаты лордов и в определенные сроки давали отчет парламенту), но утвердилось за ним только *право обвинения нижнею палатою королевских чиновников перед верхнею палатою, которая в подобных случаях и делалась судом над ними*. Царствование Ричарда II (1377—1399) было временем еще большей борьбы между обеими политическими силами: и парламент, и король поставили вопрос о взаимных отношениях весьма остро, парламент — ссылаясь на свое право низложения короля в случае управления без согласия парламента и требуя, чтобы король выбирал своих советников из членов парламента (1386); Ричард II — заявляя принципы абсолютизма и утверждая, что король лучше знает народные нужды, чем парламент. Победа склонялась то на одну, то на другую сторону, а в этой резкой постановке вопроса мы видим зарождение двух разных течений в английской истории, которые легко проследить в течение трех веков — от конца XIV до конца XVII в.: с одной стороны, было стремление расширить королевские права, с другой — права парламента. В результате в конце XIV в., как и позднее, в конце XVII столетия (вторая английская революция 1788 г.), король потерпел поражение: если в 1398 г. «самоубийственный» парламент дал королю почти неограниченную власть, то в следующем году парламент же, но состоявший из оппозиции, низложил Ричарда II, обставив эту революцию юридическими формальностями. Собрание 1399 г., созванное Ричардом II, но не бывшее открытым по королевскому полномочию и потому, по-видимому, не решившееся назвать себя парламентом, придало низложению короля вид отречения, которое стало рассматриваться влекущим за собою те же последствия, что и смерть короля, т. е. признано было, что парламент, созданный Ричардом II, перестал су-

уществовать вместе с отречением короля, но он тотчас же был собран призывными грамотами Генриха IV. В своем отречении Ричард II мотивировал этот акт своим дурным управлением, и парламент, как бы согласившись с таким мотивом после рассмотрения своего рода обвинительного акта, составленного против короля, подтвердил еще это отречение торжественным актом низложения.

Вступление на престол ланкастерской династии было, в сущности, узурпацией: права, на основании которых Генрих IV сделался королем, были весьма спорные, но узурпация эта санкционирована была парламентом, и новая династия, обязанная своим возвышением народному представительству, должна была поддерживать принципы, восторжествовавшие в 1399 г. Генрих IV опирается на парламент в борьбе с врагами и делает ему существенные уступки. Ланкастерский король настолько укрепился на престоле, что передал его своему сыну (Генриху V, 1413–1422), но при внуке его (Генрихе VI) начинается Война Алой и Белой розы (1455), закончившаяся лишь через 30 лет (1485) с переходом короны к Генриху VII Тюдору. В эту смутную эпоху погибло большинство баронов норманнского происхождения, аристократия пришла в упадок, парламенты, собиравшиеся за это время, были орудием в руках торжествующих победителей, и все это подготовляло *усиление королевской власти при Тюдорах (1485–1603). Но парламент и при них сохранился, сохранились и его стародавние традиции.* Мало того, претенденты на престол во второй половине XV в. добивались утверждения своих прав со стороны парламента, что в теории еще больше поднимало его значение.

Вот с какими правами переходит английский парламент в новую историю, хотя права эти, как было уже замечено, весьма часто были еще предметом спора. В общем, *парламент получил характер учреждения, в известных отношениях ограничивающего королевскую власть:* для издания статутотребовалось его согласие, он вотирует субсидии и даже имел возможность в разных случаях вмешиваться и в дела управления, зависевшие от королей, которые со своими советниками и были настоящим центром последнего. Случаи такого вмешательства были часты, но попытки парламента систематизировать эти случаи и прочно организовать свое влияние в управлении были прямо нападениями на королевскую «прерогативу» в форме отказа в субсидиях, требования удалить дурных советников и даже восстания, и все зависело от личности короля: сильный король делал безуспешными попытки в этом роде, и только в Новое время, как известно, найдена была форма, посредством которой парламент стал оказывать правильное влияние на управление. Вопрос был, однако, поставлен еще в Средние века.

Право вотировать налоги как уже очень древнее право почти не оспаривалось в XV в., и *эта финансовая власть парламента сделалась опорой для приобретения новых прав.* Она не состояла, однако, в одном вотировании налогов, но мало-помалу расширилась в право специализировать и ограничивать

государственные расходы, а также ставить вотирование субсидий в зависимость от удовлетворения жалоб и петиций и даже отчасти в право контролировать расходы. По теории, король должен был жить своими средствами, т. е. покрывать расходы по двору и управлению обыкновенными своими доходами, а для этого королевские поместья (домены) не должны были отчуждаться. Короли имели, однако, возможность доставать деньги и иными путями, например, в форме принудительных займов (например, у евреев) или заграничных займов и т. п.

Правом отказа в субсидиях парламент пользовался для устранения злоупотреблений и для расширения своего участия в законодательстве, подавая королю жалобы (*gravamina*) и петиции. Мало-помалу *к концу этого периода развилась законодательная инициатива палат*, т. е. право почина в издании законов. Законодательная власть парламента почти не подвергается нападению в XV в., а только что указанное право почина выработалось из петиций, превратившихся в готовые проекты законов или билли (*bills*). Вот каким образом это произошло. Главными источниками статуты были или королевские предложения, или парламентские петиции, причем без согласия парламента или без согласия короля статут не мог состояться: король пользовался абсолютным veto, а парламент «авторитетом». Однако королевская власть без парламента издавала иногда распоряжения законодательного характера, отменяла (изредка, впрочем) статуты, приостанавливала их действие (супенсивная власть), освобождала от их применения отдельные лица или целые категории лиц — и все это делала помимо парламента, что нередко было причиной борьбы не только в Средние века, но и в Новое время. Вместе с этим судьи и клерки заносили в статуты парламентские петиции с изменениями, и на это также весьма часто жаловались общины. При Генрихе V наконец состоялась сделка: общины выставили на вид, что в законодательстве они являются не только просителями, но и стороною, дающею свое согласие на закон, в силу чего изменения в петициях находятся в несоответствии с правами палаты, а Генрих V, согласившись с таким доводом, обещал ничего не изменять в петициях, сохранив за собою все-таки прежнее право и отвергать их. Этим-то и создано было право парламентской инициативы: петиции, лишь целиком принимаемые или отвергаемые, сделались проектами законов и мало-помалу даже получили форму готовых законопроектов, дабы судьям и клеркам не было надобности изменять их хотя бы даже только в смысле редакционном, пока при Генрихе VI не было прямо установлено, чтобы именно в форме уже совсем готовых биллей были вносимы в парламент эти проекты. Билли могли возникать в верхней или нижней палате и из той, в которой возникали, должны были переноситься в другую, прежде чем идти на королевское утверждение.

Право созвания парламента принадлежало королю, но парламенты неоднократно с середины XIV в. *выражали желание, чтобы их собирали ежегодно.*

Тем не менее и в царствование Эдуарда III, и при Ричарде II бывали случаи неежегодного созыва парламентов, повторявшиеся и при ланкастерской династии, а Эдуард IV в двадцать два года своего правления созывал парламент только шесть раз. *Палата общин мало-помалу заняла место, равнозначащее с верхней палатой*, а в одном отношении ей принадлежало даже первенство: в 1407 г. палата общин протестовала против того, что король (Генрих IV) совещался с духовными и светскими лордами о субсидиях, и выразили желание, чтобы впредь верхняя палата занималась этим делом лишь в отсутствие короля и чтобы ни лордам, ни общинам не дозволялось сообщать королю о субсидиях, которые будут назначены общинами (как представителями главных плательщиков) с согласия лордов, — прежде нежели лорды и общины не договорятся по этому предмету, да и самое извещение должно бы совершаться лишь устами спикера (оратора) палаты общин. Вообще обе палаты жили в согласии, и с 1407 г. между ними установилось такое отношение, какое было желательно общинам. Далее, права парламента должны были отразиться и на привилегированном положении его членов — *в личной их неприкосновенности и в праве свободной речи в парламенте*. Начало этих прав заключалось в особом положении лордов, с которых они были перенесены и на коммонеров (общины), но в начале каждой сессии избранный палатою спикер просил короля подтвердить привилегии членов палаты. Привилегии обыкновенно подтверждались, но подчас и нарушались, особенно в эпоху борьбы двух роз. Окончательное торжество принципов неприкосновенности депутатов и свободы прений принадлежит уже Новому времени.

В Средние века парламенты весьма часто стремились добиться положительного влияния на назначение королевских советников, т. е. членов тайного совета, имевшего весьма широкое значение как средоточие всего управления. Бывали случаи, что король составлял свой совет по желанию парламента, но к концу Средних веков тайный совет делается главной опорой королевской власти, да и собственное его значение сильно вырастает. Не добившись превращения королевского совета в свой постоянный комитет, парламент, тем не менее, запасается оружием *против дурных советников, возбуждая против них судебное преследование, причем обвинение вчинялось нижней палатой, а судила верхняя*. Во второй половине XV в. появляется еще *bill of attainder*: если не было подходящего закона, под который можно было бы подвести данный поступок, закон создавался после совершения подлежавшего наказанию деяния, которое под этот закон подводилось, а наказание назначалось в виде смертной казни. Хотя таким биллем сначала пользовались сами короли в эпоху Алой и Белой роз, но он сделался именно в руках парламента как бы дамкловым мечом, готовым опуститься над дурным советником короля.

По окончании Войны Алой и Белой розы парламент перешел в XVI в. ослабленным, королевская власть при Тюдорах усиливается до весьма зна-

чительной степени, но парламентская традиция продолжает жить, многие права парламента остаются вне спора, хотя другие, как и прежде, являются спорными. Дальнейшая английская история, сводясь с политической стороны к истории отношений королевской власти и парламента до окончательного торжества парламента, начинающегося с 1689 г., распадается на два периода, которые соответствуют двум династиям, царствовавшим в Англии в XVI и XVII вв., Тюдорам (1485—1630) и Стюартам (1603—1688). Эпоха Тюдоров была временем сильной королевской власти и несамостоятельных парламентов, эпоха Стюартов — временем борьбы между королевскою властью и правами парламента. Известно, что *обе эти эпохи тесно связаны и с историей религиозной Реформации, принявшей в Англии двоякий характер — реформации королевской и реформации народной*, увидим, что первая усиливала в Англии монархическую власть и что политическое столкновение при Стюартах было столкновением не только политическим, но и религиозным — между двумя Реформациями.

Итак, парламент возникает в Англии во второй половине XIII в. и в эту же эпоху намечается та борьба между королевскою властью и парламентом, которая закончилась только в исходе XVII столетия, т. е. протянулась с перерывами целые четыре века. Замечательно совпадение главных явлений середины XIII и середины XVII в. и в истории Германии и Франции. В жизни немецкого народа это было время «великого междоцарствия», время распада Германии на отдельные княжества, закончившегося в середине XVII в., после Тридцатилетней войны, когда Вестфальский мир (1648) превратил Германию чуть не в простой географический термин, хотя и под названием империи: четыре века и здесь (1250—1648) *совершается процесс распада единого государства и расширения территориальной власти князей*, и как известно, и в Германии важная политическая роль в этом процессе принадлежала *религиозной Реформации, усилившей княжескую власть*. Иное мы видим во Франции: современником великого междоцарствия в Германии и первого парламента в Англии был Людовик IX Святой, при котором уже *вполне намечилось будущее возвышение королевской власти*, а современником обеих английских революций и Вестфальского мира четыре века спустя стал Людовик XIV, образец абсолютного короля. Франция не приняла Реформации, имевшей большое влияние на политическую историю и в Германии, и в Англии, но *реформационное движение и в ней было, получив в политическом отношении характер феодальной и муниципальной реакции против роста королевской власти*.

Мы рассмотрели феодальный и муниципальный строй Средних веков, познакомились с тем, как на его основах выросли сословно-представительные учреждения, проследили в общих чертах судьбу одного из них — парламента, а теперь перейдем к королевской власти.

Х. Королевская власть во Франции¹

Королевская власть и история Франции. — Римская традиция в истории королевской власти во Франции. — Характер власти итальянских князей. — Одновременность усиления королевской власти в разных странах. — Общий взгляд на взаимные отношения королевской власти и феодализма с XII по XVIII в. — Короли и генеральные штаты. — Административная централизация. — Королевская власть в конце Средних веков и начале Нового времени. — Парижский парламент.

Новое время на континенте Европы характеризуется развитием королевской власти вплоть до кризиса 1789 г., когда основным стремлением делается ограничение королевской власти по английскому образцу: Новое время было эпохой падения или упадка сословно-представительных учреждений, выросших на феодально-муниципальной почве, и только в XI в., но уже на новых началах возрождаются представительные учреждения. Наиболее типичной страной в этом отношении является Франция. Она рано и сильно феодализировалась в политическом отношении, так что ее король сделался простым главою политической федерации феодальных сеньоров, к которым присоединились с течением времени суверенные коммуны. Во Франции генеральные штаты были характерным выражением сословной разрозненности как одного из условий для того, чтобы королевская власть могла сделаться от них независимой. Уже в начале XVI в. французский король считается наиболее подходящим к типу абсолютного монарха, в начале XVII в. генеральные штаты обнаруживают свою несостоятельность, а Ришелье и Людовик XIV создают то здание, которое было разрушено только революцией 1789 г. С этой точки зрения история королевской власти на Западе, достигшей в Новое время абсолютизма, лучше всего изучается именно на примере Франции.

Королевская власть в средневековых государствах была происхождения германского, но германский характер, как мы видели, она сохранила только в Англии: в других государствах она сильно подверглась римскому влиянию, и благодаря именно ему она ассоциировалась очень рано с идеей абсолютизма. Попытка Карла Великого восстановить императорскую власть окончилась неудачей, но идея абсолютизма не умерла и после распада его империи. Если универсальность этой власти сделалась признаком, за которым погнались немецкие короли, то ее неограниченность стала, так сказать, французской политической традицией. Франкские короли, основавшие го-

¹ Luchaire. Histoire des institutions monarchiques de la France sous les premiers Capétiens; Giraud-Teulon. Royauté et bourgeoisie; Chéruel. Hist. de l'administration monarchique en France; Darest. Hist. de l'administration en France.

сударство в Галлии, сделались преемниками римских цезарей над галло-римским населением, и римский взгляд на власть вступил в борьбу с германским, пока все не было покрыто феодализмом, и положение первых капетинских королей не представило собою образец феодальной монархии, в которой король был простой вотчинник и «первый между равными». *Реальная основа власти первых Капетингов действительно заключалась в их родовом феоде и в вассальных отношениях*, в каких находились к ним герцоги и графы, но *идея этой власти оставалась римская*, сохраняясь главным образом среди духовенства как носителя римских традиций, а затем и в народной массе: вспомним хотя бы аббата Сугерия, помогавшего Людовикам VI и VII возвысить королевский авторитет, и ту поддержку, какую короли находили в народе против феодалов. В XIII в. особенно оживляется эта идея, когда короли, начиная с Филиппа II Августа, современника Иоанна Безземельного, окружают себя юристами, изучавшими римское право: эти «легисты» (законники) были проникнуты политическими принципами императорского Рима, которые и переносили на своих королей, уча, что силу закона имеет то, что благоугодно государю (*quod principi placuit legis habet vigorem*), и на рубеже XIII и XIV вв. Филипп Красивый, тот самый, который собрал первые генеральные штаты, уже ссылался на «полноту своей власти». По мере того, как королевская власть сокрушает феодализм, опираясь на города, потом лишая и города самостоятельности, по мере того, как она отделяется от генеральных штатов, созданных ею самою же в интересах государственного объединения, носители этой власти еще более проникаются римским воззрением на ее значение, а в конце Средних веков у них есть перед глазами и образцы такой власти без всякой феодальной подкладки — в лице итальянских князей.

Первый пример монархов без малейшей примеси феодальных начал мы, действительно, видим в итальянских городах конца Средних веков. Нужно припомнить то, что сказано было выше. Феодализм был соединением суверенитета с землевладением; впервые их разъединение произошло в городских общинах, достигших политической самостоятельности, и сильнее всего в суверенных итальянских городских республиках, где явилась государственная власть без всякой аграрной основы. Эта власть была республиканская, но в итальянских муниципиях повторилась античная борьба между аристократией и демократией, во время которой повторялось и то, что равным образом было знакомо классическому миру, когда в греческих полициях водворялась тирания в древнем смысле этого слова. Итальянский принципат (княжеская власть) характеризует собою XIV и XV вв., как более раннюю эпоху характеризуют городские республики, выбившиеся из-под феодального гнета. Итальянский *принципе* этой эпохи не феодальный сеньор, не государь-помещик, а представитель неограниченной государственной власти, принадлежавшей прежде населению города, а теперь перешедшей к нему:

у его власти весьма часто нет ни законности, т. к. она есть результат узурпации, ни надлежащей прочности, т. к. она нередко держится одной силой, ни правильной преемственности, т. к. довольно часто нарушается ее наследственная передача, но не в том дело. Главное — во власти, опирающейся не на землевладение, и в неограниченности этой власти, обусловленной, с одной стороны, совершенным разложением республиканского быта, а с другой, опорой, какую «принципам» оказывали наемные войска: нередко ведь и сами вожди таких наемных дружин (кондотьеры) захватывали власть. В культурном отношении это была эпоха классического Возрождения, о коем речь будет идти ниже, а тогда римские политические идеи оказали влияние на самую жизнь, и в начале XVI в. практика, какую устанавливали в Италии новые порядки, нашла своего теоретика в лице Макиавелли, «Государь» которого стал оракулом и настольной книгой континентальных королей XVI в. Вот эта-то княжеская политика в Италии и сделалась предметом подражания со стороны французских королей после того, как решение генеральных штатов 1439 г. поставило их в возможность опираться на постоянную армию и взимать налоги без согласия «чинов» королевства.

Пример этот действовал и в иных странах, где условия, аналогичные французским, подрывали значение сословно-представительных учреждений и вели к усилению королевской власти. Мы видели, что последнее произошло даже в Англии с вступлением на престол Генриха VII Тюдора (1485), даже раньше, при Эдуарде IV (1461—1483), лишь шесть раз в 22 года созывавшем парламент. Брак Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской (1469) подготовлял соединение их королевств в одну Испанию, в которой уже устанавливается абсолютизм Карла I (V по Германии) и Филиппа II и т. п. В Германии идея абсолютизма переносится на княжескую власть, и доктора римского права, делающиеся университетскими профессорами и княжескими советниками, в этом деле играют весьма заметную роль.

Постепенное установление абсолютизма в феодальной Европе представляет большой исторический интерес, и особенно, повторяю, любопытно проследить этот процесс на истории Франции. Здесь мы имеем дело с примером того, как *новая власть, возникающая среди устаревших учреждений, однако, уживается с ними*, подобно тому, как в Риме после 30 г. до Р. Х. новая власть принцепса уживается с прежними республиканскими учреждениями, которые и существуют бок о бок с нею весьма долгое время, пока не исчезают, окончательно подкопанные новым политическим началом: и во Франции случилось то же, ибо королевская власть, несмотря на свои римские традиции, только в XII в. выступает на новую дорогу, делается сама новым элементом в феодально-муниципальном строе, а впоследствии вводит новую по отношению к этому строю систему централизации и бюрократического управления, столь отличную от феодального и муниципального

раздробления и феодализации государственных должностей. На первых порах эта власть, подобно власти первых римских цезарей, была *status extra ordinem*, и если впоследствии она стала ссылаться на свое историческое право, то у феодального и муниципального мира было также свое историческое право, шедшее из эпохи полного господства феодализма и коммунального движения, и с точки зрения этой традиции особенно феодальные, а отчасти и буржуазные элементы общества часто смотрели, как на нечто незаконное, произвольное, на все проявления нового начала, — нового, повторяю, по отношению к феодальным и муниципальным стремлениям, но весьма старого в сознании духовенства и народной массы. И старые силы пользуются каждым удобным случаем пустить в ход свои традиции: таковы были феодальные реакции при первых Валуа в XIV в., при Людовике XI, в эпоху религиозных войн второй половины XVI в., в малолетство Людовика XIII и во время фронды в XVII в. Борьба борьбой, но в то же время оба начала и уживаются: феодализм, как мы знаем, был не только политической системой, но и социальным строем, и *королевская власть, разрушая феодализм в политической сфере, оставляла его неприкосновенным в области гражданского права и экономических отношений*, т. е. не трогая сложившихся в феодальную эпоху юридических норм, определявших собою зависимость крестьянства от сеньоров, и поземельные отношения, тесно с нею связанные. При Карле VII, при котором в середине XV в. генеральные штаты совершили акт самоотречения, было положено начало редактированию провинциальных сборников феодального права (кутюм), и в существенных чертах занесенные в них порядки, которыми регулировались в эту эпоху дворянско-крестьянские отношения, сохранились через всю новую историю вплоть до революции 1789 г. Мало того: династия Капетингов с ее отпрысками Валуа (1328—1589) и Бурбонами (1589—1792 и 1814—1830) была сама феодального происхождения, и, проникаясь идеей абсолютизма, она не могла отрешиться от своих феодальных традиций, чем и объясняется *двойственный характер королевской власти во Франции, заключающийся в смещении в ее правах и в ее политике начал феодальных и государственных*. Свои притязания короли выводили не из феодальных традиций, а из римских начал, с которыми знакомилась от духовенства (аббат Сугерий при Людовиках VI и VII), от легистов, из политических учений Нового времени. Они усвоили изречение римского права: «*quod principi placuit legis habet vigorem*»¹, которое было переведено и по-французски: «*si veut le roi, si veut la loi*»², и с Франциска I (1515—1547) стали при издании законов ссылаться просто на свою личную волю как носителей государственной власти, пользуясь формулой: «*cartel est notre plaisir*». Король сделался источником всякой власти и всякого права, сделался, например, источником правосудия

¹ Что угодно повелителю, то имеет силу закона (лат.). — Прим. ред.

² Чего желает король, того требует и закон (фр.). — Прим. ред.

(*toute justice émane du roi*), и только король один (уже при Людовике XI) мог делать цеховых мастеров. «L'état c'est moi» Людовика XIV относится к числу легенд, но принцип, выраженный в этих словах, был действительностью, ибо, по мысли названного короля, «нация во Франции не составляла самостоятельного политического тела, воплощаясь целиком в королевской особе» (*la nation ne fait pas corps en France, elle réside tout entière dans la personne du roi*). А между тем предки французской династии были крупные феодальные сеньоры, бывшие лишь первыми среди равных им феодальных герцогов и графов, и это обстоятельство сказалось на всей истории королевской власти во Франции. В феодализме смешивались понятия права частного и государственного: землевладение было основой суверенитета, государственные должности сделались частною собственностью. Французские короли в своей власти видели поэтому не исполнение политической функции, а свою частную собственность, которую можно отчуждать и продавать, и они, действительно, продавали кусочки, если можно так выразиться, своей власти за деньги, создавая, таким образом, наследственные и несменяемые должности, о чем речь будет еще впереди. Феодальный король был, как *primus inter pares*, член сословия, и таким он оставался и впоследствии в качестве «первого дворянина», своего рода представителя сословных интересов и традиций. Одним словом, королевская власть приспособлялась к старым формам, их подкапывая, да и старые формы приспособлялись к новому началу, не давая ему развиться до логических его результатов; там же, где это оказывалось невозможным, они падали.

Французские короли вышли победителями из борьбы. При последних Каролингах, т. е. с конца IX в., феодалы стремились сделать королевское достоинство выборным (как это и случилось в Германии в начале X в.), но Капетинги позаботились о том, чтобы установить начала наследственности, и счастье им помогло: каждый король умирал, оставляя взрослого сына, который уже ранее, при жизни отца, делался соправителем и королем, избранным феодалами. С XII в. эта власть стала уже прямо наследственной и выступила в роли собирательницы государства, причем начала позднее опираться на города против сеньоров, потом пользоваться услугами легистов, наконец, действовать вместе с генеральными штатами, представлявшими собою всю Францию, для окончательного ее объединения, хотя и отделяется от этих штатов, как только последние начинают мечтать об ограничении королевской власти, а сословная рознь помогает королям это сделать.

К концу Средних веков Франция была уже политически объединена; в ней началась и административная централизация, управление провинциями, бывшими феодальными княжествами, из центра «королевскими людьми». Королевские домены издавна управлялись особыми чиновниками, носившими название на севере превотов и бальивов (*prévôts et baillis*), на юге байльев (*bails*) и сенешалов (*sénéchaux*): они собирали налоги, суди-

ли, созывали войско, вмешивались в сеньориальную юстицию, объявляя многие судебные случаи королевскими (*cas royaux*) и устанавливая принцип, по которому королевские суды должны были быть апелляционными инстанциями для сеньориальных, и всякими иными способами на местах проводили стремления королевской власти. Благодаря им значение последней увеличивалось, и параллельно с увеличением королевских доменов расширялась сфера королевского влияния в управлении и суде как в феодах, так и в городах. Это была работа медленная, незаметная, но прочная по своим последствиям. Средневековая администрация, развивавшаяся главным образом с XIII в., не была централизована, но для централизации все было подготовлено, и Франциск I в первой половине XVI в. создает новый орган управления — губернаторов, задача которых состояла в объединении администрации. Губернаторами были военные начальники, и под их командой находились одинаково и королевские постоянные отряды, и феодальные дружины, и городская милиция. Губернаторам были подчинены прево, бальи и сенешали. Губернатор представлял собою короля в местных учреждениях, каковы были провинциальные судебные палаты (парламенты), и председательствовал в местных сословно-представительных собраниях, провинциальных штатах (*états provinciaux*). На губернаторские места назначалась знать, но, чтобы вельможи не могли узурпировать власть, Франциск I оставил за собою право сменить губернатора, когда ему будет угодно, и в 1542 г. сразу отрешил от должности всех губернаторов во Франции. Предосторожность имела смысл: мы увидим, что во второй половине XVI в., в эпоху религиозных войн, должностью губернатора пыталась завладеть феодальная реакция. При сыне Франциска I Генрихе II (1547–1559) появляются еще временные агенты королевской власти в провинциях — интенданты: это были королевские комиссары, превращающиеся в XVII в. в постоянную должность.

Если мы посмотрим, что же представляла собою королевская власть во Франции в период времени, протекший от генеральных штатов 1439 г., отрекшихся от своего права вотивировать субсидии, до середины XVI в., когда начались религиозные и политические смуты реформационной эпохи, то она представится нам в следующем виде.

Генеральным штатам не удалось развиваться в законодательное учреждение, и после 1439 г., как мы знаем, они созываются редко и, созываясь, не играют роли (штаты созывались после 1439 г. до 1560 г. только в 1461, 1467, 1484, 1506 и 1548 гг.). *Законодательная власть сосредоточивается в руках короля*, и является формула: *cartel est notre plaisir*. *Король распоряжается постоянным войском и постоянным налогом, управляет государством посредством интендантов и уже знает не вассалов, а только подданных*. Перед ним склоняется былая независимость политических сословий. Болонским конкордатом 1516 г., о котором речь еще впереди, папа Лев X из-за денежных выгод отдает

Франциску I *власть над французским духовенством*, предоставляя ему право замещения высших церковных должностей. Дворянство, устроившее было против Людовика XI «лигу общественного блага», т. е. задумавшее целую феодальную реакцию, потерпело поражение, а рыцарственные подвиги Карла VIII, Людовика XII, Франциска I и Генриха II поставили под королевские знамена эту знать во внешних войнах: вспомним одни итальянские походы. Другой приманкой был королевский двор, устроенный по образцу дворов итальянских династов, веселый и роскошный двор, где дворяне были желанными гостями, жили, ели, пили, забавлялись на королевский счет, занимали разные почетные должности, выпрашивали для своих детей епископства и аббатства, растрачивали свои феодальные доходы, получая щедрые подачки от короля, и *из независимой феодальной аристократии превращались в придворную знать*, продававшую свое бывшее значение за деньги, за внешний почет, за веселую жизнь, за сохранение сеньориальных прав. *Муниципальные вольности исчезли еще раньше, и третье сословие находилось в таком же подчинении*. Королевская администрация сокрушила городское самоуправление, как сокрушила она и феодальную самостоятельность, вмешиваясь в финансовое хозяйство городов, которое велось дурно и приводило к банкротствам, ограничивая судебные права выборных городских властей, являясь в качестве посредницы при споре между «лучшими» и «меньшими» людьми, подчиняя себе выборных городских чиновников, устанавливая над ними свой контроль и заменяя их прямо назначенными королевскою властью. Последнее особенно относится к царствованию Франциска I. При внуках Франциска I, последовательно царствовавших один за другим, при Франциске II (1559—1560), Карле IX (1560—1574), Генрихе III (1574—1589) мы увидим, однако, как и знать, и города вступят в борьбу с властью, снова выступят на сцену генеральные штаты, и как все это движение сплетется с религиозной Реформацией.

Говоря об этом процессе возвышения королевской власти, я нарочно оставил под конец историю *одного учреждения, которое вырастает в одно время с монархией и вместе с нею падает* в конце XVIII в., нося общее имя с английским законодательным собранием, но будучи явлением совершенно своеобразным, учреждением феодальным по происхождению, государственным по значению, учреждением, *в котором на феодальную основу наслوились бюрократические элементы, учреждением, в котором до самого конца XVIII в. не умирала мысль ограничить королевскую власть и с которым последняя находилась в частой борьбе, не уничтожая его, однако, до конца XVIII в.:* одним словом, нам нужно еще познакомиться с организацией и ролью парижского парламента¹.

При капетингских королях образовалась феодальная курия (*curia regis*), состав которой менялся, смотря по делам судебного большего ча-

¹ О легистах см. соч. Bardoux.

стью характера, которые в ней решались, и в ней заседали то крупнейшие вассалы (пэры), то епископы с аббатами, то сеньоры непосредственных владений короля (доменов) и коронные чиновники, пока все эти лица не стали появляться вместе, не составляя, впрочем, постоянного судилища. При Людовике IX из курии выделяется судебное учреждение, которое и начинает называться парламентом и делается в начале XIV в. (в 1302 г. при Филиппе IV) постоянным собранием, разделившись при Людовике Длинном (1319) на три палаты, что указывает на увеличение и усложнение его деятельности: это были *grand' chamber* как апелляционная инстанция, *chambre des requêtes*, судившая в первой инстанции, и *chambre des enquêtes*, готовившая дела для «большой палаты». Впрочем, Филипп IV выделил еще из старой курии большой совет для дел политических и административных и счетную палату (*chambre des comptes*) для финансовых дел. Чисто судебный характер учреждения требовал в нем постоянного присутствия юристов, и они появились: это были упомянутые законники, легисты, сначала в роли юрисконсультов и докладчиков, потом в качестве королевских судей, когда феодальные сеньоры увидели, что судебные тонкости не их дело. И вот легисты облачаются в пурпур с горностаем, как бы указывая этим на то, что в них представлена судебная власть, имеющая свой источник в короле. Мало-помалу пэры, продолжавшие считаться членами парламента, стали появляться в нем лишь тогда, когда судился кто-либо из равных им, да в некоторых торжественных случаях. Будучи по своему происхождению феодальной курией пэров (*cour des pairs*) и по временам превращаясь снова в таковую, парламент сделался, однако, учреждением бюрократическим, а члены его, легисты из буржуазии, оказались завзятыми противниками феодализма. С этой стороны парламент дополнял собою прево, бальи и сенешалей, установивших апелляцию в парламент на приговоры местных судов, в том числе и феодальных. По образцу парижского парламента в XV в. основываются провинциальные, каковы были тулузский, гренобльский, бордоский, дижонский и др. Мало-помалу парижский парламент стал мечтать о политической роли, и «королевские люди», каковыми были его члены, *начали стремиться к тому, чтобы поставить под свой контроль законодательную власть короля*. Легисты с течением времени прониклись сознанием того, что парламент есть королевская курия, что в этой роли он продолжает собою старинные учреждения страны, и одно обстоятельство дало им повод настаивать на своем «праве регистрации» (*droit d'enregistrement*). В Средние века обычные факты делались прецедентами, на которых основывалось право, а одним из обычных фактов парламентской жизни было то, что короли объявляли свои ордонансы (указы) через парижский парламент, который в таких случаях обязан был заносить их в свой реестр: эта обязанность была понята в смысле права, логическим следствием чего

было то, что *судебно-бюрократическое учреждение считало себя вправе отказывать в зарегистрировании королевских повелений, делая при этом со своей стороны представления или ремонстранции (remonstrances)*, а в случае надобности и прекращая свою деятельность. Признав за парламентом право ремонстранции, королевская власть не допускала развития иных его прав в этой области, хотя для того, чтобы сломить сопротивление королевских людей, требовалось экстраординарное средство: оно называлось «тронным заседанием» (*lit de justice*) и состояло в том, что король являлся в «большую палату» и заседал в ней лично, окруженный пэрами, сановниками и двором, приказывая своим чиновникам внести ордонанс в реестр, и члены парламента в таких случаях не осмеливались выказывать непослушание, ибо они в присутствии короля как бы лишались самостоятельной власти. Первый пример такого *lit de justice* относится к середине века, последний был перед самой революцией 1789 г. *Парламент продолжал претендовать на законодательный контроль в течение нескольких веков*, а после того, как прекратились собрания генеральных штатов, т. е. с начала XVII в. он смотрел на себя как на своего рода представительство страны. При сильных правительствах ему не удавалось, однако, играть политической роли. Однажды (1462) Людовик XI напомнил ему, что он учрежден королем для отправления правосудия и ни во что вмешиваться больше не должен. Самое право ремонстранции стало оспариваться, и парламентским уполномоченным, явившимся к Франциску I протестовать против конкордата с папой (болонского, 1516), этот король объявил, что он король и требует послушания, и пригрозил им тюрьмою, если они немедленно не доведут о его воле до сведения своих товарищей. Парижский парламент не имел, разумеется, значения представительного собрания: это была судебная палата, его члены были судьи, королевские чиновники, а не выборные представители сословия или нации. Мало того: это были с Франциска I наследственные обладатели своих мест, т. к. последние продавались за деньги для пополнения королевской казны. Впрочем, это-то и создавало их независимость по отношению к власти и позволяло им при случае играть роль оппозиции, *приучая и народ смотреть на парламент как на своего рода представительство, ограничивающее королевский произвол*, хотя парламент сам был и произволен, и продажен, и служил впоследствии *оплотом социального феодализма против реформ, требовавшихся духом времени*. В XVII в. «дворянство робы» (*noblesse de robe*, роба — судейское платье) сделало даже попытку ограничения королевской власти постоянным законом — в эпоху так называемой фронды, бывшей в малолетство Людовика XIV. При Людовике XV (1715—1774) и Людовике XVI были особенно часты случаи столкновения правительства с парламентами.

XI. Политическое раздробление Германии¹

Немецкая история в сравнении с английской и французской. — Общий взгляд на политику немецких императоров в Средние века. — Идея Священной Римской империи. — Усиление княжеской власти в Германии. — Великое междуцарствие. — Политика и положение императора в XIV и XV вв. — Избирательная монархия. — Курфюрсты. — Золотая булла и имперский сейм. — Князья. — Города. — Имперское рыцарство. — Усиление Габсбургов. — Реформы имперского устройства.

Основной факт английской политической истории с конца Средних веков — развитие парламента, французской политической истории — рост королевской власти, немецкой — распадение политического единства: эти основные факты намечаются в середине XIII в. в эпоху Генриха III в Англии, Людовика Св. во Франции, великого междуцарствия в Германии, а через четыре века вполне достигают наибольшего своего развития в эпоху последней борьбы парламента с королями, в эпоху абсолютизма Людовика XIV, в эпоху совершенного раздробления Германии по Вестфальскому миру, чтобы проявляться потом в главнейших явлениях английской, французской и немецкой истории в XVIII в. вплоть до революции 1789 г. Франция и Германия входили (вместе с Северной Италией) в состав империи Карла Великого, но отделившись одна от другой по Вердунскому договору 843 г., они пошли по разным дорогам. В то время, когда во Франции политический феодализм достиг наибольшего развития, т. е. в X в., Германия еще сохраняла свое единство, хотя и здесь начинался процесс феодализации и, наоборот, с середины XIII в., когда во Франции уже значительно усилилась королевская власть, в Германии она падает, а в Новое время рядом с единой Францией существует раздробленная Германия, эта федерация княжеств и вольных городов под верховенством большею частью бессильного императора: дело распада, сильно подвинувшееся вперед в эпоху междуцарствия (1250—1273), продолжается в эпоху Реформации (1520—1555) и завершается Тридцатилетней войной (1618—1648), после которой имперский сейм делается простым конгрессом послов от князей и вольных городов, а князья превращаются в абсолютных господ над своими княжествами, подражая политике Людовика XIV и отделяясь от правительства местных сословно-представительных учреждений.

¹ *Визинский Г.* Папство и Священная Римская империя в XIV и XV вв.; *Брайс.* Священная Римская империя (*Bryce. The holy roman empire*); *Höfler.* Kaiserthum und Papsthum; *Ficker.* Das deutsche Kaiserreich in seinen universalen und nationalen Beziehungen; *Janssen.* Geschichte des deutschen Volkes Seit dem Ausgange des Mittelalters.

Исходным пунктом этого процесса нужно считать X столетие и видеть его причины в трех фактах. Факт первый: с прекращением каролингской династии, т. е. с 911 г., в Германии *королевское достоинство делается избирательным*, попадая в роды племенных герцогов. Второй факт — завоевание Оттоном Великим Северной Италии и *принятие им императорского титула* (962), что заставляло его преемников постоянно стремиться к обладанию Италией, отстаивавшей свою независимость: для итальянцев их император был чересчур немецким королем, для немцев их король — чересчур римским императором, и в погоне за Италией он действительно забывал свои интересы в Германии. Третий факт — *вековая борьба папства и империи*: принятие немецкими королями титула римских императоров заставило их вмешиваться в дела не только Италии, но и папства и приводило их как светских владык мира, по средневековой теории, в столкновение с духовными главами западного христианства. В этой борьбе папство поддерживало все, что было враждебно императору в Германии и Италии, немецких феодалов и итальянские республики, а избирательная власть, вечно нуждавшаяся в помощи вассалов против мятежных итальянцев и враждебных пап, делала уступки князьям и стремилась осуществить идею универсальной монархии феодальными средствами, упуская из виду свои реальные интересы. Гогенштауфены падают в борьбе, два десятилетия тянется междоусобица, а с Рудольфа Габсбургского императоры уже не мечтают об универсальной власти, не заботятся даже о своем немецком королевстве, а хлопочут, подобно другим князьям в Германии, об увеличении своих родовых владений. Нужно было стечение особых обстоятельств, чтобы в первой половине XVI в. императорская корона покоилась на голове государя (Карла V), возмечтавшего вернуться к традиции могущественных императоров X–XII вв.

Идея Римской империи или «Священной Римской империи немецкой нации», тесно связанная с внутренней историей Германии с середины X в., есть идея чисто средневековая, представляя собою, однако, наследие Древнего мира. Можно сказать, что в этом идейном наследии было две черты — понятие о власти абсолютной и понятие о власти универсальной, и что если французские короли, бывшие национальными, а не космополитическими государями, особенно проникались идеей сосредоточения в своих руках всего суверенитета государства, то, наоборот, немецкие короли, императоры римские гнались за осуществлением идеи универсальной монархии, будучи даже готовы видеть в других государях *quasi reges provinciales*¹, над которыми они господствуют. Римское наследие, далее, получило в Средние века религиозную оболочку: империя была «священной», что тесно связывало ее с католическою церковью. Для варварских королей, основавших в провинциях Западной Римской империи новые государства, власть им-

¹ Нечто вроде провинциальных правителей (лат.). — Прим. ред.

ператора, сначала западного, потом (с 476 г.) восточного, была высшей властью на земле: они считали свои королевства частями этой империи, номинально признавая верховенство императора. Номинальная связь Запада с византийским «василевсом» порвалась в 800 г., когда Карл Великий, король франкский, восстановил западную империю, а затем последовало вторичное ее восстановление Оттоном Великим, после чего она и сделалась империей немецкой нации. Наконец, известное пророчество Даниила толковалось в том смысле, что «четвертой монархией» была именно империя Римская, что она будет существовать до скончания мира, т. к. сам Христос родился в ней, и что средневековая империя есть прямое продолжение древней. Мы еще подробнее будем рассматривать отношения между империей и папством, а теперь отметим, что, по средневековой теории, одна власть дополняла другую: обе власти были вселенские, универсальные, одна над душами, другая над телами, и если «преемник апостолов» был «всеобщим епископом» (*episcopus universalis*), то наследник «цезарей» был «господином мира» (*dominus mundi*). Идея эта одушевляла всех великих императоров Средних веков, но если уже тогда она была фикцией, то тем более имеют характер реставрации старины такие попытки универсальной монархии, каковы были сделаны в Новое время Карлом V в XVI в., Людовиком XIV в XVII в. и Наполеоном I в начале XIX в., тремя государями, претендовавшими на наследие Карла Великого. Между Гогенштауфенами, павшими в борьбе за идею империи, имея против себя и папство, и итальянский национальный патриотизм, и развивавшийся немецкий феодализм, и Карлом V, возобновившим традицию средневековой империи, прошло два с половиною века (с середины XIII до начала XVI в.), в течение которых в Германии происходил процесс усиления территориальной власти князей.

«Германское королевство, — говорит Брайс¹, — разбилось под тяжестью Римской империи. Для того чтобы приобрести всемирное господство, Германия пожертвовала собственным политическим существованием». Действительно, итальянские походы и споры с папой заставляли императоров делать уступки помогавшим их политике князьям; в частые отсутствия их из Германии магнаты узурпировали не принадлежавшие им права и затем уж их не хотели возвращать; а папство вдобавок приглашало их к восстаниям и даже поощряло выставлять антиимператоров. Еще с этой эпохи *намечается процесс усиления власти князей* и главный политический вопрос немецкой истории: *Германия распадается на княжества, а попытки объединения встречают оппозицию*. Так было в Средние века, так было и в Новое время — при Карле V и в эпоху Тридцатилетней войны, когда шла борьба между Габсбургами и князьями, так было и после Тридцатилетней войны, уже в XVIII в.,

¹ Брайс Дж. Священная Римская империя. М., 1891. С. 169.

когда образовался знаменитый «союз князей». Только Французская революция и Наполеон I разрушили немецкое мелкoderжавие, не создав, впрочем, единства Германии, которое осуществилось только в 1870 г., да и то не в виде единой монархии.

Уже двумя прагматическими санкциями 1220 и 1232 гг. Фридрих I утвердил сделавшиеся обычными права епископов и знати, превращавшие их в государей их городов и территорий, за исключением случаев его личного нахождения в этих городах и территориях. Королевская власть в Германии попадала в положение, какое занимала она во Франции при первых Капетингах. В годы великого междуцарствия наступила анархия, господство «кулачного права»: прелаты и бароны расширяли свои земли, рыцари разбойничали, города соединялись между собою для взаимной защиты. Когда снова явился государь в лице графа габсбургского Рудольфа (1273—1291), имперская политика изменилась. Выбрали в императоры в сущности не особенно значительного владельца в Эльзасе и Швейцарии, и он уже вовсе не думает идти в Италию, помня басню о лисице, которая видела много следов в пещеру льва и зато не видела следов оттуда, но он пользуется случаем, чтобы прихватить к своим наследственным владениям Австрию, Штирию и Крайну. И Адольф Нассауский был незначительный граф, «бедный рыцарь», выказавший, однако, поползновение округлить свои владения. После этого походы в Италию не предпринимаются, а если и делаются исключения, как это было при Генрихе VII Люксембургском и Людовике Баварском, т. е. в первой половине XIV в., то результаты таких исключений были ничтожны. *Вся деятельность новых императоров была сосредоточена на увеличении своих наследственных княжеств*, а правами «священной империи» они пользуются лишь для добывания денег, продавая в Германии и в Италии князьям и городам титулы, права, привилегии, вольности или за деньги закладывая достояние империи. Достоинство императора падает. Карл IV (1347—1378), «отец Чехии и отчим Германии», получает корону от папы как дар, но под условием — не быть в Риме более одного дня. В Пизе подожгли дом, где он остановился, во Флоренции ссудили деньгами лишь под залог драгоценной короны. Тем не менее и он сумел для своей фамилии попользоваться приобретениями в Германии. Вацлав и не показывается в Германии. Чешские дворяне одно время держат его в плену, а немецкие князья, наконец, низлагают (1400). Его брат Сигизмунд (1410—1437) закладывает за деньги имперские города, расточает права империи и по просьбе Констанцкого собора полтора года разъезжает, живя на чужой счет. Альбрехт II Австрийский долго колеблется, принять ли ему корону. При его племяннике Фридрихе III Венгрия и Чехия получают национальных королей, хотя права принадлежали опекавшемуся им сыну Альбрехта. Австрия от него отрывается. Бургундский герцог Карл Смелый, мечтавший получить от него королевскую корону, поставил

его при личном свидании в Трире в такое положение, что император предпочел тихонько уехать переодетым. Его сын Максимилиан в качестве жениха богатой бургундской наследницы, дочери Карла Смелого, Марии, взял у своей невесты «немножко деньжонок», чтобы иметь возможность приехать на свадьбу, а позднее он служит в армии английского короля за сто червонцев в день. Но и он сумел усилить свою фамилию в Германии известными браками (*Bella gerant alii, tu, felix Austria, nube*). При таком положении дел императорская власть рассматривалась как нечто бесполезное. В 1273 г. ольмюцкий епископ писал папе, что императоры по бессилию и недостатку средств (*ob impotentiam et necessariorum defectum*) не могут *regnare utiliter et praeesse*. Фридриха III одна хроника называет *ein unnützer Kaiser*. Сравнения, какие делались между князьями и императорами, были обидны для последних: около 1400 г. один современник пишет, что в Германии иной архиепископ или епископ подчас имеет вдвое доходов (*in duplo plus habet in redditibus*), чем получает *rex romanorum* во всех своих землях (*in omnibus terris, sibi subjectis*), а д'Альи (деятель соборной реформы) говорит, что до такой степени пала (*depressa est*) императорская власть, что более, нежели император, имеет значение (*magis honoretur ac vereatur*) даже какой-нибудь итальянский кондотьер (*alius capitaneus gentium armigerorum in Italia*). Это не мешало, однако, императорам высказывать гордые притязания на всемирную власть, выразившиеся, например, в известном смысле, какой Фридрих III придал гласным латинской азбуки: A (ustriae) E (st) I (mperare) O (rbi) U (niverso)!

Римский император был государь избирательный. De jure право сделаться императором принадлежало каждому христианину (разумеется, католику), но de facto императоры выбирались обыкновенно из какой-либо могущественной княжеской фамилии в Германии, в чем как бы повторялось древнегерманское сочетание избрания и наследственности короля, т. е. избрания его из членов определенного рода. Таким образом, Германия в течение целых девяти веков (911—1806) была наследственно-избирательным государством (*ein erbliches Wahlreich*). В самом деле, за Конрадом Франконским царствовала более ста лет (919—1024) саксонская династия, потом одно столетие (1024—1125) династия франконская, а после Лотаря Саксонского (1125—1138) опять более чем сто лет (1138—1250) династия Гогенштауфенов. Правда, после междоусарствия князья предпочитают менять династию, и выборы происходят вперемешку, но и тут старое начало возобладало. Императоры из Габсбургов были в 1273—1291 (Рудольф I) и 1298—1308 (Альбрехт I) гг. и между ним один из графов Нассауских (Адолф, 1292—1298); в течение ста тридцати лет царствовали императоры из люксембургского дома (Генрих VII, 1308—1313, Карл IV и Вацлав, 1347—1400, Сигизмунд, 1410—1437) с промежуточными царствованиями одного императора из баварского дома (Людовика IV, 1314—1347) и одного из

Пфальца (1400—1410), пока в 1438 г. корона не возвращается снова к Габсбургам, которые и не выпускают ее из рук (кроме небольшого перерыва в середине XVIII в.) в течение трех с половиною веков. Избрание ослабляло власть: каждый желавший получить высший светский сан в западном христианстве должен был делать избирателям уступки из прав, принадлежавших его предшественникам, и опять уступать, чтобы обеспечить избрание своего сына, но т. к. власть не была наследственной, то и пользование ею рассматривалось с точки зрения той выгоды, какую из нее можно было извлечь для увеличения наследственных владений и личных средств.

Право избрания принадлежало особым князьям-избирателям, *которые по латыни назывались principes electores*, по-немецки курфюрстами (Kurfürsten). Мало-помалу именно из рук вообще знати, действия которой, как предполагалось, одобряются и народом, это право перешло в руки ограниченного количества князей, именно семи, из которых трое были архиепископы самых богатых епархий: майнцской, кельнской и трирской, четверо светские владетели: пфальцграф рейнский, герцог саксонский, маркграф бранденбургский и король богемский. Числу семь было даже придано священное, мистическое значение. Этот порядок был легализован золотой буллой Карла IV (1356), имевшей своею целью упорядочить избрание императоров, сопровождавшееся в прежние времена междоусобиями, но *золотая булла вместе с этим узаконила независимость курфюрстов и ослабление императорской власти*, в силу чего император сделался простым *Vorsteher der Reichsgemeinde*¹, т. е. если *de jure*, то *de facto* своего рода *primus inter pares*. Золотая булла распространяла на курфюрстов многие королевские права (регалии), устанавливала нераздельность их владений с правом первородства в светских курфюршествах, давала им право чеканить монету, приравнивала к оскорблению величества преступления против особы курфюрста, изымала подчиненных им лиц от чужой подсудности и т. п., и постепенно подобные права стали переходить и к другим князьям. Постоянным местом избрания императора был объявлен Франкфурт-на-Майне, председательство передано архиепископу майнцскому, три архиепископа были признаны великими канцлерами Германии, Бургундии и Италии, король богемский — чашником, пфальцграф — сенешалом, герцог саксонский — маршалом, маркграф бранденбургский — камергером. Решающим считался голос большинства. Впоследствии прибавились еще восьмое и девятое курфюршества.

Политическому распадению Германии соответствовало и *преобразование имперского сейма в чисто конгрессивное учреждение*, — процесс, завершившийся, впрочем, лишь через три века после золотой буллы, после Вестфальского мира. В этом смысле история рейхстага — совершенная противоположность истории генеральных штатов. Его зародыш — в первоначальном

¹ Представитель прав местного самоуправления (нем.). — Прим. ред.

едином вече единого государства, в вече, которое превратилось в собрание аристократических элементов. По мере того, как развивалась княжеская власть и вместе с нею понятие о посредственном отношении к империи через зависимость от этой власти, в сейме могли участвовать только непосредственные (*reichsunmittelbaren, immediati*) чины империи, не знавшие над собою никого высшего, кроме императора, а по мере того, как эти непосредственные элементы высвобождались из-под власти императора, приобретая суверенные права, в силу чего император превращался в номинального главу федерации княжеств и имперских городов, — и сейм имперский все более и более начинал походить на международный конгресс. Курфюрсты, князья и города, входившие в состав сейма, весьма ревниво оберегали свои права, заботились лишь об интересах каждый своего «чина», весьма мало думая об империи, почти не давая средств на ее нужды. Коронные земли были расхищены в эпоху междоусобия или растрочены императорами XIV и XV вв., заботившимися не об имперском достоянии, а о своих наследственных владениях, равно как и разные «регалии», дававшие доход, самовольно захватывались князьями, жаловались им самими императорами, продавались, закладывались: вот почему императоры как таковые были до такой степени бедны. А сейм ничего не давал или давал очень мало. Рудольфу Габсбургскому курфюрсты отказали в назначении его сына «римским королем» (т. е. будущим императором), ссылаясь на то, что доходов государства хватает едва на содержание одного монарха, а министр Карла V Гранвелла сказал на шпейерском сейме, что император для поддержания своего достоинства получает с империи доход ценою в орех.

Зато большие успехи делала княжеская власть, и на нее переносились те представления, которые выработались по отношению к императорской власти, — правда, не сразу, но постепенно, однако, так, что в XVII в. и в Германии устанавливается полный абсолютизм. Девиз *quod principi placuit legis habet vigorem* был в почете еще у Гогенштауфенов, по воззрению которых император стоял выше всякого закона (*legibus solutus*), будучи сам источником всякого права, живым законом на земле (*viva lex in terris*), и даже Людовик Баварский писал о себе: «мы, которые стоим выше права» (*nos qui sumus supra jus*). Но в Германии этот принцип воплотился впоследствии во власти отдельных территориальных князей, и уже в XV в. они пользуются услугами юристов, изучавших римское право. Один современник (Фруассар) говорит прямо, что «князьям величайшую помощь в этом отношении оказывают доктора права и другие сведущие в праве, которых они помещают в университетах и держат при своих дворах и которые тратят всю свою ученость и все свое искусство на то, чтобы укрепить власть и верховенство князей, как единственно законные и над всем господствующие». Правда, княжеская власть в эту эпоху еще не сложилась, ибо в империи оставались еще элементы, сохранявшие свою от нее независимость, — имперские города и импер-

ское рыцарство, — но князья пытались и их стеснить. С другой стороны, в отдельных землях, где развивалось княжеское верховенство (*Landeshoheit*), составлялись союзы земских чинов (*Landstände*), прелатов, дворян и городов, не бывших в непосредственном отношении к империи, и земские сеймы (ландтаги) играли роль местных сословно-представительных учреждений, ограничивавших княжескую власть. Последней удалось отделаться от этого ограничения только в эпоху Тридцатилетней войны XVII в., когда князья привыкли налагать подати без согласия ландтагов. Во всяком случае, княжеская власть к началу реформационной эпохи, т. е. к первой четверти XVI в., *не была еще вполне сложившеюся силой, хотя и было уже заметно, что будущее было за нею.*

В имперском сейме участвовали еще имперские города, *которые играют большую роль в истории Германии в исходе Средних веков.* Население их увеличилось в XIV в., богатство их возросло, они стали играть политическую роль, составляя такие союзы, как ганзейский, швабский, рейнский, ведя войны с феодальными союзами и входя в соединение с другими политическими силами (например, со Швейцарией). Города равным образом приобретают привилегии от императоров. Независимым от княжеской власти оставался еще один общественный элемент — имперское рыцарство (*Reichsritterschaft*), которого особенно было много в Западной Германии: имперские рыцари были представителями феодальной анархии и кулачного права, часто попросту разбойниками, а это заставляло и города, и князей обуздывать их войною, хлопотать об обеспечении «земского мира». Особенно были князья принципиальными противниками этого сословия, и уже в XV в. Фруассар указывал на то, что рыцари «подвергаются опасности потерять все свои права и вольности и попасть в полную зависимость от князей». Мы еще увидим, как стеснили имперских рыцарей в конце XV в. и как это сословие своим восстанием 1522—1523 гг. открывает бурную эпоху политических смут, совпавших с религиозной Реформацией.

Из XV в. в XVI столетие Германия переходила при неустойчивом равновесии внутренних сил. Германия находилась в процессе разложения, который еще не завершился; коллегии имперского сейма тянули в разные стороны; князья еще не совсем эмансипировались, но ревниво оберегали свои права; города были в ссоре с князьями; имперское рыцарство волновалось; начиналось, как увидим, недовольство и среди крестьян. И в это-то время происходит усиление габсбургского дома, к которому переходит императорская корона в 1438 г., — именно в царствование Максимилиана I (1493—1519), непосредственно предшествующее царствованию его внука Карла V, при котором императорская власть достигает небывалой высоты, но в то же время происходят события, бывшие на руку только князьям. Эпоха Максимилиана I важна, как время, если не первого появления, то первого значительного роста новой силы — *силы Габсбургов, пытающихся в XVI в. возвра-*

тить императорской власти ее прежнее значение в Германии, а империи — ее бывшее положение среди других государств, но встречающих оппозицию со стороны немецких князей и со стороны других государств, как раз в то время, когда начинается и религиозная Реформация. С другой стороны, при Максимилиане ставится и отчасти решается вопрос о реформе имперского устройства, которому суждено было также волновать XVI в.

Внешняя история возвышения габсбургского дома с Рудольфа I известна, и не менее известно, как счастливые браки создали для этой династии при переходе от Средних веков к Новому времени совершенно исключительное положение. Эрцгерцог австрийский, граф тирольский, герцог Штирии и Каринтии, феодальный сюзерен земель в Швабии, Эльзасе и Швейцарии, т. е. весьма значительный князь, Максимилиан вступил в брак с богатой бургундской наследницей. Родившийся от этого брака сын (Филипп Красивый) женился на дочери (Иоанне Безумной) арагонского короля Фердинанда Католика и кастильской королевы Изабеллы, и старший их сын Карл наследовал габсбургские владения в Германии, Нидерланды и другие части бургундского наследства, Испанию и Неаполь: его-то, уже бывшего королем Испании (под именем Карла I), избрали германские курфюрсты в римские императоры под именем Карла V, правда, лишь под известными условиями¹. Давно Германия не видала такого могущественного монарха, и давно уже Германии не было суждено играть такой выдающейся роли в международной политике. Карлу V было, по-видимому, легко осуществить старые притязания императорской власти и в Германии, и вне Германии, и этот новый фактор действительно играет крупную роль в борьбе политических сил в Новое время. Внутреннюю немецкую историю он, несомненно, усложнял и усложнял тогда, когда ставился вопрос о том, чем же будет, наконец, Германия.

Излагая историю Германии в эпоху Реформации, мне еще придется вернуться к рассмотрению ее политических сил при вступлении на престол Карла V. Остановимся только немного на времени Максимилиана I, когда, как выражается Брайс, окончилась Священная Римская империя и началась австрийская монархия, — остановимся, однако, не на старой империи и не на новой монархии, а на той федерации, которая называлась Германией. Максимилиан создал некоторые учреждения, протянувшие свое существование до самого конца империи, т. е. три века (XVI—XVIII), и в его же время были еще планы, которых не удалось осуществить. Я скажу прежде всего именно о неудавшейся попытке реформы, причем замечу, что *причина неудачи была в конгрессивном устройстве сейма, не желавшего объединения государства, и в непримиримой противоположности интересов императора и имперских чинов*. Максимилиана последние принудили согласиться на уч-

¹ Карл наследовал и вновь открытые земли в Америке.

реждение особого административного совета (*Reichsregiment*), но он употребил все усилия, чтобы это учреждение, ограничивавшее его хотя бы и призрачную власть, не имело никакого значения. А между тем *Reichsregiment* мог бы ослабить и местный сепаратизм, что также было невыгодно и для князей, да и по всему строю жизни это учреждение должно было скорее напоминать сенат федеративного государства, чем административный совет, окружающий монарха. Больше значения имели введение земского мира, разделение Германии на округа и учреждение верховного имперского суда (*Reichskammergericht*). Было это в 1495 г. на сейме в Вормсе, где все три коллегии имперского сейма согласились ввести новое государственное устройство, долженствовавшее положить конец прежним междоусобиям, но еще более ослабившее власть императора: был установлен земский мир под страхом опалы и изгнания, а для разрешения споров между чинами был учрежден рейхскаммергерихт, зависевший не от императора и не от князей, но замещавшийся всеми чинами империи, а для облегчения хода судебных дел империя была разделена на 10 округов (*Kreisen*), во главе которых стояли по два старшины (*Kreisobersten*): им поручалось приведение в исполнение решений верховного суда.

Максимилиан умер в 1519 г. В 1522—1523 гг. произошло рыцарское восстание, в 1524—1525 гг. разразилась в Германии Крестьянская война, но оба движения были подавлены князьями, которым удалось в конце концов победить и Карла V, и все эти события уже стоят в связи с Реформацией.

XII. Политические вопросы Нового времени

Политические вопросы в отдельных государствах в реформационную эпоху. — Испания в конце XV и начале XVI в. — Церковь и государство при переходе в Новое время. — Двоякого рода движения новой истории. — Рост государства. — Государство и общество. — Соединение политического абсолютизма с социальными привилегиями. — Землевладение и капитал. — Процесс дефеодализации сельского быта. — Государство и народная масса. — Положение крестьянства в разных странах. — Необходимость рассмотреть социальную сторону феодализма. — Экономическая сторона новой истории.

В каждом крупном государстве Западной Европы при переходе из Средних веков к Новому времени существовал свой особый политический вопрос, требовавший разрешения, и главнейшие исторические события первого периода новой истории, который принято называть реформационным (1517—1648), находились в самой тесной связи именно с этими политическими вопросами. Нам уже известно, чем в этом отношении характеризуются Германия, Франция и Англия, и было уже говорено, что внутренняя политическая история каждой из этих стран тесно связана в XVI и XVII вв. с историей религиозного движения, известного под названием Реформации. В самом деле, для Германии это были времена политических столкновений и междоусобий (1522—1555 и 1618—1648 гг.), победителями из которых вышли князья, сломившие имперское рыцарство, крестьянство и самую императорскую власть, которая обнаруживала тенденцию к усилению. Во Франции эпоха Реформации и вызванных ею религиозных войн была временем феодальной и муниципальной реакции против возрастания королевской власти с попыткой ограничения последней посредством генеральных штатов (1560—1598 гг. и отчасти фронда в середине XVII в.), наконец, в Англии в XVII в. произошло столкновение между королевскою властью и парламентом, сопровождавшееся столкновением между монархической и народной реформацией, вызвавшее междоусобие, временное низвержение монархии и установление республики (1640—1660) и приведшее после реставрации Стюартов ко второй революции, которая, наконец, укрепила права парламента. Все эти политические движения совершались под знаменем идей религиозных, и политические партии были в то же время и партиями религиозными, на чем мы особенно остановимся в свое время. Самые вопросы, о которых идет речь, решались в Германии, Франции и Англии в связи с судьбами религиозной Реформации: победа политическая была в то же время и победою известной религиозной системы. Почему это было так, мы еще увидим, когда будем анализировать причины Реформации XVI в., но как бы

ни были тесно связаны между собою и даже переплетены движения политические и религиозные, и те и другие имели каждое свой самостоятельный источник и могли отдельно существовать друг от друга. Пример — Испания, где одновременно с немецкой реформацией происходило сильное политическое движение, отнюдь не принимавшее религиозной окраски.

Это было именно в царствование Карла I (V, как римского императора), при котором произошло действительное соединение Арагона и Кастилии в одну испанскую монархию, подготовленное браком его деда Фердинанда Арагонского и бабки Изабеллы Кастильской. В обоих этих государствах были могущественные духовенство и дворянство, существовали промышленные и торговые города (собственно в Арагоне), собирались представители сословий, которые в кортесах пользовались весьма широкими правами, ограничивавшими королевскую власть. Оба государства продолжали самостоятельную жизнь при Фердинанде и Изабелле, но в обоих проводилась одна и та же политика — ослабления духовенства и дворянства и возвышения королевской власти, опиравшейся на знаменитую инквизицию. По смерти Изабеллы (1504) правление в Кастилии перешло сначала к ее дочери Иоанне и мужу последней Филиппу, но Филипп скоро умер, Иоанна сошла с ума, и кортесы сделали опекуном над их сыном Карлом его деда Фердинанда, который назначил этого своего внука наследником всех испанских владений. По смерти Фердинанда (1516) Карл делается королем Кастилии и Арагона. Молодой король (род. в 1500 г.) отстранил от дел главного советника своих деда и бабки кардинала Хименеса и раздал важные должности приехавшим с ним нидерландцам. Это и было одною из причин неудовольствия дворянства и горожан, уже раньше сильно стесненных политикой Фердинанда, Изабеллы и Хименеса. В то время, как Карл ездил в Германию для принятия императорской короны по смерти своего другого деда Максимилиана (1519), в Испании произошло большое восстание дворянства и городов, соединившихся для расширения своих прав и ограничения королевской власти в духе старых вольностей. Это политическое движение, во главе которого стоял Дон-Жуан Падилья из Толедо, открывает собою целый ряд подобных политических движений, которыми был так богат XVI в.: и годы, в которые это происходило (1519—1521), непосредственно предшествуют бурной революционной эпохе в Германии (1522—1525), когда там совершились рыцарское и крестьянское восстания, но большая часть политических движений XVI в. совершилась под знаменем новых религиозных идей, тогда как испанское восстание дворянства и городов сохраняло чисто политический характер. Заметим, кстати, что дворяне и города не поладили между собою, т. е. тут произошло то же самое, что так часто случалось во Франции, да и результат был тот же: после поражения восставших при Вильяларе и гибели Падильи (он был казнен) у городов, заведших у себя демократическое устройство и вступивших между собою в союз (хунту), были отняты их при-

вилегии, кортесы стали собираться все реже и реже и таким образом утратили свое значение.

Указанное объединение в XVI в. политических и религиозных движений находится в тесной связи с вопросом о взаимных отношениях между государством и церковью, который также решался в государствах Запада в XVI в. на новых началах. Об этом речь будет идти впереди, а здесь пока ограничимся одною стороною дела для характеристики политических вопросов, поставленных историческою жизнью к концу Средних веков. Средневековое государство не только разлагалось феодальным строем, но и поглощалось католическою церковью: средневековый король нередко встречал неповиновение со стороны своих вассалов и весьма часто должен был смиряться перед папой, или, говоря другими словами, государственная власть встречала антагонизм в обществе со стороны преимущественно феодальных элементов и в то же время стеснялась извне властью церковною. Одновременно, однако, падают и феодализм, и католицизм как политическая система: в чем и состоит весьма важная сторона государственной истории Нового времени. Мало того: как раз в эпоху решения тех внутренних политических вопросов, которые были завещаны Германии, Франции и Англии (да и в других государствах) прошлым этих стран, церковь, находившаяся в сильной «порче» и оказавшаяся не в состоянии исправиться собственными силами, подвергается реформе со стороны государства и светского общества в широком смысле этого слова, причем *и государственная власть, и отдельные общественные классы хотят воспользоваться церковною реформою для своих целей.*

Последнее обнаружилось в двояком происхождении церковных реформ в XVI в.: они шли именно или сверху, т. е. совершались по инициативе либо под руководством королевской власти, или снизу, т. е. имели свой источник и находили своих творцов в отдельных социальных классах. Стоит только стать на эту точку зрения, чтобы объяснить себе целый ряд аналогичных явлений в новой истории Западной Европы. *XVI в. был веком перехода от средневековой сословной монархии к абсолютной монархии Нового времени:* разлагавшаяся католическая церковь могла легко сделаться предметом борьбы между королевскою властью, стремившеюся себя усилить между прочим и посредством подчинения себе церкви, и общественными классами, желавшими перестроить и церковную жизнь применительно к своим интересам и стремлениям. Отсюда-то королевская власть берет на себя инициативу реформы, то, наоборот, эта инициатива принадлежит обществу, народу, но и вообще *и через всю новую историю проходят двоякого рода движения: одни идут сверху, от власти, другие — снизу, от общества, от народа.* Так было именно в эпоху Реформации, когда или власть усиливалась, подчиняя себе церковную реформу, или нация расширяла свои права, овладевая тем же реформационным движением. Полную аналогию этому мы встретим

и в XVIII в., когда под влиянием «философских» идей происходят крупные перемены в общественной жизни, причем перемены эти производятся сначала абсолютными монархами, т. е. идут сверху (просвещенный абсолютизм), а потом являются результатом действия снизу, исходя из интересов и стремлений желавших нового порядка общественных классов (Французская революция). Эту мысль о двояком характере церковной реформы в XVI в. и об аналогии, с одной стороны, между церковными преобразованиями, шедшими в ту эпоху и сверху, и снизу, а с другой стороны, преобразованиями политическими и социальными я буду развивать впоследствии, и тогда мы увидим, что и по отношению к Реформации XVI в., и по отношению к преобразованиям XVIII столетия нужно принимать в расчет взаимное положение государственной власти и общественных классов в отдельных странах, и в разные времена. Во всяком случае между этими силами мы наблюдаем антагонизм, и смотря по тому, что в данное время отстаивает та или другая сила, она делается прогрессивной или реакционной.

Отделяясь от феодального и церковного соправительства, государство Нового времени превращается в такую социальную силу, какой Средние века не знали: оно все более и более стягивает к себе все живые силы общества и является в роли наследника тех прав, которые в Средние века были распределены между отдельными сословиями, общинами и корпорациями или сосредоточены в католической церковной организации. Государство берет на себя почин в новых задачах исторической жизни; оно является в роли главного руководителя общества; оно выступает как единственный исполнитель того, чего настоятельно требовал данный момент национального бытия. *В Средние века государство, так сказать, растворялось в сословно-организованном обществе, в Новое время общество было поглощено государством и лишилось своей самостоятельности*, пока не началось возвращение к этой самостоятельности, но уже на новых началах, ранее всего проявившихся в Англии, которая со своим местным самоуправлением и парламентским представительством общественных сил и не переживала периода такого всемогущества правительства. Выступая в роли главного регулятора национальной жизни, государственная власть оказывает громадное влияние на социальную структуру отдельных стран: *ее тенденцией было нивелировать сословия*, но нивелировать лишь постольку, поскольку это нужно было с узкополитической точки зрения, не трогая того глубокого различия, которое выработалось между отдельными общественными классами не в их отношениях к государству, а в их отношениях между собою. *Т. е. государство Нового времени охотно лишало сословия их политических прав, не останавливаясь перед борьбою, но оно оставляло за сословиями их социальные привилегии, мало обращая внимания на то, что последние были тягостны для народных масс.* Другими словами, государство мало реформировало общество, оставляя, например, существовать все то, что у нас было уже не раз обозначено как

феодализм социальный. С падением сословно-представительных учреждений, выросших на почве политического феодализма, королевская власть сделалась абсолютной почти во всех государствах европейского континента, но феодализм социальный с неравенством сословий, с феодальными правами над землею, с несвободой сельского населения продолжает существовать как ни в чем не бывало. Нам еще придется видеть, в чем состоял так называемый «старый порядок» (*ancien régime*), который был не в одной только Франции перед революцией 1789 г., и едва ли мы будем ошибаться, если будем полагать его сущность в *соединении политического абсолютизма с социальными привилегиями* большею частью феодального происхождения. Духовенство и дворянство утратили сначала (там, где, конечно, первоначально имели) права верховной власти над населением своих владений; потом эти два сословия утратили свои политические права, которыми пользовались через представителей своих в собраниях государственных чинов; только впоследствии, в сравнительно позднюю эпоху, потеряли они свои социальные привилегии, да и то государство сначала лишь вмешивается в их отношения к сельской массе не для уничтожения, а для некоторого ослабления их власти в интересах самого государства, которое жило главным образом тем, что извлекало из податных классов, т. е. одною из главнейших привилегий духовенства и дворянства сделалось изъятие из обязанности что-либо платить государству. До эпохи просвещенного абсолютизма (1740—1789) королевская власть сравнительно мало занимается вопросами, касающимися общего положения народной массы: выходило так, как будто она считала нужным вознаградить высшие сословия за потерю политических прав, предоставляя в полное их распоряжение личность, труд и имущество сельского населения. Со своей стороны, потомки феодальных сеньоров оберегали весьма ревниво все то, что у них оставалось еще от их предков в собственных землях, в правах на чужих землях, в оброках и повинностях крестьян, ибо отсюда извлекали они свои доходы, дававшие им возможность становиться и в оппозицию власти. Экономическая мощь, бывшая в феодальную эпоху непосредственным источником суверенитета, была основой той политической роли, какую крупные землевладельцы, духовные и светские, играли и в эпоху сословно-представительных учреждений, и в ту эпоху, когда при абсолютной королевской власти они все-таки составляли правящий класс, умевший защищать свои интересы и поддерживать свои традиции. Только постепенно *подрывалась эта экономическая сила феодального землевладения, с одной стороны, благодаря появлению и развитию промышленности и торговли в городах*, о чем уже было говорено раньше, а с другой стороны, *благодаря медленному, но постепенному процессу дефеодализации сельского быта*.

В этом последнем процессе нужно отличать действие двух сил — силы государства и силы самого народа, нужно различать и двоякое действие обеих сил, т. е. постепенное подкапывание под социальный феодализм

мелкими мерами правительства или мелочными изменениями, вносившимися в жизнь отдельными лицами, и, наоборот, крупные перевороты, выражавшиеся в важных реформах, шедших со стороны власти, или в народных попытках сбросить с себя феодальный гнет. Государство в роли политической силы, повлиявшей на разложение социального феодализма, могло выступить лишь в сравнительно позднее время, да и то первоначально оно ограничивалось частными мероприятиями, приступив к первым сколько-нибудь серьезным реформам в этой области только в эпоху просвещенного абсолютизма. Начало процесса дефеодализации сельского быта обуславливалось преимущественно мелкими изменениями, вызывавшимися разными общими причинами, преимущественно экономического свойства, с которыми нужно поставить рядом попытки, большей частью неудачные, самого народа сбросить с себя феодальный гнет. Эти попытки, встречающиеся вообще во второй половине Средних веков, имеют особенно значительные размеры при переходе в Новое время: таковы французская жакерия середины XIV в., восстание крестьян в Англии в конце того же века и великая крестьянская война в Германии в реформационную эпоху (1524—1525), война, которой предшествовало много местных и не столь значительных вспышек. Эти попытки не имели удачи: против них были соединенные силы сеньоров и государства, стоявшего на точке зрения сохранения социального status quo. Феодальный строй был прямо враждебен свободе народной массы; сословная монархия, объединявшая интересы отдельных классов, исключала из представительных учреждений не только несвободное, но и свободное крестьянство; позднейший абсолютизм был тесно связан с поддержкою социальных привилегий тех сословий, которые держали в зависимости от себя сельское население. И нельзя сказать, чтобы в Новое время с ростом государственного начала улучшалось положение народной массы. Если, например, *в Англии и во Франции к концу Средних веков крепостное состояние исчезает или, по крайней мере, ослабляется, то в Германии, наоборот, в Новое время оно как раз усиливается.* Такова юридическая сторона в положении крестьянской массы в трех названных странах. В экономическом отношении мы наблюдаем *ухудшение быта не только в Германии, где оно весьма понятно при возмущении бесправия, но и в Англии с Францией, где освобождение крестьян от крепостной зависимости сопровождалось откреплением их от земли или увеличением тяжести оброков, лежавших на земле.* Освобождение крестьян не было общей государственной мерой: оно было результатом громадного количества частных сделок между сеньорами и крестьянами, сделок, в которых первые не упускали своих выгод, а другие были предоставлены своей слабости. С другой стороны, высшие сословия, имевшие голос в представительных учреждениях или оказывавшие влияние на правительство в качестве правящего класса, так или иначе участвовали в создании законода-

тельных мер, клонившихся к явному вреду для большинства населения, не имевшего своих депутатов в сословно-представительных учреждениях.

Мы и перейдем теперь к рассмотрению положения народной массы в европейских государствах, которыми мы преимущественно заняты. До сих пор мы имели в виду только сословия, игравшие политическую роль, сохранившие старые привилегии или добившиеся новых, а говоря о феодализме, останавливались на одной политической его стороне. Теперь нам предстоит познакомиться с социальной стороной феодализма, пережившей крушение стороны политической, пережившей сословно-представительные учреждения, продолжавшей существовать при полном развитии абсолютизма, впервые сколько-нибудь затронутой просвещенными деспотами XVIII в. и сокрушенной только в Новейшее время. Эта социальная сторона феодализма проявляется именно в устройстве сельского быта, в распределении поземельной собственности, в характере хозяйства, в юридическом положении крестьянина. Я прошу припомнить то, что говорилось обо всем этом в начале настоящего рассмотрения политического и общественного быта главных государств Западной Европы в конце Средних веков: здесь мы выходим из области вопросов политических и вступаем в область вопросов экономических, которым пришлось играть немалую роль в новой истории. Но экономическая сторона должна быть нами рассмотрена не только в сельском быту, не только в области земледелия, не только по отношению к крестьянам, но и в быту городском, в области обрабатывающей промышленности, по отношению к ремесленникам и рабочим. Мы найдем некоторые аналогии в том и другом быту, и самую главную из них будет замена мелкого хозяйства крупным, замена мелкого производства крупным, *один из важнейших переворотов экономических, совершившихся в Новое время*, на почве которого возникает буржуазия Нового времени, представительница так называемого капитализма, и рядом с нею пролетариат, неизвестный средневековому экономическому устройству. Мы увидим впоследствии и то также, какую важность экономические вопросы получают в Новое время для государства, которое, все более и более принимая на себя разных задач, раньше не столь сложных и исполнявшихся притом самим обществом, все более и более стало нуждаться в больших денежных средствах, для чего и стало известным образом направлять экономическую жизнь народа, преследуя свои фискальные цели. Наконец, нам придется иметь дело с народными движениями Нового времени, одно из которых открывает собою смуты реформационной эпохи (крестьянская война в Германии), но эти народные движения имеют необходимо экономическую подкладку, служа вместе с тем показателем какой-либо глубокой перемены, совершившейся в хозяйственном быту массы. Особенно подробно я остановлюсь на судьбах крестьянства: городская промышленность есть уже продукт истории Нового времени, и на положении промышленных рабочих в конце Средних веков, поэтому пока нет надобности останавливаться с такими подробностями.

XIII. Крепостничество во Франции¹

История сельского населения во Франции. — Рабство в Галлии и колонат. — Сохранение колонатных отношений в варварскую эпоху. — Феодализация. — Феодалная сеньория. — Классы населения феодальной сеньории. — Поземельные ее отношения. — Оброки и повинности. — Сеньориальные права.

Для ознакомления со средневековым крестьянским бытом я останавливаюсь преимущественно на судьбах французского сельского населения, на которых лучше всего можно познакомиться с переменами, происходившими вообще в крестьянском быту: с той эпохи, когда в Галлии существовали самостоятельные государства, через эпохи римскую и варварскую до образования французской монархии и потом через все периоды в истории последней тянется длинный ряд явлений, находящихся между собою в преемственной связи, хотя и не всегда схожих между собою, явлений, сводящихся к тому, что в течение двух тысячелетий сельский народ в этой стране был в зависимости от землевладельческого класса, в зависимости, принимавшей самые разнообразные формы, но наиболее характеризующейся теми феодальными отношениями, которые в сфере социальной и возникли раньше, и перестали существовать позже, чем развился и склонился к упадку феодализм политический.

По древнейшему известию о социальном быте самых отдаленных предков французского крестьянина, низших классов в Галлии, по известию, принадлежащему завоевателю Галлии Юлию Цезарю, в ней народ был в рабском состоянии: большая часть, говорит Цезарь, обремененные долгами или вследствие тяжести налогов, или же по причине притеснений со стороны сильных людей, — закабаляют себя знатным (*sese in servitutem dicant nobilibus*), и последние имеют по отношению к ним все те же права, какие принадлежат господам над рабами. В последние времена Римской империи в ней господствует колонат, под которым следует разуметь вообще прикрепление крестьян к земле. Вероятно, первоначальную основу колоната положили полузакрепощенные галлы; далее в число колонов должны были войти и рабы, так или иначе получившие смягчение своей участи; наконец, значительный контингент для пополнения колонов могли доставить мелкие свободные арендаторы. Взаимные отношения государственной власти, помещика и колона в Галлии мало чем разнились от тех же отношений в России при крепостном праве. Само собою разумеется,

¹ Эта и следующие главы представляют собою сокращение из моей книги «Очерк истории французских крестьян с древнейших времен до 1789 г.». Там же можно найти указания на сочинения по истории французских крестьян. Очерк литературы по истории крестьян в разных странах Европы сделан в книге В.И. Семевского «Крестьяне в царствование Екатерины II. Общее сочинение по истории уничтожения крепостничества»; *Sugenheim. Geschichte der Aufhebung der Leibeigenschaft und Hörigkeit in Europa*. Вообще по истории крестьянства и землевладения см. еще в дополнениях проф. И.В. Лучицкого к «Истории Нового времени» Зеворта.

что раз между государством и прежде свободным колоном стоял помещик, от которого этот колон находился в зависимости, связь между государственной властью и массой населения должна была ослабеть и на первый план выдвигаться господство землевладельца; к нему же должно было перейти и политическое значение в одну из таких эпох, когда само государство как бы теряет свою жизненную силу. Вот почему в колонате мы должны видеть подготовительную стадию средневекового феодализма, особенно если обратим внимание на юридическую и на экономическую сторону: именно мы замечаем в колонате первую форму уменьшения свободы вследствие найма чужой земли, — уменьшения, характеризующего юридические отношения Средних веков; с другой стороны, приходится признать несомненную связь колоната с эксплуатацией имений мелкими хозяевами, зависимыми оброчниками, какими были и средневековые крестьяне. Экономическому различию раба и колона, из которых первый был как бы пожизненный батрак, а второй — пожизненный фермер, соответствовало и юридическое различие между обоими состояниями: колонат был не лишением, а только как бы уменьшением свободы; в сравнении с рабством он представлял более мягкую форму личной зависимости. Закон признавал колонов даже свободными людьми. Но эти свободные люди не были вполне независимы, они не могли оставить той земли, на которой сидели и за которую платили оброк, они были как бы рабами этой земли, с которой и их никто не имел права согнать. С этим правом и с этой обязанностью вечно сидеть на одном участке соединялась для колона обязанность обрабатывать этот участок, дабы было чем платить раз навсегда установленный оброк. Одновременно с колонатом происходило в Римской империи развитие особого учреждения, вызванного отчасти теми же причинами, как и только что описанные отношения. Это — так называемый *эмфитевзис*, договор, по которому землевладелец передавал свою землю другому лицу в очень обширное пользование, за что *эмфитевт* обязывался платить ежегодно определенную по-земельную ренту. Это было что-то среднее между куплей и арендой: *эмфитевт* делался вечным владельцем земли, мог даже ее продавать (с уплатой собственнику известной пошлины), но в то же время он не считал себя настоящим собственником и должен был вечно платить оброк за свою землю. В известном смысле римский *эмфитевзис* был равносителен *цензиве* феодальной эпохи. Рабство у германцев еще в I в. по Р. Х. напоминает колонат. «Рабы, — говорит Тацит в своей книге о Германии, — находятся у германцев в ином положении, чем наши, между которыми распределены отдельные домашние службы. У каждого своя усадьба, свое хозяйство. Господин только налагает на них, как на фермеров (*ut colono*), известный оброк хлебом, скотом, одежею — и в этом все рабство». Благодаря этому обстоятельству германским племенам, поселившимся в Галлии, легко было приспособиться к существовавшему там колонату, т. е. с ним их крепостное состояние имело столь много общего и в юридическом, и в экономическом смысле. Варвары приняли и существовавший в Галлии по-

рядок обработки земли: латифундии и колонат могли оставаться в полной силе. Впрочем, т. к. варвары были мало способны понимать юридические различия, существовавшие в римском праве между отдельными оттенками зависимости одного человека от другого, то между рабами и колонатами должно было произойти некоторое смешение. Во всяком случае вот какие черты проходят через всю историю Галлии-Франции, начиная со времени, предшествовавшего завоеванию ее легионами Юлия Цезаря, до окончательного утверждения в ней феодального режима: это, во-первых, *резкое разделение общества на два класса*, из которых один все более и более захватывает почву в свои руки, тогда как другой все менее и менее оказывается способным даже сохранить личную свободу; во-вторых, это начинающаяся система *соединения крупной собственности с мелким хозяйством*: землевладельцы не предпринимают эксплуатации почвы в широких размерах, низший класс находит себе помещение в имениях крупных собственников в качестве крепостных крестьян, — словом, латифундии и колонат взаимно дополняются; в-третьих, при несомненном развитии частной собственности, не исключающем ни ограничений ее в пользу общины, ни общинного землевладения, *наряду с полною собственностью создается особый вид собственности зависимой* (emphyteusis), возникающий в силу особого договора, который напоминает одновременно продажу и отдачу внаем; в-четвертых, время от времени обнаруживается *стремление слабых членов общества заручиться покровительством какого-либо сильного человека*, хотя бы для этого пришлось лишиться своего клочка земли и свободного распоряжения своею личностью. Указанные черты характеризуют быт крестьян и при феодальном режиме: элементы его существовали ранее, и только позднее комбинировались они в целую систему, охватившую все сферы общественной жизни.

Система эта, как мы видели, дробившая целую страну на множество политических организмов, в то же время опутывала свою сеть и мелкие сельские общины. Феодализм в последнем смысле начал устанавливаться гораздо ранее феодализма как политической системы: нужно было только, чтобы распалась государственная власть преемников Карла Великого, дабы черты, характеризующие колонат, обострились в феодальной системе: разделение общества на два класса, землевладельцев и подневольных земледельцев с переходом государственной власти в руки первых превращается в разделение общества на господ и подданных; в то же время крупная собственность, латифундия возводится на степень самостоятельного целого, и состояние колоната в известном смысле распространяется на все население такого политического организма, возникшего на почве крупного имения; равным образом при установлении иерархии между отдельными феодальными владениями генерализируется система зависимой собственности: если на верхней ступени лестницы стоял сюзерен, который имел под собою вассалов, владевших своими землями в зависимости от него, то внизу мы находим крестьянина, который держит землю от своего сеньора как вассал последнего: и феодал или лен благородного вассала,

и цензива простого человека одинаково противопоставляются ашллоду как полной, независимой собственности, состоя в некотором родстве с эмфитевзисом; при всем этом в такой системе, которая отдавала всю страну во власть помещиков, обладавших значением носителей государственной власти, уже положительно невозможно было кому-либо сохранить свою свободу и не стоять под покровительством какого-нибудь сеньора, когда все общество от короля до последнего нищего представляло из себя лестницу, в которой каждый стоящий на промежуточных ступенях имел над собою сеньора и в то же время сам был чьим-либо сеньором; наконец, вследствие того же политического переворота отдельные лица, которым ранее удалось стать вне свободной общины, стали теперь над общинами, возвратив им однородность состава в силу своего превращения из совладельцев общин, не желавших подчиняться общему правилу, в господ, которым не было интереса слишком вмешиваться во внутренние распоряжки общины. *Вот каким образом политическая сторона феодальной системы содействовала дальнейшему развитию, закреплению и, так сказать, обострению феодализма в социальной сфере, начавшегося гораздо ранее.* Было бы ошибочным, однако, принимать это содействие за основную причину: феодализм в сфере социальной и зародился ранее, и окончил свое существование позднее, нежели в сфере политической.

В эпоху меровингских и каролингских королей (VI—X вв.) процесс феодализации завершился окончательно. Первым выдающимся результатом было исчезновение, уже к концу IX в., всякой свободной собственности. Сверху шла раздача королями доставшихся им, главным образом по наследию от римского фиска, земель во временное пользование за военную, придворную и иную службу (бенефиции), — раздача, кончившаяся тем, что бенефиции, бывшие при Меровингах временными, при Каролингах превратились в феодалы, передававшиеся по наследству, хотя и налагавшие по-прежнему обязанность военной службы. По аналогии с этим помещики раздавали сами участки своей земли частным лицам за отбывание какой-либо повинности или уплату оброка ценза, откуда название таких участков цензивами. Обе категории земель — и феодалы, владельцами которых могли быть только «родовитые люди» (*gentiles homines, gentilshomines*), и цензивы, существовавшие для простолюдинов, — представляли из себя особенный вид собственности, принадлежавшей разом двум владельцам: тому лицу, которое непосредственно пользовалось таким имением, принадлежал *dominium utile*; лицо, по отношению к которому владелец феодала или цензивы был обязан известными повинностями, имело то, что называлось *dominium directum*. К концу XI в. уже окончательно установилась общая классификация неаллодиальной собственности на феодалы и цензивы, причем цензива получила почти все признаки полной собственности в то самое время, когда цензитарий из арендатора, каким он был в сущности сначала, превратился в подданного своего помещика. Цензива существовала во Франции до революции 1789 г. и, перед самым кон-

цом «старого порядка» землевладельцы отдавали еще землю в вечное владение за уплату ежегодного ценза.

Феодальная латифундия имела иное устройство, чем римская: римскому посессору нужна была самая земля с правом ею пользоваться по своему произволу (*jus utendi et abutendi*, как говорили юристы), феодальному сеньору нужны были более люди, и потому он охотно делился землею, которую притом сам обработать всю был не в состоянии: хозяйство на свой счет он вел на небольшом сравнительно клочке с помощью барщины, т. е. дарового труда подвластных ему крестьян и довольствуясь цензом и повинностями, которые лежали на остальной земле.

Усадьба каждого более или менее крупного землевладельца делалась центром для всего окружающего населения: сеньор владел наибольшим количеством земли, хотя большею частью и не в виде сплошной массы; на этой земле жили его крепостные, его цензитари, ставшие в зависимость от него люди; однако далеко не на все население и не в одинаковой мере на отдельные личности распространялась его власть. Такому землевладельцу естественно было стремиться к округлению своего имени и к выработке однородности в положении населяющего его люда: в каких бы отношениях ни стояло разнородное население данной территории к государству и общине, для помещика оно было однородно и представляло из себя нечто цельное, связанное между собою более или менее одинаковыми отношениями к общему господину. В эпоху установления феодализма не делали строгого различия между понятиями и отношениями политическими и частноправовыми: землевладелец начинал смотреть на себя как на законодателя, управителя и судью лиц, живших в его поместье, на его земле и находившихся потому в некоторой зависимости от него, а в самых этих лицах начинал видеть приблизительно то же, чем были его собственные крепостные. С другой стороны, когда к нему перешла государственная власть, он часто не умел различить, где начиналась его власть как государя и где кончалась принадлежавшая ему власть землевладельца и господина крепостных: феодальный сеньор был не то государь, не то помещик, не то рабовладелец. *Эти три элемента власти средневекового феодального сеньора так перепутались в конце концов между собою, до такой степени сделались невыделимыми из общего комплекса, нередко весьма мало различаясь один от другого, постоянно один с другим смешиваясь и один в другой переходя, что феодальная сеньория была как бы поместьем, вся земля которого в известной степени принадлежала сеньору, а жители были от него в зависимости.*

Социальный феодализм делил все общество на два класса, на класс господствующий и на класс подданный: в то самое время, как в последнем продолжается вечно нарушаемое жизнью стремление отдельных состояний сравняться между собою, он вместе с тем все более и более принижается перед первым, и общество должно было состоять из одних господ и рабов, едва зная

среднее состояние: нигде в Европе до такой степени не исчезла из общества старая свобода, как именно во Франции. Другими словами, всякий человек был либо благородный, либо неблагородный, а в последнем случае он не только по достоинству считался ниже благородного, но и не был вполне свободным, находясь в известной зависимости от первого.

Население феодальной сеньории не было однородною массою: глядя на него издали, трудно было заметить в нем какие-либо подразделения, так что когда нужно было обозначить всю массу одним каким-нибудь словом, то почти никогда не затруднялись называть ее вообще сервами, как бы указывая этим на ее однородность: слово «серв» имело весьма определенное значение. Но если мы переберем все названия, которыми обозначали отдельные части населения, то увидим, что слово «серв» имело, особенно с XIII в., значение более специальное и что рядом с сервами существовали еще разные другие классы. В эпоху полного господства феодальной тирании на самой низкой ступени общественной лестницы стояли сервы, будучи самою бесправною частью населения, над которою господину принадлежала неограниченная власть: он мог делать с ними все, что ему ни вздумалось бы, справедливо или несправедливо, отвечая перед одним Богом. Это так называемые *gens depleine poeste* или *de corps, hons (homines) de cors*, потому что они были в полной власти господина, потому что ему принадлежало самое их тело. Серв был совершенно бесправным человеком: на суде его свидетельство допускалось лишь с большими ограничениями; вступать в какие-либо обязательства ему не дозволялось; господин мог налагать на него произвольный оброк и произвольную барщину (*tail le* и *corvée à merci*); вступать в брак он мог только с согласия господина; по смерти его имущество доставалось господину (*droit de main morte*); если он оставлял произвольно имение, в котором жил, то господин мог его отыскивать (*droit de poursuite*), а прожив год с днем на земле другого сеньора, он делался сервом последнего в качестве иностранца, обэна (*droit d'aubainage*). De facto сервы пользовались земельными наделами, которые переходили от отца к сыну. В период между IX и XI вв. начался переход сервов этой категории в более смягченное состояние, известное под названием мэнморта (мертвая рука, *manus mortua*, *mainmorte*, откуда *serfs de mainmorte* или *mainmortables*), хотя еще в XIII в. число полных сервов было весьма значительно. Это была другая, более мягкая форма серважа, в которую попали сначала большею частью свободные, но безземельные поселяне, колоны, которым удалось избежать общей участи своих собратий, а впоследствии попадали и сервы, получившие некоторое облегчение своей участи. Они наравне с сервами были прикреплены к земле: *homines manus mortuae sunt servi glebae*; вместе с ними они обязаны были платить талию и отбывать натуральные повинности в пользу сеньора; за дозволение вступать в брак они платили особую пошлину (*droit deformariage*), а в случае их смерти наследником их делался сеньор: их рука была мертва, чтобы делать загробные распоряжения со своим

имуществом. Но они существенно отличались от первой категории сервов тем, что количество и качество требуемых от них повинностей было определено договором или обычаем. С XIII в. все чаще и чаще встречается название вилланов, в положение которых уже перешли почти все сервы и мэнмортабли в начале новой истории, т. е. в XVI в. Это были крестьяне лично свободные, находившиеся в подчинении у сеньоров как землевладельцев, от которых они держали свои участки, — и как отчасти обладателей государственной власти, под которою находились, — словом, не как крепостные крестьяне у своих помещиков. De jure сеньор имел над этими людьми власть ограниченную: между ними и им был судья — в лице непосредственного сюзерена, вассалом которого был сеньор, а с усилением королевской власти и в лице короля как всеобщего сюзерена. Такому подданному принадлежали право полного распоряжения своею собственностью и совершенная правоспособность во всех гражданских актах: он пользовался, как говорили, «римской свободой». Тем не менее над ним тяготели многие тяжелые стороны феодального права: и он подвергался обэнажу, и он был обязан платить сеньору разные подати, пошлыны, оброки, и он подчинялся сеньориальной юрисдикции. Во французских деревнях такой класс стал образовываться только впоследствии, и первыми лицами, которые вошли в его состав, были большею частью так называемые *hotes* (*hospites*), переселявшиеся из других мест по приглашению сеньоров для обработки незанятой земли, которая передавалась им обыкновенно в качестве цензив: эти свободные цензитарии, сначала весьма редкие, находились только в подданстве у сеньоров, откуда общее название для всех лиц подобной категории *homines potestatis*¹.

Среди разных способов сделаться сервом один сохранял свою силу до самой революции. Еще в дофеодальную эпоху цензивные земли разделялись на разные категории по состоянию лица, их занимавшего, вследствие чего назывались *mansi ingenuiles*, *lidiles* и *serviles*, смотря по тому, давался ли манс (участок земли, надел) свободному человеку или зависимому литу, или же, наконец, серву; впоследствии сами участки стали ставить лицо, их занимавшее, в то или другое положение. В некоторых местностях Франции существовали особые участки земли, которые назывались крепостными или мэнмортабельными (*héritages serfs* или *mainmortables*, также *meх*, *meix*): прожившие на них известное количество времени делались сервами. Это была так называемая *servitude réelle*, когда крестьянин был сервом не лично, а по занимавшемуся им земельному наделу.

Каково было экономическое положение этой массы? Крупные хозяйства почти не существовали при феодальной системе: во всяком случае, сеньор вел хозяйство сам только на незначительной части своего домена, раздавая остальную землю по мелким участкам крестьянам; сеньориальное хозяйство велось

¹ Досл.: влиятельный (властный) человек (лат.). — Прим. ред.

барщинным трудом крепостных, сидевших каждый на своем наделе, хотя, кроме того, бывали в виде исключения и безземельные рабочие, получавшие от землевладельца помещение, одежду и пищу; вся остававшаяся затем земля находилась в пользовании различных классов крестьян, которые большею частью владели ею наследственно, от отца к детям, ибо в то время краткосрочной аренды почти не существовало (фермерство в хозяйственной истории Франции явление позднейшее), и всякая съемка земли стремилась превратиться в наследственную. Благодаря этому обстоятельству *феодальной эпохе был неизвестен сельский пролетариат*: крестьяне были обеспечены землею на самых разнообразных условиях, начиная от отбывания ими повинностей в пользу помещика по его произволу и кончая уплатой ему денежного ценза в неизменном каждый год количестве, — начиная с барщины и кончая половничеством, состоявшим в том, что съемщик обязан был представлять землевладельцу половину продукта, — начиная с довольно прочной связи крестьянина с его землей, в виде так называемого *dominii utilis*¹, и кончая отношениями, которые зависели в значительной мере от доброй воли сеньора. Вследствие того, что крестьяне были большею частью наследственными владельцами определенных земельных участков, и того, что каждая деревня была окружена пустопорожными землями, служившими выгоном для скота, между односельчанами должны были поддерживаться старые или возникать новые общинные отношения, тем более что сами сеньоры сдавали земли целым общинам.

Если среди земледельческого населения феодальной сеньории существовало несколько классов, то это разделение имело характер более юридический, нежели экономический, в последнем отношении крестьянская масса была более или менее однородна, ибо почти все были самостоятельными хозяевами. Экономическое разделение могло бы иметь место, если бы в величине отдельных хозяйств существовали крупные различия, но этого, по-видимому, не было, хотя крестьянские участки и не были все равны между собою. Тем не менее есть основание утверждать, что, в общем, не было вовсе и крупного неравенства: слишком большие (нельзя, однако, сказать: и слишком малые) участки представляли из себя отдельные случаи, исключения из общего правила. Для серва существовало даже нечто вроде нормального надела или манса: даже в позднейшую эпоху словом *тех*, *теix* — названием мэномортабельной земли — обозначалось вообще и такое количество почвы, которое было необходимо *pour occuper et nourrir un sujet avec son ménage*. Нет основания предполагать, что и цензивные хозяйства не были более или менее одинаковы: они могли колебаться только в довольно ограниченных пределах. При каждой деревне были в Средние века общинные земли (*les communaux*), и везде существовали общинные сервитуты, когда, например, по уборке хлеба все жители деревни высылали свой скот пастись по разгороженным полям отдельных хозяев (*vaine*

¹ Досл.: хозяйское (владельческое) пользование, пользование землей на правах хозяина (лат.). — Прим. ред.

pâturer). При этом держались принципа: *qui n'a labourage, n'a pâturage*, т. е. у кого в деревне нет своей пашни, тот и скота своего не может пасти на общем выгоне.

Оброки, повинности и права, которым подлежало население феодальной сеньории, были крайне разнообразны: потребовался бы целый словарь, чтобы только перечислить все термины феодального права, обозначающие какой-либо платеж, какой-либо вид барщины, какую-либо привилегию сеньора. Одни из них возникли в эпоху закрепощения, другие были ценою освобождения, начавшегося впоследствии; одни вышли из употребления довольно рано, существование других было прекращено только законодательством революции; одни существовали потому, что сеньор был представитель государственной власти, другие — потому, что от него зависела земля, третьи — потому, что у него были крепостные, четвертые — потому, что сеньор был силен и мог вымучить у крестьян все, что ему было угодно. Сеньоры взимали в свою пользу разные налоги, установленные прежде государством, каковы подушная и поземельная подати, пошлыны при продаже имения или получении наследства, пошлыны рыночные, заставные, мостовые и т. п. Эти налоги, при полном почти отождествлении государственного и частноправового порядков, сеньор не хотел отличать от тех, которые платились ему как феодальному сеньору его вассалами и как землевладельцу его крестьянами: тут были и военная служба, и *taille aux quatre cas* (выкуп из плена, пособие на паломничество, посвящение старшего сына в рыцари и свадьба старшей дочери), и так называемые баналитеты, право охоты, гаренны, и разные виды ценза за землю, и барщина, и формарьяж, и *mainmorte*, и пр. и пр. Вот наиболее характерные сеньориальные права.

Весьма часто мы встречаемся и в феодальную эпоху, и позднее вплоть до революции с оброком, называвшимся цензом (*cens*) и разделявшимся на множество видов. С ним была соединена также *lods et ventes* — пошлына, платившаяся сеньору при переходе цензивной земли в другие руки. Право на ценз могло принадлежать, по основному принципу феодального права, только владельцу феода: когда кто-либо впоследствии отдавал свою землю другому на условиях цензивы, не будучи сам сеньором, то в таком случае получал простую ренту, а не ценз. Мало-помалу развилось даже особое право, *droit d'enclave*, по которому участки земли, не платившие прежде ценза, должны были ему подчиниться в размере, который существовал на соседних землях. Ценз был иногда очень невелик, но только в том случае, когда уплачивался деньгами; когда он вносился сеньору натурою, он назывался шампаром (*champart, campî pars*) и состоял из весьма значительной части продукта. Позднее выработалась теория, что ценз и шампар всегда были результатом земельной уступки, и сеньоры, получая его с одних хозяйств сеньории, старались на основании *droit d'enclave* распространить и на другие на том основании, что прежде вся земля принадлежала им и они уступали ее в цензивное владение на одинаковых условиях. Благодаря этому во Франции земля держалась в крепостной зависимости до самой революции. В связи с этим было

правило, что нет земли, над которой бы не было сеньора, *nulle sans seigneur*. С XVI в. изречение *nulle terre sans seigneur* стало толковаться в том смысле, что сеньор есть универсальный собственник и может наложить ценз или шампар на те земли, которые их прежде не платили. Здесь лежала возможность увеличить уже прежде существовавшие платежи и обременить новыми податями зéмли, уступленные раньше за более умеренные повинности. Благодаря тому же обстоятельству в разряд поземельных оброков были переведены многие чисто личные повинности. Ценз, шампар, указанное правило играли самую выдающуюся роль в феодальном праве, особенно позднейшего времени. Другие сеньориальные права, наоборот, первенствовали в более раннюю эпоху, когда население было в крепостном состоянии; позднее они составляли уже исключения. Таковы преимущественно личные повинности крепостного и подданного: произвольные и абонированные в известном размере талия и барщина (*taille*, *corvée à merci*, *à volonté* или *abonnée*), подымный налог (*fouage*), особая подать за покровительство (*avouerie*, *sauvegarde* и т. д.), налог на скот (*cornage*, *charnage*) и т. п. Или вот особый вид барщины, дотянувшийся до конца феодального режима: крестьяне нередко должны были ночью бить палками по прудам, чтобы кваканье лягушек не беспокоило сеньора.

Баналитетом (*banalité*, *bannum*) называлось особое право сеньора, по которому крестьяне обязаны были молоть и печь свой хлеб в господской мельнице и печи, отвозить свой виноград на господское точило и, конечно, не даром. В силу того же права сеньор определял время покоса, жатвы, сбора винограда; ему же принадлежало исключительное право (*banvin*) первому продавать свой виноград, а иногда только ему мог крестьянин продать свой. В связи с ними стояло право исключительной рыбной ловли и охоты. Последнее право было весьма тяжело: крестьянин не мог истреблять дичи, портившей его посевы, не мог начинать покоса, пока известного рода птицы не выведут своих птенцов, должен был помогать в сеньориальной охоте, которая нередко производила опустошение в его поле, и ради той же охоты очень часто лишался пользования лесом, когда сеньор превращал его в заповедную гаренну (*garenne*) для разведения кроликов, от которых тоже немало страдала крестьянская нива. Не давали ей пощады и голуби, правом содержать которых пользовались сеньоры (*droit de colombier*): нередко в своих голубятнях они держали массы этих птиц, превосходящие всякие вероятия.

Последние привилегии сеньоров связаны были обыкновенно с их судебным правом (*droit de justice*), которым они пользовались как господа — по отношению к сервам, как феодальные сеньоры — по отношению к васалам и как государи — по отношению к подданным. Юрисдикция сеньоров распространялась, таким образом, на все население сеньории, на всякого, кто «встает и ложится спать» в известной территории.

XIV. Эпоха освобождения французских крестьян

Эпоха постепенного освобождения деревень. — Влияние разных факторов на крестьянские движения. — Условия освобождения крестьян. — Ордонанс Людовика X (1315). — Сущность освобождений XIII и следующих веков. — Обезземеление крестьян и наемный труд. — Неблагоприятные условия освобождений. — Жакерия. — Казенные налоги. — Бедствия XIV и XV вв. — Редактирование кутюм. — Отношение генеральных штатов к крестьянству. — Социальный быт по кутюмам Нового времени.

Когда в 1789 г. приступили к отмене феодального режима, то сделали различие между временем de la féodalite dominante, когда чуть не всякий недворянин и недуховный был сервом, и временем de la féodalite contractante, когда сеньоры начали заключать договоры уже с освобожденными сервами. Границей между этими двумя периодами может быть признан XIII в. *С этой эпохи в жизни крестьян стали играть роль новые факторы: возвышение королевской власти и освобождение городов.* В XII в. Капетинги начинают уже переходить в наступательное положение, объявив войну феодальному своеволию во имя прав своей короны. При первом из королей, которые выступили на новый путь, Людовик VI (XII) начинается союз правительства с народной массой: Людовик во время борьбы с непокорными вассалами обратился к крестьянам, и они составили первую независимую от феодальных отношений милицию, которая под предводительством священников и под знаменем короля стала ходить сражаться с ослушниками власти. Помимо того, в борьбе последней с феодальными сеньорами масса вообще становилась на сторону короны, несмотря на то, что часто приходилось ей разочаровываться в своих упованиях: короли были покровители далеко неискренние. То немного, что успела сделать в эту эпоху королевская власть для прекращения анархии, казалось современникам все же весьма значительным, и летописцы XII в. даже прославляли успехи земледелия и промышленности в царствование Людовика VII.

Не одна королевская власть прибегала к помощи крестьян, как это случилось при Людовике VI: делать это начало и духовенство. В первой половине XI в. устраиваются союзы местного населения с целью защиты известного Божьего мира (treuga Dei): сами феодальные бароны занимались иногда к этим союзам на службу, и часто священники, стоя во главе таких ассоциаций, вооруженною рукою заставляли феодалов подчиняться решениям соборов. В 1179 г. папа Александр III утвердил Божий мир как общий закон церкви, но в это время духовенство начало уже опасаться прибегать к ассоциациям мира, видя возможность перехода их легальных действий в открытые восстания, которые легко могли направиться против самого же духовенства.

Обращение к крестьянам, сделанное королевскою властью и церковью, не могло не оживить деревенского люда, не могло не привести его в движение. Не забудем, что с этим временем совпадает эпоха Крестовых походов (1096—1270). В Святую землю двинулась масса сервов, которым за богоугодный подвиг обещано было Царство Небесное за гробом, а здесь освобождение из крепостного состояния; на войне они подвергались общей опасности с сеньорами, и хотя в походе происходили между господами и крестьянами разные раздоры, все-таки господа начинали смотреть на них как на людей; сеньорам, далее, нужны были деньги, и они охотно продавали крестьянам разные привилегии, а безопасность оставляемых дома жен и детей, кроме весьма понятного у многих религиозного одушевления, заставляла сеньоров и без того несколько смягчать участь сервов. Таким образом, и Крестовые походы подняли несколько крестьянина в его собственных глазах и внесли некоторую жизнь и некоторое движение в мертвые и угнетенные дотоле деревни. Подняли его и легисты. Большою их заботой было уничтожить самостоятельность сеньориального суда подчинением всех суду королевскому. Власть феодальных баронов в глазах легистов была узурпацией королевской, и, — что для нас особенно важно, — в римском праве они искали идеи свободы, а не порабощения, как позднее делали это немецкие юристы в эпоху рецепции римского права. У легистов XIII в. не было теоретической санкции рабства: в нем видели они результат насилия, в лучшем случае частной сделки, и потому в спорных случаях легисты почти всегда подыскивали юридические основания в пользу свободы человека. Идеи легистов не пропадали даром. «Сервы, — говорил Людовик Святой, — принадлежат столько же Иисусу Христу, сколько нам, и в христианском королевстве мы не должны забывать, что они нам братья», — и король отпускал многих на волю. Далее, целые выражения, заимствованные у легистов, встречаем мы в отпускных грамотах XIII и XIV вв.

К XIII в. вместе с королевскою властью выросла еще одна сила, оказавшая влияние на крестьянский быт, именно, города. В XI в. жители многих городов берутся за оружие, чтобы завоевать себе свободу, чисто материальную свободу уходить и приходить, продавать и покупать, быть у себя дома хозяином и оставлять наследства детям, — и ведут они эту борьбу против баронов и духовных господ, во власти которых была большая часть городов и бургов. Часто дело шло только о самых элементарных принципах, подобных следующим: каждая услуга требует платы; никто ни у кого не имеет права брать предметов потребления без соответственного вознаграждения и без согласия как продавца, так и покупателя. Многие общины с гражданскими правами получили и политические, организовавшись совершенно по-республикански, но особенно интересною для нас должна быть грамота, данная Людовиком Толстым королевскому бургу *Lorris en Gâtinais*. Политических прав, которые превратили бы этот городок в республику, как это случалось с другими городами, грамота ему не давала; она имела характер

исключительно гражданский и вследствие этого стала мало-помалу распространяться и на другие города, так что ею начало определяться положение горожан в целых провинциях: в XVII в. ее кутюма распространялась почти на 300 городов. Эта хартия обеспечивала именно буржуа спокойное пользование своим имуществом, жилищем, личною свободою, а также и лучшею администрацией. Всякий след *mainmorte* и *droit de poursuite* исчез. Натуральные повинности ограничены двумя в год поездками в Орлеан для продажи королевского вина и привозкою дров на королевскую кухню. Банальные права сведены на запрещение продавать вино, пока король не продаст своего. *Droit de guet* (обязанность охранять сеньориальный замок) уничтожен, а в случае войны буржуа *Lorris* тогда лишь обязан был идти в поход, если экспедиция отдаляла его не более как на один день пути от дома. Все чрезвычайные поборы были отменены, и горожанин платил лишь шесть денные в год с дома или арпана земли и меру ржи во время жатвы с каждой сохи в пользу сержантов. Некоторые штрафы были уменьшены в 12 раз. Вообще это была эпоха полной отмены серважа в городах (например, в Лане в 1128 г., в Орлеане в 1147 г., в *Tournus* в 1171 г.). Словом, результатом освобождения городских общин (обходя возникновение коммун с политическими правами) было уничтожение серважа и сеньориального произвола в городах. Среди феодального мира здесь впервые возникла гражданская свобода нового общества, и уже в XII в. исчезли такие феодальные права, отмена которых для деревень произошла только в 1789—1793 гг. К сожалению, к некоторым городам, добившимся политических прав, перешли многие сеньориальные права над окрестным деревенским населением, которое теперь, таким образом, могло очутиться подчас в подданстве и у коммун. Наконец, по мере того, как богатели городская буржуазия, она начинала мало-помалу переносить деятельность свою и в деревни, где нередко покупала целые подфеоды (*retrofeoda*, *arrière-fiefs*, т. е. такие, которые вассалами отдавались подвассалам) или брать на откуп феодальные права какой-либо сеньории. Мало того: горожане, бывшие только вчера чуть не сервами, освободившись от произвольной власти сеньоров и даже достигши независимости, совершенно почти отвернулись от деревень. Воюя с феодалами, города нередко опустошали деревни своих неприятелей, вовсе и не думая о союзе с их крестьянами. Равным образом и сеньоры старались разъединять горожан и поселян, внося в грамоты, которыми утверждалось освобождение первых, особые параграфы вроде того, что коммуна не должна вмешиваться в дела сеньоров, не должна включать в себя внешние селения (*villas extrinsecas*), не должна принимать к себе сервов дворянства и духовенства без согласия их господ; некоторые города, особенно на юге, пользовались, впрочем, правом, по которому беглые крепостные, проживши в них год с днем, получали свободу, тогда как в других (например, в Лане) могли еще существовать сервы, хотя и в виде исключения. Этот отказ коммуна в праве принимать к себе сервов шел не

всегда со стороны сеньоров, — часто грамоту утверждал король, который нуждался в сеньорах, т. к. они составляли его главную военную силу, и потому включал такое запрещение в грамоту, но иногда и сами горожане стояли за это условие, не желая иметь ничего общего с деревенщиной. В начале XIV в. является наконец новый пункт различия между городами и деревнями. Третье сословие в генеральных штатах около двухсот лет состояло из одних горожан, ибо только около 1500 г. получили сюда доступ и выборные от деревень, да и то в весьма ограниченном количестве. Понятно, что города воспользовались этим правом для заявления правительству о своих нуждах и для получения разных привилегий: нужды крестьян буквально забывались на генеральных штатах, которые, кроме того, всегда имели тенденцию сваливать всю массу налогов на деревенский люд. То же можно сказать и о собраниях чинов, существовавших в отдельных провинциях, о так называемых провинциальных штатах, в которых даже в XVIII в. не было представителей сельского населения.

Вторая половина Средних веков характеризуется в истории французских крестьян процессом постепенного их освобождения, но процесс этот не заканчивается еще с исходом Средних веков, и те отношения, которые установились к XVI столетию, в существенных чертах доживают до самого 1789 г.

Уже в XI в. в деревнях начинает обнаруживаться некоторое движение, явно стремившееся к ослаблению феодального гнета: за норманнским восстанием 997 г. следовали возмущения в Бретани (1024) и Бургундии (1032); в том же XI в. совершается установление Божьего мира, для защиты которого возникают особые союзы; в конце столетия начинаются Крестовые походы, в которых, кроме рыцарей, принимают участие и вилланы и во время которых сеньоры должны были отчасти изменить свои отношения к сервам. Следующий, XII в., ознаменован возвышением королевской власти и освобождением городов: под знаменами короля против феодалов ходят иногда крестьяне, а за городами, добивавшимися лучшей доли, должны были потянуться и деревни. В XIII в., наконец, заговорили легисты о прирожденной человеку свободе, и все чаще сделались отпущения сервов на волю.

Влияние коммунальной революции на деревни несомненно. Указывая на это, мы должны отметить здесь один из крупных фактов французской истории. Городское движение не было бесплодным для деревень; результаты его, однако, далеко отстали от результатов революции коммун: в то время, как эти последние не только освобождались от крепостной зависимости, но и приобретали часто политические права на своих территориях, *деревни лишь слегка тряхнули с себя феодальный гнет*. Далеко не все деревни получили льготные грамоты, и далеко не во всех таких грамотах мы находим статьи, отменяющие крепостное состояние, так что серваж вне городов несколькими столетиями должен был пережить полное исчезновение свое внутри городов. Равным образом сельское землевладение до самой революции продолжало находить-

ся в феодальной зависимости, тогда как города мало-помалу и в этом отношении сумели освободить себя от сеньориальной власти.

Наверху общества также произошла маленькая перемена во взглядах на серваж. Легисты были самыми выдающимися представителями освободительной тенденции, но и нелегисты говорили уже в том же духе. «По естественному праву, — пишет в XIII в. Бомануар, — во Франции всякий свободен (*selon le droit naturel chacun est franc en France*)». В 1311 г. Филипп Красивый, освобождая за деньги сервов Валуа, писал как бы под диктовку легистов, что «всякое человеческое существо, созданное по образу нашего Господа, должно быть свободно по естественному праву». Но сеньоры пришли, помимо этого, и к тому заключению, что освобождение сервов представляет некоторые выгоды. Например, архиепископ безансонский в одной грамоте в 1347 г. мотивировал отпущение своих сервов на волю тем, что «мэнмортабли работают нерадиво, говоря, что они работают для другого, — будь они уверены, что они кое-что оставят своим родным, они трудились бы и приобретали бы с большею охотой». Подобные рассуждения мы встречаем и в других грамотах. Не нужно забывать и того, что *отпущение на волю производилось за выкуп или с превращением уничтожаемых прав господина над сервом в новые оброки*. Сеньоры и не думают ничего скрывать: они очень даже наивно признаются в своих побуждениях: я взял, гласит грамота одного сеньора, за это отпущение и за эту свободу столько-то денег, которые и обратил в свою пользу (*et pro hac manumissione et franchises habui et recepi octodecim libras viennensium bonorum, quas in utilitatem meam et commodum meum posui*); мы дали эту свободу, говорится в другой грамоте, ради нашей выгоды (*pro nostre proffit*). Так как, кроме того, сеньорам бросается в глаза (особенно в XIV и XV вв.), что самыми бедными и малонаселенными местностями являются те, которые подчинены мэнмарту, то они начинают заменять последний виленажем. Далее, со времени освобождения коммун, когда брожение проникло и в деревни, крестьяне массами стали уходить в города, и вот, чтобы удержать их на старых местах и привлекать к себе новых переселенцев, короли и сеньоры стали основывать новые поселения с разными льготами для их будущих жителей и облегчать положение старых деревень. Все, вместе взятое, — Крестовые походы и освобождение коммун, возвышение королевской власти и брожение в деревнях, отвлеченные теории легистов и хозяйственные соображения сеньоров, — все это одинаково способствовало тому, что сеньоры стали отпускать своих сервов на волю целыми деревнями и заключать с ними новые договоры. Королевская власть шла в этом отношении впереди духовных и светских владельцев: значение ее все более и более начинало покоиться на иных основах, нежели феодальное землевладение с крепостным населением; короли мало-помалу либо обогащаются настолько, либо настолько находят новые источники доходов, что не нуждаются более в строгом применении прав своих над сервами; наконец, политикой королей все-таки руководила известная тен-

денция, в образовании которой участвовали, как мы видели, и легисты. Королевская власть начинает очень рано отменять серваж в отдельных своих владениях, а в 1315 г. Людовик X издал знаменитый ордонанс, в котором, между прочим, сказано было следующее: «Так как *по естественному праву каждый должен родиться свободным* (selon le droit de nature chascun doit nestre franc), а по некоторым обычаям и кутюмам, которые с самых древних времен были введены и доселе сохранялись в нашем королевстве, и случайно за проступки предков великое множество нашего простого народа впало в рабство и разные несвободные состояния, что нам весьма не нравится, — мы, принимая во внимание, что наше королевство названо королевством франков, и желая, чтобы *вещь действительно соответствовала названию и чтобы положение народа было исправлено нами с началом нашего нового царствования* (et que la condition des gens amende de nous en la venue de nostre nouvel gouvernement), по совещании с нашим великим советом, повелели и повелеваем, чтобы по всему нашему королевству и повсюду, где может распространиться власть наша и наших преемников, *такие рабские состояния были заменены свободой* (telles servitudes soient ramenées à franchise), и чтобы тем, которые по происхождению или по давности, либо вновь по формарьяжу или пребыванию на рабской земле впали или могли бы впасть в состояние сервов, *была дана свобода на хороших и приличных условиях* (franchise soit donnee o bonnes et louables conditions). Ради этого и в частности ради того, чтобы не обижали нашего простого народа и не приносили ему убытка сборщики, сержанты и другие служащие, которые прежде посылались к нему в случаях *мэнморта или формарьяжа*, как это было доселе, что нам весьма не нравится, — а также ради того, чтобы другие сеньоры, владеющие сервами (hommes de corps), взяли пример с нас в возвращении им свободы, мы, надеясь вполне на ваше доброе расположение, вам поручаем и приказываем этой грамотой отправиться в *la baillie de Senlis* и ее ведомство и во все места, города, общины и к отдельным лицам, которые будут требовать у вас вышесказанной свободы, уславливайтесь и договаривайтесь с ними *относительно выкупов, посредством которых мы были бы достаточно вознаграждены* (suffisante récompensacion nous soit faicte) *за те выгоды, которые эти рабские состояния могли бы доставить нам и преемникам нашим*, и давайте им, насколько касается нас и преемников наших, общую и постоянную свободу и по вышеуказанному правилу и как подробнее мы вам говорили, объяснили и поручали словесно». Рассматривая этот документ, мы прежде всего видим, что *король только приглашает других сеньоров, владеющих сервами, последовать его примеру*, ибо в начале XIV в. королевская власть еще не имела права издавать законов во владениях своих вассалов без их согласия, но любопытно, что даже через 464 года Людовик XVI, освобождая сервов в своих доменах, писал так в эдикте своем от 8 августа 1779 г.: «...т. к. мы будем во все времена питать уважение к законам собственности, то мы можем осуществить только часть блага, которое имеем в виду, уничтожая рабское право

лишь в наших доменах»; все другие сеньоры только приглашались последовать примеру, поданному королем, который, «чтобы поощрить их, насколько это от него зависело, в следовании этому примеру, со своей стороны, изыскать отпущения на волю от взноса разных пошлин». Затем условия, на которых Людовик X соглашался дать свободу своим сервам, только для него самого были «*bonnes et louables*». Прежде всего, предлагавшееся им освобождение сервов было скорее лишь смягчением их положения, и сам Людовик X, чувствуя, что немногие польстятся на такую свободу, писал потом комиссарам, которым было поручено это дело: «...т. к. может случиться, что некоторые вследствие дурного совета или недостатка благоразумия не увидят в этом великого благодеяния и великой милости, так что скорее захотят оставаться в бедности рабского состояния, чем освободиться, — то мы приказываем и поручаем вам, рассмотревши имущество таких лиц и условия рабства каждого, взять для покрытия расходов нашей настоящей войны (с Фландрией) с каждого столько, сколько можно без обиды взять и сколько потребно для нужд нашей войны». Таких некоторых, слушавших дурные советы и не имевших никакого благоразумия, было весьма много: они предпочитали оставаться *taillables et corvéables à merci* и не платить денег, которых у них и не было, для того лишь, чтобы все-таки отбывать потом разные повинности, быть может, в размере, превышавшем даже прежние произвольные оброк и барщину. Таким образом, в основе ордонанса 1315 г. лежат финансовые соображения: это было тоже своего рода наложение талии на сельское население, напоминающей талии 1296, 1303, 1319 и 1322 гг. и уже успевшей сделать для крестьян тяжелым содействием политическим предприятиям королевской власти. Тем не менее ордонанс этот — один из симптомов той перемены, которая совершилась уже в деревнях. Конечно, повторяем, перемена эта не была так значительна, как перемена в судьбе городов в эпоху их освобождения. Как бы ни размножались в продолжении XIII и XIV вв. деревенские общины, это не приносило земледельческим классам того единства гражданского состояния, которое существовало для буржуазии с одного конца королевства до другого.

Сущность освобождений в XIII и следующих веках заключалась именно в превращении сервов в вилланов, крепостных — в зависимых крестьян, причем процесс совершался так медленно, что еще в XVIII в. он был окончен только благодаря революции. Другая особенность этих освобождений, отличающая их от тех, которые случались в предыдущих веках, та, что это уже не были единичные *manumissiones*, после которых вольноотпущенные обыкновенно снова впадали в рабство, а было нечто иное. В эпоху полного господства феодализма крепостные одного сеньора соединялись в деревеньки, в которых около XII в. являются старосты (меры) из крепостных же; обязанность их состояла в соблюдении господских интересов. Такие-то деревни, сделавшиеся впоследствии административными единицами, и стали приобретать себе льготные грамоты — от сеньоров, которым просто нужно

было продавать подобные льготы: сервы бежали со своих земель, остававшихся необработанными, а сеньоры так нуждались в деньгах.

Но при этом обыкновенно они старались удержать в своих руках как можно более власти и перенести на землю все тягости, которые лежали прежде на личности серва. Они были весьма мало склонны к тому, чтобы их прежние сервы составляли независимые от административной опеки помещика селения или заключали союзы с какими-нибудь коммунами; поэтому в условиях освобождения сервов мы встречаем такие статьи, по которым освобожденные *non poterunt facere communias in jam dictis villis sive communiam in aliqua dictarum... nec esse de communia quamdiu in dicta villa vel in villis manebunt*. Право суда обыкновенно оставалось за сеньором же, а не передавалось общине, как это делали хартии, устанавливавшие коммуны в городах. Повинности и оброки, правда, были теперь определены в особых грамотах и кутюмах, но большею частью односторонне самим сеньором, делавшим ту или другую уступку своим крестьянам, а не по взаимному соглашению сторон. Далее, сеньоры удерживали право на рабскую землю за собою и отдавали ее освобожденным на волю уже в виде цензивы, шампартного участка, половнической аренды и т. п. Мало того: *в условиях освобождения крестьянской массы лежала возможность ее обезземеления*, и действительно, с этой эпохи все чаще и чаще начинают встречаться известия о людях, живущих поденной работой. Кроме доходов, которые уже приносили сеньору крестьянские земли (разного рода ценз, шампар, талии и т. д.), многие новые повинности легли теперь на самые крестьянские семейства или на целые общины как вечная плата за освобождение от мэнморта, формарьяжа, произвольной талии и барщины, ибо сервы не могли же выкупаться единовременным взносом большой суммы денег: последнее в сколько-нибудь обширных размерах случалось только в королевских доменах. Эти выкупные оброки и повинности были крайне разнообразны, состоя то из денег, то из сельскохозяйственных продуктов, то из разного рода работы, распределяясь либо поголовно, либо по количеству занимаемой каждой земли, либо, например, падая на скот, на дома (подымная подать) и т. д., то, наконец, существуя как самостоятельный оброк, то сливаясь с поземельными платежами. Освобождения не снимали, далее, с крестьян тех ограничений в пользовании гражданскими правами, которые феодальные кутюмы в силу более или менее определенных принципов делали почти всегда для лиц неблагородного происхождения. Равным образом сеньоры сохраняли исключительное право охоты и рыбной ловли, а баналитеты иногда заводились вновь в виде вознаграждения за уничтожение мэнморта и других подобных прав.

К концу XIV в. около двух третей сервов превратились в вилланов. *Перемена эта не была однообразна во всем государстве*. Во-первых, экономические отношения в разных местностях были различны, вследствие чего потребность в изменении феодального status quo не чувствовалась каждым

заинтересованным в одно и то же время, в одной и той же степени, одним и тем же образом. Во-вторых, сама перемена была результатом не общей государственной меры, а частных сделок — до того разнообразных, что не только деревни одной и той же сеньории не пользовались одинаковыми правами, но даже в одном и том же селении существовало иногда крайнее разнообразие положений: ведь и городам давались привилегии каждому поодиночке, а не одинаковые какому-либо классу городов или городам какой-либо области. Это характерная черта Средневековья, которую мы встречаем во всех европейских странах. Одно только обстоятельство необходимо отметить при этом: в феодальную эпоху разделения, существовавшие среди земледельческого сословия, были характера главным образом юридического, тогда как в XIV в. появляются первые признаки экономического разделения. *Наемный труд начинает играть некоторую роль, и в середине века происходит даже попытка регулировать рабочую плату.* С Филиппа IV, в продолжение всей Столетней войны, беспрестанно менялся вес монеты, что делало заработок наемного человека весьма ненадежным, и рабочие часто набивали себе цену; тот же результат должна была иметь и «черная смерть», свирепствовавшая в Европе в 1348 г. В то же самое время, когда в Англии Эдуард III под влиянием подобных же обстоятельств издает свой ordinance of labourers, во Франции сходный с ним ордонанс издается королем Иоанном: в нем определялась именно та плата, которую каждый земледельческий рабочий мог требовать за свой дневной труд. Тот же король первый должен был предпринять и меры против бродяжничества и нищенства, этих постоянных спутников экспроприации.

Говоря об освобождении сервов в конце Средних веков, необходимо указать на те внешние неблагоприятные для него условия, при которых ему приходилось совершаться. Прежде всего в самом феодальном праве было одно постановление, крайне затруднявшее рассматриваемый процесс. «Никакой вассал или дворянин, — говорят памятники, — не может освободить своего серва (hons de cors) без согласия барона или главного сеньора». Вследствие этого, если вассал освобождал своего крепостного, то высший феодальный сеньор сохранял свое право на него и мог взять его себе как бы оставленного вассалом, не говоря уже о том, что последнему, если сюзерен хотел уж совсем придирается, за уменьшение феода могла грозить конфискация. Применение этого принципа во всей строгости весьма затрудняло освобождения, так что в лучшем только случае освобождавшийся платил одному своему непосредственному сеньору. Другие неблагоприятные обстоятельства заключала в себе вся история XIV в. На крестьян накладывался гнет королевских податей; новая династия, вступившая на престол Франции в 1328 г., Валуа — становится во главе феодального движения против легистов, действовавших при сыновьях Филиппа Красивого; скоро начинается несчастная Столетняя война с англичанами, разоряющая крестьян уве-

личением налогов и выкупами, которые они должны были делать для сеньоров, попавших в плен, не упоминая уж о непосредственном вреде от войны для тех местностей, которые были ее театром; в половине века страшных бед наделала, наконец, «черная смерть», о которой мы будем еще говорить по поводу тех последствий, какие она имела для Англии. Недовольство крестьян, давно уже проявлявшееся в мелких вспышках и в религиозных брожениях, разразилось тогда целым восстанием, известным под названием жакерии (*la Jacquerie*), и было затоплено только в крови бунтовщиков.

Жакерия представляет из себя один из самых интересных эпизодов истории XIV в. Брожение, возникшее в половине этого столетия в буржуазии, во главе которой стал известный Стефан Марсель, проникло и в деревни, нашедшие в Марселе человека, который относился к ним весьма сочувственно. Крестьяне отчасти примкнули даже к этому политическому движению, хорошенько не понимая его программы. После поражения, нанесенного французскому дворянству англичанами при Пуатье, страсти разгорелись еще более, а дворяне стали увеличивать поборы с крестьян. По одному известию, ближайшим поводом восстания был § 5 компьенского ордонанса, в котором повелевалось *à seux à qui il appartient droit*, т. е. крестьянам поправлять замки ввиду опасности от неприятеля. Приходилось, кроме того, уплачивать выкупы за пленных сеньоров, а тут наступала такая удобная минута идти по стопам самих же сеньоров и буржуазии, которые пользовались затруднениями правительства, чтобы вынудить у него уступки. Да и сама королевская власть в одном отношении, так сказать, давала крестьянам косвенное дозволение прибегнуть к силе: в первой половине XIV в. происходили во Франции страшные частные войны, против которых правительство обещало употребить самые энергичные меры, дозволяя в то же время крестьянам самим отражать нападения. Летом 1358 г. вспыхнуло восстание в Бовези, откуда оно распространилось по Иль-де-Франсу, Шампани, Пикардии. Восставших Жаков-Простаков (*Jacques Bonhomme* — так привыкли рыцари звать крестьян) было около ста тысяч. Жакерия была, разумеется, простым взрывом стихийной силы: крестьяне собирались без предводителей, без определенных планов, и когда их спрашивали, зачем они это делают, то они отвечали, что сами не знают и делают то, что делают другие. К Жакам сначала примкнули было и некоторые горожане, но скоро, испугавшись размеров, которые приняло восстание, и насилий, которыми оно сопровождалось, они отстали от движения, тем более что дворяне не без успеха приложили свои старания, чтобы разединить буржуазию и Жаков и подавить восстание. Ужасно было мщение: дворяне не разбирали ни правых, ни виноватых, убивали мирных поселян во время работы, зажигали те деревни, где крестьяне оставались спокойными.

Одним из неблагоприятных условий, среди которых пришлось совершаться освобождению крестьян, было то обстоятельство, что *с расширением королевской власти ко всем прежним платежам, лежавшим на сельском населении,*

присоединились еще государственные налоги. К концу XIV в. они достигли уже значительной для того времени цифры. Первым налогом, установленным королями, была королевская талия, сначала необычайная, взимавшаяся на военные издержки, но со времени Филиппа IV Красивого начавшая собираться довольно правильно, чтобы сделаться постоянною в царствование Карла VII (1422—1461). С XIV же века ведут свое начало и разные косвенные налоги, из которых самый тяжелый был соляной, называвшийся табелью (*la gabelle*), которую окончательно регламентировал Филипп VI (1328—1350). Тяжело ложилось на крестьян и так называемое *droit de prise* (иначе *droit de gîte, depourvoirie*), имевшее происхождение в праве сеньора и его людей пользоваться даровым продовольствием во время своих поездок. Напрасно сама власть (ордонанс Карла V в 1367 г.) пыталась ограничить число лиц, которые могли пользоваться этим правом; напрасно жителям деревень дозволялось даже (ордонанс дофина-регента в 1357 г.) оказывать вооруженное сопротивление грабителям; королевским солдатам часто нечем было кормиться, а короли не могли совсем отказаться от этого вида натуральной повинности, в лучшем случае заменяя ее определенными платежами или заставляя от них выкупаться.

В начале XV в. уже сказываются результаты финансовой системы монархии: правительство начинает сильно беспокоиться по поводу умножающихся недоимок. В 1439 г. Карл VII, при котором возникла постоянная армия с постоянной талией на ее содержание, — думал было помочь делу запрещением сеньорам налагать на крепостных новые подати, но могла ли иметь какой-либо результат подобная мера, когда сама королевская талия возрастала почти с каждым новым царствованием? С 1 800 000 ливров при Карле VII она при Людовике XI (1461—1483) возросла до 4 800 000, чтобы почти удвоиться при Франциске I (1515—1547), при котором она превышала уже 9 млн. Только в царствование Людовика XII (1498—1515) сделана была серьезная попытка облегчить тяжесть налогов уменьшением талии до 1 200 000 и добыванием необходимых для казны денег из королевских доменов. Но с Франциска I начинается эпоха быстрого и постоянного, безостановочного возрастания налогов вплоть до самой революции, как мы увидим впоследствии. *Этому возрастанию тяготы, которую нес на себе крестьянин, не соответствовало такое же возрастание благосостояния.* Напротив, XIV и XV вв. были полны общественными бедствиями, которые разоряли крестьян вконец. Все XIV столетие состояло из периодических повторений голодных годов и эпидемий (особенно 1315, 1338, 1348, 1361 и 1399 гг.). К этому присоединялась война с Англией, тянувшаяся через всю вторую половину XIV в. до середины следующего, так что и в XV в. народ не выходил из заколдованного круга голода и эпидемий.

В это печальное столетие, протекшее с вступления на престол династии Валуа до окончания английской войны, феодализм, казалось, начинал воскресать. Крестьяне вынуждены были отбиваться разом от сеньоров, коро-

левских солдат и англичан: там вспыхнет восстание против внешних врагов, здесь повторится жакерия против дворян и духовных, в другом месте возмущаются против сборщиков податей. Только при Карле VII прекратились внутренние анархия и внешняя война. Положение государства было бедственным: общественные нравы одичали, многие местности запустели. «Я видел, — говорит один современник, — долины Шампани, Гатинэ, Мэна, Бовези и другие провинции от Сены до Амьена и Аббевиля совершенно пустыми и необработанными. Жителей не было, в полях росли сорные травы». Несколько более благоприятные условия представляла из себя только вторая половина XV в., эпоха окончательной победы королевской власти над силами феодального мира. Но во время борьбы с ними эта власть, начиная с XIV в., *все более и более упускала из виду интересы низших классов*, а потому при окончательном поражении сеньюров законодательство стало стремиться лишь к тому, чтобы положить пределы их произволу записыванием кутюм, применение которых осталось в руках тех же сеньюров. Более ста лет одною из главных задач королевской власти и юристов было именно это приведение в порядок кутюмного права. В 1453 г. было предписано Карлом VII приступить к этой работе, но она началась не тотчас же, совершалась весьма медленно, с перерывами, ибо сеньюры делали всякие препятствия изданию законов, связывавших их произвол. Огромное их большинство составлено было все-таки перед исходом XVI в., к концу царствования Генриха III. Хотя ордонанс 1497 г. и предписывал некоторое участие народа в составлении законов на основании обычного права, однако сборники кутюм утверждались помимо всякого его участия, как прежде, так и после указанного ордонанса. Эти законы, закрепившие в XV и XVI вв. отношения, которые возникли еще в XI—XIII столетиях, сохраняли свою силу во Франции в продолжение XVII и XVIII вв. Итак, королевская власть не пошла далее регулирования уже установившихся отношений, нисколько не думая об их реформе. Французские короли не забыли своего происхождения в среде феодальной аристократии и не научились смотреть на свою власть как на нечто иное, нежели частная собственность известного аристократического рода; они до самой революции продолжали смотреть на себя как на первых дворян Франции и на свою власть как на собственность, которая зиждется на тех же основах, на которых покоились все права феодальных сеньюров. Тем же характером отличалось отношение и генеральных штатов к крестьянам. *Состоя из представителей дворянства, духовенства и горожан, они сравнительно очень мало заботились об интересах поселян*: доказательство этому можно найти в любой истории этого учреждения, именно в том молчании о крестьянских делах на генеральных штатах, которое мы находим у каждого из историков, следивших за развитием и деятельностью национального представительства в старой Франции. Допущение представительства сел в общее собрание государственных чинов (1484) сущности дела не изменяло, ибо представите-

лями сельских жителей сделались все-таки буржуа. В провинциальных же штатах даже в XVIII в. деревни представителей не имели. Это отсутствие крестьян на местных собраниях играло особенно важную роль в тех случаях, когда тремя сословиями обсуждались старые кутюмы: сельский люд не мог подавать своего голоса.

Новые кутюмы могут служить одним из источников для составления себе понятия о положении крестьян в XVI, XVII и XVIII вв. Поэтому большая часть того, что может быть сказано, по крайней мере, о юридических отношениях земледельческого быта в XVI в., относится одинаково и к самому кануну революции. Прежде всего при рассмотрении кутюм нам бросаются в глаза, так сказать, однородность их основы и крайнее разнообразие в подробностях, делающее изучение феодального права весьма трудным. По отношению к серважу, впрочем, кутюмы разделялись на свободные (*franches*) и рабские (*serves*): в тех провинциях, где действовали первые, крепостного состояния не допускалось более, тогда как провинции, в которых действующее право составляли *les coutumes serves*, насчитывали в своем населении еще довольно значительное количество сервов. Между этими сервами было сравнительно немного полных, или так называемых *serfs de corps*, которые хотя и отличались от крепостных, носивших такое имя в XII в., но все-таки не могли выйти из-под зависимости от своего господина: большинство не-свободных крестьян принадлежало к категории *serfs d'heritages* или *serfs réels*, которые могли освободиться, покинув свои земли. Далее идут уже подробности: не только сервы одной провинции из тех, в которых они продолжали существовать¹, не были во всем сходны с сервами другой, но даже в одной и той же местности существовало крайнее разнообразие положений. Вторым крупным делением кутюм было деление их на аллодиальные и не допускавшие аллода, т. е. державшиеся правила *nulle terre sans seigneur*: вторые составляли общее правило, первые незначительное исключение. В некоторых областях даже тогда законом не допускалась свободная собственность, если бы и владелец доказал ее аллодиальность какими-либо документами. В силу этого правила почти все земли Франции, которыми только владели крестьяне, были цензивами, и на всех лежали разные платежи в пользу сеньоров вроде ценза или шампара, разных рент и пр., а вместе с платежами и разные ограничения в свободном распоряжении землею, вытекавшие либо из необходимости обеспечить правильный взнос повинностей, либо из разных прав сеньора, права охоты, например. Можно принять, что начиная с XV в. цензива была самым распространенным видом крестьянского землевладения, начавши даже вытеснять половничество, пока не стала водворяться система фермерства. Помимо сеньориальных поборов, которые кутюмы определяли как плату за отданную крестьянам землю, существовала масса других, не вы-

¹ Бургундия, Франш-Конте, Бретань, Шампань (Troyes, Sens, Vitry), Берри, Нивернэ, Бурбоннэ, Овернь (pays de Combrailles), Марш и др.

текавших из поземельных отношений. Крестьяне несли старые средневековые повинности, от которых не успели откупиться; они несли повинности и сравнительно более позднего происхождения, представлявшие выкуп за уничтожение мэнморта, формарьяжа и т. п. В одном месте они присягали сеньору в верности, в другом в знак покорности делали разные символические приношения вроде заячьей лапки, куриной ножки и т. п., или исполняли какие-либо унижительные и смешные действия.

Далее, несмотря на то, что судебное право сеньора ограничивало верховную власть короля, несмотря на то, что с самого XIII в. королевские судьи преследовали одну задачу — уничтожить соперничество с их юрисдикцией юрисдикции сеньориальной, последняя продолжала существовать, хотя и рассматриваемая как делегированная сеньорам функция, хотя и ограниченная как кутюмами, так, начиная с XVI в., и специальными распоряжениями королевской власти, в XVII в. уже в полном ходу был принцип — *toute justice émane du roi*¹, и в теории признавалось возвращение королю делегированного им судебного права в случае злоупотребления сеньора этим правом. Практика шла своим путем, и соединение в руках помещиков с властью судебною и полицейскою властью делало их произвол еще более возможным и еще менее чем-либо ограниченным.

Таким образом, зависимость крестьянина от помещика при переходе в Новое время была еще весьма велика: виллан был со всех сторон опутан сеньориальною властью, ибо на нем нередко лежали повинности личные; земля его почти всегда подлежала цензу, шампару и пр.; для его хлеба и винограда существовали разные монопольные мельницы, печи, точила землевладельца; он платил разные пошлыны: заставные, мостовые, паромные; он находился под административною опекою сеньориальных агентов; он подчинялся их суду и пр. Казалось, редакция кутюм должна была лишь увековечить *status quo*, и некоторые их постановления, действительно, носят такой характер. Так, там, где действовало правило *nulle terre sans seigneur* (а это была почти вся Франция), несвобода почвы была признана вечным принципом землевладения, ибо от ценза и заменяющих его повинностей со всеми их атрибутами вроде пошлыны при продаже цензивного участка его владельцем другому лицу (*lods et ventes*), — большею частию нельзя было освободиться никаким образом. *Le cens n'est point rachetable*², говорит кутюмное право, и если цензитарий выкупал свою землю, то тем переводил ее только из-под зависимости от непосредственного своего сеньора под *dominium directum* другого, высшего сеньора.

¹ Все право исходит от короля (фр.). — Прим. ред.

² Ценз не подлежит выкупу (фр.). — Прим. ред.

XV. Положение немецких крестьян в конце Средних веков¹

Взгляд на судьбу немецкого крестьянства в Новое время. — Крупная и мелкая собственность в Германии. — Положение крестьян в конце Средних веков. — Взаимные отношения господ и крестьян. — Ухудшение экономического быта. — Роль юристов. — Спoлиация общинных земель. — Бесправное положение крестьян. — Крестьянские волнения перед Реформацией. — Объединение рыцарства. — Венгерское и польское крестьянство. — Французское, немецкое и английское крестьянство.

История немецких крестьян с исхода Средних веков есть история постепенного ухудшения их быта и в юридическом, и в экономическом отношении. Начало XVI в. в истории Германии было ознаменовано целым рядом крестьянских бунтов, предшественников Крестьянской войны 1524—1526 гг., происходившей уже под знаменем религиозных идей Реформации. И эти бунты, и эта война была симптомами глубокой перемены, совершавшейся в жизни сельского населения в эту эпоху. Замечательно, что в то время как во Франции и особенно в Англии принцип личной свободы крестьянства сделал большие завоевания в сельском быту, в Германии, наоборот, усиливается закрепощение народной массы, сопровождавшееся и уменьшением ее имущественных прав. Поражение крестьян в 1525 г., понятное дело, не могло улучшить их участи, и ухудшение идет crescendo², особенно в эпоху Тридцатилетней войны, вообще бывшей гибельною для Германии во всех отношениях.

Поземельная собственность в Германии, как и в других странах, принадлежала преимущественно князьям, господам, монастырям и, кроме того, городам, приобретавшим нередко населенные земли путем денежных ссуд под их залог или путем прямой покупки (например, у Ульма было владений целых 15 квадратных миль). Крупное землевладение существовало, таким образом, и в Германии, хотя здесь редко имения состояли из сплошных территорий: большею частью земли одного и того же господина были раскинуты небольшими участками в разных деревнях, и в одной и той же деревне бывали участки, принадлежавшие двум, трем, четырем господам, участки же эти были отдельными дворами. С этим своеобразным характером крупного землевладения в Германии сочеталось сохранение весьма многими крестьянами своих дворов в свободной собственности, т. е. рядом с дворами, принадлежавшими помещикам, хотя и обрабатывавшимися каждый мелким

¹ Maurer. Geschichte der Fronhöfe, der Bauerhöfe und der Hofverfassung in Deutschland; Geschichte der Dorfverfassung in Deutschland. См. соч. Janssen'a, на которое указано в главе XI.

² По нарастающей (итал.). — Прим. ред.

хозяином-крестьянином, в деревне могли существовать и дворы, составлявшие собственность вполне свободных или полусвободных крестьян. Размеры всех этих дворов были далеко неодинаковы: были дворы покрупнее, от 3 до 10 гуф каждый, считая гуфу в 30—40 моргенов, что составляет от 10 до 35 десятин, были дворы средние, менее трех гуф, и мелкие — в несколько моргенов, не считая самых маленьких участков вроде огорода с хижинкой, принадлежавших бобылям (Köter). Дворы, передававшиеся весьма часто по смерти хозяина младшему сыну (минорат), составляли или отдельные хутора с замкнутыми территориями, или сплошные деревни. Исключив крестьян-собственников среди тех, которые сидели на помещичьих дворах, мы можем различить разные положения, а именно: 1) свободных фермеров, встречавшихся большею частью на городских территориях, на которых крепостничество было исключением, 2) чиншевиков, т. е. пожизненных или наследственных цензитариев, плативших чинш (ценз, оброк) за обладание дворами, которые были поэтому чиншевыми ленами (Zinslehen), и 3) настоящих крепостных (Korpfhörige), каковых было большинство. Крепостной крестьянин платил оброк, отбывал барщину, был прикреплен к земле, не имел права ее оставить, но в то же самое время пользуясь правом не быть лишаемым своего двора, пока им исполнялись все обязанности по отношению к господину, причем обязанности эти определялись обычным правом отдельных поместий (Hofrechte) или областей (Weisthümer). Это же обычное право возлагало и на помещика известные обязанности по отношению к крестьянам, обязанность им помогать в случае болезни, неурожая, падежа скота, разорения от войны и т. п. Были определены в обычном праве и размер чинша, и величина барщины, и тот посмертный взнос (Sterbefall, mortuarium), который наследник умершего крестьянина должен был делать помещику, а с другой стороны, определялось, какие харчи помещик должен был давать крестьянам, когда они приходили на барщинную работу.

Экономическое положение крестьянской массы, в общем, было сносное и даже, пожалуй, завидное в сравнении с тем, что в этом отношении представляли другие страны, и сама же Германия в позднейшие времена. Лет через 25 после Крестьянской войны один современник писал, что на памяти его отца, который сам был крестьянский сын, крестьяне ели совсем иначе, чем в его время. «Тогда, — прибавляет он, — в изобилии были мясо и другие яства, а теперь стало иначе. Вот уже много лет, как наступило дорогое и дурное время, и пища более зажиточных крестьян сделалась почти во много раз хуже, чем прежняя пища поденщиков и батраков». Это свидетельство из середины XVI в. подтверждается многими данными XV и начала XVI столетий. Есть известия о том, что недостаток делал крестьян нередко чванными и что они позволяли себе много лишнего, так что некоторые ландаги XV в. издают законы против роскоши крестьян и устанавливают, например, цену, выше которой мужик не мог платить за сукно на свое платье. Мы в состоянии просле-

доть, как происходило это ухудшение быта и какие факторы его произвели. Первый из них заключался в том, что землевладельческое сословие, рыцари, стали больше требовать от крестьян, чем те давали раньше, и причиною этого было то, что произошла перемена в самом рыцарском быту: последний в былые времена мало чем отличался от быта зажиточных крестьян, но мало-помалу под влиянием иноземных нравов и примера, подававшегося разбогатевшими горожанами, немецкие феодальные господа стали вести более роскошный образ жизни, требовавший больше расходов и, разумеется, больше доходов, извлекавшихся из земли посредством крестьянских оброков. Увеличение крестьянских платежей вызывалось и другой причиной, значительным сокращением доходов в силу обесценения денег вследствие открытия Америки: в Европу сразу из Нового Света нахлынула масса драгоценных металлов, что отразилось на уменьшении цены денег и на соответственном вздорожании товаров. Юристы, введшие в жизнь немецкого народа нормы римского права, оказались услужливыми не только по отношению к князьям, содействуя усилению их значения своим учением о власти, но и по отношению к феодальным помещикам. Их роль в Германии, где «рецепция» римского права происходила двумя веками позже, чем во Франции, оказалась менее благоприятною по отношению к крестьянской свободе, нежели роль французских юристов, и пословица, сделавшая из юристов плохих христиан (*Juristen böse Christen*), получает отсюда свой настоящий смысл. Между тем как французские легисты толковали все сомнительные случаи в положении крестьян в смысле свободы, немецкие юристы стремились подвести родную действительность под понятия римского права и, находя в нем лишь два состояния людей — свободу и рабство, распространяли понятие последнего на все зависимые положения, в каких могли находиться немецкие крестьяне по отношению к своим помещикам. В одном только случае теории юристов во Франции и в Германии не расходились, это тогда именно, когда речь шла о поземельной собственности. Мы уже знаем, что в Средние века земля находилась в двойной собственности, — форма совсем неизвестная римскому праву: настоящему владельцу принадлежал *dominium utile*, а его сеньору принадлежал *dominium directum* как совокупность административных, судебных, финансовых и иных прав. Юристы, проникшиеся воззрениями римского права, поняли эти отношения по-своему, отделив понятие власти (*imperium*), которое перенесли на государя, и, начав толковать *dominium directum* в смысле частной собственности, а *dominium utile* в смысле простого пользования. Известный нам французский принцип «*nulle terre sans seigneur*» был понят именно в этом смысле, и из него был сделан вывод, позволивший начать спользацию общинных земель (*les communaux*). На этом нужно несколько остановиться как на явлении, общем Франции и Германии, тем более что с ним мы встречаемся и в истории Англии, хотя там и не действовало римское право.

Делая очерк истории сельского населения Франции, я упомянул о существовании в ней в Средние века общинного землевладения, состоявшего из разного рода угодий, в связи с чем находилось и право жителей деревни посылать свой скот пастись по всем ее полям по снятии с них жатвы. Когда права сеньора в известной территории стали толковаться в смысле простой собственности, право его на последнюю было распространено и на общинные земли, которые стали рассматриваться как только уступленные крестьянам в пользование, и на этом основании сеньоры начали отбирать в свою пользу значительные части общинных угодий: жалобами на это полны наказы (*sahiers*) депутатов третьего сословия на генеральных штатах XVI в., встречаются на это жалобы и в *sahiers* 1789 г., а в XVII в. это озабочивало само правительство, запрещавшее обирать сельские общины. Мы увидим, что такая спoliация происходила в особенно больших размерах в Англии, но и в Германии было то же самое и как раз перед Крестьянской войной, во время которой крестьяне, между прочим, поставили и такое требование, чтобы им были возвращены общинные земли, у них несправедливо отнятые. Общинное землевладение в Германии было довольно развито: «марки» существовали во всех деревнях, и правом ими пользоваться обладали и свободные, и крепостные жители деревень. Обычное право прямо признавало это за крестьянами, не делая никакого различия между свободными и крепостными. Деревня в административном и судебном отношении была общиной, выбиравшей своего старосту и устанавливавшей порядок пользования своими общими угодьями, к числу которых относились и луга, и воды. Стеснительные для крестьян законы об охоте и рыбной ловле изымали из их ведения эти леса и эти воды. В крестьянских статьях 1525 г., заключающих в себе требования значительной части восставшего народа, отводится место и требованию вернуть старые порядки в этой области сельского быта, что указывает на значительное изменение в прежних правах крестьян по отношению к общинным угодьям.

Таковы были причины ухудшения крестьянского быта в Германии. Весьма естественно, что немецкое крестьянство чувствовало, что для него наступают новые времена, которые несут с собою много нехорошего. Все это вызывало среди них брожение, проявлявшееся сначала в ряде местных вспышек и разразившееся, наконец, общей войной, которая охватила значительную часть Германии, причем *недовольство народа принимает вид общественного движения на религиозной подкладке*. Крестьяне были побеждены, и ухудшение их быта пошло быстрыми шагами.

Крестьянская война 1524—1526 гг. имеет весьма важное значение в истории Германии в эпоху Реформации, и потому весьма интересно ознакомиться с движениями, которые ее подготовили. Одной из непосредственных причин народного брожения было то, что *крестьяне лишились покровитель-*

ства законов, не имели учреждения, куда могли бы жаловаться на произвол помещиков: вследствие этого они и стали прибегать к своего рода самопомощи и самосуду. В сельских общинах существовало какое ни на есть самоуправление с решением мелких тяжб на деревенских сходах, но этот порядок стал отменяться, и помещичий суд начал вытеснять старое народное право. С другой стороны, в XV в. были весьма часты случаи обращения крестьян с жалобами на господ к императору, к юридическим факультетам, к швабскому союзу и т. п., но право принесения таких жалоб подверглось также разным стеснениям. Не говоря уже о том, что крепостные вообще не могли вчинять исков против своих господ, а свободные крестьяне имели большие основания относиться с недоверием к судам, тянувшим сторону дворян, в конце XV и начале XVI в. были специальные постановления, отнимавшие у крестьян возможность искать судебной защиты. Когда в 1495 г. был учрежден верховный имперский суд (*Reichskammergericht*), крестьянские дела не были включены в его компетенцию, а в 1500 г. в Аугсбурге было постановлено, что крестьяне могут жаловаться на посторонних господ, никак не на своих, хотя разного рода неудовольствия возбуждались среди крестьянства именно поведением собственных, а не чужих помещиков. Это имперское законодательство дополнялось аналогичными местными узаконениями, проходившими в ландтагах, на которых крестьянское сословие не имело представителей. Эти же ландтаги, вотируявшие налоги, сваливали увеличивавшуюся тяжесть последних на то же крестьянское сословие, и вот мы видим, что когда в 1514 г. восстали крестьяне в Вюртемберге, одним из их требований было допущение в ландтаг и их представителей, что на время и осуществилось было, но, в общем, в народе был тот взгляд, что ландтаги ничего не делают для крестьян, кроме прибавки новых налогов.

Не находя нигде защиты, сельская масса начала волноваться, и в отдельных местностях Германии вспыхивали крестьянские бунты. Можно было бы составить список целого ряда таких бунтов, предшествующих войне 1524—1525 гг. Символом крестьянского восстания в начале 90-х гг. XV в. делается мужицкий башмак с ремнями, которые привязывали его к ноге (*Bundschuh*), и этот символ группирует около себя тайные сообщества, играющие роль в истории крестьянского движения за целую четверть века перед наступлением реформационной эпохи. Отмечаем теперь этот факт для того, чтобы познакомиться с ним подробнее при изложении этого замечательного периода в истории Германии.

Крестьянская война следовала в Германии непосредственно за рыцарским восстанием, причины которого будут выяснены при изложении самой эпохи. Здесь, говоря о социальном положении отдельных классов немецкого общества, имевших отношение к землевладению и земледелию, нельзя обойти молчанием, что, кроме политических причин рыцарского недовольства, — а такими причинами была опасность для рыцарской не-

зависимости со стороны княжеской власти и новое устройство Германии, ограничивавшее произвол рыцарей, — в том движении, которое происходило в этом сословии, действовала еще причина экономическая. Землевладельцы переживали кризис, и рыцарство беднело. Не говоря уже о том, что поместья дробились вследствие естественного размножения сословия, они еще обесценивались, т. к. земля не приносила прежнего дохода вследствие указанного выше экономического переворота и других причин, стоящих в связи с образованием богатого промышленного и торгового класса в городах. Можно сказать, что в эту эпоху возникает среди рыцарства своего рода пролетариат, хранивший дворянские претензии, гнушавшийся работы и даже предпочитавший труду благородное ремесло грабителя или службу при княжеских дворах. Если рыцари и сохраняли свои имения, то жить доходами с них становилось трудно, тем более что в XV в. исчезло однообразие быта менее богатых рыцарей и более зажиточных крестьян. Одно сословие особенно возбуждало зависть среди дворянства в ту эпоху, что было, как мы увидим, не в одной Германии: сословием, о коем идет речь, было духовенство, обладавшее крупною поземельною собственностью, большим движимым имуществом, огромными доходами, и на него-то главным образом и направилось рыцарское восстание 1522—1523 гг. Понятно, что между рыцарями и крестьянами не могло быть никакой солидарности: в конце и начале XVI в. это были два враждебные лагеря, соединить которые для общего дела было трудно. За поражением «офицеров без солдат» в 1523 г. и за поражением «солдат без офицеров» в 1525 г. социальные отношения, созданные предыдущей эпохой, не изменились к лучшему: они прямо даже ухудшились.

Не в одной Германии мы наблюдаем ухудшение крестьянского быта и развитие крепостничества в Новое время: явление это замечается и в других странах, близких к Германии по степени экономического и политического развития. Мало того: не в одной Германии собрания государственных чинов, в которых не было крестьянского представительства, издавали законы против народной свободы, и не в одной Германии пускались в ход римские идеи о рабстве для узаконения крестьянских закрепощений. Я имею в виду Венгрию и Польшу.

В 1514 г., в один год с восстанием вюртембергских поселян, произошло крестьянское движение в Венгрии. Началом послужила проповедь крестового похода против турок, увлекшая массу народа, но встреченная весьма несочувственно дворянством, которое было против того, чтобы крестьяне покидали свои дома и оставляли невозделанными поля. Противодействие с их стороны возмутило «крестоносцев» (куруцев), и они подняли знамя восстания, сопровождавшегося пожарами и убийствами. Бунт был подавлен, и *сейм объявил государственным законом на вечные времена полнейшее рабство крестьян* (*mea et perpetua servitus*). На этот закон ссылались вен-

герские дворяне, когда через 270 лет император Иосиф II, король венгерский, задумал освободить венгерских крепостных крестьян.

В Польше эпоха образования государственного сейма и эпоха закрепощения сельского населения прямо совпадают между собою и совпадают со временем, когда в Германии происходил только что рассмотренный процесс. Польская шляхта, высылавшая своих послов на вальный (общий) сейм, без согласия которого с первых лет XVI в. не издается никаких законов, с самого же начала пользуется своею властью исключительно ради собственной выгоды и, между прочим, лишает крестьянство прежних его прав. В XV в. польское рыцарство утрачивает свой военный характер, превращается в помещичий класс, начинает заниматься сельским хозяйством и умножением своих доходов, шедших главным образом на удовлетворение той страсти к роскоши, которая характеризует польскую шляхту в XVI в. Весь доход прежнего шляхтича состоял из хлопского чинша за снятую землю да того, что давали стадо, мельница, корчма: теперь этого было мало, и *пользуясь своею законодательною властью, шляхта прикрепляет крестьянина к земле и отнимает у него покровительство законов*. Право владеть «земскими имуществами» принадлежало одной шляхте, которая и сделалась обладательницей всей земли; крестьянин не мог владеть землею и в то же время не имел права покидать поместья, в котором жил; барщинные повинности, на нем лежавшие, и другие поборы были увеличены, и в довершение всего у него отнято было право жаловаться на своего пана. Весьма любопытно, что своего рода теоретическое оправдание такой перемены шляхта находила в перенесении на тогдашнюю польскую действительность понятий, заимствованных из римской истории: собственное государство являлось ей республикой (*rzeczpospolita*), сама она представляла себя свободным народом (*szlachta naród*), живущим трудами рабов — хлопов, рабов в духе римского права.

Одним словом, и в Германии, и в Венгрии, и в Польше, не называя уже других стран той же степени экономического развития, в начале Нового времени мы встречаемся с явлениями, которые Францией и Англией были пережиты раньше, которые в XIV и XV вв. были для этих стран отдаленным прошлым. И особенность средневекового хозяйственного быта, состоявшая в соединении крупной земельной собственности с мелким хозяйством, характеризует общественный строй стран, где происходило указанное ухудшение крестьянского быта. Шляхтич в Польше был землевладельцем, но он вел хозяйство барщинным трудом только на одной части своего поместья: все остальное было в руках бесправных хлопов, имевших, однако, свои наделы, свое хозяйство и отбывавших повинности в пользу своих панов. То же самое и в Германии. Особенно в северо-восточной ее части мы редко встречаемся со сколько-нибудь развитым помещичьим хозяйством, да и на западе Германии мелкое хозяйство крепостных или свобод-

ных можно считать общим правилом. Мы видели уже, что во Франции даже начал намечаться процесс замены мелкого хозяйства более крупным, но опять-таки это не было явлением повсеместным и всеобщим, как то было в Англии, к которой мы теперь и перейдем, чтобы остановиться потом на церковном и монастырском землевладении, игравшем особую роль в истории экономического переворота, совершившегося в сельской жизни, и в истории политических отношений реформационной эпохи. Во всяком случае, мы можем заключить этот краткий обзор состояния немецких крестьян указанием на то, что из трех главных стран европейского Запада наиболее отсталою в социальном отношении оказалась Германия: Франция ушла гораздо дальше вперед, а еще далее ушла от характерных особенностей социального быта Средних веков — Англия.

XVI. Социальный строй Англии¹

Экономический строй Англии. — Парламент и социальные отношения. — Падение крепостничества в Англии. — «Черная смерть». — Восстание крестьян. — Роль парламента в крестьянском вопросе в середине XIV в. — Социальная структура английской нации. — Образование сельского пролетариата. — Фермерское хозяйство и фермеры. — Огораживание полей. — Эмиграция в города и бродяжничество. — Крупная собственность. — Разорение рыцарства. — Возникновение социального антагонизма.

В истории социального феодализма мы различаем сторону юридическую и экономическую, т. е., во-первых, несвободу личности и земельного надела крестьян, во-вторых, соединение крупной собственности с развитием мелкого хозяйства, делавшим невозможным сельский пролетариат. В процессе феодализации сельского быта во Франции мы наблюдаем, как личное освобождение отнюдь не сопровождается освобождением земли и, мало того, даже сопровождается разрывом той связи, которая установилась между крестьянином и землею. Редко где этот процесс проявлялся в своих характерных чертах с такою силою, как в Англии: Англия классическая страна крупного землевладения и сельского пролетариата, раннего освобождения крестьян от крепостной зависимости и раннего же развития фермерского хозяйства. Все это, однако, явления Нового времени: средневековая Англия знала и мелкое крестьянское хозяйство, и крепостных крестьян, и все дело заключалось в том, что *юридическое освобождение крепостной массы сопровождалось в Англии расторжением прежней связи между крестьянством и землею*. Это, однако, не мешало тому, что в Англии утвердился принцип феодальной собственности, в силу которого в ней земля всегда зависела — в первой инстанции от короля, во второй — от дворянства и рыцарства. Мы и остановимся на этом явлении как на явлении, наиболее характерном для Англии, не заходя в старые времена, когда в этой стране господствовали крепостные отношения и крестьянское хозяйство. Есть и еще причина, заставляющая нас обратить внимание на социальный процесс, совершившийся в Англии в XIV и XV вв.: в эту эпоху уже существовал парламент, верхняя палата которого состояла из крупных землевладельцев, в нижней же палате мало-помалу произошло слияние землевладельческих

¹ *Виноградов П.* Исследования по социальной истории Англии в Средние века (и английская переработка этой книги под заглавием *Villainage in England*); *Ковалевский М.* Общественный строй Англии в конце Средних веков; *Он же.* Полиции рабочих в Англии в XIV в.; *Петрушевский Д.* Рабочее законодательство Эдуарда III; *Rogers Th.* A history of agriculture and prices in England; *Ochenkowski.* Englands wirtschaftliche Entwicklung im Ausgange des Mittelalters; *Denton W.* England in the fifteenth century; *Ashley.* An introduction to english economic history.

и городских классов населения, и который приобрел решающее значение в законодательной деятельности государства, и, конечно, мы не можем не поставить вопроса о том, *как представители землевладения, пользовавшиеся в парламенте законодательною властью, относились к народу вообще и в частности к крестьянству*. Мы увидим, что в данном случае парламент был органом социальных интересов землевладельческих классов, и то отношение, в какое он стал к крестьянской массе, было, в сущности, только частным случаем некоторого более общего правила, под какое мы имеем право подвести и отношение к крестьянству, например, также и стороны французских генеральных и провинциальных штатов: *сила средневекового парламента заключалась в представителях феодального землевладения и вообще поземельной собственности*, и нет ничего мудреного в том, что *законодательная деятельность парламента разрешала все вопросы, возникавшие из условий социального феодализма, не в пользу крестьянского населения*. Одним словом, парламент был в числе факторов, игравших роль в истории освобождения английских крестьян от земли, и эта роль была не из тех, которые делали честь парламенту.

В Англии, как и в других странах в Средние века, существовало крепостничество, называвшееся вилленажем (villainage), по латыни villenagium. К концу XV в. вилленаж почти исчезает, и крестьянско-земельные отношения начинают получать новый характер. Причины этого факта были довольно сложные, но едва ли будет ошибочным считать главной из них то, что и политически, и в некоторых отношениях экономически Англия опередила континентальные страны, — политически потому, что, ранее, чем где-либо, произошло здесь торжество государственных начал над феодализмом, который в Англии и не получал значения политической системы, — и потому, что здесь же началось слияние классов, устранявшее возможность выработки чисто кастического строя, и вот это-то политическое развитие, обеспечивавшее внутренний порядок, содействовало развитию экономическому, которое выразилось в том, что *Англия сравнительно рано переходит от натуральной системы хозяйства к денежной*, содействовавшей важным социальным изменениям. И помещик, и крестьянин предпочитали уже в XIII в. денежные оброки натуральным повинностям, первый — потому, что получать деньгами крестьянские платежи было удобнее, второй — потому, что отбывание натуральных повинностей ставило его нередко в крайне стеснительное положение, особенно когда нужно было отбывать барщину. Нередко выкуп повинностей сопровождался договорами, которыми, что мы сейчас увидим, крестьяне пользовались потом как доказательствами своей личной свободы.

В Средние века вообще существовали классы, так сказать, колебавшиеся между крепостью и свободой, и они сильно развиваются в Англии к концу Средних веков, нося весьма разнообразные названия и более приближаясь

либо к вилланам, либо к вполне свободным людям, каковые, разумеется, тоже существовали в Англии. Таким классом, особенно в королевских доменах, являются сокмены, и все усилия вилланов заключались в том, чтобы перейти постепенно в положение, характеризующее этим названием (*socagium*): один памятник конца XIV в. определяет сокмена как свободного человека, держащего крепостную землю (*villanagium*), — причем держание это, твердое и прочное, было не на основании грамоты, а на основании обычая. От положения сокмена был только шаг к полной гражданской свободе. Желание крестьян освободиться от крепостных уз весьма часто встречалось со стремлением помещиков избавиться от обязанности давать пропитание своим крепостным во времена голодовок, каковые были довольно часты в первой половине XIV в. Этот последний век был в истории Англии эпохой особенно сильного движения среди крестьянства. Во-первых, многие освобождаются судебным порядком, опираясь на закон, по которому подавать иск в суд мог только свободный человек: стоило крестьянину — особенно если у него был какой-либо договор в руках — подать иск в суд, и суду стоило лишь его принять, чтобы подавший сделался свободным как признанный в таковом звании судом, а чтобы господин не мог опротестовать подачи иска, стоило лишь подать его одновременно в разные суды. Впоследствии сами помещики соглашались на такую уловку, чтобы освобождать крепостных без хлопот и формальностей. Во-вторых, крестьяне освобождались посредством бегства и проживания в каком-либо городе в течение одного года и одного дня (что имело силу и во Франции), и опять-таки помещики сами впоследствии пользовались таким способом, сами позволяя крепостным отлучаться на год с днем. Одним словом, и здесь дело шло, как во Франции, т. е. путем частных сделок, а не общих законодательных мер, и вместе с этим и здесь освобождение сопровождалось откреплением крестьянина от земли, остававшейся за помещиком и снова отдававшейся крестьянину уже не на прежних основаниях.

В истории этого процесса весьма важное значение принадлежит «черной смерти», которая в середине XIV в. обошла всю Европу, посетила Англию и унесла из ее населения чуть не половину, нарушив правильное течение экономической жизни. В это время в Англии уже существовали наемные рабочие, и весьма естественно, что плата за их труд значительно должна была возрасти после эпидемии. Тогда в парламенте, состоявшем из собственников, прошел статут (1349), которым безземельные рабочие обязывались служить всякому нанимателю, какой только потребует их работы, и получать за это плату, какая в данном месте существовала за два года до чумы, и все это под страхом тюремного заключения. В 1350 г. парламент определил самый размер платы и запретил рабочим оставлять приходы, в которых они жили в момент издания статута, и опять под страхом тюремного заключения. Эти распоряжения проводились в жизнь с величайшим трудом, и новые подтверждения закона увеличили меру наказания до клеймения беглых

рабочих в лоб каленым железом. Вместе с этим началось возвращение крестьян, откупившихся от барщины, к прежнему барщинному труду. «Черная смерть» затем опять постигла Англию, нищета была ужасающая. Начинались народные волнения, явились агитаторы, и парламент принимает против этого меры — запрещением стачек, сообществ и соборищ рабочих. В это время выдвигается личность «сумасшедшего кентского попа», Джона Балля, говорившего страстные проповеди на тему о естественном равенстве, и на ту же тему сложилась народная песенка: «Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто был тогда дворянином?» (When Adam delved and Eve span, who was then gentleman?). Тогда же и Вильям Лонгланд написал свои «Жалобы Петра пахаря» на ту же тему равенства людей и обязательности труда для всех. Возвращения «черной смерти» (вплоть до 1369 г.), новые строгости против рабочих, репрессии против крепостных, отказывавшихся от работы, запрещения сходов и союзов в низших классах народа, а вместе с этим и война с Францией, и борьба Эдуарда III с парламентом, и начало резких отношений со стороны светских сословий к папству и духовенству, — все это или прямо подготовляло взрыв народного недовольства после смерти Эдуарда III, или косвенно содействовало этому взрыву. Поводом было введение поголовного налога (the pole groates), распространявшегося и на рабочих, которые прежде были свободны от налога, но главная причина была в том, что поселян сильно притесняли лэндлорды, потребовавшие от них прежних повинностей и служб. Агитация, ведшаяся уже несколько лет, проповеди нищенствующих монахов, бедных священников, усвоивших протест Виклифа против богатого духовенства, народные песни на жгучие темы произвели свое действие, и в 1381 г. произошло страшное народное восстание под начальством Уота Тайлера, овладевшего даже Лондоном. Молодой Ричард II, явившийся к инсургентам и принятый ими дружелюбно, обещал им амнистию и освобождение от рабства: народ даже и тогда возлагал на короля все надежды, когда Уот Тайлер был убит в его присутствии лондонским мэром, находившимся в королевской свите. Дело кончилось, однако, тем, что восстание было подавлено со страшною жестокостью, а парламент не согласился на обещанные и уже сделанные королем уступки. Тем не менее восстание возымело то действие, на какое рассчитывали крестьяне и их вожди: оно напугало имущие классы общества и заставило их не только быть осторожнее, но и значительно изменить свою тактику, так что в общем процесс освобождения не затормозился. Однако парламент 1381 г. выступал против политики уступок, которой желал король и его совет. В своем послании к парламенту Ричард II указывал на то, что если члены парламента думают отпустить на волю своих крепостных, то он, король, ничего не будет иметь против этого, но парламент ему отвечал в том смысле, что грамоты, данные им крестьянам, не имеют силы, что крепостные составляют собственность своих господ, у которых король не имеет права что-либо брать без их согла-

сия, и что они скорее готовы умереть, чем согласиться на то, что им предлагают. Мало того: в духе статута о рабочих парламент настоял на том, чтобы дети вилланов не могли ни поступать в духовное сословие, ни в ученики к городским ремесленникам, ни в общественные школы.

Роль парламента в эпоху законодательства о рабочих и крепостных, вызванная «черною смертью» и крестьянским восстанием, показывает нам, что представленные в этом учреждении общественные классы отставивали не только свои политические интересы от королевской власти, но и экономические свои интересы, имея против себя народную массу. На чисто социальной почве в палате общин *объединились в этом отношении интересы всяких работодателей*, т. е. и сельских хозяев, и промышленных предпринимателей, одним словом, имущих классов и в деревнях, и в городах, и парламент сделался органом этих интересов: слияние в нем отдельных сословий в один имущественный класс завершилось уже известным нам установлением избирательного ценза в 40 шиллингов, которым вводилось новое начало в социальный строй Англии — *признание за известным размером собственности самого важного политического права* — высылать представителей в парламент. Весьма естественно, что нижняя палата, в которой руководящая роль принадлежала выборным от джентри, должна была заботиться об усилении своего социального значения, сходясь в этом отношении с лордами, которые также были землевладельцами. Законодательство о рабочих в середине XIV в. уже указывает нам на то, что парламент стал пользоваться своею властью не только для того, чтобы закреплять за земельными собственниками те выгодные стороны, какие существовали для них в феодальном строе, но и для того, чтобы в выгодном же для себя смысле решать вопросы, возникавшие уже на почве совсем новых отношений, сущность которых состояла в том, что крепостной крестьянин откреплялся от земли и становился безземельным рабочим, живущим платою за труд для чужого хозяйства. В эту именно сторону направлялся эманципационный процесс в Англии, и парламент, насколько от него зависело, регулировал этот процесс в исключительную пользу имущих классов. Таким образом, если в Англии не выработалось замкнутых сословий и образовался в юридическом отношении лишь один класс свободных людей, в который постепенно переходит все население страны, то *впервые в Англии возникло чисто экономическое различие между имущими и неимущими без всяких сословных перегородок*. В этом отношении Англия опередила другие европейские страны.

Свободные люди, или фримены (freemen), сохранились в Англии с древних времен как в городах, так и в селах. По отношению к земле они были свободные держатели, или фригольдеры (freeholders, libere tenentes), снимая земли по свободному договору у крупных землевладельцев. Не нужно, однако, думать, что освобожденные вилланы попали в это состояние и в нем

удержались: *освобождаясь от крепостной зависимости, крестьяне лишались своих земельных участков* и превращались в безземельных батраков, работавших уже в пользу нанимавших их сельских хозяев. Обезземеление крестьянства в Англии идет рука об руку с двумя важными явлениями в истории земельных отношений в этой стране: с одной стороны, развивается фермерское хозяйство при помощи наемных рабочих, с другой — происходит процесс так называемого огораживания полей, и оба эти явления были причинами того, что прекращение той юридической связи, какая существовала между вилланом и его земельным участком, сопровождалось и фактическим откреплением крестьян от земли, превращением их в батраков, живущих наемным трудом, *т. е. образованием сельского пролетариата*. Само собою разумеется, что процесс этот совершался постепенно, и в нем было даже несколько обособленных моментов, отделенных один от другого продолжительными промежутками времени, но сущность дела была одна, и в процессе участвовали, с одной стороны, перемены в системе хозяйства в отдельных имениях, с другой — общие законодательные меры, исходившие от парламента.

И в Англии в Средние века господствовало соединение крупной собственности с мелким хозяйством. Экономические интересы заставляли помещиков сначала переводить натуральные повинности крепостных, главным образом барщину — на деньги, а потом *соединять несколько мелких крестьянских участков в более крупные фермы, которые и стали отдаваться в аренду предпринимателям*, обладавшим денежными средствами и ведшим хозяйство при помощи наемного труда. Пока существовал барщинный труд, помещику было выгодно держать на своей земле как можно больше народа, но потом было, наоборот, выгоднее сокращать число держателей земли, особенно ввиду того, что крестьяне пользовались правом пасти свой скот на земле помещика, а затем капиталист-фермер был аккуратнее в платежах, да и платежи можно было повышать: это было не то, что неизменная крестьянская рента. Вытеснение крепостной и барщинной обработки земли, т. е. крестьянского и помещичьего хозяйства фермерством, было одним из наиболее крупных экономических изменений, и в Англии, где оно произошло, конечно, не сразу, а потребовало большого периода времени, процесс этот и раньше начался, и сильнее проявился, чем в других странах Европы, где только освобождение крепостных сопровождалось разрывом их старой связи с землею. В Англии весьма рано появляется и особый класс таких съемщиков земли рядом со старыми ее держателями на разных условиях, какие были известны феодальному праву вообще и в частности прежним английским законам. Этот новый класс (йомены) занял посредствующее положение между ленд-лордом и рабочим, и *доходы с сельского хозяйства стали разделяться на ренту, доход землевладельца, на прибыль, доход капиталиста-фермера, и на рабочую плату*, — явление совершенно неизвестное средневековому феодальному хозяйству, но характерное для истории Нового времени. Фермерство создало

целый класс людей, бравших землю в аренду (*tenentes ad voluntatem*), класс, отличный и от старых фригольдеров и так называемых копигольдеров (*copyholders*), державших землю по письменному договору (*de hereditate*), заменившему прежний крепостной обычай. Общий порядок превращения сельскохозяйственных классов был таков: виллан делался копигольдером, копигольдер — фригольдером, фригольдер — фермером. Этому процессу и обязан своим происхождением зажиточный класс йоменов (*yeomen*), большей частью являвшихся из городских капиталистов. Они делаются мало-помалу главными сельскими хозяевами, превращая прежних крестьян-хозяев в наемных рабочих, т. к. одна ферма заключала в себе несколько прежних крестьянских участков. Это изменение экономического быта отразилось на быстрых успехах земледельческой культуры, ибо удалило с земли класс, которому наиболее было свойственно держаться старинных способов обработки земли, и отдало хозяйство в руки капиталистов, имевших и интерес, и возможность довести культуру земли до высокой степени интенсивности.

Другая причина обезземеления крестьянской массы заключалась в огораживании полей. И в Англии существовали земли, находившиеся в общем пользовании отдельных деревень. И в Англии также был обычай, в силу которого все изгороди между полями снимались после жатвы для того, чтобы скот мог беспрепятственно пастись по полям целой деревни, не исключая и помещичьей земли. Фермеры стали нарушать этот обычай. Весьма часто ничем не связанные с местным населением, они начали извлекать арендуемые ими земли из общего пользования, огораживая их, а помещики, желая усилить свои денежные средства, стали огораживать и часть общинных земель, чтобы отдавать в аренду и эти выгороженные участки, благодаря чему площадь общинных угодий сильно сокращалась. Была и другая причина, действовавшая в том же направлении. Англия в Средние века весьма выгодно торговала шерстью с материковой Европой, и в ней поразительно развилось овцеводство, для которого прямо стало требоваться превращение пахотных земель в пастбища и луга: интересы овцеводства заставляли обводить изгородью луга и поля с целью их изыятия от выпаса осенью, что вызывало часто крестьянские беспорядки, сопровождавшиеся разрушением изгородей.

Открепление крестьян от земли сопровождалось переселением их в города, где они искали заработка в специально городских промыслах. Это явление особенно характеризует социальную историю Англии, где обезземеление народной массы повлекло за собою ее перемещение в города, в которых благодаря этому постоянно возрастало число свободных рук, бывших в распоряжении городских промыслов, т. е. мануфактур и торговли, не говоря уже о том, что обширная колонизация отдаленных стран англичанами в последующие века сделалась возможною опять-таки лишь вследствие обезземеления массы. В том же явлении мы должны видеть

и причину того бродяжничества, против которого английское законодательство принимает в конце Средних веков весьма суровые меры.

Таковы были перемены в способах хозяйства и в положении массы, но перемены эти не нанесли ни малейшего ущерба развитию в Англии крупного землевладения. Напротив того, последнее в конце XV в. было поставлено весьма прочно. В самом деле, земля в Англии принадлежала крупными поместьями или духовенству и монастырям, или лордам и рыцарям: можно принять, что между духовными и светскими владельцами земля разделялась поровну, а из того, что приходилось на долю духовенства и монастырей, последним принадлежало целых две трети, т. е. около трети всей поземельной собственности. Даже города не имели своей земли: городские территории принадлежали крупным землевладельцам, и все дома в городах строились на чужой земле. Казенных земель в это время было очень мало, и если в эпоху Войны Алой и Белой розы победители очень часто прибегали к конфискации имений побежденной стороны, то приобретаемые таким образом поместья не удерживались за казною, а расходились по рукам лордов победившей стороны или раздавались вновь назначенным лордам. Мы увидим, что то же самое произошло и в XVI в., когда при Генрихе VIII (1509—1547) произошла секуляризация, т. е. отобрание в казну монастырской поземельной собственности: конфискованные имения и тогда разошлись по рукам большею частью крупных землевладельцев. Ни церковные поместья, ни имения лордов не могли дробиться, последние — на основании перехода наследства по праву первородства (майорат).

Этому сосредоточению собственности в руках сравнительно небольшого числа фамилий содействовало разорение рыцарства, продававшего свои земли преимущественно лордам ввиду того, что долгое время обладание рыцарскими поместьями было связано с несением известных феодальных обязанностей. Причины разорения рыцарства были довольно разнообразны. Во-первых, постепенная замена дарового барщинного труда трудом наемным при заработной плате, обнаруживавшей постоянную тенденцию к повышению, делала ведение хозяйства в рыцарских имениях затруднительным, часто невыгодным. Вторая причина этого разорения была следующая: хлеб дешевел вследствие правительственных запрещений вывоза его за границу, а вывоз шерсти, наоборот, поощрялся, так что шерсть сделалась главным предметом заграничной торговли, и заменять хлебопашество овцеводством представляло поэтому большую выгоду, но только люди со значительными денежными средствами, лорды и городские капиталисты, могли без потрясения всего своего состояния переходить от одного способа эксплуатации поземельной собственности к другому, конкурировать с ними рыцарям было не под силу, и им оставалось продавать свои земли лордам и городским капиталистам. Замечательно, что это сосредоточение собственности в руках лордов совпадает со временем ослабления

их политического значения вследствие междоусобия Алой и Белой розы и образования некоторой социальной розни. Дело в том, что описанный процесс разорвал те старинные узы, которые связывали лорда с его вассалами и фригольдерами, когда вместо прежних «держателей», имевших много общих интересов с аристократией и в общегосударственных делах, и в местной жизни, стали все более и более играть роль фермеры без старых традиций, с интересами, часто враждебными интересам лендлордов, весьма часто поэтому посылавшие в палату общин депутатов, настроенных по отношению к лордам не особенно благоприятно. Между верхней и нижней палатами возникает некоторый антагонизм, и им пользуется королевская политика преимущественно при Тюдорах. Этот же антагонизм проявляется и в той великой борьбе королевской власти с парламентом, которая разразилась в XVII столетии. С другой стороны, введение избирательного ценза в 40 шиллингов (как мы видели, состоявшееся в 1429 г.) разделило все сельское население Англии на два класса, свидетельствуя о том, что прежняя группировка общества по сословиям не соответствовала более распределению в нем богатства и благосостояния. Мы уже раньше познакомились с процессом слияния старых английских сословий, теперь мы видим еще образование экономических классов, стоящих вне их. В правящий английский класс, в то дворянство плутократического характера, которое образовалось в Англии, нужно включить и высшее духовенство.

XVII. Церковное землевладение¹

Политическое и социальное значение духовенства и церковное землевладение. — Три главных вопроса, связанных с рассмотрением этого значения. — Церковное землевладение и десятина. — Алчность прелатов и монастырей. — Причины антагонизма между дворянством и духовенством. — Мысль о секуляризации церковной и монастырской собственности. — Нападки на роскошь духовенства. — Новый способ распоряжений церковными доходами. — Сельское хозяйство на церковных землях. — Демократизм низшего духовенства. — Духовенство и горожане. — Социальная оппозиция против духовенства и ее следствия в новой истории.

На средневековое духовное сословие вместе с монашеством можно смотреть с двух точек зрения по его двоякому положению в обществе: с одной стороны, архиепископы, епископы, аббаты, каноники, приходские священники и монахи всевозможных орденов были соединены в могучую церковную организацию, имевшую своего главу в папе, свое управление, свои законы, свои собрания, свои интересы, свои традиции как организация, отличная от светского общества и государства и даже поглощавшая в себе отдельные нации и государства, но с другой, это было одно из сословий среди других сословий одной и той же страны, особый чин или штат, представленный в государственном сейме, пользующийся особенными привилегиями, имеющий свои собственные интересы и свои традиции как сословие данного государства, т. е. как одна из составных его частей. Вот с этой-то политической и социальной точки зрения мы и рассмотрим теперь духовенство, оставляя точку зрения церковную до другого времени, но и тут нужно сделать одно ограничение. *Политическая роль высшего духовенства мало чем отличалась от политической роли дворянства*, что и позволило нам не выделять его из феодального класса, когда о нем шла речь. Многие прелаты добивались положения владетельных князей, все вообще епископы и аббаты были феодальными сеньорами; потом они появляются в сословно-представительных учреждениях или, вместе со светским феодальным сословием (в палате лордов), или составляя особый штат или чин, который и считается первым в государстве. Но в положении духовенства (и, между прочим, в церковном землевладении) были и другие стороны, которые заставляют нас обратить внимание на политическое и социальное значение духовного сословия как сословия. Главное, о чем будет теперь идти речь, сводится к трем основным явлениям, характеристичным для рассматриваемой эпохи и тесно между собою связанным. Первое яв-

¹ *Laurent. L'église et la féodalité (VII т. ero Etudes sur l'histoire de l'humanité).*

ление — *антагонизм между духовенством и дворянством*, играющий вообще роль в тогдашних междусловных отношениях с их политическими следствиями и, в частности, не лишенный значения в истории реформационного движения XVI в. Вторым явлением, подлежащим рассмотрению, будет *изменение хозяйственной системы Средних веков, прежде всего начавшее обнаруживаться на церковных землях и тем поставившее духовенство в особое отношение к крестьянству*. Наконец, к этому нужно присоединить третье явление, имевшее важные политические и экономические следствия в реформационную эпоху, когда в некоторых государствах, в протестантских княжествах Германии, в Швеции, в Англии и т. д. *происходила секуляризация, отобрание государством церковной и монастырской собственности*, возбуждавшей алчные поползновения и в других странах. Между прочим, мы не поймем, например, вполне ни того социального переворота, который совершался в Англии в конце Средних веков и начале Нового времени, ни общественной стороны религиозной Реформации, заключающейся, между прочим, и в сословном антагонизме, существовавшем между светскими классами общества и духовенством, и в политике государственной власти по отношению к церковному и монастырскому землевладению. Впрочем, о секуляризации удобнее будет говорить при изложении реформационной эпохи: то, о чем будет идти речь дальше, могло бы быть озаглавлено так: 1) духовенство и дворянство и 2) духовенство и крестьяне.

В Средние века церковь, как мы видели раньше, также подверглась процессу феодализации, т. е. духовенство и монастыри заняли в обществе то же место, что и другие крупные землевладельцы, и притом с теми же правами, какие вообще давало землевладение: они сделались феодальными сеньорами, вассалами королей и князей, господами по отношению к народной массе. *Церковное землевладение, существовавшее уже в Римской империи, сильно развилось в Средние века*, и если бы обогащение духовенства и монастырей поземельно собственностью шло без всяких препятствий, то церковь могла бы сделаться единственным собственником земли: так велики были пространства ее владений. Эти обширные земли составлялись и из мелких участков, отдававшихся церкви собственниками, которые искали у нее защиты и получали от нее обратно свои участки на правах зависимого владения, — составлялись и из крупных дарений со стороны королей, для которых во многих отношениях выгоднее было иметь вассалами епископов и аббатов, чем светских баронов, — составлялись, наконец, и из пожертвований, какие делались ради спасения души самими феодальными сеньорами, отделявшими церкви часть своих земель. С точностью, конечно, нельзя сказать, как велики были церковные владения сравнительно с доменами короны и светскими сеньориями, но можно смело утверждать, что, по крайней мере, треть всей поземельной собственности была в руках прелатов и монастырей, а иногда и больше того, например, целая половина (Англия).

Притом земли духовенства, в общем, могли только приращаться: их отчуждение было немыслимо в силу юридического правила, по которому церковь могла только брать, но не имела права отдавать, а кроме того, для церковных земель не существовало и того раздробления собственности, которое было возможно среди светских землевладельцев. С другой стороны, духовные лица имели доходы — и нужно сказать, значительные доходы — и помимо того, что давали феодальное землевладение и крестьянские оброки: между этими доходами самое важное место принадлежит единственному всеобщему налогу, взимавшемуся в пользу церкви со всех земель, именно так называемой десятины, которую уплачивали все землевладельцы, причем только часть ее шла на содержание низшего клира и благотворительность, а другая часть доставалась и без того богатым прелатам. Понятно, что церковь была очень богата, и что доходы ее, в общем, превышали доходы дворянства. К этому нужно прибавить, что духовенство оказалось более умелым в ведении сельского хозяйства, более бережливым по отношению к своим доходам, менее расточительным в своих расходах, одним словом, было экономнее дворянства, а избыток своих средств церковь тратила на раздачу бедным, особенно в години бедствий и неурожая, когда открывались ее запасные магазины, и даже в обыкновенное время, т. к. монастырь был всегда готовым кровом для бесприютных и обнищавших, что придавало особое социальное значение церкви как великому благотворительному учреждению.

Но эта благотворительная деятельность духовенства и монастырей развивалась только до поры до времени. В XIV и XV вв. общий голос обвинял церковь в «порче», и мы еще увидим, какое важное историческое значение вообще принадлежит этому факту, в тех же отношениях, которые мы теперь рассматриваем, *«порча» проявилась в алчности прелатов, в их любостыжании, в их отказе употреблять на бедных избытки своих доходов.* Общее искажение, какому подверглись в конце Средних веков церковные учреждения Запада, вызвало против духовенства и монашества оппозицию с весьма различных сторон, и между другими видами оппозиции немаловажное место занимает оппозиция социальная. Общим ее лозунгом были жалобы на алчность и праздность клира, но каждое сословие по-своему понимало то, на что жаловалось весьма часто в одних и тех же выражениях. Не касаясь здесь городского населения, о котором речь будет идти еще впереди, мы видим, что у дворянства в жалобах на любостыжание духовенства и монастырей звучит прямо нота завистливого чувства, какое возбуждалось в этом сословии при виде богатства церкви, тогда как крестьянин жалуется на несправедливости, притеснения и обиды, какие чинили ему духовные в качестве землевладельцев.

Итак, церковное землевладение возбуждало в дворянстве завистливое чувство, хотя это была не единственная причина неудовольствия светской аристократии против аристократии духовной. Духовные пользовались деся-

тиною, которая падала одинаково и на дворянские, и на крестьянские хозяйства, нередко вызывая разного рода столкновения между сборщиками десятины и плательщиками. С этой стороны весьма любопытны споры, происходившие в течение двух столетий между польскою шляхтою и духовенством, любопытны именно тем, что, начавшись еще в XIV в., они достигли наибольшей силы в середине XVI в., когда на сеймах происходила сильная борьба между рыцарством и епископами, причем рыцарская оппозиция шла под знаменем протестантизма. В этой же борьбе видную роль играл и вопрос о церковных судах, в которых шляхта видела нарушение своего права судиться только земским судом и по земскому праву, и та же самая причина недовольствия против духовенства существовала и в других странах, например в Англии, где в начале XVI в. наделало большого шума присуждение лорда Серрея к церковному наказанию за несоблюдение поста. Наконец, во многих странах дворянство недовольно было финансовыми привилегиями духовенства. Общим мнением было то, что духовенство служит королю своими молитвами, дворянство проливаемое на войне кровью, а народ физическим трудом, но дворянство не особенно дружелюбно относилось к такой службе духовенства там, где само оно должно было платить или служить, а духовенство сумело создать для себя разные изъятия. Таковы были в общих чертах причины антагонизма, существовавшего в разных государствах Европы, и притом где больше, где меньше, между дворянством и духовенством, но среди этих причин, несомненно, первенствующее значение принадлежит тому отношению, в какое стало дворянство к церковному землевладению. Богатства духовенства и монастырей, слишком сильно бросающееся в глаза противоречие между их алчностью и идеалом евангельской бедности, вызывали против церковного землевладения моральный протест в предшественниках Реформации, и уже намечались взгляды на этот предмет, которые должны были создать и особую политическую точку зрения на церковное землевладение, позволившую в XVI в. произвести секуляризацию церковной собственности, но раз подрывался самый принцип духовного и монашеского землевладения, тем менее могло быть сдержек для того чувства, каким проникались дворяне при зрелище экономической мощи прелатов и монастырей. Вместе с этим дворянство, переживавшее в некоторых странах тяжелый хозяйственный кризис, не могло не видеть, что его обеднение находилось в прямой связи с обогащением церкви, т. е. многие церковные земли были когда-то дворянскими, перешедшими в руки церковных лиц путем дарения, большею частью посмертного, для спасения души. В Англии, например, еще при Генрихе IV парламент представлял королю ходатайство на счет конфискации светских владений церковей и монастырей, и одной из причин популярности учения Викилифа было его воззвание к отобранию церковных имуществ, причем землевладельческий класс не скрывал своего стремления поживиться на счет отобранных имений. В 1410 г. рыцари графств прямо

предложили королю и лордам конфисковать церковную и монастырскую собственность частью для обогащения казны, частью для увеличения численности знати и рыцарства, и равным образом в трактатах, приписываемых самому Виклифу или его ученикам, выставляется на вид, что конфискация владений клира и монастырей была бы только возвращением этих имений к их первоначальному назначению служить постоянным фондом для вознаграждения служилого сословия. В XVI в. аналогичные мотивы в пользу секуляризации проводят такие члены рыцарского сословия в Германии, как Ульрих фон Гуттен и Франц фон Зиккинген. Польская протестантская шляхта в середине XVI в. точно так же указывает на церковные земли как на фонд для удовлетворения государственных потребностей, и в то же время возникает подобная же мысль и во Франции, где предполагалось употреблять средства с церковных земель на воспитание неимущей молодежи. Мысль эта не была совершенно нова, ибо то же самое происходило во французском королевстве при последних Меровингах, когда церковная собственность служила средством для наделения бенефициями служилых людей королевства.

Само собою разумеется, что все сказанное относится главным образом, если не исключительно даже — к высшему клиру, в экономическом отношении резко отличавшемуся от низшего духовенства. Громадные богатства, сосредоточенные в распоряжении епископов, аббатов, каноников, давали им возможность вести роскошный образ жизни: о таком образе жизни свидетельствует и развитая в XIV и XV вв. сатира, и развивающиеся в это же время моральные обличения предшественников Реформации, и чисто объективные описания быта духовных лиц, дошедшие от этой эпохи. Эта роскошь бросалась в глаза, и было тут чему позавидовать и не для одних обедневших рыцарей. Насмешки и обличения, направленные на алчность и роскошь служителей алтаря, находили сочувственный прием и в народной массе: церковное богатство создавалось и на ее счет, ибо хозяйничанье духовенства в своих владениях было именно такого рода, что крестьяне, жившие на его землях и от него зависевшие, чувствовали на себе особую тяготу.

В более отдаленные времена церковные сервы находились, так сказать, в привилегированном положении: с ними их духовные сеньоры и мягче обращались, и менее их эксплуатировали. Владения епископов, капитулов и монастырей были обширны, доходы, состоявшие преимущественно из естественных продуктов, весьма значительны, запасные магазины не пустовали, а при неразвитости денежного хозяйства их некуда было и сбывать: оставалось кормить бедных, которых бывало немало при средневековых неурожаях и военных разорениях. Но времена изменились, натуральное хозяйство стало уступать место хозяйству денежному, — явление, на котором мы еще остановимся, — и та же самая причина, от которой зависел уже известный нам перевод барщинных повинностей на денежный оброк в Англии, оказала влияние и на тот способ, каким прелаты распоряжались своими доходами: на естест-

венные продукты, накопившиеся в амбарах церковных поместий, явился спрос, их можно было продавать за деньги и за деньги же многое можно было купить, т. е. для избытков нашлось новое употребление, шедшее вразрез и с тою целью, ради которой существовали земельная собственность церкви, десятина, эти достояния бедных, и с прежними обычаями, и с требованиями, предъявлявшимися со стороны моралистов, публицистов, сатириков и самого народа, но зато вполне соответствовавшее коммерческому духу времени. Превращая в деньги свои доходы и тратя деньги на роскошный образ жизни, прелаты имели и тут избыток, превышение доходов над расходами: духовенство начинает ссужать деньги, и, например, в Англии около 1470 г. в обеспечение королевского долга Вестминстерскому аббатству была отдана корона, которую пришлось выкупать для того, чтобы возможно было ее отослать во Францию ко дню предстоявшей коронации.

При таком направлении, овладевавшем духовенством, весьма было естественно, что и в пользовании своими землями *оно заводило порядки, существенным образом изменявшие положение массы и ее отношение к обрабатывавшейся ею почве*. Мы познакомились уже с экономическим процессом, происходившим в Англии в конце Средних веков, но не оттенили того факта, что в этом процессе обезземеления крестьян играло роль и ведение хозяйства на землях, принадлежавших церкви. Этот последний факт стоит в тесной связи с тем, как вообще извлекало духовенство доходы из своих земельных владений.

Духовная сеньория, в общем, была устроена так же, как и светская: земли было много, но только часть ее обрабатывалась собственными средствами, скажем, например, монастыря, разумея под этими средствами, понятное дело, барщинный труд, которым были обязаны сервы, т. е. только часть территории была под собственным хозяйством монастыря, ибо другую часть составляли мелкие крестьянские держания, на которых велись самостоятельные мелкие хозяйства и с которых монастырь получал оброки. Все различие между светским и духовным поместьем могло заключаться и в количестве земли, какое оставлялось сеньором для собственного хозяйства, и в качестве самого хозяйства. Не будет ошибкой сказать, что, в общем, впервые помещичье хозяйство, как таковое, и в количественном, и в качественном отношениях развивается на церковных, в частности, на монастырских землях, а помещичье хозяйство было прототипом позднейшего хозяйства фермерского. И впоследствии духовенство не отставало до поры до времени от общего движения в этой области, а иногда и опережало светских землевладельцев. Так как экономический процесс вытеснения мелкого крестьянского хозяйства (Англия) или обременения поселян новыми повинностями (Германия) весьма тяжело отзывался на материальном быте народной массы, то для нас понятно и озлобление, какое вызывают против себя духовные и монахи, — разумеется, когда они действуют в направлении этого

процесса. Выше уже было отмечено, что в Англии помещики стали предпочитать овцеводство земледелию, и в этом деле, по-видимому, инициаторами (а если и не инициаторами, то, во всяком случае, весьма ранними деятелями) были монастыри, т. к. аббаты имели обыкновение оставлять в личном заведывании целые поместья, прилежавшие к монастырю, а известно, как это отразилось на народном быте, особенно в XVI в. В XVI в. Томас Мор жаловался на овец, сживавших с земли целые селения, и в числе лиц, которые превращают свои земли в огороженные пастбища, называл и аббатов. В других отношениях духовенство, когда это было выгодно, упорно стояло за старину, и, например, во Франции перед революцией 1789 г. настоящие сервы существовали главным образом на землях духовенства. Немалую причину народного недовольствия против духовенства по поводу отношений чисто экономических составляла десятина, при сборе которой допускались разные несправедливости и притеснения.

В той народной оппозиции клиру и монастырям, с какою мы встречаемся в конце Средних веков и в начале Нового времени, весьма часто ее вождями и истолкователями делаются члены низшего духовенства, обездоленные и загнанные. Во время крестьянских волнений в Англии во второй половине XIV в. на стороне крестьян стояли такие проповедники, как раньше упоминавшийся Балль, но он был не единственным проповедником в том же направлении из низшего духовенства. И во Франции во время выборов в генеральные штаты 1789 г. сельские священники были близкими народу людьми, демократически настроенными, действовавшими в духе политических и общественных идей того времени.

В особые отношения становилось духовенство к горожанам в разные эпохи Средних веков. Было время, когда епископы были сеньорами в городах, но коммунальная революция освободила многие города от их власти. Затем возникли совершенно новые отношения, когда городское начальство стало обнаруживать стремление подчинить местное духовенство установленным в городе порядкам, а последнее противилось этому, и в малых размерах разыгрывалась на малых территориях своего рода борьба церкви с государством, принимавшая подчас весьма острый характер, когда, например, духовенство пользовалось своим орудием отлучения, а городское начальство запрещало продавать духовным съестные припасы: одною из причин таких столкновений было нежелание клира что-либо уплачивать в городскую казну с недвижимой своей собственности.

Указание на эти отношения может служить переходом к изображению социального быта городов. Мы познакомились с историей землевладельческих и земледельческих классов, к которым принадлежало и духовенство как сословие, располагавшееся громадную недвижимую собственностью, и между иными явлениями, характеризующими эту историю, было отмечено то обстоятельство, что в области сельского хозяйства в эту эпоху

замечался переход от натуральной системы к денежной и что духовенство в этом отношении не отставало от светских землевладельцев. Мы увидим теперь, что настоящим местом, где развивалось и росло денежное хозяйство, был промышленный и торговый город. Но прежде нежели перейти к рассмотрению социальной истории городских классов, мы не можем обойти здесь молчанием, что *указанная оппозиция духовенству со стороны дворян, горожан и крестьян, оппозиция, имевшая чисто экономическую подкладку, оказала свое действие, когда был поставлен вопрос о реформе церкви*, и что этим подготовлен был тот переворот, который вычеркнул духовенство в странах, принявших протестантизм, из числа землевладельческих классов, причем недвижимые имущества церкви пошли на усиление государственных средств и светского землевладельческого сословия. В этом состояла одна из важнейших сторон религиозной Реформации XVI в., рассматриваемой с точки зрения политической и социальной. Только в государствах, оставшихся верными католицизму, духовенство сохранило за собою свои земли и сеньориальные права, связанные с землевладением, но и здесь наступила пора, когда новое государство наложило свою руку на недвижимую собственность клира, и тут самым важным моментом была Французская революция. Отобрание у клира и монастырей тех имений, которыми они владели, было как бы насильственным разрывом между церковью и теми феодальными отношениями, какие продолжали у нее существовать с той поры, когда прелаты были феодальными сеньорами, и в этом отношении оно имело важное историческое значение: здесь мы имеем дело с одним из проявлений наступившей в конце Средних веков дефеодализации политического быта, и как мы увидим, силою, нанесшего удар церковному землевладению, было государство, в данном случае решившееся на весьма крутую меру ради своего обогащения и награждения своих союзников в борьбе с церковью, господство которой над государством вообще поколебалось к концу Средних веков. Можно сказать, что в XV и XVI столетиях церковное землевладение было осуждено в принципе, вызывало против себя оппозицию и со стороны дворянства, и со стороны народа, и государству легко было там, где для него это было нужно, расторгнуть связь церковной организации с остатками феодализма.

XVIII. Цехи¹

Экономический партикуляризм феодального и муниципального быта. — Зарождение денежного хозяйства. — Мелкое производство. — Цеховая организация. — Происхождение и политическое значение цехов. — Цеховая монополия и регламентация производства. — Работа на местный рынок. — Разлад между подмастерьями и мастерами. — Разложение цеховой жизни извне. — Народное недовольство в городах.

Феодальная организация хозяйственного быта в одном отношении вполне соответствовала феодальной организации быта политического: и тот, и другой были бытом обособленных одна от другой территорий, обособленных одна от другой групп населения, — обособленных именно и политически, и экономически. И феодальная сеньория, державшаяся натуральными повинностями и службами своего населения, и крестьянские общины, владевшие, как мы видели, лесами, пастбищами и водами, хотя и в зависимости от сеньора, были общественными союзами, внутри которых и совершался весь процесс производства в эпоху полного господства феодализма. Материальная жизнь членов крестьянской общины удовлетворялась теми продуктами, которые добывались их трудом на их земле, т. е. им нечего было покупать, да и продавать было некуда; почти то же самое можно сказать и о сеньоре, жившем натуральными оброками своих крестьян, содержавшем на эти оброки многочисленную дворню, среди которой были и ремесленники, изготовлявшие все необходимое для жителей замка, т. е. платье, домашнюю утварь, оружие и т. п., хотя, конечно, сеньору кое-что приходилось добывать и на стороне. Обособленность характеризует и городской быт в Средние века. Эпоха образования варварских государств была временем обезлюдения городов и падения торговли, но и потом, когда с развитием экономической жизни оживились городские промыслы, ими опять-таки главным образом удовлетворялись местные потребности, даже тогда, когда в некоторых местах образовались торговые пункты, бывшие центрами более обширных районов. Освобождение городов, бывшее результатом уже некоторого экономического развития, в свою очередь содействовало подъему их хозяйственного быта; в городах впервые осуществился свободный труд, труд ремесленников, вышедших из служебных отношений к феодальным сеньо-

¹ *Levasseur*. Histoire des classes ouvrières en France; *Faigniez*. Histoire de l'industrie à Paris aux XII–XIII s.; *Wilda*. Das Gildenwesen im Mittelalter; *Arnold*. Das Aufkommen des Handwerkstandes im Mittelalter; *Neuberg*. Zunftgerichtsbarkeit und Zunftverfassung in der Zeit vom XIII bis XVI Jahrh; *Schönberg*. Zur wirtschaftlichen Bedeutung des deutschen Zunftwesens im Mittelalter; *Gierke*. Das deutsche Genossenschaftsrecht; *Gross Ch*. The guild merchant; *Lambert Maiet J*. Two thousand of guild life. По истории промышленности и торговли в начале Нового времени см. дополнения проф. И. В. Луцицкого к «Истории Нового времени» Зеворта.

рам, и города сделались местами, где ремесленники, служившие раньше господам в замках, могли работать на себя, т. е. зарабатывать хлеб продажей своих произведений и городскому населению, и феодальным сеньорам прилежавшей к городу территории, в то же время покупая хлеб у сельских хозяев. Таким образом, началось экономическое взаимодействие между городом и окружающими его феодальными поместьями с крестьянскими общинами, входившими в их состав, и на почве этого взаимодействия *зародилось денежное хозяйство, чуждое экономической стороне феодализма*. Мы уже видели, что к концу Средних веков оно сделало даже успехи в сельском быте: сюда мы должны отнести и переложение крестьянских оброков и служб на деньги, и отдачу земель в наем за деньги же, и появление сельских рабочих, живущих наемным трудом, и начало фермерской обработки земли, требовавшей приложения денежного капитала, и продажу монастырями сельскохозяйственных избытков, и обращение в Англии пахотных земель в пастбища для овец, дававших шерсть для продажи, — все такие, уже известные нам явления, которые указывают на возникновение в сельской жизни новых начал, совершенно отличных от соответствовавшей самому существу феодального хозяйства системы. Но настоящие успехи денежное хозяйство сделало к концу Средних веков в городах: в них появляется денежный капитал, появляются капиталисты, а их появление должно было подействовать разлагающим образом и на феодальный быт. Тою деятельностью, которая создавала в городах крупные состояния и класс, получивший впоследствии название буржуазии в более узком смысле, была в исходе Средних веков торговля, т. е. класс капиталистов состоял главным образом из купцов, тогда как промышленность продолжала еще жить чисто средневековой формой мелкого производства, рассчитанного на местный сбыт, хотя бы и здесь уже замечалась некоторая перемена в смысле захвата капитализмом и обрабатывающей промышленности.

Существует аналогия в Средние века между хозяйством в деревне и в городе: сельское хозяйство было в руках крестьян, сидевших на мелких участках, и только к концу Средних веков эта форма пользования землею начинает (да и то не повсеместно) заменяться фермерством, при котором хозяин-капиталист вел свое дело руками наемных рабочих. В промышленном быте фермерству впоследствии соответствовала (в экономическом смысле, разумеется) мануфактура: и здесь был предприниматель, обладавший капиталом, и были наемные рабочие. Развитие мануфактур принадлежит уже Новому времени, а *средневековая промышленная жизнь отмечается как характерным своим признаком преобладанием мелкого производства*, находившегося в руках хозяев-ремесленников. Эта черта проявляется главным образом в цеховой организации городских промыслов.

Не входя в подробности, можно так представить себе цеховое устройство и его значение, причем мы будем иметь в виду главным образом цех не-

мецкий. В каждом городе ремесленники группировались в цехи, т. е. в союзы представителей одного и того же ремесла: цех устанавливал между ними солидарность и *не давал возникнуть крупному производству*, т. к. ремесла были в руках нескольких мелких хозяев (мастеров, Meister, maître) с их младшими товарищами (подмастерьями, Geselle, compagnon) и учениками (Lehrling, apprenti), и цеховые уставы ограничивали число подмастерьев и учеников у одного и того же мастера, так что последнему невозможно было в рамках, налагавшихся на его деятельность цехом, расширить свое производство, а потому и доходы всех мастеров были более или менее одинаковы. Это была одна сторона цеховой организации, выгодная для рабочего люда. Другая выгода этого устройства заключалась в том, что в цехе должен был работать каждый, и не было резкой границы между хозяином и его рабочими, т. к. работал и сам мастер, а его рабочие могли без особого труда сделаться сами мастерами. Хотя только мастер был полноправным членом цеха, но мастером мог сделаться тот, кто сам был раньше учеником и подмастерьем, а с другой стороны, *цеховое устройство ставило рабочего лишь временно в положение наймита, открывая каждому доступ к званию мастера*, т. е. к возможности самому сделаться хозяином. Дело происходило так. Ученик поступал в выучку к мастеру на определенный срок, по прошествии которого мастер представлял цеху доказательства умелости ученика в данном ремесле, и цех возводил его в звание подмастерья. Подмастерье уже получал плату за свой труд и мог менять хозяев, оставаясь, однако, в зависимости от цеха как его неполноправный член. Чтобы сделаться мастером, он должен был выдержать испытание в ремесле, и результаты этого испытания рассматривались в комиссии мастеров цеха. Вновь принятый мастер получал право работать самостоятельно и участвовать в цеховых собраниях. На мастера цех налагал и известные обязанности, определявшиеся уставом: между прочим, цеховой статут устанавливал и подробности самого производства, в силу чего цех контролировал доброкачественность товара, производившегося его членами, и чинил суд над теми, которые отступали от устава. Контролем своим *цех ограждал интересы потребителей, для которых было выгодно и непосредственное соприкосновение с производителями*, т. к. между теми и другими не было перекупщиков, создававших свое благополучие на дешевой купле товара у одних и на дорогой его продаже другим. Техника производства страдала от мелочной регламентации ремесел цеховыми уставами, и мелкое производство (как и мелкое хозяйство) вообще было менее способно к техническим улучшениям, но зато цехи давали ремесленному классу организацию, при которой орудия производства не были отделены от представителей труда. Не принадлежа к цеху, не подчиняясь его уставу, никто не мог заниматься ремеслом; заниматься им имел право лишь тот, кто умел сам работать; ограниченное число рабочих в каждом отдельном заведении ограждало многие мелкие производства от поглощения одним круп-

ным, и в том же направлении действовало — подчас, правда, вредное для технических успехов — строгое отграничение близких одно от другого ремесел, ибо делало невозможным крупное предприятие, требовавшее соединения под одним управлением нескольких специальностей. Цеховое устройство, рассчитанное на непосредственный сбыт хозяевами мелких ремесленных заведений на местном рынке, было с этой стороны продуктом экономического партикуляризма, о котором было сказано выше, а торговля между отдельными городами и странами Европы и с отдаленным Востоком, создававшая для экономического оборота более обширную арену, чем город с его маленьким рыночным районом, — торговля, вносившая начала денежного хозяйства и в промышленность, была как раз тем фактором, который действовал разлагающим образом на цеховую организацию.

Такова была в общих и существенных чертах эта организация, процветавшая в исходе Средних веков, но уже и начинавшая тогда же обнаруживать признаки будущего падения. Прежде нежели, однако, мы перейдем к рассмотрению этих признаков, остановимся еще несколько на самом устройстве цеха, чтобы понять его происхождение, оценить его политическую роль в городской жизни и дополнить несколькими подробностями то общее о нем представление, какое дано выше. Ограничимся во всем этом одним самым необходимым и характерным.

Кроме экономической стороны, которую мы нарочно выдвигаем на первый план, цехи имели еще значение благотворительных учреждений и политических союзов. Первым моментом в их образовании было религиозное соединение рабочих одного и того же ремесла: они выбирали себе в патроны того или другого святого, изображение которого ставили в церкви, устраивая праздник в день его памяти; таким покровителем плотников был, например, св. Иосиф. Значение такого союза было благотворительное: из общих взносов составлялась касса для помощи заболевшим или впадшим в какое-либо бедствие товарищам. Монополизация ремесла присоединилась позднее к этим товарищеским общинам, выросшим под сенью церкви, а источниками этой монополизации могли быть или собственные интересы участников, или право сеньоров отдавать на откуп известные ремесла. В последнем случае цеховая монополия прямо развивается на почве сеньориальных прав феодального владельца. Во Франции, например, где города были дольше в феодальной зависимости, цехи получали свои права нередко от сеньоров, позволявших довольно часто заниматься известным промыслом только лицам, взявшим у них это право на откуп. Даже в деревнях, как мы видели, существовали монополии, обозначавшиеся названием баналитетов вроде баналитета печи, в силу которого только арендатор сеньориальной банальной печи имел право печь хлеб. Но каково бы ни было происхождение цехов как товарищеских союзов с монопольными правами, они получили и политическое значение во всех тех случаях, когда представляли из себя организа-

цию рабочего класса в борьбе с городским патрициатом. В свое время нами было отмечено, что в городах образовалось два различных класса, из которых только один пользовался полными правами гражданства, замкнувшегося благодаря этому в ограниченное число фамилий. Притом в силу общего строя средневековой жизни, требовавшего, чтобы каждый человек был, так сказать, привязан или к земле (крепостничество), или к другому человеку (вассалитет), или к какой-нибудь общине либо корпорации, для пользования гражданскими правами недостаточно было простой оседлости или уплаты городских налогов, а нужно было принадлежать к какой-либо гильдии или цеху, представлявшим из себя в городской жизни своего рода административные и судебные единицы. Эта-то организация и позволила ремесленникам добиваться права участвовать в городском управлении путем борьбы, составляющей одну из интересных страниц в истории, например, немецких городов (с XIV в.). Во время этой борьбы цехов с городскими советами, состоявшими из членов купеческих гильдий, мастера особенно заботились о поддержании хороших отношений с подмастерьями и учениками, давали им разные льготы. Весьма часто ремесленники побеждали, и результатом этого бывало допущение цеховых представителей в городское управление: можно сказать, что цехи воспитывали низший класс городского населения для общественной жизни. Мало того: в бесправные времена, когда отдельная личность ради защиты своей должна была становиться под покровительство какого-либо сильного человека, цех представлял собою новую форму самозащиты, именно самозащиты путем соединения слабых, и цех оказывал покровительство своим членам, оказывал им и помощь материальную в случае болезни, разорения и т. п.

Делая характеристику экономического и политического значения цехов, я имел в виду преимущественно Германию, но и в других странах повторяются существенные черты этого устройства быта городских ремесленников. Дополним теперь это общее изображение некоторыми частными подробностями, заимствуя их из разных стран и имея в виду необходимость выяснения причин позднейшего расстройств цеховой жизни. Остановимся прежде всего на цеховой монополии, или на цеховом принуждении (*Zunftzwang*), в силу которого нельзя было заниматься ремеслом без вступления в цех. Если, например, ремесленник устраивал мастерскую для выделки сукна на своем станке, независимо от цеха, то его могли насильно удалить из той местности, в которой он жил или появлялся. Другая черта цеховой организации заключалась в том, что одно ремесло было строго отделено от другого, хотя бы и весьма к нему близкого, в силу чего и не могли возникать мануфактуры, требовавшие сосредоточения разных производств под одним управлением. Пряжей шерсти, например, занимался один цех, выделкою из нее сукна — другой, а окраскою этого сукна — третий. В Париже в XIII в. были три особых цеха для выделки четок: один выделял четки

из костей и раковин, другой — из кораллов, третий — из камня. Каждый, далее, должен был оберегать тайну своего ремесла, и вступающий в цех был обязан поэтому давать клятву в том, что он будет соблюдать его секреты. Особенно это считалось необходимым ввиду того, что ученик, получивший звание подмастерья, мог начать странствовать по другим городам. Например, по религиозному характеру весьма интересен цех каменщиков или гильдия строителей (преимущественно храмов), живших иногда прямо на месте постройки, где эти *francs maçons* (вольные каменщики) строили для себя лачужки (ложи). Многие обряды позднейших франкмасонов ведут свое начало от этих гильдий. Цеховые постановления обыкновенно записывались, и таким образом возникали уставы цехов, иногда очень древние. Например, в XIII в. во Франции Стефан Буало составил собрание уставов почти 100 ремесленных корпораций, существовавших в Париже (*Grand livre des métiers*). В Германии составлением таких сводов занимались преимущественно в XIV в. По большей части эти уставы ведут свое начало из тех времен, когда еще мы не встречаем антагонизма между мастерами и подмастерьями, проявившегося впоследствии. В связи с этой монополизацией производства, закреплявшейся цеховыми уставами, стояла и его регламентация, исходившая из соображения, что цех должен отвечать за доброкачественность продуктов своих членов. Поэтому на продукты накладывалось особое клеймо. Каждый цех имел свой знак, которым мог отмечать произведения своих членов. Эта регламентация должна была, конечно, стеснять производство, потому что все мастера обязаны были работать по заранее определенному образцу. Например, парижане-ножовщики, которые делали и ручки к ножам, не имели права украшать костяные ручки серебром или золотом, т. к. можно было скрыть под металлом плохую кость и выдать ее за слоновую. Цеховые мастера работали главным образом на местный рынок. Развитию мелкого производства, рассчитанного на удовлетворение потребностей местных покупателей, содействовало то обстоятельство, что крупная торговля в Средние века существовала только по отношению к предметам иностранного ввоза и вывоза. Кто хотел купить что-либо, покупал прямо у местного мастера. Только впоследствии сукно и некоторые другие товары сделались предметом оптовой торговли. Дело в том, что в эпоху процветания цехов не существовало деятельного обмена между продуктами отдельных городов, так что цех почти исключительно работал на свой город и ближайший округ. Уже в конце Средних веков происходит разложение цехов как изнутри, так и извне. В Германии, например, солидарность между отдельными чинами цеха была сильна в XIV в., когда происходила борьба ремесленников с патрициатом. В это время подмастерья получили все права, которые делали выгодным их положение. Но борьба окончилась, и в XV в. мы присутствуем при начале внутреннего разложения цехов. Мастера, единственные полноправные члены цехов, все еще хлопочут об уничтожении крупного произ-

водства и стараются ограничить число учеников у отдельных хозяев, но по отношению к ним самим цеховые уставы делаются все более и более снисходительными, а по отношению к прочим членам цеха, наоборот, все более и более строгими. Срок учения увеличивается (иногда, впрочем, оттого, что самое ремесло развивается), а это увеличение срока было выгодно для мастеров, потому что давало им больше дарового труда. Мастера, далее, всячески придираются к подмастерьям, но в то же время делают всякие льготы для своих сыновей. Подмастерье, становясь мастером, должен был вносить большую сумму в пользу цеха, сумму, значительно уменьшавшуюся для сыновей мастеров. И вообще мастера перестают смотреть на подмастерьев как на своих товарищей. Это общее ухудшение участи последних лучше всего видно из того, что и они начинают заключать между собою особые союзы, имевшие целью взаимную помощь и посредничество в случае столкновения между ними и их хозяевами. Рассматриваемый переворот в жизни цехов происходит главным образом в XV в., особенно же к концу его, когда развивается и другое вредное для цехов явление. Так как каждый продукт до своего появления на рынке проходил через руки нескольких цехов, занимавшихся, например, пряжей, тканьем, окрашиванием, то должны были образоваться, так сказать, специальности высшие и низшие. Чтобы придать продукту окончательную обработку, нужно было больше умения, чем вначале, и вот рабочие низшей специальности начинают переходить и на низшую ступень общественного строя. Таким образом, уже внутри самих цехов мы наблюдаем разложение старых основ, но и извне точно так же действовала одна сила, которая способствовала разложению цеха. Этою силою явилось купеческое сословие, организованное в гильдии и с развитием торговых сношений начавшее принимать непосредственное участие не только в продаже, но и в производстве товаров. Например, купец заказывает всем мастерам одного цеха известное количество товара, но недоделанного, т. е. такого, которому еще остается придать окончательную обработку. Последнюю купец берет уже на себя и от себя же отправляет на рынок громадное количество данного товара. Таким образом, между производителем и потребителем становится предприниматель, что, конечно, невыгодно отзывается на работниках, имевших прежде дело с покупателем непосредственно. Затем возникают и заведения вроде позднейших фабрик, в которых работает большое количество наймитов, причем предприниматели пользуются увеличившимся предложением дешевого труда, множеством свободных рук, появившихся в городах вследствие экономического переворота в деревнях, и начинают конкурировать с цехами. Вот почему, например, в Германии в XV в. мы постоянно слышим жалобы на появление купцов, разоряющих народ, но напрасно ландтаги запрещали монополизацию и произвольное возвышение цен на товары их скупщиками, ибо запрещения эти ни к чему не приводили. А между тем в ремесленных цехах еще жива была память о прежнем благосостоянии, вследст-

вие чего брожение в них против купеческой аристократии было очень сильно. Ремесленное сословие обращается за защитой своих интересов к церкви, но духовенство в XV и XVI вв. само выступало в роли притеснителей народа. Неудовольствие низшего сословия и успех Реформации в немецких городах в XVI в. объясняются именно антагонизмом духовенства и купцов. Поэтому же и тогдашнее сектантство с программой социального переворота, пользовавшееся успехом среди крестьян, имело его и в низшем городском классе. Тот же процесс, что происходил в Германии, наблюдается и в Англии, и во Франции. В первой из этих двух стран особенно быстро должно было совершаться разложение цехов, потому что открепление крестьян от земли гнало их на заработки в города, чем пользовались и капиталисты для того, чтобы заводить крупные промышленные предприятия, и мастера для своего выделения в ремесленную аристократию. Для рабочего люда доступ к званию мастера все более и более затрудняется: образцовая работа требуется такая, что только немногие могут ее выполнить, хотя вместе с тем детей самих мастеров освобождают от этой тяготы. Начинают, далее, продавать звание мастера просто за деньги, чтобы обогатить цеховую казну, которою пользуются опять-таки одни мастера. Исчезают, наконец, прежние товарищеские отношения к подмастерьям и заменяются эксплуатацией. Внутренние беспорядки цеховой жизни заставили и само правительство вмешиваться в дела цехов и регламентировать их производство своими постановлениями, но вмешательство это открывало путь к тому, что правительство (особенно во Франции) стало продавать за деньги звание мастера или патенты на занятие известным производством.

XIX. Денежное хозяйство¹

Городские капиталисты в Новое время. — Их отношения к аристократии, народу и государству. — Привилегированные гильдии в Средние века. — Средневековая торговля. — Ее главные пути. — Развитие купеческого класса. — Кредит и денежный рост в Средние века. — Следствия открытия Америки. — Зарождение меркантилизма. — Намечающаяся политика по отношению к рабочему классу. — Культурное значение выделения буржуазии. — Переход к последующему.

В конце Средних веков только что намечается произошедшее уже в Новое время развитие крупной промышленности и соединенное с ним возникновение промышленного капитала и класса крупных предпринимателей, неизвестного в эпоху полного господства цеховой организации. В Средние века обладание большими денежными капиталами могло быть результатом главным образом торговли, так что слова «купец» и «капиталист» были почти синонимами, но в Новое время происходит, как только что было сказано, *развитие капиталистического производства*, отражающееся на разных сторонах общественного быта. Уже не раз выше приходилось отмечать замену натурального хозяйства феодальной эпохи денежным хозяйством Нового времени, и вот в связи с этою заменю находятся два явления, которыми определяется положение класса капиталистов и по отношению к крупным землевладельцам, и по отношению к ремесленному классу. До появления денежного капитала главной экономической опорой социальной мощи было землевладение, с которым в эпоху полного господства феодализма соединялось даже и обладание верховною властью, а с падением политического феодализма — во всяком случае, господствующее положение в обществе: капитал является другою экономической основой социальной силы, и *рядом с землевладельческим дворянством развивается капиталистическая буржуазия, соперничество между которыми имеет столь важное значение в социальной истории Нового времени*, представляя из себя на экономической почве продолжение того антагонизма, который проявился раньше в политической сфере между феодальной сеньорией и муниципальной общиной. С другой стороны, *развитие крупного производства создало разделение в промышленном классе, отделив интересы капиталистов-предпринимателей от интересов наемных рабочих*, что было явлением неведомым цеховому устройству Средних веков. Благодаря всему этому образовался действительно как бы особый класс, занявший среднее положение между землевладельческою аристократией (духовной и светской) и народом в более тесном смысле крестьянства

¹ Бэр. История всемирной торговли (Beer. Allgemeine Geschichte des Welthandels); Falke. Die Geschichte des deutschen Handels; Pigeonneau. Histoire du commerce de la France.

и городских рабочих: от аристократии этот класс отличался отсутствием привилегий, оставшихся за нею как социальное наследие феодализма, от народа, особенно от обезземеленных крестьян и от городского пролетариата — своею имущественною состоятельностью, приближавшею его к аристократии. Понятное дело, что в исходе Средних веков и в Новейшее время этот общественный класс был далеко не одно и то же, в частности же, зародыши его мы должны видеть не в крупных промышленных предпринимателях, — которых и не существовало, — а в купцах, ведших обширную торговлю. Рядом с двумя только что отмеченными явлениями нужно поставить и третье: буржуазия становится в особые отношения не только к землевладельческому и рабочему классам, но к самому также государству: *государство Нового времени при расширении своей деятельности все более и более стало нуждаться в деньгах, и тот общественный класс, который обладал деньгами, вследствие этого мог начать играть особую роль в государстве*. Нам придется еще видеть, как государство Нового времени стало покровительствовать развитию крупных предприятий в области промышленности и торговли, что, в свою очередь, способствовало росту общественного класса, все социальное значение которого заключалось именно в обладании капиталами. Это постепенное развитие буржуазии в Новое время, ранее всего обнаружившееся из трех стран, политически и социальные отношения которых мы рассматривали до сих пор, в Англии, принимало разные формы и отражалось на разных сторонах быта. Между прочим, разбогатевшие горожане стали устремляться и в деревни, где арендою или покупкою земель и сеньориальных прав до известной степени обессиливали потомков феодальных владельцев.

Появление промышленного капитала — факт, относящийся к новому порядку вещей в сфере экономических отношений: ему предшествует эпоха, когда крупные капиталы создавались исключительно путем торговых операций. Прежде нежели мы коснемся средневековой торговли с точки зрения ее социального значения, нам нужно еще остановиться на одном явлении, имеющем отношение и к цеховой организации промышленности, и к зарождению буржуазии в позднейшем смысле этого слова. Дело в том, что в отдельных городах существовали цехи более важные и менее важные, и что одни сравнительно с другими занимали и более привилегированное положение в городском быте. Конечно, парижские ремесленники, работавшие над выделкою четок, причем самый промысел этот дробился еще на отдельные специальности, не могли ни значительно обогащаться, ни играть выдающейся роли в жизни города, но были зато цехи, которые по весьма понятным причинам выдвигались из других подобных корпораций и составляли своего рода аристократию среди ремесленного класса. В Париже, например, такое положение заняли в Средние века булочники, мясники, суконщики, золотых дел мастера и т. п., а например, мясники пытались даже играть и политическую роль. Их корпорация действительно имела

весьма прочную организацию и пользовалась значительным влиянием. В исходе Средних веков их заведения были расположены на правом берегу Сены и составляли то, что стало называться «la grande Boucherie», а церковь Св. Иакова, находившаяся в этой местности, стала обозначаться как Saint Jacques la Boucherie (ее башня существует и поныне). Этой корпорации удалось получить почти монопольные права, что было довольно затруднительно при существовании в Париже нескольких отдельных одна от другой юрисдикций. Например, аббатства Saint-Germain des-Prés и Saint-Martin устроили собственные бойни в своих кварталах; «большой бойне» пришлось с этим примириться, но она была счастливее в своем процессе с аббатиссой Монмартрского монастыря и с храмовниками, которым принадлежал особый квартал (Temple). В 1413 г. мясники и их рабочие, а между ними особенно l'écorceur Caboché, потребовали, как мы уже видели, целого ряда реформ (l'ordonnance cabochienne). Еще более чем мясники, имела значения в Париже торговая гильдия, парижская «ганза», носившая название «marchandise de l'eau», т. е. корпорация купцов, занимавшихся торговлею на Сене и имевших монопольное право перевозки товаров по этой реке.

От этой корпорации находились в экономической зависимости многие другие корпорации, т. к. без нее они не могли обходиться. Во главе «marchandise de l'eau» стоял prévôt des marchands, сделавшийся мэром Парижа, и известный нам Стефан Марсель, ставший в середине XIV в. во главе целого политического движения, был именно таким купеческим головой Парижа. Такое же корпоративное устройство имели в Париже, заметим кстати, и представители научных занятий, ибо из них образовался на левом берегу Сены университет с выборным начальством и юрисдикцией не только над своими членами, учащими и учащимися, но и над всеми, жившими в «латинской стране» (теперешний quartier latin) и имевшими отношение к университету в качестве квартирных хозяев, книгопродавцев и т. п. Одной из принадлежавших ему привилегий было ограничение торговли пергаменом правом университета прежде других запастись этим товаром на ярмарке в Сен-Дени, но совершенно так же и продавцы шерсти не могли начать торговлю своим товаром, пока последним не запасался цех суконщиков. Подобные привилегированные корпорации существовали и в других городах Франции. То же самое мы находим и в Англии, где существовали свои привилегированные «гильдии». Неодинаковое их значение в городской жизни явствует хотя бы из того, что в Лондоне было четыре гильдии (среди них суконщики и золотых дел мастера), посылавшие в городской совет по шести выборных, двенадцать гильдий, от которых являлось туда по 4 представителя, тогда как остальные имели право лишь на двоих депутатов. Любопытно, что среди этих гильдий мы не встречаем особой гильдии крупных торговцев, производивших вывоз то-

варов. Это объясняется тем, что торговля по Темзе велась иностранными купцами (ганзейскими, фламандскими, итальянскими), и потому в Лондоне не было корпорации, соответствовавшей парижской *marchandise de l'eau*. Мало того: английское законодательство, вообще не дававшее развиваться крупной промышленности на счет благосостояния рабочего люда, относилось неблагоприятно и к крупной торговле. Отдельные богатые купцы, разумеется, были, но их было немного, и на них смотрели как на каких-то общественных паразитов. Они допускались к товару не раньше того, как выставленный на рынке в течение нескольких дней, он приобретался местными жителями в том количестве, в каком был им необходим, и потому оптовая торговля продуктами внутреннего производства была невозможна: она оставалась только для привозных товаров, которые и скупались оптом так называемыми *grossers* или *grossiers*, составлявшими особую гильдию. Хотя она и заняла первенствующее положение среди других гильдий, но ее значение в политическом смысле было ничтожно: правительство по своему усмотрению облагало grossеров «беневоленциями», т. е. добровольными (конечно, лишь по имени) подарками и принудительными займами. Этот пример показывает, что в стране, которая впоследствии сделалась главной представительницей капиталистического производства, *накопление крупных капиталов было возможно на первых порах лишь путем оптовой торговли и преимущественно предметами ввоза.*

Внутренняя торговля в Средние века вообще была развита мало. Системе натурального хозяйства, мелкого производства, работы на местный рынок, непосредственных сношений между покупателем и производителем, одним словом, тому партикуляризму, о котором было говорено выше, как нельзя больше соответствовали другие неблагоприятные для развития торговли условия культурного и политического свойства, каковыми были жалкое состояние сухопутного сообщения, множество застав, у которых взимались в пользу владельцев разные пошлины, разбойничество, в котором участвовали весьма часто и рыцари. Наилучшие пути были водяные, во-первых, по рекам, во-вторых, по морям. Из рек получили в этом отношении особое значение те, по которым можно было перевозить товары от Средиземного моря к северным морям, а из морей главное торговое значение принадлежало именно Средиземному: отсюда важная роль в иностранной торговле городов итальянских (особенно Генуи и Венеции), южно-французских, особенно приморских и приронских, а в Германии городов по Дунаю и по Рейну и т. п. В конце Средних веков и начале Нового времени происходят события, изменившие направление торговых путей: сношения с Востоком делались все более и более затруднительными, почему начали подумывать о морском пути в Индию, что приводит в самом конце XV в. почти одновременно к открытию Америки (1492) и мыса Доброй Надежды (1498), а завоевание Египта турецким султаном Селимом I (1512–1520) совсем отрезает

Европу от богатой Индии, заперев единственный известный древнему миру путь на Восток, который оставался еще свободным, что отразилось на торговом значении итальянских городов и городов, расположенных по Дунаю и по Рейну. Главную выгоду из великих морских открытий извлекли для себя Испания и Португалия: при новых путях первенствующая роль в торговле принадлежит этим двум государствам, из которых одна (Испания), как известно, приобрела и громадное политическое значение в XVI в. Но это преобладание Испании и Португалии было непродолжительно, ибо из позиции, занятой ими в XVI в., они в следующем столетии вытесняются Нидерландами, Францией и Англией. Перемещение центров торговли сильно подорвало знаменитый ганзейский союз, который в конце Средних веков был весьма значительной силой. Правда, в XVI в. он насчитывает еще в своем составе 60—70 городов, разделенных на четыре округа с Любеком, Кельном, Брауншвейгом и Данцигом во главе (при общем главенстве Любека), но это была уже сила, отживавшая свое время. Последствия, которыми сопровождалось перемещение главных торговых путей, упадок одних городов и, наоборот, развитие других, несомненно, свидетельствуют о том, что первенствующую причину их обогащения составляла международная торговля, и именно этой-то международной торговле обязан был своим развитием класс богатых купцов, с которым мы встречаемся в средневековых городах: его мы находим в Италии, в Германии, во Франции, а в Англии он только что зарождается, но Англия быстро опережает другие страны в торговом отношении, тогда как, наоборот, Германия сравнительно с прошлым приходит в упадок.

Не останавливаясь вообще сколько-нибудь подробно на международных отношениях, касались ли они дел войны и мира между государствами, т. е. политических союзов и дипломатических сношений или соперничества на поприще промышленности и торговли, следя преимущественно за внутренними общественными и духовными изменениями в жизни западноевропейских народов, мы можем ограничиться сказанным о роли отдельных стран в международной торговле в конце Средних веков и начале Нового времени. В эту переходную эпоху, когда существовал только торговый капитал, промышленный же едва лишь возникал, образование в той или другой стране класса богатых горожан зависело от условий, в какие она вообще тогда была поставлена относительно международной торговли. Понятно, что ранее всего должно было произойти торговое развитие в Италии, занимающей центральное положение на Средиземном море, в этой ближайшей греческому и мусульманскому Востоку западноевропейской земле. Итальянцы сделали в торговом отношении посредниками между Востоком и Западом, итальянские города — центрами денежного хозяйства, итальянское купечество — капиталистическим классом, а за Италией наступила очередь и для других стран. Конец Средних веков

оставил нам массу свидетельств о богатстве и зажиточности горожан. Суверенная аристократия Венеции и Генуи была купеческая. Купеческая фамилия Медичи возвышается в флорентийской республике и делается родоначальницей тосканских герцогов XV в. В Германии чего стоит один торговый дом Фуггеров. Во Франции страшным богачом был в первой половине XV в. известный Jacques Coeur, настоящий миллионер.

Долгое время непреодолимым препятствием для образования крупных капиталистов в торговом классе было запрещение церковью денежного роста, поддерживавшееся светским законодательством и мешавшее развитию кредита. В Англии парламентские статуты, муниципальные постановления, судебные решения против ростовщиков делали крайне затруднительною отдачу денег под проценты, этот «несправедливый и омерзительный договор», но для иноземных капиталистов допускалось исключение, а такими денежными иностранцами были здесь преимущественно итальянцы или «ломбарды», как их называли, и к ним вынуждается прибегать само правительство. Известно, что ломбарды были предметом народной ненависти и вызвали против себя не один мятеж. Ломбардов, отдающих деньги в займы за проценты, мы встречаем и во Франции, где одни они пользуются той же привилегией. С ломбардами конкурировали только евреи, которым нечего было бояться церковной анафемы, и для которых законодательством почти совсем были закрыты другие профессии, кроме денежных операций, но евреи были менее обеспечены в своем положении, чем ломбарды. Это появление итальянских капиталистов в чужих странах с целью обогащения путем отдачи денег под проценты указывает на то, что в Италии весьма рано пали средневековые преграды для такого способа обогащения, и действительно Италия в этом отношении подавала пример другим государствам. Недаром ломбардами стали называться и банки, в которых можно было получать деньги под залог, да и само название банка — итальянское: banco — скамья, на который сидел меняло. Акционеры генуэзского банка владели всеми финансами республики. Флорентийские Медичи были банкиры. Явились потом банки — и, нужно сказать, знаменитые банки — в Франкфурте-на-Майне и в Антверпене. Денежные операции, идущие по стопам крупной торговли, содействуют сосредоточению больших капиталов, которые потом начинают применяться к промышленности, чтобы во многих ее отраслях вытеснить старое цеховое производство. Другими словами, сами деньги делались товаром, торговать которым составляло особую выгоду.

Сильному развитию денежного хозяйства особенно содействовало открытие Америки, сопровождавшееся страшным наплывом в Европу драгоценных металлов; последний, в свою очередь, вызвал понижение ценности денег и соответственное вздорожание товаров в XVI в., отразившееся гибелью на благосостоянии низших классов общества, т. к. их заработок оставался тот же, что и прежде, или возрастал далеко не в такой степени,

как возрастала цена товаров. Но особенно важно здесь отметить *зарождение меркантилизма*, характеризующего экономическую политику Нового времени. Изменение торговых путей, прилив драгоценных металлов, появление на рынках новых продуктов — все это содействовало и без того уже совершавшемуся экономическому процессу, но, кроме того, должен был особенно действовать на умы пример Испании и Португалии, которые благодаря открытию Нового Света и морского пути в Индию развили у себя торговлю и ею очень обогатились: торговля стала считаться особенно выгодным занятием, и ему стало оказываться покровительство со стороны государства, нуждавшегося в новых доходах. И вот является экономическое учение меркантилизма, достигшее своего апогея в XVII в., учение, признававшее, что благосостояние государств создается деньгами, добываемыми лишь одною внешнею торговлею. Правительства берут под свое покровительство вместе с национальною торговлею и тот класс, который ею занимался. Под опекою государства он растет, развивается и направляет свою деятельность мало-помалу на обрабатывающую промышленность, развитие которой в форме крупного производства для вывоза его продуктов на заграничные рынки тоже должно было считаться желательным для привлечения в страну денег, тем более что вместе с этим устранялась необходимость ввоза заграничных товаров, раз они производились у себя дома: можно было таким образом получать из чужих стран деньги, а от себя денег не выпускать. Материальная выгода от всего этого выпадала на долю капиталистического класса, и в то самое время, как *государство новых веков*, разрушив феодализм как политическую систему *оставляет неприкосновенными феодальные отношения в социальной сфере, охраняя установившиеся юридические отношения между дворянством и крестьянством, в экономической сфере им оказывается преимущественное покровительство городскому денежному хозяйству, идущее рука об руку с крайней невнимательностью к сельскому хозяйству*, которое по самому существу дела наиболее подчинялось общим условиям хозяйства натурального. Во имя старых прав поддерживалась феодальная зависимость крестьянина от сеньора, во имя новых интересов труд приносился в жертву капиталу. Все это, впрочем, явления, развитие которых принадлежит уже Новому времени.

В эпоху полного господства феодализма и до образования очень богатого купечества в городах было только два сословия, обладавших большою экономической мощью, — духовенство (да и то одно лишь высшее) и дворянство, оба сходные между собою в том, что их экономическое значение покоилось на землевладении. Обеспеченные в материальном отношении и духовенство, и дворянство различались между собою в сфере духовных интересов. Высшим культурным проявлением одного сословия был монах-аскет, которому в другом соответствовал рыцарь-воитель. Богатый или только зажиточный горожанин по своей материальной обеспеченно-

сти становится рядом с клириком и дворянином, но ему чужды интересы и монастырской кельи, и феодального замка, ему чужды идеалы аскета и идеалы рыцаря: горожанин является новым общественным типом, и если, как мы видели, в жизни горожан впервые появляются новые, антифеодальные принципы политической жизни, если и в социальной сфере горожане составляют новый класс с такою экономической основой, какая была неведома феодальному миру, то и в отношении культурном главным образом на почве городского быта возникает интеллигенция Нового времени, столь отличная от средневековой интеллигенции, целиком или входившей в состав, или группировавшейся около церкви. С этою городской интеллигенцией мы впервые встречаемся в Италии, где ранее, чем в других странах, город высвободился из-под феодального гнета, ранее, чем в других странах, произошло образование влиятельного купечества и где ранее опять-таки, чем в других странах, получил начало светский культурный класс.

Этим мы и окончим общую характеристику общественной структуры Западной Европы в исходе Средних веков и в начале Нового времени. Переходом к изображению культурного состояния будут служить краткие очерки двух сторон общественного быта той же эпохи, а именно отражение классовых воззрений, т. е. традиций, интересов и стремлений в литературе и положение личности в средневековом обществе, и это тем более необходимо будет сделать, что в новой истории литературному выражению, с одной стороны, общественных настроений и индивидуальному сознанию — с другой, принадлежит весьма важное значение, что требует от нас и некоторых новых теоретических соображений. Мы познакомились с разными классами, на которые распадалось средневековое общество, взятое с чисто светской стороны: посмотрим, как выражались идеи этих классов в литературных произведениях Средних веков и одни ли они выражались. Равным образом мы имеем теперь перед глазами главные общественные состояния, на которые можем смотреть как на особые положения, в какие могла попадать отдельная личность: понятно, что эти состояния должны были иметь разное значение по отношению к самой личности и сознанию ею своих прав. Оба эти вопроса о социальном содержании светской средневековой литературы и о положении личности в средневековом государстве и обществе введут нас и в область духовных интересов, которыми жила Западная Европа в конце Средних веков.

XX. Общественный характер литературы

Общественная сторона литературы. — Феодально-рыцарская поэзия. — Литература горожан. — Значение литературных перемен. — Народные жалобы и стремления в литературе. — Религиозный демократизм и сословность. — Идея общего блага. — Памфлетная публицистика в Германии. — «Реформация Фридриха III». — Сознание необходимости общественной реформы. — Сатирическая литература. — Необходимость рассмотрения личного начала.

«Литература есть зеркало, в котором отражается общество». Эта избитая фраза сделалась общим местом, хотя при этом не всегда принимается в расчет, что общество, отражающееся в литературе, само распадается на отдельные группы, на сословия, классы, профессии, и что при рассмотрении литературы как отражения общества мы должны иметь в виду существование своего рода сословности и литературных произведений, т. к. и литературные вкусы, и степень понимания, и общественное миросозерцание, и интересы отдельных классов не совпадают между собою. Общий колорит средневековой литературе, несомненно, давало культурное преобладание духовенства, но вне этого явления, о котором речь будет идти впереди, она получала и различные социальные оттенки, смотря по тому, выражением идей и стремлений какого класса она служила. Это последнее замечание касается, конечно, светской и национальной литературы, развивающейся только во второй половине Средних веков, когда церковная письменность на латинском языке с космополитическим характером уже вполне определилась и выработала свое главное содержание. Далее, светская литература, заслуживающая здесь нашего внимания, была или поэтическая, или публицистическая, или же ее произведения занимали, так сказать, среднее положение между чистою поэзией и чистою публицистикою. Наконец, сообразно с тем, что средневековое общество распадалось на феодальное дворянство, на «среднее» городское сословие и на народ, мы можем говорить о литературе специально дворянской, специально городской и специально народной¹.

Светская литература Средних веков зарождается в сфере песенного прославления национальных героев, из которого и возникла, например, средневековая французская эпическая поэзия *chansons de geste*, т. е. поэм о подвигах. Народная по своему происхождению, эта эпическая поэзия делается феодальною и рыцарскою в своем развитии благодаря тому, что в традиционные формы все более и более вкладывалось сословное содержание теми труверами, которые занимались переработкой старых сюжетов о Карле Ве-

¹ Многие из высказанных здесь мыслей подробнее развиты в моей книге «Литературная эволюция на Западе». Воронеж, 1886.

ликом, о Роланде, о других сподвижниках Карла. Жонглер XII в. все еще воспевал их деяния (*gesta*), но его вдохновляли уже Крестовые походы; он прославлял подвиги традиционных Рено и Жирара, но на самом деле изображал восстания крупных вассалов против Людовиков VI и VII. В этой поэзии подвергался переработке и образ Карла Великого с его сподвижниками: спокойный и справедливый государь единого королевства, всем заправляющий и у всех находящий послушание и верную службу, превращается в своего рода «первого между равными» феодального сюзерена, капризного и несправедливого, и окружают его уже не прежние паладины, долгом своим считающие умирать за него, а самовольные вассалы, ежечасно готовые к восстанию. На феодальной почве развилось рыцарство, и оно нашло свое особое отражение в так называемых *romans d'aventures*, содержание которых — рыцарские приключения, рыцарская любовь к даме сердца, турниры и судебные поединки, — в романах, бывших не только порождением военного быта и Крестовых походов, но и в свою очередь влиявших на самый дух рыцарства. Общему характеру этих романов подчинились и самые *chansons de geste*. Феодально-рыцарская французская поэзия XII и XIII вв. оказала сильное влияние на другие западные литературы, но в XIV и XV вв. она находится уже в упадке. Эпос *chansons de geste* и *romans d'aventures* — порождение Северной Франции, на юге процветала своя, провансальская культура, породившая лирическую поэзию трубадуров, также оказавшую влияние на другие страны. Эта лирика имела характер дворянский и придворный: добрая половина из четырех сотен трубадуров принадлежала к рыцарству, а в его среде насчитывается десятка два царственных особ. Содержание этой лирики — условная рыцарская любовь к даме или светский протест против духовенства. В XIV и XV вв. и она также находится в упадке. Рыцарско-придворный характер имеет, наконец, и немецкая «песня любви» (*Minnegesang*), ибо миннезингер является германским повторением провансальского трубадура.

В XIV и XV вв. параллельно с падением дворянских эпоса и лирики развивается литература горожан. В то самое время, как рыцарские романы переделываются в прозу и происходит компиляция их в произведения, рассчитанные на читателей из горожан, а лирика миннезингеров переселяется в города к педантичным бюргерам, устраивающим у себя цеховое мастерство песен (мейстерзингерство), одним словом, когда в дворянском кругу иссякает творчество и дворянская литература, перенесенная на городскую почву, лишается жизненности, превращаясь во что-то искусственное, на этой же самой почве городского быта развивается своя литература с характером дидактическим и сатирическим. Аллегорические поэмы и рассказы в стихах и сказки (*fabliaux et contes*) со своим отпрыском — новеллой характеризуют национальную литературу XIV и XV вв.; с них почти прямо даже начинается развитие итальянской и английской литературы: Данте создал величайшую аллегорическую поэму, Боккаччо прославился в области новеллы, и на алле-

горизме с фаблио воспитался отец английской литературы Чосер. Аллегория легко соединялась с дидактикой и сатирой, со своего рода публицистикой, бывшей в большом ходу в конце Средних веков. Рассудочность и сатира вносятся с середины XIV в. в фаблио, короткие, веселые, шутливо-добродушные стихотворные повестушки восточного происхождения, приспособленные к понятиям и отношениям знакомого общества, и в них выводятся на сцену горожане, крестьяне, приходские священники, лица, хорошо известные человеку из среднего круга нации. Новому читателю все это понятнее и ближе, чем глубина религиозного чувства церковной письменности и фантастическая восторженность рыцарского романа: ему больше нравятся простой здравый смысл и грубоватость фаблио, рассудочный аллегоризм, суховатая дидактика с критикой, существующего и проповедью новых общественных идей. В Новое время и эта литература пойдет по следам рыцарской поэзии, и насчет обеих разовьется придворный академизм, получивший начало при дворах итальянских династов, чтобы идти рука об руку с королевским абсолютизмом и вместе с ним во французском ложно-классицизме XVII—XVIII вв. достигнуть своего апогея. Этими литературными переменами отмечаются, таким образом, начавшееся падение феодализма, выступление городского сословия, а позднее усиление королевской власти, стремящейся подчинить себе и литературу, как появление вообще светской литературы в обществе, раньше имевшем почти только одну духовную письменность, отмечает, с другой стороны, важный переворот культурный. Далее, усиление в светской литературе дидактического и сатирического элемента указывает на то, что литература начинает делаться общественной силой, органом воззрений и настроений общественных классов, то сходящихся в своих желаниях и стремлениях, то, наоборот, враждебно между собою сталкивающихся. С этой точки зрения литературные произведения с общественным характером и особенно с содержанием публицистическим могут быть прекрасной иллюстрацией фактических отношений, существующих в обществе, и служить дополнением к истории социального строя. В последнем отношении нельзя не признать особого значения за теми произведениями литературы, в которых выражаются народные нужды, жалобы, просьбы и стремления. Одна история французского крестьянства, например, может иллюстрироваться целым рядом литературных отрывков, в которых отражается народная жизнь¹. Любопытно, например, как один средневековый поэт (Robert Wace) передает ропот поселян в эпоху большого восстания в Нормандии (в X в.): «Мы такие же люди, как и они, у нас те же члены и такое же, как у них, тело и мы также можем страдать. Нам нужно быть только храбрыми: соединимся клятвенно, чтобы друг другу помогать, одному другого защищать и все иметь сообща. А захотят они

¹ См. мой «Очерк истории французских крестьян».

с нами драться, ведь у нас против одного рыцаря тридцать или сорок крестьян сильных и умеющих сражаться». Особенно интересна «Жалоба бедного земледельца», относящаяся к началу XV в. и обращенная к «прелатам, князьям и добрым господам, к горожанам, купцам и адвокатам, к ремесленникам, военным и людям трех чинов», равно как и к «весьма благородному королю Франции»: в этой жалобе говорится о крайней нищете, о тяжелом труде, о полной безнадежности положения крестьян (*et ne sçavons que devenir*). Поселянин, например, обращается специально к прелатам и церковникам, жалуясь на то, что остается даже без рубашки, жалуясь тем самым клирикам, о которых один поэт XIII в. говорил, что их недолюбливает простонародье (*ongues la gens vilaine n'aima clerc ni prêtre*). Есть и особое обращение к горожанам. Есть, наконец, в этой *complainte* и жалоба крестьян на тягость налогов, на дурные последствия ухудшений монеты, на обиды, чинимые королевскими сержантами, на полное разорение, не оставляющее последним ничего, что они могли бы взять у крестьян. В Англии в эпоху крестьянских волнений XIV в., как мы видели, также пелась песенка, заключавшая вопрос о том, где находился дворянин, когда Адам пахал, а Ева пряла. Английская история этого периода выставила и народного поэта Вильяма Лонгланда, автора «Видения пахаря Петруши», вызвавшего несколько подражаний. Весьма любопытно, что особенно в произведениях подобного рода (а их было множество) сильнее всего достается духовенству, на что мы еще обратим внимание и в другом месте, основным же принципом защитников народных интересов является религиозная идея евангельского братства. В поэме Лонгланда есть такого рода обращение к рыцарю: «Хотя он и подданный твой, но ведь, быть может, на небе он будет признан более тебя достойным и получит большее блаженство, т. к. там трудно распознать, кто рыцарь и кто мужик». Ссылки на евангельскую свободу и евангельское равенство мы найдем и в народных жалобах и программах Крестьянской войны в Германии в реформационную эпоху, да и вообще с этой стороны демократическая проповедь конца Средних веков и времен религиозной Реформации всегда принимала характер обращения к авторитету Евангелия. Связь народных движений с движениями религиозными мною будет еще указана, но и тут нельзя не отметить, что *религия была такой почвой, на которой разрушались сословные перегородки Средних веков и возникала принципиальная оппозиция против общественного неравенства*. С особенной силой должно было бросаться в глаза противоречие между учениями церкви и правами и привилегиями сословия ее служителей, и ссылка на равенство разрушала сложившийся и у самих церковников, нашедший даже литературное выражение взгляд, по которому сословный строй феодального общества был создан самим Богом, обрекшим крестьян на вечную работу в пользу духовенства и дворянства. В эпоху полного господства феодализма на такую точку зрения становились даже духовные лица на соборах и в литературе,

что мы находим, например, в одном латинском послании XI в., в котором изображается деление людей на благородных и рабов как вполне естественное явление. Только с точки зрения религиозного равенства и могли защитники народных нужд и интересов возражать высшим сословиям, высказывавшим пренебрежение к крестьянам. «Бог, — говорит один средневековый поэт, — ненавидит вилланов и потому-то он и обрек их на такую тяжелую жизнь» (por ce fist il toutes les paines passer parmi outre lor mains). По аналогическому представлению, Бог не оставил им места в раю, т. к. Иисус Христос не желает, чтобы вилланы были с ним¹. На той же почве воззрения, по которому Бог создал для всех людей разные блага жизни, и возможна была только аргументация в пользу доступности и для народа материального благосостояния. Словами «nos sumes hommes cum il sunt» (мы такие же люди, как и они) поэмы Роберта Васа или заявлением, что и мужик хочет жить (vivre nous fault, c'est le remede), народ как бы возражает поэтам, заставлявшим крестьян питаться кормом скота (il déussent parmi les lands — pestre herbe avec bues cornus — a quatre piez aler toz nus). На те же принципы ссылались и народные проповедники из низшего духовенства вроде Джона Балла, о котором шла речь выше. «Если, — говорил он, — например, мы все происходим от одного отца и матери, от Адама и Евы, какое право имеют они (лорды и дворяне) говорить и на чем они основывают, будто они лучше нас, кроме, пожалуй, того, что они принуждают нас добывать для них своим трудом все то, что потом питает их роскошь и гордость?»

Понятное дело, мы сделали бы большую ошибку, если бы стали утверждать, что поэзия и публицистика Средних веков были проникнуты только духом и интересами отдельных сословий: в этой литературе, как в ученой на латинском языке, так и в национальной на народных наречиях, мы, конечно, найдем и выражения более широких взглядов и на человека, и на общество, причем *до развития гуманистической литературы, которая принципиально была враждебна сословным перегородкам, аргументация в пользу прав личности заимствовалась из соображений религиозных, из которых брались доказательства и той идеи, что есть некоторое общее благо*, требующее жертв со стороны не только личных, но и сословных интересов. Рядом с этими религиозными соображениями уже второстепенное место принадлежит аргументам, заимствованным из римского права, когда, например, французские легисты ссылались на естественную свободу всех людей, и опять-таки до развития гуманистической литературы, возвратившейся к античной традиции светского государства, идее общего блага олицетворялась в высшем союзе, существую-

¹ Si ne cuit que Diex lor preste
En paradis ne leu ne place.
Oncques a Jhesus-Christ ne place
Que vilainz ait herbergerie
Avoec le filz sainte Marie.

шем на земле и основанном самим Богом, в церкви. Отвлеченные политические учения Средних веков стоят в тесной связи с принципами католицизма, хотя мы в учениях этих и находим отголоски классических воззрений на общее благо и на *salutem populi*¹, а что рассуждения на подобные темы не оставались в сфере одних абстракций церковных мыслителей, это может быть видно из того, что переход от Средних веков к Новому времени богат и публицистическою проповедью общего блага, с точки зрения которой порицаются злоупотребления сословными правами и даже сами сословные порядки.

Образчиком реформационных идей в сфере политических и социальных отношений может служить один памфлет конца XV в., известный под названием «Реформации императора Фридриха III». С середины XV в. появляется в Германии множество памфлетов, «летучих листов» (*fliegende Blätter*), в которых обсуждались жгучие вопросы эпохи с весьма радикальных иногда точек зрения, и между этими оппозиционными произведениями можно отличить такие, в которых высказывались взгляды тогдашних культурных классов, и такие, которые были выражением прямо народной думы. «В то время, — говорит о конце XV в. (1482) один хроникер (Шпангенберг в «Саксонской хронике»), — составлялись и пелись песни, напоминавшие начальству и убеждавшие его соблюдать в правлении справедливость, не давать дворянству слишком много воли и силы, не позволять бюргерам в городах слишком большой роскоши, не обременять простой крестьянский люд (*das gemeine Bawervolk*) через его силу, держать дороги в безопасности и каждому оказывать право и справедливость». Одновременно с этим раздается и радикальная проповедь, например, Иоганна Beheim'a или Богемца (*Böhme*), сожженного за свои смелые речи. Эти песни и проповеди дополнялись печатными памфлетами, составителями которых были люди с некоторым школьным образованием и вместе с тем принимавшие близко к сердцу народные нужды. К числу таких памфлетов и относится упомянутая «Реформация Фридриха III»². Не излагая в подробности этого памятника, довольно объемистого, я отмечу такие его требования, как то, чтобы «бедный крестьянин не был обременен и чтобы уважались его человеческое достоинство и свобода» (статья 2), чтобы всем городам и селам были «определены их права и обязанности, не принимая в соображение их древних привилегий, обычаев или заведенного порядка, единственно на основании христианской свободы, человеческого достоинства, здравого природного смысла, дабы всем людям было равномерно и необременительно», ибо «через это общее благо получит свое подобающее признание» (статья 3), чтобы из постановлений римского права, вообще предлагавшегося к упразднению, были оставлены лишь справедливые, «дабы бедный мог пользоваться без коварства и обиды свободой и своим правом, как и богатый, хотя бы

¹ Здравствие народа (*лат.*). — *Прим. ред.*

² Перевод ее имеется в специальном исследовании о ней проф. Бауэра в приложении к 1 т. его «Лекций по новой истории» (СПб., 1886; см. с. 263–269, содержащие в себе перевод).

он был князь империи» (статья 7), чтобы отменены были все налоги и поборы, кроме необходимых, «дабы частный интерес не падал бременем на общество и не стеснял бы все промыслы и ежедневные сношения» (статья 8), чтобы были преобразованы «большие, купеческие компании и другие товарищества, которые ежедневно вредят общественной пользе, на что вопиют не только знать, духовные и другие богатые люди, но и мелочные торговцы и мелочные потребители, принужденные брать товар у них, не говоря уже о бедных рабочих, которые грошовые свои потребности оплачивают дорогою ценою, между тем, как компании и товарищества вымогают у них запасы свои по самым низким ценам» (статья 11). Эти и другие пункты разъясняются и развиваются в особых к ним декларациях, в которых составители высказывают постоянную заботливость об общем благе и о большинстве народа, выражая, например, желания относительно уменьшения чинша за землю с крестьян, «чтобы простой человек, кроме уплаты части того, что дает Божья благодать, не был обременен своим господином каким-либо иным способом», ибо «тогда христианская и человеческая свобода сохранит свое истинное значение в том виде, в каком Бог даровал ее людям» (3-я декларация на 3-ю статью), — или выражая мысль об установлении для общего блага определенной заработной платы «для того, чтобы простой человек не был обманут, чтобы с него не требовали слишком много и чтобы каждый ремесленник и поденщик был достаточно вознагражден за свое искусство, труд и работу, ибо братская любовь и общее благо того не терпят, чтобы кто-либо был лишен своего заработка или своего капитала (4-я декларация на 3-ю статью). В декларации 4-й на 4-ю статью говорится, например, что общее благо возвышается и развивается христианской свободой, братской любовью и уважением человеческого достоинства. В памфлете этом слышится и предостережение: жалуясь на поборы князей, духовенства, дворянства и городов, первое объяснение декларации на статью 8 замечает, «точно как будто они (вы) хотят (хотите) вынудить крестьянина к тому, чтоб он их (вас) отстранил от худого их (вашего) управления. Смотрите, сказано далее, чтобы вы сверх этого не лишены были вашего родового владения или, пожалуй, в худшем случае, даже жизни». Это был целый план реформ, в котором не были забыты ни одно сословие и даже иностранцы: в нем предлагалось дать «всем условиям в империи, признанным и включенным в проект преобразования, не исключая ни одного, настолько свободы, прав и привилегий, чтобы никому не было впредь необходимости искать защиты и покровительства иначе как у Священной Римской империи» (1-я декларация на 12-ю статью), и «куда бы, — говорится еще, — иностранец в границах империи германской нации ни отправлялся, откуда бы ни выезжал и куда бы ни въезжал, он пользовался бы со всем своим имуществом и товаром такую же безопасностью, как и на территории своего государя» (2-я декларация на 12-ю статью). Эта «Реформация» имеет целую историю как памфлет, подвергавшийся

многим наслоениям, что указывает на его популярность в XV и XVI вв., — и как памятник, обращавший на себя всегда большое внимание историков, что, конечно, свидетельствует о его важности. Но он не стоит одиноко, ибо и другие литературные произведения эпохи указывают на необходимость реформы, и слово *reformatio*, получившее в XVI в. такой определенный смысл, в XV в. понималось прямо в значении преобразований государственных и общественных. Германия особенно богата такими проектами в XV в.: таков проект *De concordantia catholica* (1433) Николая Кребса (впоследствии кардинала Николая Кузанского); такова «Реформация императора Сигизмунда», своего рода выражение стремлений городского сословия; таков и упомянутый проект. Тут мало еще указать на социальный протест против злоупотреблений и дурного общественного устройства: в памфлетах, подобных «Реформации Фридриха III», *мы имеем еще дело с сознательным стремлением их авторов изменить общественное устройство согласно с более широким пониманием существа и цели человеческого общества*, нежели то, какое мы находим у представителей сословных интересов. *Это сознательное отношение к социальной жизни есть тоже один из признаков Нового времени*: та же сознательность обнаруживается в развитии сатирической литературы, бичующей не отвлеченные общечеловеческие пороки и слабости, а недостатки той среды, в которой появлялась эта действительно общественная сатира. «Декамерон» Боккаччо в Италии, «Кентерберийские рассказы» (*Canterbury Tales*) Чосера, этого «отца английской литературы» (XIV), в Англии, особенно же немецкие сатирические произведения XV в., каковы «*Der Pfaffe von Kalenberg*»¹ Филиппа Франкфурта, «*Narrenschiff*»² Себастиана Брандта (1494), «*Till Eulenspiegel*»³ (1483) и т. п., могут служить примерами осмеяния современного их авторам общества, и конечно, не случайностью было то, что главным объектом насмешек сделались прелаты, низшее духовенство и монахи, против которых направляется и гуманистическое, и реформационное движение XIV–XVI вв.

Но в этом возвышении единичных авторов над интересами отдельных сословий во имя идей достоинства человеческой личности и общего блага, в этом отрицательном отношении к окружающей действительности, — проявлялось ли оно в сатирическом осмеянии своего общества, или в реформационных проектах тогдашней публицистики, — выступает еще одно начало, присущее истории во все времена и у всех народов, имеющих историю, но не всегда одинаково развитое, часто весьма мало даже развитое, а именно начало человеческой личности. Это начало нам и нужно теперь рассмотреть, ибо действие его в новой истории получает особую силу.

¹ «Священник из Каленберга» (слово «*der Pfaffe*» часто использовалось в пренебрежительном смысле «поп, церковник»). — *Прим. ред.*

² «Корабль дураков» (нем.). — *Прим. ред.*

³ «Тиль Уленшпигель (Ойленшпигель)» (нем.). — *Прим. ред.*

XXI. Положение личности в обществе

Личность в античном мире и в новой Европе. — Личные права в феодальном обществе. — Личное право как сословная привилегия. — Личность и государство в Новое время. — Духовная свобода личности. — Неразвитость личного начала в средневековом обществе. — Корпоративность средневековой жизни и индивидуализм. — Традиционная литература и личное творчество. — Инноваторская роль личности. — Биографический элемент в истории. — Переход к рассмотрению духовной культуры.

В исторической, философской, политической и юридической литературе не раз отмечалось различие в положении личности в обществе античном и новом, различие, заключающееся в том, что в классическом мире личность поглощалась государством и права индивидуальной свободы не существовало, тогда как в Западной Европе, начиная со Средних веков и особенно в Новое время, утверждаются права личности, происходит ее эмансипация. Это положение, сделавшееся избитым общим местом, возможно принять только условно и с сильными ограничениями. Во-первых, и в классическом мире, и в новой Европе, в одном — рабство, в другой — крепостничество, просуществовавшее до XIX в. и серьезно начавшее падать лишь со времен Французской революции, не говоря уже о рабстве негров в Америке, были явлениями, возможными лишь при отрицании элементарных прав личности, и Европе нужно было дожить до Просвещения XVIII в., чтобы мог начаться решительный протест против состояний гражданской несвободы, каковы были рабство и крепостничество, протест, разумеется, не со стороны тех, которые сами находились в этом состоянии, т. к. они начали протестовать раньше. Исключив низшие слои общества, рабов, колонов, сервов, разных крепостных и зависимых, обращаясь к одним свободным классам, мы и тут видим сходство в положениях личности в античных и новых государствах, и вся разница будет заключаться в том, какие переходы мы будем брать для сравнения. И в древнем государстве, поглощавшем личность, возможны были явления, совершенно противоположного свойства, проявления индивидуализма, блестящим примером которого может служить афинская жизнь в эпоху наивысшего своего процветания, такие притом проявления, которые, как это было в эпоху упадка, действовали разлагающим образом на государственную жизнь, и, наоборот, в новой Европе было равным образом немалое количество фактов принципиального и действительного поглощения личности государством, закрепощения первой второго, фактов, с которыми нам придется постоянно встречаться. Но дело действительно в том, что принципиальное провозглашение прав личности совершается главным образом в новой Европе, и весьма любопытно, что в процессе развития индивидуализма весьма видную роль играла и возродившаяся античная литература, как это будет показано

в очерке гуманистического движения. Правда и то, что античное и новое понимание свободы не одинаково: в первом главная вещь — участие гражданина в верховной власти, во втором — личная независимость. Было бы, однако, неверным утверждать, будто это различие относится ко всем эпохам древнего и нового миров. Подобно тому, как в истории классического общества наступали времена, когда падало стремление к политической свободе, падал интерес к государственной жизни, и частная жизнь выдвигалась на первый план, так и в новом обществе были эпохи, и весьма продолжительные, когда личная свобода вообще не особенно высоко ценилась. Не касаясь пока религиозной сферы, не говоря о роли христианства в эмансипации личного начала, мы едва ли должны согласиться с тем мнением, будто индивидуализм был внесен в историю впервые германскими варварами, разрушившими Западную Римскую империю. Таким индивидуализмом, какой проявили германцы, отличаются все народы на известных ступенях исторического развития, и он не в меньшей мере был присущ грекам гомеровской эпохи, нежели германцам времен великого переселения народов: это — простая недисциплинированность личности, первобытная независимость человека, не умеющего подчиняться социальной необходимости, необузданность того, кто имеет возможность не повиноваться закону, а не та индивидуальная свобода, которая совместима с правильным общественным порядком, с уважением к чужой свободе и к закону. Древнегерманская личная свобода граничила с произволом, когда человек по тем или другим причинам имел возможность насильничать, но сознание возможности при известных условиях быть свободным в таком смысле не исключало закрепощений и самозакрепощений, которые в эпоху феодализации сократили до *minimum*'а число свободных людей. Если принимать в расчет не непокорный нрав знатных и богатых, в котором выразился главным образом варварский индивидуализм, а то отсутствие чувства свободы в массах, которое сделало возможными (конечно, при содействии причин экономических и политических) столь распространенные самозакрепощения времен установления феодального режима, то мы придем к взгляду, противоположному обычным представлениям об индивидуализме начальной истории Средних веков. Историки не раз обращали внимание на тот общий факт, что процесс феодализации не встречал сопротивления со стороны народной массы, и только позднее, главным образом с эпохи Крестовых походов начинаются восстания горожан и крестьян во имя личной свободы и защиты личных прав.

Феодальное общество резко делилось на благородных и подлых. Только первые пользовались свободой и притом свободой в широких размерах: здесь действительно *развивается сознание права личности по отношению к государству*. Феодализм и разложение государства — синонимы, ибо феодальные узы имели частный характер. Повиновение вассала сюзерену не было безусловным, ибо феодальный договор ограничивал политическую власть последнего над первым, давал королю не одни права, но налагал на него и обязанности,

нарушение которых освобождало вассала от его обязанностей по отношению к сюзерену, и таким образом личность и государство (последнее в лице короля) были поставлены в особое отношение друг к другу. Безусловность суверенитета, бесправие личности по отношению к государству не имеют места в феодальном обществе, — разумеется, при исключении из него закрепощенной массы, — и этот принцип начинает играть роль в законодательстве. Знаменитая 39-я статья *magnae chartae libertatum* представляет собою одно из рельефных проявлений нового начала. С другой стороны, в этом обществе развивается сознание личного достоинства в форме рыцарской или дворянской чести, личного достоинства, правда, как и личного права, ограниченных лишь известным состоянием: дворянин признает за собою известные личные права, нарушение которых со стороны государства рассматривается как нечто незаконное, и признает за собою личное достоинство не как человеческая личность вообще, а как член сословия, не возвышаясь до признания этих прав и этого достоинства за всеми, — уже много, если распространить их на всех свободных (т. е. некрепостных), как мы это видим в 39-й статье Великой хартии. Таким образом, *личное право является на практике как сословная привилегия*, хотя бы теория и возвышалась до признания личного права как права общечеловеческого. В новой истории к числу личных прав прибавляется, как мы увидим, свобода совести, но и эта свобода осуществляется сначала в форме сословной привилегии, по крайней мере, в некоторых государствах.

Признание новым государством индивидуальной свободы не могло быть прочным при такой исключительности. Кроме Англии, где сословные права уступили место общему праву страны, падение феодализма с его привилегиями, сопровождавшееся расширением прав других сословий по отношению к феодальному дворянству, не только не влекло за собою увеличения прав массы по отношению к государству, но расширяло, наоборот, его власть и над самими привилегированными сословиями. Мы еще увидим, какую силою сделалось государство Нового времени и как в нем возобладали античные традиции, неблагоприятные для зародышей индивидуальной свободы, хотя бы и с сословным характером, вынесенных обществом из Средних веков: *успехи новой государственности были часто даже рядом поражений для индивидуализма*, вообще усиливающегося в исходе Средних веков и проявившегося в гуманизме, протестантизме и просветительной литературе, прежде чем стать практическим требованием в Декларации прав человека и гражданина 1789 г.

Сословный характер индивидуальных прав в Средние века и многие факты новой истории указывают на то, что основа этих прав заключалась во внешнем положении личности, в ее материальной мощи, позволявшей ей отстаивать свою свободу, но содержание, какое вкладывалось в понятие свободы, обнаруживает, наоборот, *весьма малое развитие внутренней, духовной свободы в Средние века*, т. е., другими словами, свобода суживалась не только

количественно, но и качественно, т. к. индивидуальное Я было весьма ограничено в своих проявлениях, ограничено главным образом областью внешних действий, выражавшихся в непокорности по отношению к власти и в произволе по отношению к низшим. Между тем личная свобода покоится не только на возможности ее ограждения внешними средствами, но и на внутреннем сознании прав духовной личности на самоопределение. Феодалный класс жил чересчур внешнею жизнью войны, охоты, турниров, пиров, в лучшем случае — забот о материальном обеспечении себя более упорядоченным хозяйством и развлечений условною поэзией своего сословия, а то сословие, которое было призвано к занятиям в области мышления, было подчинено неизменным авторитетам традиции, так что для стремления к духовной свободе слишком мало оставалось места в жизни средневекового общества. *В последнем вообще было мало развито личное начало*, ибо развитие этого начала вообще относится к эпохам более поздним, когда культурно-социальная эволюция обогащает духовное содержание личности новыми идеями, создает возвышающуюся над сословными перегородками интеллигенцию, возбуждает критическую мысль и приводит к более широкому личному и общественному самосознанию, создавая вместе с тем способы и средства для внешнего проявления этого самосознания в ряде социальных условий, юридических установлений и политических учреждений, ставящих личность в более благоприятное положение по отношению ко всему, что препятствует свободным ее проявлениям. Мы еще увидим, как относился средневековый католицизм к индивидуальной свободе, а это — немаловажная сторона дела, теперь же остановимся на неразвитости личного начала в Средние века, наблюдаемой в фактах политической жизни и в истории литературы, чтобы отметить вместе с тем, как к концу Средних веков происходит эмансипация этого начала¹.

Средние века были, как мы не раз видели, эпохой политического и экономического партикуляризма, в сфере которого и вращалась отдельная личность. Отмеченное явление имело и другую сторону. *Общественная жизнь в эту эпоху принимает строго корпоративный характер*, дробясь на жизнь мелких местных союзов или более крупных, но исключительных, в состав которых душою и телом входят отдельные личности, дробясь на жизнь обособленной сельской общины, феодальной сеньории, монастыря, города, цеха, гильдии, товарищества, монашеского ордена, университета, сословия и т. п. В этих корпорациях исчезал и поглощался индивидуум, выступая на сцену мира именно в качестве члена той или другой корпорации, в большинстве случаев в ней родившегося, вполне проникнутого ее воззрениями и интересами, из нее не выходящего, в качестве деятеля, являющегося простым экземпляром известной культурной группы, простым представителем известного общественного союза. В городах возникали партии, и две великие партии (гибеллинов и гвель-

¹ Многое о литературе подробнее изложено в моей книге «Литературная эволюция на Западе».

фов) имели универсальное значение, но человек становился в ряды той или другой партии не потому, что лично ей больше симпатизировал, а потому, что родился в гвельфской или гибеллинской семье. Даже тогда, когда личность выступала на великой исторической сцене, она была лишь представительницей известной, без нее сложившейся системы, представительницей, например, папства или империи. Одним словом, личность поглощена вполне своею культурно-социальною средою, ограничена своими рамками, недостаточно проявляет оригинальность и самобытность своего Я. В этом отношении Новое время гораздо индивидуалистичнее Средних веков, впервые же более развитый индивидуализм проявился в Италии XIV и XV вв., приняв здесь формы, не особенно симпатичные с нравственной точки зрения, чего, конечно, не следует распространять на личное начало вообще.

С конца XIII в. начинается в Италии разложение средневекового быта, разложение муниципальной жизни и той системы папства и империи, которая придавала некоторое единство стране при ее муниципальной разрозненности. С падением империи, а за ним с началом упадка и папства партии гибеллинов и гвельфов потеряли свой смысл, и под их знамена становятся сначала сословные интересы, а потом интересы личные и эгоистические страсти, что весьма пагубно отразилось на общественной нравственности. Эгоистический индивидуализм эпохи особенно рельефно выразился в двух ее характерных явлениях — в кондотьерстве и принципате. В конце Средних веков в Италии возникают наемные военные дружины под начальством так называемых кондотьеров: это не были отряды феодальных вассалов под предводительством сюзерена, не были городские милиции, а сборища людей, не связанных между собою ни феодальными, ни муниципальными узами, сошедшихся из разных сторон авантюристов, искавших легкой наживы и соединявшихся между собою в силу личного подчинения одному и тому же кондотьеру, который действовал сам от себя и сам для себя, нанимаясь на службу к кому угодно, изменяя интересам своих нанимателей, вступая в сделку с кондотьером противоположной стороны, при случае будучи готовым наложить руку и на доверившийся ему город, сделаться в нем князем. И принципат основывался на том же начале личного умения, личной способности, личного своекорыстия, ибо князь пользовался в своих видах социальным раздором в городе, захватывал власть в свои руки, опирался не на наследственное право, а на обстоятельства, которые эксплуатировал в собственную пользу, и на личное искусство пользоваться игрою чувств эгоистических интересов, прибегая к ловкой речи и бойкому перу гуманистов, извлекая из покровительства литературе возможность окружать себя блеском и славой. И кондотьер, и «принципе» не были частями готовой общественной системы: они не рождались с правом на власть, как сеньоры, не достигали власти правильным путем избрания, как духовные, они сами, личными силами своими создавали себе известное положение и опирались не на определенные политические принципы и традиции, не на ранее существовав-

шую организацию социальных интересов, а на индивидуальные страсти минуты, на благоприятно сложившиеся обстоятельства или дипломатическою своею ловкостью создавая для себя такие именно обстоятельства. Тут все — не наследственное звание, не высокий сан, составлявшие части феодальной или католической системы, тут все — в личной смелости и удаче. Кондотьера и князя окружали такие же люди, ибо борьба политических партий в городах с конфискациями имений и изгнаниями граждан создавала большой контингент наемных дружин. Но индивидуализм способен был принимать и не такие формы, которым в данном случае содействовала общая дезорганизация старого быта: например, в области литературного творчества проявляется в ином виде все та же новая историческая сила личного начала.

Преобладанию корпоративного над личным вполне соответствует преобладание традиционного над самобытным. В истории литературы при переходе от Средних веков к Новому времени наблюдается эмансипация личности от условной традиционности и своего рода коллективизма, что не раз отмечалось историками литературы. Область, в которой беспрепятственнее всего проявляется личное начало, есть область духовной деятельности вообще, в частности литература. Средневековая словесность была, однако, весьма далека от того, чтобы быть выразительницей личных воззрений и настроений, и на ее произведениях особенно отражается сила традиций, коллективное творчество и слабое понимание общественной роли литературы как органа, посредством которого личность пропагандирует свою мысль. Поэтическое творчество в Средние века вращалось в известных традиционных границах, воспроизводило исключительно старинные предания о временах более или менее отдаленных и обрабатывало уже известный литературный материал. Вместе с этим национальные поэмы Средних веков, французские *chansons de geste* и *romans d'aventures*, находившие подражания и в других странах, немецкие *нибелунги* и т. п. были результатом коллективного творчества: находя, например, в более ранних «кантиленах» готовые сюжеты, французские труверы перерабатывали их так, что в составленных ими произведениях отражалась не столько личность автора, сколько дух среды, окружавшей поэта. Каждая поэма Средних веков носит на себе печать коллективного происхождения: ей предшествуют былины, слагавшиеся многими народными певцами, из этих былин заимствуется материал, который перерабатывается потом многими поэтами, весьма схожими между собою. Словом, личность автора тут стусевывается перед литературной традицией и духом известной группы лиц, принадлежащих к одному социальному классу, к одной профессии; она еще не выдвигается как развитая, оригинальная личность. Поэтому биография поэта еще мало объясняет его произведения: почти все их объяснение — в тех заимствованиях, которые сделаны автором из традиционного литературного материала, — заимствованиях, исключавших необходимость собственной выдумки, — да в общем духе среды, отражающемся на творчестве одного поэта почти так же, как и на творчестве

другого. Недаром не дошли до нас биографические сведения о личностях авторов нибелунгов, большей части *chansons de geste* и т. п. При таком состоянии литературы ее общественная роль весьма ограничена: автор, перепевая старое традиционное содержание в одном духе и направлении с другими современными ему поэтами, не смотрит на это дело как на способ высказывать свои моральные и общественные взгляды, поэзия остается увеселением, забавой, лишь бессознательным или непреднамеренным выражением мысли и настроения личности и окружающей последнюю среды. Жизненные импульсы еще слабо влияют на поэзию, и подражательность не имеет в них противовеса. Лишь провансальская лирика, песни трубадуров, впервые начинают более жить современностью, носить на себе следы разнообразия личных характеров и сознательно выражать личный взгляд на общественные дела, и недаром современники трубадуров оставили десятки тетрадок с биографиями этих поэтов, недаром их «сирвенты» заключают в себе сознательные тенденции с публицистическим характером. Тут же впервые зарождается и литературная критика, в основе которой лежит личная и сознательная оценка поэтических произведений.

Раньше было нами указано на то, что в поэзии исхода Средних веков преобладают аллегория, дидактика и сатира: они уже менее всего дают возможности вращаться в области традиции, еще более выдвигают личность и даже прямо представляют в себе связь поэзии с публицистикой и литературной критикой. Французские фавлю, а за ними новеллы уже выводят на сцену окружающее общество. За подробностями по этим вопросам я позволяю себе отослать к моей книге «Литературная эволюция на Западе», где развитие словесности рассматривается именно с точки зрения слабости или силы проявляющегося в ней личного начала и где указывается, между прочим, на пример Данте как первого великого единоличного поэта, составлявшего, как сам он о себе говорит, один всю свою партию, хотя он еще стоит в мирозерцании на чисто средневековых точках зрения католицизма и схоластики¹. В самом деле, с конца Средних веков литература под влиянием большого развития личности принимает новый характер. Развитая личность не может не получать импульсов от жизни, от окружающей действительности, от современности и в той или другой форме не выражать этих импульсов в своих произведениях, и если к концу Средних веков падает в качественном (но не количественном, правда) отношении поэтическая разработка традиционного содержания в традиционных формах, то современность и личное отношение автора к современности в ней проявляются уже со значительною силою.

Пример литературной эволюции на Западе в Средние века и в Новое время может служить иллюстрацией некоторого более общего тезиса. Культурно-социальная среда, как и литературная традиция, оставались бы неизменными без инноваторской роли личности: чем развитее личность по общим культур-

¹ О Данте см. с. 188–210 указанной книги.

ным и социальным условиям, тем сознательнее и самостоятельнее относится она к окружающей ее среде, тем более нового и самобытного вносит она в умы современников и в формы общественного быта, и тем, следовательно, сильнее проявляется личное начало в истории и в жизни. Индивидуум не мирится с исчезновением собственного Я в традиционных воззрениях своей культурной среды, с поглощением этого Я в традиционных требованиях социальной организации, в состав которой он входит, и благодаря его инициативе, благодаря поддержке, какую он находит в других, благодаря общему подъему уровня личного развития в обществе, индивидуализм начинает все более и более играть роль исторического фактора¹. В этом отношении существует большая разница между Средними веками и Новым временем: в Средние века культурно-социальная среда господствовала над личностью, и биографии средневековых деятелей интересны главным образом по тем чертам культурно-социального состояния, которые отражались на отдельных личностях, тогда как, наоборот, в Новое время наибольший интерес имеют биографии людей, попадавших в противоречие с окружавшей их средой и содействовавших изменению этой среды в новом направлении, биографии реформаторов и новаторов, вносивших в жизнь личную мысль, личную инициативу. Конечно, и в Средние века были люди инициативы, и в Новое время, как и всегда, традиция представляет из себя сильный общественный фактор; конечно, и в биографии отдельной личности переплетаются между собою и черты индивидуального характера, и признаки окружающей культурно-социальной среды, но в общем в Новое время число людей инициативы увеличивается, сама инициатива усиливается. Разумеется, что и индивидуальная биография поэтому может быть понята лишь при одинаковом отношении и к тому, что в данном индивидууме оригинально, и к тому, в чем индивидуум этот является лишь как представитель известной культурной группы, известного общественного союза, но именно общее, положительное или отрицательное отношение личности к той или иной культурно-социальной среде и заставляет историка видеть в ней преимущественно или носителя известных, вне ее существующих воззрений, или носителя собственных, ею самую выработанных взглядов.

Индивидуальное развитие отражается и на том, что более развитая личность требует от общества для себя больших прав, для своей внутренней и внешней жизни — большей свободы. Мы рассматривали до сих пор главным образом общественную структуру, определявшую собою внешнее положение личности, а теперь перейдем к духовной культуре Средних веков и переходного времени. В этой области большее личное развитие новых веков проявилось в двух культурных движениях — гуманизме и протестантизме, нанесших удар средневековому миросозерцанию с его антииндивидуалистической подкладкой.

¹ См. мою книгу «Сущность исторического процесса и роль личности в истории».

Средневековый католицизм

XXII. Католическая церковь и светское общество¹

Отличие средневековой цивилизации от античной и новой. — Программа дальнейшего изложения. — Принципы и стремления средневекового католицизма. — Рост папства и происхождение католического универсализма. — Причины главенства церкви над государством. — Разные периоды в их взаимных отношениях. — Теории о превосходстве духовной власти над светскою. — Богословская основа политической литературы. — Главенство клира в обществе.

Средневековая духовная культура отличалась своим церковным характером от светской цивилизации античного мира в эпоху наивысшего развития его интеллектуальных сил. Для античного человека на земле не было и не могло быть ничего выше государства, и право являлось для него или как выражение воли суверенного народа, или как совокупность предписаний государственных сановников. С другой стороны, все цели своей жизни он полагал в этом мире, возбуждавшем и пытлиность его ума, а в своей науке и философии он видел результаты деятельности человеческого разума, руководимого своими собственными законами и наблюдением над природою. Но уже в конце античного мира, еще до торжества христианства и до прихода варваров эта цивилизация начинает проникаться иными началами. Императорская власть, опиравшаяся сначала на сенат, потом на войско, при Диоклетиане воспринимает в себя элементы восточной теократии. В Александрии возникает философия, которая, отринувши опыт и разум, обращается к вере, и так называемый неоплатонизм представляет из себя синтез греческой философии с восточными теософиями. В Средние века мы видим дальнейшее развитие этих новых начал в том дуализме духовного и светского с господством первого над вторым, который характеризует католическую культуру. В античном государстве, в Римской империи возникает новое учреждение — церковь, и хотя языческая империя и делается христианскою, но государство и церковь продолжают существовать раздельно, становясь в разные отношения между собою, а из этих отношений на Западе развилось господство церкви над государством, сделавшееся политическим догматом средневекового

¹ *Laurent*. L'empire et la papauté (VI т. Etudes sur l'histoire, de l'humanité). L'église et la féodalité (VII т.). La réforme (VIII т.); *Eucken*. Geschichte und System der mittelalterlichen Weltanschauung; *Friedberg*. Die mittelalterlichen Lehren über das Verhältniss von Staat und Kirche; *Чичерин*. История политических учений, т. I; *Жане II*. История государственной науки в связи с нравственной философией (*Janet P.* Hist. de la science politique); *Reuter*. Geschichte der religiösen Aufklärung im Mittelalter; *Hauréau*. Histoire de la philosophie scolastique. Кроме того, известные церковные истории Неандера, Гизелера, Гегенбаха, Баура (*Christliche Kirche des Mittelalters*), весьма хороший компендиум Шмидта «*Precis de l'histoire de l'église d'Occident pendant le moyen âge*». Для средневекового мирозерцания см. еще статьи проф. В.И. Герье в «Вестн. Евр.» за 1891 и 1892 г.

католицизма. Рядом с правом гражданским становится теперь право церковное (каноническое), стремящееся расширить свою компетенцию и подчинить себе первое. В области умственной деятельности теология устанавливает свое преобладающее положение, видя в философии и науке лишь своих прислужниц: *philosophia est ancilla theologiae*. То же происходит и в моральном мирозерцании: античный человек создавал идеалы «калокагафии» и доблести (*virtus*) или счастья, представляя себе и нравственное совершенство, и личное блаженство, как имеющие цели в этом мире, тогда как Средние века создали аскетический идеал отречения от мира и удручения плоти ради загробного спасения души. Господство церкви над миром и в области практической деятельности, и в сфере духовных интересов, с одной стороны, а с другой — это отречение от жизни плотью и земными интересами, т. е. *теократизм и аскетизм, нашедшие воплощение в папстве и монашестве, и составляют главные черты средневекового мирозерцания* — притом в отличие не только от античной цивилизации, но и от духа Нового времени. Дуализм духовного, спиритуального и светского, темпорального или мирского, секулярного остался и в новой цивилизации, но в ней происходит эманципация государства и образования от церковной опеки, эманципация теоретического и морального мирозерцания от догматизма католической философии и от отождествления моральных требований христианства с аскетическим идеалом, происходит, одним словом, секуляризация политики и культуры, т. е. превращение их из церковных в светские — политику и культуру. Таким образом, *общее мирозерцание Нового времени отличается от средневекового своим светским характером*. Процесс перехода средневековой культуры в новую и будет теперь главным предметом нашего внимания. Вот именно план, которого удобнее всего держаться при рассмотрении этого предмета.

В переходную эпоху от Средних веков к Новому времени, т. е. в XIV и XV столетиях *католицизм вызывает против себя двоякого рода протесты и оппозиции*, зарождающиеся еще ранее этого времени и достигающие наибольшей силы только позднее, в Новое время: с одной стороны, действуют силы, становящиеся в оппозицию во имя мирских, светских интересов и принципов против теократии и аскетизма, с другой — выступают элементы, протестующие против «порчи» церкви во имя той же самой религии, в силу и ради которой существовала сама церковь. *Мирской оппозиции и религиозного протеста как имеющих разные источники, — первая в сфере интересов земного бытия общества и личности, второй — в религиозном чувстве и в мысли о загробном спасении, — не следует между собою смешивать*, а потому мы рассмотрим прежде всего как те стороны католицизма, которые вызывали против себя светскую оппозицию, так и самую эту оппозицию, а затем другие стороны, против которых был уже направлен протест религиозный. В связи с оппозицией первого рода нам удобно будет познаться с гуманизмом, бывшим как бы Возрождением светского духа ан-

тичной цивилизации, в связи же с религиозным протестом — попытки церковной реформы, выдвигающейся на первый план в истории XVI в. и порождающей протестантизм. Этим мы и подготовимся к пониманию *новой цивилизации, в истории которой важную роль играют антикатолические движения гуманизма и протестантизма с их новыми принципами* — не только философскими и моральными, но и социально-политическими, в силу чего их значение относится и к области истории общественных движений и государственных перемен в Новое время. Замечу еще, что в *гуманизме и протестантизме отразился и индивидуализм Нового времени, предъявивший свои требования к духовной культуре общества*.

Я соберу прежде всего воедино черты, характеризующие средневековый католицизм как известную систему со своими стремлениями и принципами, никогда, конечно, не осуществлявшимися в совершенной полноте и чистоте. *Католицизм был именно космополитической системой, игнорировавшей национальные различия, системой теократической и клерикальной, подчинявшей светскую власть церковной и светские сословия духовенству, системой догматической мысли и аскетической морали, отрицавшей индивидуальную свободу и права личности*. Таким образом, характерными признаками средневекового католицизма можно считать универсализм, теократизм, клерикализм, теологический догматизм и аскетизм, а светская оппозиция, которая против него возникала в конце Средних веков, принимала характер оппозиции национальной, политической, социальной, умственной и оппозиции со стороны инстинктов человеческой природы, поскольку средневековая церковь отрицала и народную самобытность, и государственную и общественную самостоятельность, и индивидуальные права. Все это мы теперь и рассмотрим в отдельности.

Начнем с универсализма церкви. Средневековый католицизм представляется нам как *обширная космополитическая монархия, совершенно отрицающая национальные различия во имя строгого церковного единства*. Этот универсализм соответствовал как нельзя более идее церкви: задача последней заключалась в установлении на земле царства Божия, в приготовлении человека к загробному спасению, но путь к спасению мог быть только один, вне единой церкви не было спасения, а потому церковь должна была относиться совершенно одинаково ко всем народам. Исторические обстоятельства сложились на Западе в смысле наиболее благоприятном для того, чтобы такая идея могла получить весьма широкое применение к жизни. Еще во времена Римской империи церковь как учреждение, долженствующее охватить весь мир, получила название католической, т. е. вселенской (*ecclesia catholica*). Это единство церкви стало распадаться в IX в.: на общей основе христианства возникли две большие церкви, и в этом разделении выразилось как различие греческого и римского гения, так и разная судьба обеих половин империи. На Востоке шла деятельная разработка теоретической стороны христианства, определение его догматов: здесь возникали многочисленные ереси, здесь же

в IV—VIII вв. созывались вселенские соборы для установления общепризнанного учения (в Никее, Константинополе, Эфесе и Халкедоне); на Западе духовенство занято было больше разрешением практических вопросов, и бл. Августин в своей книге «*De Civitate Dei*»¹ (V в.) поставил вопрос об отношении церкви к государству. Между тем в то самое время, как на Востоке сохранились единство и авторитет империи, Западная империя пала и была разделена варварами: нужно было найти новое выражение единства церкви, да и духовенство не могло здесь стать к новым королям, грубым варварам, лишенным авторитета и традиции старой власти, в то же отношение, в каком оно находилось к императору. Карл Великий сделал попытку восстановить империю, подчинить своей власти духовенство; к этому стремились и его преемники, но феодальное раздробление, ослабление государственной власти, усиление римского епископа делали такую задачу весьма трудною: здесь усилия ослабленной и раздробленной государственной власти встретились с противоположными стремлениями пап, которые сами делают как бы духовными монархами. В устройстве первоначальной церкви играл роль элемент демократический. Только с IV в. епископат, получивший от императоров разные привилегии, собиравшийся на вселенские и поместные соборы, приводит церковь к аристократическому устройству. Но и епископы не имели все одинакового значения: первый вселенский собор (в Никее в 325 г.) признал старшинство за Римом, Антиохией и Александрией, а также за экзархом Иерусалимским; второй собор (константинопольский в 381 г.) непосредственно за римским епископом поставил константинопольского; четвертый (халкедонский в 451 г.) утвердил за указанными пятью епископами титул патриархов, даровав первенство Риму. Таким образом, когда пала Западная империя, на Западе был один патриарх, на Востоке — четыре. Но первенство не было еще главенством: верховная власть в церкви принадлежала соборам, где заседали епископы и в которых требовалось участие патриархов. Областью римского епископа, где у него были особые права, никейский собор сделал Среднюю и Южную Италию, Сардинию, Сицилию и Корсику. Между тем оба азиатские и африканский патриархаты, незначительные по размерам, были завоеваны арабами, а между патриархами европейскими началось соперничество: папа Дамас был недоволен определением второго собора, возвысившего константинопольского епископа; Григорий Великий в конце VI в. протестовал против титула «вселенский» (*universalis*), который был дан императором Маврикием константинопольскому патриарху. При этом соперничестве исторические обстоятельства сложились в пользу Рима: последние императоры Запада жили в Равенне, и папа оставался первым лицом в Риме, городе, оказывавшем такое обаяние на провинциалов и варваров; в конце V в. империя падает, и власть папы делается более независимой; притом во времена ересей,

¹ «О граде Божием» (лат.). — Прим. ред.

которые волновали церковь, папа являлся защитником правоверия, поддерживал связи с православным населением провинций Запада, где господствовали еретики-ариане — германцы. Падение империи и варварские вторжения позволяли папам играть уже совсем самостоятельную роль. Византия, отвоевавшая у остготов Италию (в первой половине VI в.), сохраняет еще право утверждения пап, но дальность расстояния и завоевание Италии лангобардами (во второй половине VI в.) делают власть Византии над Римом весьма слабой. В конце VI в. папа Григорий Великий очутился прямо в положении светского правителя Рима: он тратит свою казну на закупку хлеба, откупается от лангобардов, надзирает над чиновниками в городах Италии. При его содействии ариане лангобарды в Италии и вестготы в Испании присоединяются к церкви, а кроме того, папа посылает миссионера в Британию для обращения язычников англосаксов, взяв обещание подчинить новую церковь непосредственно Риму. В VII в. осуждение шестым вселенским собором ереси монофелитов (в Константинополе в 680 г.), против которой особенно ратовали папы, было своего рода торжеством римского престола, и в том же веке император Константин Пагонат соглашается, чтобы избрание папы не дожидалось утверждения из Византии, хотя влияние византийского наместника в Италии (экзарха) на выборы сказывается еще в том, что в папы некоторое время попадают только греки и сирийцы. В первой половине VIII в. возникновение на Востоке ереси иконоборцев приводит папу Григория II в столкновение с императором Львом III; тот же Григорий II посылает миссионера в Германию обращать язычников, взяв с него обещание подчинить новую церковь Риму, и миссионер этот (св. Бонифаций), председательствуя на соборах галльского духовенства, проводит и во франкской монархии идею папского главенства. В борьбе с лангобардами, теснившими папу в Риме, Григорий II обращает свои взоры к франкам, и при преемниках его во второй половине VIII в. совершается важный переворот: папы освящают узурпацию франкской королевской короны майордомом Пепином Коротким, который защищает их от лангобардов, отвоевывает равеннский экзархат в Италии, достояние Византии, и дарит его Св. престолу. Сын Пепина Карл Великий подтверждает этот дар, распространяет в Германии христианство, возвышает духовную власть папы в своей империи, а принятие им императорского титула переносит на него и его преемников право утверждения пап. Однако в половине IX в. папа Стефан IV посвящается без утверждения со стороны императора, а во время междоусобий, последовавших за распадением империи Карла Великого, папы произвольно распоряжаются императорской короной. Около того же времени являются лжеисидоровы декреталии, подложный документ якобы из первых веков христианства, по которому папе одному приписывается право утверждать епископов, созывать и утверждать решения соборов, принимать апелляции на действия всех духовных властей, и галльские епископы, например, охотно подчинились такой власти, рассчитывая, что отдаленная

власть папы не так опасна, как более близкая власть митрополита: Николай I именно на основании этих декреталий разрешил в пользу епископов французских спор их с властолюбивым архиепископом реймским. Таким образом, ко времени распада монархии Карла Великого и утверждения феодализма папство достигает важных результатов, которые можно обобщить под названием независимой от светских государей церковной монархии. В этой монархии устанавливается строгое единство, выражением которого было исключительное употребление латинского языка в церковной жизни. Когда христианство утвердилось в Римской империи, западные ее провинции были уже романизированы, т. е. говорили на народно-латинском языке, и письменная латынь, употреблявшаяся в церкви, была понятна их населению, ибо только позднее из простонародной латыни (*sermo rusticus*) развились романские языки, да и те очень поздно стали получать литературную обработку. Первая церковь не романская, в которой богослужение было введено на совершенно чуждом и непонятном народу языке, была англосаксонская, с самого начала ставшая в непосредственную зависимость от римского престола, а за нею через век с небольшим последовала церковь германская, равным образом принявшая латинский язык как язык своей письменности и богослужения. Романские церкви, только позднее ставшие в такие же отношения к римскому епископу, уже раньше пользовались тем же языком, и к середине IX в., ко времени начала христианства среди славян, на Западе уже раздавались протесты против употребления народных наречий в богослужении, т. к. право на такое употребление признавалось лишь за языками еврейским, греческим и латинским. Когда позднее на самом Западе явилась потребность в переводах Священного Писания на народные языки, папство отнеслось к этому недружелюбно и даже стало запрещать такие переводы. В эпоху наибольшего развития папского могущества централизация, отрицавшая национальное начало в жизни народов, все более и более проникала в отношения Рима к отдельным странам, в которых, однако, с XIV в. начинает развиваться национальное самосознание, мало-помалу приходящее в столкновение с католическим универсализмом.

Те же обстоятельства, которые создали на Западе эту космополитическую духовную монархию, позволили церкви достигнуть господства и над государством. На ее стороне была громадная сила: это была сила веры в массах, соединенной со страхом отлучения от церкви и интердикта, налагавшегося на целые страны; это была сила образования, главным представителем которого в обществе было духовенство; это была сила организации, охватывавшей в иерархической централизации все страны Западной Европы с их шаткою государственною властью и феодальной разрозненностью; это была сила материальная — обширные земли и громадные доходы духовенства. Заслуги церкви перед обществом также немало возвышали ее авторитет: церковь оказывала какую ни на есть защиту слабым; монастыри были пионерами высшей культуры; в XI в. духовенство учреж-

дением божия мира пыталось ограничить феодальные усобицы; папство стояло, наконец, во главе популярного предприятия католического Запада против мусульманского Востока (Крестовые походы, 1096–1291).

Разложение государства в феодальную эпоху и было той почвою, на которой могла получить практическое осуществление теория о главенстве церкви над государством. В истории отношений между церковью и государством можно различить несколько эпох: первая обнимает I–III вв., когда церковь существовала в языческом государстве; вторую составляют IV–VI вв., когда церковь находилась в зависимости от государства; потом на Западе обнаруживается стремление церкви к независимости и господству, которому, однако, препятствие составляла власть императоров в лице Карла Великого, Оттона Великого и Генриха III: последний составил даже план подчинить мирян священникам, священников епископам, епископов папе, а папу себе, чтобы осуществить свои грандиозные планы. С Григория VII, как известно, начинаются новые отношения: не только заявляются притязания на господство над государями, но притязания эти осуществляются на практике. Если бы осуществились вполне стремления Григория VII, Иннокентия III (в начале XIII в.) и Бонифация VIII (в начале XIV в.), то духовная власть сделалась бы таким подавляющим элементом общественной жизни на Западе, против которого всякое сопротивление было бы почти невозможным. При Григории VII спором за инвеституру с Генрихом IV открывается вековая борьба церкви и государства. На империю главным образом падают удары папства: она владела Италией и заявляла притязания на верховенство над Римом; власть императора была высшею светскою властью на Западе. «Преемник апостолов» хотел подчинить себе «наследника цезарей»; «всеобщий епископ» (*episcopus universalis*) хотел стать выше «господина мира» (*dominus mundi*); папа был блюстителем душ, император — блюстителем телес, и поскольку дух выше тела, постольку император должен был подчиняться главе той церкви, которой он обязан был служить в качестве «защитника» (*advocatus ecclesiae*). При случае и короли чувствовали над собою тяжесть папской десницы и должны были смиряться.

Вопрос о достоинстве духовной и светской власти был поставлен еще в первые века христианства и весьма рано разрешен в том смысле, что священство выше царского сана. Понималось, однако, такое отношение не в политическом, а в моральном смысле, и только при особых исторических обстоятельствах, какие сложились на Западе, из морального превосходства духовного над мирским сделали такой политический вывод, которому оказалось возможным дать и практическое значение. Ранее всего идею, положенную папством в основу своей политической теории, мы встречаем в так называемых «апостольских правилах», в которых говорится, что «насколько душа выше тела, настолько священство выше царского сана, ибо оно связывает и разрешает достойных наказания и прощения». Ту же мысль высказывает и Григорий Бо-

гослов. «Закон Христа, — говорит он, — подчинил вас (светских властителей) нашей власти и нашему суду, ибо и мы властвуем, и прибавлю: властью вышею и совершеннейшею, нежели ваша. Или дух должен повиноваться плоти и земному небесное?» «Священство, — читаем мы у Иоанна Златоуста, — настолько выше царской власти, насколько велико расстояние между плотью и духом. И епископ — князь, и гораздо почетнейший земного: священные законы преклонили царскую главу под его руку, и когда требуется небесное благо, то царь прибегает к священнику, а не священник к царю... Священник — высший правитель земли и происходящего на земле, нежели тот, кто облечен в пурпур... Одни пределы царства, другие — священства. Однако последнее больше первого». На Западе аналогичная идея, притом с более практическим характером была развита бл. Августином в сочинении «*De Civitate Dei*», в котором он изображает борьбу двух царств — божьего и дьявола; первое — церковь — основано Богом, второе — государство — людьми и притом не знающими Бога. Подобное же мнение было развиваемо впоследствии папою Геласием, который в письме к императору Анастасию (в конце V в.) говорит: «Есть главным образом две власти, которыми управляется мир, священная власть иереев и власть царская. Из них первые имеют тем более веса, что они должны за самих царей дать отчет Богу на страшном суде». В эпоху борьбы своей с Генрихом IV Григорий VII прямо делает отсюда политический вывод, например, в письме к епископу мецскому Герману: «Разве Бог сделал изъятие для царей, когда сказал Петру: "Паси овец моих"? Вы знаете, чьи члены цари, которые свою честь и свои выгоды мирские ставят выше божественной правды: как те, которые поставляют Бога превыше всякой своей воли суть члены Христа, так те, о которых мы говорим, — члены антихриста... Но, может быть, они полагают, что царская власть выше епископской; об этом можно судить по их происхождению: одну изобрела человеческая гордость, другую установила божественная любовь. Кто не знает, что цари и князья ведут свое начало от тех, которые, не ведая Бога, гордостью, разбоем, лукавством, убийствами, наконец, почти всеми злодеяниями, побуждаемые дьяволом, князем мира сего, в слепой своей алчности и в невыносимом самопревознесении, присвоили себе власть над равными себе, т. е. над людьми?.. Кто сомневается, что служители Христа — отцы и учителя царей, князей и всех верных! Так не есть ли это безумие, когда сын хочет подчинить себе отца и ученик — учителя и покорить своей власти того, кем он может быть связан, не только на земле, но и на небе?» Или вот что читаем мы в знаменитой булле Бонифация VIII «*Unam Sanctam*»: «Мы обязаны веровать в единую святую, католическую и апостольскую церковь. У единой и единственной церкви одно тело, одна глава, а не две, как у чудовища, т. е. Христос и наместник Христа — Петр и преемник Петра. Из святых слов мы узнаем, что в его власти два меча, духовный и светский. Ибо, когда сказали апостолы: "вот два меча здесь", т. е. в церкви, — не сказал Господь "много", но "довольно", т. е. оба меча, духовный

и материальный, находятся в церкви: первый должен извлекаться церковью, второй — за церковь, первый — рукою священника, второй — рукою королей и воинов, но по приказанию и желанию священника. Необходимо, чтобы меч был под мечом и чтобы власть светская подчинялась духовной (*temporalem auctoritatem spirituali subjici potestati*). Ибо, по свидетельству истины, духовная власть должна поставлять светскую и судить ее, если она не хороша. Если прегрешит власть светская, она должна судиться духовною, если низшая духовная прегрешит, то ее судит высшая, а эта может быть судима одним Богом».

Мы еще увидим, какие практические выводы делались из подобных учений, а пока ограничимся указанием на то, что *определение отношений между церковью и государством породило целую политическую литературу богословского характера*, в которой преобладает период времени от Григория VII до Бонифация VIII, т. е. со второй половины XI по конец XIII в., теократическая идея, хотя и безусловно. Эта идея, во всяком случае, соответствовала духу папской политики в эти века борьбы папства и империи, а теологическая основа политической литературы вполне гармонировала с общим направлением средневекового мышления. Стоит заглянуть в любую историю политических учений, чтобы убедиться в том, что авторами трактатов с таким содержанием были духовные лица, монахи и схоласты, ставившие политические вопросы на богословскую почву и разрешавшие их ссылками на Священное Писание, на Отцов Церкви, на каноническое право, на теологические соображения.

Раз церковь господствовала над государством, весьма естественно, что и в обществе первенство должно было принадлежать духовенству. Лжеисидоры декреталии приписывали апостолу Петру такого рода рассуждение: «Духовные — люди духа, светские — люди плоти. Как плоть может судить дух, как низшие стали бы судить высших? Духовные суть орудия Господа, их дела суть дела Божии: какой дерзкий осмелится сделать себя судьей Всемогущего?» Или вот что читаем мы у св. Дамиана: «Мирской человек — как бы ни был он благочестив — не может быть сравниваем даже с несовершенным монахом, ибо золото, хотя бы и с постороннею примесью, драгоценнее чистого золота».

Последовательное осуществление католических принципов в жизни целых обществ было бы гибелью их национального, политического и социального развития. Но если эти тенденции были так враждебны мирским началам народности, государства и общества, то не менее враждебны были эти тенденции и личному развитию. Система, отрицавшая право на самоопределение за целыми культурными группами и социальными соединениями, конечно, не могла быть благосклоннее к самоопределению индивидуальному.

XXIII. Отношение католицизма к личности

Догматизм и аскетизм в области индивидуальной мысли и жизни. — Отношения католицизма к образованию и науке. — Схоластика и школьная наука. — Аскетические требования. — Монашеское отрицание радостей жизни. — Проявления монашеского идеала. — Недоверие к личным силам. — Отношение к ереси. — Главные силы, боровшиеся в Новое время с католической системой. — Противоречие между властью над миром и отречением от мира.

Высшими проявлениями индивидуальной жизни должно считать мышление и хотение, с которыми соединяются в каждом единичном бытии известные инстинкты, влекущие человека к материальному обеспечению своего Я и к расширению своего индивидуального существования в брачной и семейной жизни. Догматизм средневекового католицизма подчинял индивидуальную мысль готовым решениям собственной своей философии или отвлекал ее от занятия светскими науками, в которых высказывался интерес к окружающему миру, тогда как аскетизм объявлял греховными и безнравственными стремления человека к свободному проявлению своей воли, к материальному благосостоянию, т. е. к физическому здоровью и достатку и, наконец, к любви, браку и семье, выставя как общеобязательные нормы, монашеские обеты послушания, нестяжания и целомудрия.

«Philosophia est ancilla theologiae»¹: в этих словах Фомы Аквинского выразился взгляд духовного сословия на науку и философию. Человеческой мысли отводились таким определением весьма тесные пределы, да и в этих пределах она не могла быть свободной, ибо клир считал себя обладателем готовой истины по всем вопросам мысли и жизни, хотя бы эти вопросы и не были строго религиозными. На почве такого отношения к знанию развилась знаменитая схоластика, т. е. школьная философия. Хотя ее основатель, как мы увидим, и высказывал рационалистические взгляды, но по самому существу своему эта философия имела целью — подкрепить доводами разума известные незыблемые положения. Восстановитель философского элемента в теологии, кентерберийский архиепископ Ансельм, прямо ставил такую задачу в своем «credo, ut intelligam». В таком же отношении к церкви находились тривиум (грамматика, риторика и диалектика) и квадривиум (арифметика, геометрия, астрономия и музыка) или так называемые семь свободных искусств (artes liberales), преподававшихся в школах, ибо грамматике обучали для лучшего понимания божественных книг, риторике для правил священного красноречия; диалектике для достижения искусства опровергать

¹ «Философия — служанка теологии» (лат.). — Прим. ред.

ереси астрономии для определения дня Пасхи и т. п. *Если во имя господства над миром средневековая церковь должна была дорожить образованием под условием собственной своей монополии в этой области, то аскетическое отречение от мира ставило ее прямо в отрицательное отношение к научному знанию.* С этой точки зрения последнее считалось подозрительным, как ведущее свое начало от язычников, греховным, как привязывающее к бренному миру, во всяком случае, лишним для спасения. Все это можно иллюстрировать подлинными словами представителей строго аскетического направления в католицизме. «Дошло до нас, — писал папа Григорий Великий (около 600 г.) к вьеннскому епископу, — дошло до нас, о чем мы не можем вспомнить без стыда, а именно, что ты обучаешь кого-то грамматике. Известие об этом поступке, к которому мы чувствуем великое презрение, произвело на нас впечатление очень тяжелое: одними устами нельзя воздавать хвалу Христу вместе с хвалами Юпитеру.. Если вы докажете ясно, что все рассказанное о вас ложно, что вы не занимаетесь вздорными светскими науками, тогда мы будем прославлять Господа нашего, который не допустил оскверниться устам вашим». Или вот как смотрит на науку св. Дамиан: «Бог поручил проповедовать свой закон людям простым, а не ученым. Св. Бенедикт не блистал наукою. Св. Антоний бросил Платона, чтобы довольствоваться Евангелием. К чему наука христианам? Разве зажигают фонарь, чтобы видеть солнце: оставим науку Юлианам Отступникам. Св. Иоанн обходился без нее. Св. Григорий ее презирал, св. Иероним упрекал себя в ней как в преступлении». Св. Бернар Клервоский стремление к науке также считал лишь грешною суетою. "Они, — говорит он, — называются философами, мы были бы более правы, назвав их любопытными и суетными людьми". «Мне больно, — пишет еще, например, Петр Достопочтенный, — видеть тебя преданным упорному труду без всякой надежды на награду. Цель философии не заключается ли в счастии? А разве можно назвать философом того, чьи все стремления направлены к приобретению не вечного блаженства, а вечной смерти? Древние блистали в литературе, искусствах и науках: к чему послужила им эта образованность? Когда истина воплотилась, она отвергла их науку. Сын Божий призывал не ученых, но нищих духом, это им обещал Он Царство Небесное. Пусть замолчит человеческое чванство, когда заговорило слово божественное! Пусть спрячется заблуждение, когда явился свет! Разве апостол не сказал, что мудрость человеческая есть безумие?» Св. Франциск осуждает и считает грешными стремления монахов к науке. «Есть много братьев, — говорит он, — заботящихся о приобретении науки: забывая свое призвание, они удаляются со святого пути смирения. Братья, любопытством влекомые к науке, увидят в день страшного суда, что руки их пусты... Придет этот день, и тогда бесполезные книги годны будут только на то, чтобы их бросить в огонь... Не предавайтесь же суетной науке мира». «Что такое жизнь человеческая, как не путешествие? — спрашивает Hugo de Sancto-Victore. — Мы путники и только проходя,

видим этот мир. Если на пути мы встречаем незнакомые вещи, то есть ли смысл отдать себя в их власть и свернуть со своей дороги? А это-то и делают люди, посвящающие себя науке: неосторожные прохожие, они забывают цель своего путешествия, они не направляются к своему отечеству».

Таково было проявление аскетического мирозерцания по отношению к знанию, но им, мирозерцанием этим, отрицалось вообще все, что вытекает из инстинктов человеческой природы. *Средневековая этика, исходящая из идеи греховности плотской жизни и мирских интересов, была этикой аскетической*, а аскетизм, требовавший от человека уничтожения в себе воли жить и пользоваться радостями жизни, был прямо противоположен тому индивидуализму, который составляет отличительную черту Нового времени. Аскетическая мораль в лице крайних своих представителей требовала и от мирских людей, и от духовных «презирать мир, ибо весь мир есть царство Сатаны», как выражались писатели этого направления: с этой стороны аскетизм, как требование, предъявлявшееся к личной жизни, является по отношению к этой последней столько же характерным требованием, сколько теократические стремления характеризуют католическую систему по ее отношению к разным родам людского общежития. Мы можем опять иллюстрировать эту сторону католического мирозерцания подлинными заявлениями его представителей. «Блаженны избранные, — восклицает, например, св. Бонавентура, — которых Господь спасает среди великого множества погибающих! Христос, принимая монахов в свой ковчег, спасает их от мира, как пастырь исторгает несколько ягнят из пасти хищного зверя». Или вот что пишет св. Бернар Клервоский от имени одного монаха новичка к его родителям, звавших его домой: «Разве мало одного дьявола на людскую погибель? Нужно ли еще, чтобы ученики Христовы ему помогали? Плакать о сыне, идущем в монастырь, — значит плакать о том, что сын Сатаны делается сыном Божиим: это безумие, это жестокость, это преступление. Вы не родители мои, — вы мои враги. Что вы мне дали, кроме греха и несчастья? Вам мало, несчастные, что вы родили меня, несчастного, в эту юдоль несчастья; вам мало было, грешникам, зачать меня, грешника, во грехе: вы недовольны божественною благодатью, спасающей меня от смерти, вы хотите сделать меня сыном геенны чести огненной». Другое письмо того же Бернара к одному молодому человеку, покинувшему монастырь по просьбе родных, переполнено упреками против него, как отдавшего добровольно душу свою в руки Сатаны. «Бог призвал тебя к себе, и вот ты покинул его, чтобы идти за дьяволом. Родители твои бросают тебя в пасть льва, погружают тебя в пучину смерти; демоны ждут тебя, они готовы схватить свою добычу». Объяснить такую вражду к миру мы можем прямо словами св. Бонавентуры, перечисляющего причины, по которым надо презирать все мирское. «Должно презирать мир, — говорит он, — прежде всего за тревоги, доставляемые властолюбием, почестями и богатством, потом потому, что любящие земные блага начинают пренебрегать

небесными. В конце концов, благополучие мира сего — одна суета; слава проходит, и остаются от нее прах и черви. Весьма трудно спастись в мире. Спешите покинуть его и удалиться в грады убежища — монастыри, чтобы каяться в прошлых грехах и сделаться достойными будущей славы». Таким образом, в Средние века монашеская жизнь считалась идеалом совершенной жизни; монахов исключительно даже называли религиозными людьми (*religiosi*) и, играя созвучием слов, доказывали, что «*cella*» и «*coelum*» (келья и небо) одно и то же. Вильгельм, аббат S. Thierni, пишет: «Совершенный монах не только хочет того же, чего хочет Бог, но он и не может хотеть иного, кроме того, чего хочет Бог. Хотеть одного с Богом — значит уже быть подобным Богу, не мочь хотеть чего-нибудь другого — значит быть тем, чем есть Бог, ибо для Бога хотение и бытие одно и то же». С точки зрения этого монашеского идеала осуждались, таким образом, все радости жизни, всякое удовлетворение вложенных в человека природою инстинктов, — заботы о здоровье, стремление к независимости, желание материальной обеспеченности, любовь, брак, семейная жизнь. «Гиппократ, — говорит св. Бернар Клервоский, — учит сохранять тело, Иисус Христос — губить его. Кого вы возьмете за руководителя?.. Мне говорят: это вредно желудку, а то — для груди. В Евангелии, что ли, или у пророков читали вы эти вещи? Это плоть нашла такую мудрость, а не божественный дух. Пусть стада Эпикура заботятся о своем теле: что касается до нашего божественного Учителя, то он научает презирать здоровье». Равным образом монашеством осуждалось стремление к личной свободе. «Монах, — говорит св. Бонавентура, — должен непременно заботиться о том, чтобы сокрушать свою волю, подчиняя ее приказаниям старших». Лица, поступавшие в монашеские ордена, должны были, далее, отказываться от всякой личной собственности. Тем не менее у монастырей вследствие даров и подаяний частных лиц возникла общая собственность, которая со временем приняла такие размеры, что против нее возникла в монашестве оппозиция, и в XIII в. образовались нищенствующие ордена францисканцев и доминиканцев. «Отказ от собственности, — пишет францисканец св. Бонавентура, — есть возвращение к совершенству земного рая, ибо без грехопадения не было бы собственности, ни частной, ни общей. Вследствие грехопадения есть два царства: царство Божие и царство Сатаны; жадность есть основа последнего, — безусловная бедность разрушает жадность в корне, — значит, она идеал совершенства. Общая собственность оставляет существование зародыша скупости; опасность исчезает с прекращением всякой собственности». К плотской любви относились монахи особенно враждебно, — все возникающие из нее отношения считались грехом. Гуго Сент-Викторский в сочинении своем «*De nuptiis*» пишет о женщине: «Женщина — причина зла, корень ошибки, вместилище греха; она соблазнила человека в раю, она его соблазняет еще и на земле и она же увлечет его в пропасть ада». Викентий Бовезский говорит: «Женщина — сладкий яд, причиняющий вечную смерть, она — фа-

кел Сатаны, она — дверь, в которую входит дьявол». При таком взгляде на женщину поборники аскетического идеала должны были, естественно, осуждать и брак. Вот что говорит, например, на этот счет Григорий Великий: «Апостол, дозволяя брак, исполняет должность небесного врача: он не думает предписывать правило здоровым, но дает лекарство больным». Некоторые аскеты смотрели поэтому на брак как на величайшее зло. Так, Петр Ломбардский заявлял, что «брак есть таинство как лекарство против беспутства: его дозволяют слабым, чтобы предупредить еще большее зло». Такой же взгляд на брак был у Фомы Аквинского. «Брак, — говорит он, — есть зло, прежде всего, для души, ибо ничто так не пагубно для добродетели, как плотское сожитие. Он — зло для тела, ибо человек подчиняется женщине, а это самое горькое рабство. Наконец, человек, имеющий жену и детей, должен необходимо заниматься внешними делами, но, как говорит апостол Павел, невозможно служить Богу, вмешиваясь в дела мира». «Любовь к женщине, — писал Гуго, — есть пучина смерти, это — морская волна, увлекающая нас в пропасть». По мнению св. Бонавентуры, «брак не узаконяет этой любви, он едва ее оправдывает; любовь сама в себе — презренная, гнусная вещь, она препятствие для любви к Богу, единственной законной любви».

Таковы были прямые заявления аскетической литературы. Этим заявлениям соответствовал тип монаха-аскета, разработанный средневековой литературой и искусством. В первой мы имеем целый ряд житий святых отшельников, целый ряд благочестивых легенд, проповедей и размышлений на тему отречения от мира и удручения плоти. То же самое можно сказать и об искусстве, которое в Средние века вообще находилось в услужении главным образом у церкви, т. к. архитектура была преимущественно храмовая, музыка — богослужебная, живопись и скульптура воспроизводили священные лица и события для украшения храмов, и вот в этих изможденных святых, изображенных на средневековых образах, в средневековых статуях, мы узнаем художественные (хотя и далеко не прекрасные) воплощения монашеского идеала удручения плоти постом, лишением сна, трудным подвигом. С другой стороны, были и живые воплощения типа аскета, лица вроде св. Бернарда или основателя одного из нищенствующих орденов — св. Франциска Ассизского.

При подобном отношении к человеческому разуму и к инстинктам человеческой природы церковь не могла относиться с доверием и к личным силам человека. Отдельное лицо должно было постоянно находиться под непрестанной опекой церкви, и светский человек в большей степени, чем духовный. «Тайны религии, — писал один из величайших пап, Иннокентий III, — не должны быть доступны всякому, но тем только, которые могут их понимать, так чтобы вера их не потерпела от этого. Умам простым нужно, как детям, одно лишь молоко, а более твердую пищу следует оставить только людям, которые могут ею пользоваться», — и во имя этого принципа Свя-

шенное Писание было отнято у мирян. «Мирянам, — говорится через двести лет после Иннокентия III, на констанцском соборе, — мирянам не подобает рассуждать и обучать публично. Кто преступит этот закон, тот будет подлежать отлучению на сорок дней», — и в этих словах выразилось общее правило средневековой школы, средневекового университета, в котором и профессора, и студенты носили рясу, имели тонзуру. Церковные власти зорко следили за тем, чтобы от философских занятий не было какого-либо вреда для чистоты веры и церковного учения. Так как каждое новшество в философии могло быть применено и к богословию, то нужно было постоянно наблюдать за тем, чтобы это новшество не сделалось опасным, тем более что сами схоласты любили делать приложения своих выводов к толкованию догматов, а при этом очень легко было впасть в ересь.

Обвинение в ереси было между тем одним из самых страшных в Средние века, т. к. под этот термин подводилось нередко всякое несогласие с официально принятым учением. По отношению к ереси в течение Средних веков держались, как авторитета, следующих заявлений бл. Августина. «Не спору, — говорит он, — что лучше бы приводить заблуждающихся к Богу научением, чем страхом, но и этим пренебрегать нельзя. Дай мне человека, который от всего сердца сказал бы, что его душа жаждет Бога: такого, конечно, можно привести к Богу только наставлениями. Но многие должны быть, как дурные рабы, призваны к их Господу посредством мук телесного наказания, прежде чем они достигнут такой степени религиозного развития... Добро приходит от доброй воли. Но государство должно наказывать внешнее проявление зла, следовательно, и ереси, и расколы... Никто, кроме безумного, допустить не может, что государство должно дать полную волю порокам подданных. Наказываются же убийства, наказываются блудодеяния, наказываются и всякие другие преступления и позорные поступки злодейства и страстей, одни только преступления против веры мы хотим оставить без наказания со стороны правителей. Ереси и расколы ап. Павел поставил вместе с другими преступлениями — блудом, убийством и т. д.; если ересей не наказывать, то и других преступлений наказывать тоже не нужно». Если государство, рассуждал также Фома Аквинский, казнит смертью подделывателей фальшивой монеты, то как же поступить с подделывателями религии! И при этом он ссылается на бл. Иеронима, говорившего, что зараженные части должны быть отделены от здоровых, чтобы все тело не погибло от гангрены. Вопрос о еретиках осложнялся еще возможностью, что еретик будет стоять во главе государства; но тогда папа мог разрешить его подданных от присяги и даже объявить его низложенным с престола. Такова была господствующая точка зрения, и подтверждение ее правильности искали в дурно понятом тексте евангельской притчи о царе, к которому не пришли на пир приглашенные и который поэтому велел позвать (велел заставить прийти, «*compelle intrare*») нищих и убогих.

Еретики попадали в руки духовного суда, а затем предавались светской власти для казни без пролития крови (т. е. посредством сожжения). Свобода совести, свобода мысли — понятия Нового времени: они были неизвестны Средним векам, стоявшим на точке зрения безусловного авторитета в делах веры и знания.

Таковы были тенденции средневекового католицизма, и они вполне сходились с тенденциями феодализма в отрицании прав государства и прав подвластной личности. И феодализм, разлагавший государство, закрепощая в то же время народную массу, и католицизм, подчинявший государство церкви и отрицавший индивидуальную свободу, могли господствовать только вследствие слабости политического и личного развития. Государственная и народная оппозиция католицизму идут поэтому рука об руку с государственной и народной борьбой против феодализма. Средневековая католическая система была сильна именно слабостью, неразвитостью тех человеческих начал национальности, государства, светского общества, научной и философской мысли, личного самосознания, которые отрицались крайними ее представителями. Вся первая половина Средних веков прошла в образовании новых национальностей, достигающих самосознания и выработки литературных языков лишь к эпохе Крестовых походов; государство покоилось на шаткой феодальной основе и долгое время не могло вести успешной борьбы с церковью; светские сословия были лишены образования, которым, наоборот, обладало духовенство, той внутренней солидарности, которая вытекала из его организации, а личность, как нам уже известно, была мало развита для того, чтобы выступить в роли оппозиционной силы. Между тем последовательное проведение системы было все-таки невозможно: она всюду встречала препятствия, многие ее представители сами смягчали ее принципы, а наконец и ее главные деятели к концу Средних веков не были на высоте своего призвания, пользуясь властью над миром, оправдывавшейся духовною целью, преимущественно ради чисто светских интересов и живя в полном противоречии с идеалом отречения от мира. Чем более погоня за властью получала мирской характер, и чем менее монастырская действительность соответствовала аскетическому идеалу, тем резче бросалось в глаза *противоречие между властью над миром и отречением от мира*, противоречие, снимавшееся раньше в более последовательном проведении в жизнь принципа, в силу которого церковь была представительницей Царства Божия на земле, и теократическая идея лишь дополнялась аскетическим идеалом.

Для истории Нового времени в высшей степени важно познакомиться с тою оппозицией, которая велась против средневекового католицизма как целой культурно-социальной системы, ибо оппозиция эта — одна из весьма видных сторон новой истории.

XXIV. Политическая оппозиция церкви¹

Национальная, политическая и социальная оппозиция против католической церкви. — Средневековая борьба папства и империи. — «Дар Константина». — Спор за инвеституру. — Церковное законодательство, церковные суды и льготы духовенства. — Католицизм на вершине своего могущества в XIII в. — Взаимные отношения между церковью и государством в XIV и XV вв. во Франции, Англии и Германии.

Мы рассмотрим сначала коллективную, потом индивидуальную оппозицию против католицизма в исходе Средних веков, разумея под коллективной оппозицией или национальной, или политической, или социальной. Из них мы подробнее всего должны рассмотреть оппозицию политическую, ибо о национальной удобнее будет говорить в связи с попытками реформы церкви, в которых в XIV и XV вв. играли важную роль требования национальной автономии в церковных делах, перевода Священного Писания на национальные языки, совершения на этих же языках и богослужения: в этих фактах рядом с развитием национальных литератур проявляется народное самосознание, стремление сбросить с себя чуждое, иностранное господство. Меньше придется говорить и о социальной оппозиции духовенству, т. к. о ней отчасти уже шла речь, по крайней мере, поскольку дело касалось церковного землевладения и хозяйства, ставившего в антагонизм к клиру и дворянство, и крестьянскую массу.

В самых кратких учебниках средневековой истории отводится обыкновенно весьма почетное место борьбе папства и империи как одному из важнейших явлений западноевропейской истории, но эта борьба была только эпизодом в истории более продолжительной и более разносторонней борьбы церкви и государства, продолжающейся и в новой истории. Можно даже сказать, что именно борьба папства и империи есть чисто средневековое явление, прекращающееся с исходом Средних веков, когда обе силы, боровшиеся между собою, приходят в совершенный упадок, но что одновременно с этим столкновением и отчасти в связи с ним происходит чисто политическая и отнюдь не связанная сама по себе со средневековой теорией папства и империи *оппозиция национальных королей как носителей государственной власти и представителей интересов светского общества, против теократических притязаний церкви*. Эту оппозицию мы и должны выдвинуть на первый план как явление, хотя и имеющее начало в Средних веках, но развившееся главным образом в Новое время, и лишь

¹ Кроме относящихся сюда сочинений, которые показаны в других отделах, см.: *Riezler. Die literarischen Widersacher der Päpste zur Zeit Ludwig des Baiern.*

для лучшего уразумения его отличия от средневековой борьбы папства и империи нужно остановиться на последней, имея в виду, впрочем, не общеизвестные факты, а принципиальную сторону дела, в учебниках обыкновенно неизлагаемую.

О Священной Римской империи нам уже пришлось упоминать два раза: в первый раз — по поводу истории падения королевской власти в Германии, во второй — по поводу роста средневекового папства. Мы видели, что по средневековой политической теории Священная Римская империя дополняла собою святую римскую церковь, и что во главе западного христианства ставились два представителя высшей власти на земле: папа и император. Взаимные отношения их могли пониматься различным образом — или в смысле полного подчинения светской власти власти духовной, или в смысле большей независимости первой, но, во всяком случае, это были власти соотносительные, разграничение между которыми происходило на основании текста: «воздадите Божия Богови, Кесарева — Кесареви», и на основании толкования того места в Евангелии, в котором говорится о двух мечях, бывших с учениками Иисуса Христа в саду Гефсиманском: два меча — две власти, и один меч вынимается из ножен на защиту церкви. Сама империя имела религиозный характер, ибо к ней прилагалось пророчество Даниила о четырех монархиях (ассиро-вавилонской, персидской, македонской и римской), из которых последняя должна существовать до скончания мира, т. к. под ее властью родился Иисус Христос. «Наследник цезарей», «господин мира» (*dominus mundi*), т. е. император, считался по этой теории «живым законом на земле» (*animata lex in terris*), но рядом с ним стоял преемник князя апостолов, наместник Христа (*vicarius Christi*), «вселенский епископ» (*episcopus universalis*), которому принадлежала «полнота апостольской власти» (*plenitudo potestatis apostolicae*): оба находились и в определенных отношениях к церкви — один как ее защитник (*advocatus ecclesiae*), другой — как ее видимый глава, и обоим принадлежала власть над людьми — одному над телами, другому над душами. Весьма естественно, что две власти, столь высоко поставленные, имевшие хотя и в разной степени касательство ко всем делам государственным и церковным, отграниченные одна от другой на основании принципов, подлежащих двоякому толкованию и спору, должны были в действительности постоянно между собою сталкиваться, хотя в идеале между ними была установленная самим Богом гармония. Притом, т. к. со стороны более сильного папства производились захваты в области, которую защитники империи считали неподлежащею церковному вмешательству, то императоры должны были становиться в оппозицию к папству. Возникла борьба, во время которой папы пользовались оружием отлучений, освобождений подданных от присяги, объявлений о низложении, т. е. папа прямо начинал распоряжаться императорской короной, ссылаясь на низложение

Хильпериха и возведение на престол Пипина Короткого, на дарование папою Львом III императорского титула Карлу Великому и особенно на так называемый «Константинов дар». В Средние века утверждали, что император Константин Великий, удаляясь из Рима в новую столицу империи, подарил папе Сильвестру Западную империю, в силу чего преемники этого папы могли распоряжаться империей, как хотели, самый же дар этот мотивировался будто бы таким образом: «Там, где первенство священства и высшая власть империи были установлены Царем небесным, несправедливо было бы земному государю иметь свою власть». В подлинности дарственной записи, извлеченной из жития св. Сильвестра, были убеждены даже противники папства, которые, не сомневаясь в факте, порицали только Константина за этот поступок, как положивший-де начало мирскому направлению папства или незаконный с точки зрения права, пока итальянский гуманист первой половины XV в., Лаврентий Валла, не доказал подложность этого документа.

Известно, что борьба папства и империи открывается спором за инвеституру, вытекавшим из феодальных отношений, в какие епископы становились к светским государям. Феодальный сюзерен облакал духовного вассала властью над леном, передавая ему посох и перстень, что ставило епископа в зависимость от светской власти. Григорий VII, учивший, что духовная власть выше светской, объявил отлучение всякому, кто примет церковную должность от светского государя, но это значило лишить светских государей власти, поставить под прямую зависимость от папства всех духовных вассалов, на что, конечно, светская власть согласиться никак не могла. Правда, оставалось еще средство — развязать узы, связывавшие епископство с феодалом, отказаться от церковного землевладения, и на эту точку зрения становился один из преемников Григория VII, Пасхалис II, но такое разрешение спорного вопроса было, конечно, не в интересах церкви в ту эпоху, когда землевладение являлось единственной опорой всякой политической силы, и спор окончился компромиссом, известным под названием вормского конкордата (1122), по которому утверждалось каноническое избрание епископов и аббатов («клиром и народом»), а император получал право пожалования их землями и светскими правами посредством скипетра, отказываясь от посвящения их посредством посоха и перстня. Хотя спор за инвеституру возник на почве феодальных отношений, но в нем была, однако, и такая сторона, которая могла интересовать и нефеодальное государство, именно *вопрос о том, в каком отношении должны были находиться высшие духовные лица к папству и к королевской власти*. Мы увидим, например, что во Франции болонский конкордат 1516 г. отдал духовенство в полную зависимость от короля, предоставив ему право замещения всех высших церковных мест в государстве, а вскоре затем последовавшая лютеранская Реформация решала вопрос этот совершенно в пользу светской власти, но этим дело еще далеко не кончалось.

Борьба папства и империи и спор за инвеституру — явления средневековые, выросшие на почве политической теории католицизма и на почве феодальных отношений, и успех церковной власти в этой борьбе объясняется слабостью государства, опиравшегося лишь на ненадежные силы феодализма. В XIV—XV вв. папство находится в упадке, государство возвышается, но уже раньше этого обнаруживается *политическая оппозиция против церкви, вытекавшая не из фикции римского императорства и не из феодализма в церкви, а из реальных и чисто светских отношений*. Государству принадлежит исключительное и недопускающее изъятие право законодательства, суда и наложения податей, т. е. никто, кроме государственной власти, кому бы она ни принадлежала, не имеет права издавать законы, учреждать суды, собирать налоги, и вместе с тем все без исключения подданные государства обязываются подчиняться его законам, повиноваться его судам, уплачивать требуемые им налоги. В Средние века церковь и духовенство стояли в обоих отношениях поперек стремлениям государственной власти. В самом деле, папа издавал законы (буллы, декреты, бреве), которые были обязательны для всех государств, тогда как законы государства не были обязательны для церкви. Духовным судам были подсудны и светские лица по многим, хотя иногда чисто мирским делам, но клир считал своим правом даже по уголовным преступлениям судиться только в судах церковных. Наконец, церковь устанавливала разные поборы со всех верных и в то же самое время оспаривала у государства право налагать подати на духовенство и его земли. Одним словом, практически *господство церкви над государством выражалось в том, что церковные законы, суды и налоги распространялись на подданных государства без всякого согласия со стороны последнего, тогда как государственные законы, суды и налоги не касались ни самой церкви, ни ее служителей, ни ее землевладения*, и понятно, что, с одной стороны, желание церкви отстоять свое господство и свою независимость, а с другой, желание государства приобрести независимость от церкви и добиться господства над клиром должны были приводить к постоянным столкновениям, в которых победа склонялась сначала далеко не всегда в пользу государства. В сфере законодательной тем более было трудно разграничить духовное и светское, что, с церковной точки зрения, элемент греха мог быть усмотрен в каждом деле. Когда, например, Иннокентий III вмешался в войну французского короля Филиппа II Августа и его нормандского вассала, английского короля Иоанна Безземельного, требуя прекращения распри, то на возражение, ставившее ему на вид, что дело идет о феодальных отношениях, не подлежащих его ведению, он отвечал указанием такого рода: он и не вмешивается в эти отношения, ибо для него дело не в феоде, а в грехе (*non de feudo, sed de peccato*).

Особенные споры возбуждались существованием духовных судов, к которым привлекались и светские лица, и неподсудностью духовных лиц светским судам. Нам уже раньше пришлось отметить то неудовольствие, какое

духовные суды возбуждали в светском обществе, особенно в дворянстве, но и неподсудность духовенства государственному суду должна была вызывать сильную оппозицию. Самый замечательный случай столкновения между духовною и светскою властями из-за судов относится к английской истории XII в., когда между Генрихом II Плантагенетом и архиепископом кентерберийским Фомою Бекетом произошла борьба из-за кларендонских постановлений, окончившаяся столь печально для английского примаса. Духовные в Англии, как и везде, подлежали ведению церковного суда, который ограничивался одними эпитимиями, отлучениями, лишениями сана, так что многие духовные лица, совершившие тяжкие преступления, оставались безнаказанными. Стремясь к тому, чтобы осужденные отдавались светской власти для более действительных наказаний, Генрих II добился избрания в архиепископы кентерберийские своего друга, канцлера Фомы Бекета, но он ошибся в своем расчете: в сане архиепископа Фома сделался сторонником «свободы церкви» и в деле, интересовавшем короля, согласился лишь на то, чтобы клирик, лишенный сана, подвергался светскому суду за преступления, совершенные уже после лишения сана. В 1164 г. изданы были знаменитые кларендонские постановления, бывшие восстановлением системы Вильгельма Завоевателя в его отношениях к церкви: выбор епископа или аббата мог происходить только с королевского согласия; избранный до посвящения должен был принести феодальную присягу; без королевского разрешения епископ не мог уехать из государства, не мог отлучить от церкви королевского вассала или слугу. Но в этих постановлениях было и нечто новое — ограничение церковной юрисдикции: королевский суд должен был решать, каким судьям ведать ту или другую тяжбу между клириком и мирянином; епископский суд должен был происходить в присутствии королевского чиновника, и клирик, обвиненный на духовном суде, должен был отдаваться светской власти; королевский суд мог кассировать епископский приговор, а апелляция на таковой к папе без согласия короля не допускалась и т. п. Фома дал было согласие на эти ограничения судебной власти церкви, но потом взял его назад. Его самого вызвали тогда к королевскому суду, но он протестовал против права баронов судить его, апеллировать к папе и, боясь за свою жизнь, спасаясь во Францию, и все это не помешало кларендонским постановлениям утвердиться как закону, регулировавшему отношения церкви и государства к Англии. Но борьба продолжалась: Генрих преследовал сторонников примаса, Фома отлучал от церкви своих противников. Королю грозил даже папский интердикт; он поспешил примириться с архиепископом, который вернулся в Англию, но только для того, чтобы быть, как известно, убитым несколькими рыцарями, думавшими, что это дело будет угодно королю (1170). Вот как комментировал поведение Фомы Бекета, причисленного католическою церковью к лику святых, Иоанн Салисберийский. «Его, — говорит он, — называют возмутителем

спокойствия в государстве, потому что он защищал права церкви. Между тем сам папа не может отказаться от свободы церкви; хотя он и все может делать, но он не может изменить правил, которые имеют начало в словах писания, а такова свобода церкви. Кларендонские постановления не имеют силы, потому что противны слову Божию. Не может быть середины: или человек должен повиноваться Богу, или Бог человеку, а если государи будут иметь право создавать постановления против свободы церкви, Бог станет рабом страстей человеческих». И это писал Иоанн Салисберийский, сам находивший среди современного ему духовенства «святотатцев, блудодеев, разбойников, воров, похитителей девишек, поджигателей и убийц».

Под свободой церкви разумеалась и свобода клира от налогов. Когда во Франции была объявлена «саладинова десятина», на которую король хотел вести крестовый поход, Петр Блуасский писал епископу орлеанскому: «Если король хочет крестового похода, то пусть не затевает его на счет церкви и бедных, но на свои доходы и на добычу от неприятеля, которую он должен бы обогатить церковь, вместо того, чтобы ее грабить под предлогом защиты. Если епископы не воспротивятся этому лихоимству, оно обратится нечувствительно в обычай, и церковь будет приведена в постыдное рабство». Через столетие после того, как писались эти слова, возник и наиболее знаменитый спор из-за права налогов, спор между папою Бонифацием VIII и французским королем Филиппом IV.

В XIII в. папство достигает наибольшего могущества, одерживая ряд блестящих побед над светскою властью, делая Рим снова владыкою мира, посылая своих легатов, игравших роль древних проконсулов, и своих монахов, эти духовные легионы папства, в подвластные страны, заставляя народы принимать крест не только против неверных, но и против еретиков (вспомним Южную Францию), ставя в вассальную зависимость от себя королевства (вспомним, например, Англию при Иоанне Безземельном), возводя на престол и низлагая государей, подчинив себе, наконец, Византию, где четвертый крестовый поход основал Латинскую империю. Победа пап над средневековою феодальною империей была полная, но зато сами они побеждены были в следующем веке новою силою, силою государственной власти, опиравшейся на национальное самосознание, на сочувствие светского общества, на общественное мнение, которое нашло выражение в целом ряде политических трактатов, написанных в защиту прав государства. Первый сильный удар папству наносится из Франции, и на целые 70 лет папы попадают даже в пленение у французских королей.

Замечательно, что французские короли вообще отличались большим благочестием, не вступали в открытую борьбу с папством (кроме случая с Филиппом IV Красивым) и тем не менее ревниво оберегали независимость своей короны. Между прочим, они всегда противились расширению компетенции духовных судов, находившихся под контролем их официалов,

причем с Филиппа II Августа установилось правило, что церковные суды будут постановлять приговоры только по грехам, а не по делам феодалов. В этом отношении королям весьма сильную поддержку оказывали бароны королевства. В 1246 г. последние прямо сделали постановление такого рода: «Мы, вельможи королевства, рассудив, что оно держится потом и кровью военных, а не гордостью духовных, постановляем: церковный суд должен ограничиться только делами о ересь, браках и ростовщичестве». Людовик IX Святой порицал духовных, слишком щедро расточавших проклятия и отлучения, а его внук Филипп IV ограничил (в 1287 г.) права инквизиционного судилища, вменив инквизиторам в обязанность преследовать еретиков лишь с согласия епископов и поручив своим сенешалям следить за тем, чтобы не было незаконных арестов. На основании общего характера этой политики даже составилось убеждение в том, что уже Людовик Святой издал так называемую прагматическую санкцию, которою будто бы ограничивалась папская власть во Франции. Наконец, дело доходит до открытого разрыва, и поводом к нему был вопрос о налогах. Филипп IV, постоянно нуждавшийся в материальных средствах, с неудовольствием смотрел на то, как уплывали деньги из Франции в папскую казну, а папа (Бонифаций VIII) не хотел, чтобы духовенство платило королю. Известна история возникшей отсюда борьбы, известен и ее исход. Бонифаций VIII отлучил от церкви духовных, которые стали бы платить налоги королю, и светских, какого бы чина они ни были, которые стали бы их требовать, а Филипп IV ответил на это запрещением вывоза денег из королевства. Папа объявлял королю, что и в духовных, и в светских делах он, король, подчинен верховному первосвященнику (*scire te volumus quod in spiritu alibus et temporalibus nobis subes*), а король в дерзких выражениях заявлял папе (*sciat tua fatuitas*), что в светских делах он никому не подчинен (*in temporalibus nos alicui non subesse*) и что иначе думающий — глупец. Собранные королем генеральные штаты (1302) признали, что французская корона в светских делах зависит только от одного Бога. Филипп IV пригрозил затем папе вселенским собором, папа его отлучил, и дело кончилось известною сценой в Ананьи, которую легенда украсила пощечиной, будто бы данной Бонифацию VIII французским канцлером Ногаре: папа был побежден и скоро умер (1303), а его преемники (с Климента V) жили во французском городе Авиньоне, находясь как бы в плену у французских королей («авиньонское пленение», 1308—1378). Финансовый вопрос этим не был, однако, решен, и из-за него возникали новые споры, но это и был единственный предмет споров. В виде протеста против папских поборов и в связи с популярным тогда учением о вольностях галликанской церкви, о чем речь будет идти впереди, при Карле VII была издана в Бурже прагматическая санкция (1438), по которой, между прочим, у пап отнималось присвоенное ими в Авиньоне право распоряжаться лично всеми епархиями церкви и разные установленные поборы с искателей церков-

ных мест, но т. к. этот акт восстанавливал правильное каноническое избрание епископов и аббатов, а королевская власть стремилась захватить в собственные руки назначение на высшие церковные должности, то в 1463 г. Людовик XI отменил санкцию, а в 1470 г. заключил с папою конкордат, которым папа обязывался назначать на эти места лишь французов и притом сообразуясь с королевской рекомендацией. Наконец, в 1510 г. Франциск I и Лев X заключили между собою болонский конкордат: папа взамен восстановления в его пользу поборов (т. н. аннатов, о чем будет речь после), отмененных в 1438 г., уступал королю право назначать на все высшие церковные должности во Франции: галликанская церковь продавалась за деньги французскому государству. В эту же эпоху были урегулированы и судебные отношения: духовные в делах гражданских и уголовных подчинялись светскому суду, на духовные суды в случае превышения ими власти существовала апелляция в королевский совет или в парламент (*appel comme d'abus*, установленный еще в 1329 г.), и вместе с тем парламент наносил удар инквизиции, отняв у нее дела по ереси и объявив, что лишь королевские суды могут приговаривать к смертной казни, благодаря чему уже с середины XV в. инквизиция не существовала более во Франции. Отметим еще, что Людовик XI принял меры против захватов церковью поземельной собственности. Одним словом, от спора Филиппа IV с Бонифацием VIII до болонского конкордата, т. е. *в течение XIV и XV вв. совершается во Франции весьма важный процесс выхода государственной власти из-под папской опеки и подчинения духовенства королям*, т. е. политическая оппозиция оканчивается полным успехом, ибо конкордат 1516 г. отдает в руки короля власть над церковью во Франции.

В английской истории XIV и XV вв. особое внимание обращает на себя *политическая оппозиция со стороны парламента, папство же, наоборот, выступает противником политической свободы в Англии*. Иоанн Безземельный должен был признать себя папским вассалом, принять корону из рук легата Иннокентия III, обязаться ежегодной данью по отношению к Святому престолу, и после этого римские первосвященники охотно приходили на помощь к английским королям в их борьбе с подданными: в начале XIII в. Великая хартия была осуждена папою, король освобожден от своей присяги, его противники подвергались отлучению, а через пятьдесят лет Симон Монфортский, основатель палаты общин, умер отлученным от церкви (что не помешало, однако, английскому народу верить в его святость и даже чудотворную силу). Впрочем, и короли при случае приходили в столкновения с папством. Вот главнейшие факты. В 25-й год царствования Эдуарда I общины заявляют королю, что т. к. епископства и аббатства основаны королем и народом Англии, то последним и должно принадлежать право замещения вакантных мест, между тем как ими распоряжается папа, раздавая эти должности по своему произволу и даже иностранцам. В 1307 г. король и парламент постановляют, чтобы аббаты монастырей не

смели платить налогов начальникам-иностранцам, живущим за границей, а бароны, кроме того, жалуются на случай папского вмешательства в дела страны. Вмешательство папы Бонифация VIII в спорные отношения между Англией и Шотландией вызвало также протест парламента, закончившийся заявлением, что бароны и королю не дозволят допустить что-либо оскорбительное для прав короны (1301). Жалобы и протесты подобного рода особенно учащаются в царствование Эдуарда III (1327—1377), вызываясь главным образом папскими назначениями на церковные места и поборами, превышавшими в пять раз доходы короля. Однажды общины просили или употребить какие-либо меры против произвола папы, или, по крайней мере, помочь им изгнать силою папскую власть из королевства. Жалобы и протесты посылались самому папе, и отношения делались все более и более натянутыми. Особенно важен в истории этой оппозиции 1343 г., когда король, лорды и общины издают акт такого содержания: запрещается под страхом конфискации имуществ привозить в Англию, принимать и приводить в исполнение буллы и другие подобные документы, противные правам короля и его подданных, а папские провизоры, поступающие в противность этому закону, отдаются под суд короля, в виде же наказания им полагается лишение покровительства законов, вечное заключение или изгнание из королевства. Эти постановления были дополнены в последующее время новыми мероприятиями для ограждения Англии от папских притязаний. В том же 1343 г. Эдуард III с согласия парламента отказался признать право вмешательства папы Климента VI в его отношения к французскому королю Филиппу VI. Наконец, отметим еще один важный факт, относящийся к этому царствованию. Уже и раньше бывали случаи неуплаты папе дани, наложенной на Англию Иоанном Безземельным, а Эдуард III с самого своего совершеннолетия и совсем перестал ее платить. В 1366 г. Урбан V потребовал взноса дани с недоимками за 33 года под угрозой вызвать короля в случае отказа к своему трибуналу. Эдуард III обратился к парламенту, и последний объявил, что король Иоанн не имел права подвергать свое королевство и свои владения какому-либо рабству и подчинению иначе, как по общему согласию парламента, но такого согласия им получено не было, — и постановил стоять за короля до последней крайности. В царствование Ричарда II, которым оканчивается XIV в., продолжается та же антипапская политика парламента. XV в. не прибавил к этой борьбе ничего существенно нового, но и в эту эпоху пополнялось новыми мерами в прежнем духе законодательство, ограждавшее Англию от притязаний курии. В первой трети XVI в. королевской власти в Англии пришлось даже сдерживать политическую оппозицию парламента против папства, пока не произошел известный разрыв Генриха VIII с Климентом VII.

Политическая борьба с папством со стороны Германии в XIV и XV вв. не была ни так успешна, как во Франции, ни так энергична, как в Англии:

падение императорской власти и раздробление Германии на княжества делало папскую курию полною хозяйкой в немецких делах, что, конечно, также вызывало жалобы и протесты. Главными деятелями политической оппозиции здесь выступили князья и, в частности, курфюрсты. Генрих VII Люксембургский и Людовик Баварский в первой трети XIV в. возобновили было политику средневековых императоров, но главная сила была не в императорах. Когда папа Иоанн XXII наложил интердикт на Германию, отлучил Людовика от церкви и объявил, что курфюршеские выборы требуют папского утверждения, на съезде курфюрстов (Kurverein) в Рензе (близь Кобленца) в 1338 г. было постановлено, что немецкий король получает свои права исключительно в силу своего избрания курфюрстами, чем империя объявлялась независимой от папы. Мало того: интересы пап и императоров в эту эпоху сближаются, и при Фридрихе III заключается с папою Евгением IV ашаффенбургский конкордат (1449), посредством которого папа de jure делался чуть не полным распорядителем в Германии, что и вызвало такую страстную оппозицию папству в немецком обществе предреформационной эпохи.

Итак, со стороны государственной власти ведется против папства более или менее успешная оппозиция, в которой короли находят поддержку и со стороны светского общества, отстаивавшего национальные интересы против курии и, в частности, интересы отдельных сословий против духовенства. Всем этим подготовлялось то *поражение церкви в ее стремлении к господству над государством, которое составляет политическую сторону религиозной Реформации XVI в.*, но, кроме того, мы еще увидим, что в Новое время государство во многих отношениях делается наследником прав средневековой церкви. В этом процессе возвышения государства за счет церкви играл большую роль светский характер культуры Нового времени.

XXV. Зарождение литературной оппозиции католицизму

Взаимные отношения разных видов оппозиции. — Оппозиционная литература. — Легисты. — Защитники светской власти в политической литературе XIV и XV вв. — Светская оппозиция против монашества и аскетизма. — Целибат духовенства. — Проявление рационализма в схоластике. — Номинализм и реализм. — Аверроизм. — Гуманизм. — Объединение всех видов оппозиции католицизму во имя человеческих начал.

Светская оппозиция против тенденций средневекового католицизма, как мы уже знаем, была или национальная, или политическая, или социальная, или же интеллектуальная и моральная, отстаивавшая права человеческого разума и человеческой природы против догматизма и аскетизма. Национальная оппозиция отчасти совпадала с политической и социальной, отчасти имела, как мы увидим, свой особый предмет, введение национального принципа в самую церковную жизнь, а социальная, вызывавшаяся общественным положением духовенства, сливалась то с политической оппозицией, то с оппозицией индивидуальной, и все эти виды недовольства церковью, противодействия ей нашли выражение в светской литературе исхода Средних веков, принимающей вследствие этого резко оппозиционный характер. По связи с только что изложенною историей практических отношений между церковью и государством в трех главных странах Европы в XIV и XV вв. нам нужно теперь рассмотреть, как отразилась эта история в политической литературе тех же столетий.

Победа Филиппа IV над Бонифацием VIII открывает собою новую эпоху в истории взаимных отношений между церковью и государством: с этого момента в их борьбе победа все более и более склоняется на сторону государства. В столкновении французского короля с последним могущественным средневековым папою действует канцлер Ногаре, который был легистом, а легисты, как известно, игравшие роль в победе королевской власти над феодализмом во Франции в XII в., вместе с тем выступали и в роли защитников императорской власти в ее борьбе с папством. Римский принцип власти, который легисты противопоставляли политической системе феодализма, клали они и в основу своей защиты светской власти в ее спорах с властью церковною, имея против себя декретистов, т. е. юристов, бывших знатоками канонического права и поборниками папских притязаний. У светской власти не было вообще недостатка в сторонниках, но главными теоретическими бойцами за ее интересы уже в XII в. сделались, таким образом, легисты, ссылавшиеся против папских теорий на фикции: 1) непрерывного существования Римской империи и 2) всемирной монархии, хотя излишества папских

притязаний не одобрялись и некоторыми богословами на основании религиозных доводов. По мере того, как мы приближаемся к новым временам, вообще *увеличивается число литературных защитников светской власти, и светские аргументы встречаются все чаще и становятся все сильнее в этой полемике*. Ногаре не был единственным легистом, помогавшим Филиппу IV в борьбе с Бонифацием VIII: рядом с ним нужно поставить Петра Дюбуа, королевского адвоката в Кутансе (в Нормандии), участвовавшего в генеральных штатах 1302 г., которые сами были созданы по поводу этой борьбы. Дюбуа явился защитником короля в литературе, написав такие памфлеты и трактаты, как «Вопрос о папской власти» и «Прошение французского народа королю против папы Бонифация VIII». В то же время Филипп IV поручил профессору Иоанну Парижскому написать трактат «О королевской и папской власти». Вскоре после этого Данте приветствовал Генриха VII Люксембургского трактатом «De monarchia», в котором великий поэт, стоя еще, как и в «Божественной комедии», на средневековой точке зрения, возвращается, однако, к римскому пониманию империи, являясь, таким образом, предшественником светской политической мысли в Италии. Но особенно замечательна публицистика времен борьбы Людовика Баварского с папою Иоанном XXII, вызвавшей известное постановление курфюршеского съезда в Рензе. В полемике приняли тогда участие немец Лупольд Бембургский, англичанин по происхождению Вильгельм Оккам, француз Жан-де-Жанден и Марсилиус Падуанский. Последний, один из крупных законовевов того времени, в сочинении своем «Защитник мира» *выдвигает против папства теорию народного верховенства как источника государственной власти*, создавая, таким образом, основу для последней, не зависимую от папы. Таким образом, идея народовластия, которой пришлось играть весьма видную роль и в политической литературе, и в политической жизни Нового времени, высказывается защитником государства в полемике с притязаниями папства, причем идея эта берется у Аристотеля и у римских юристов, объяснявших императорскую власть из того, что на принцепса, воля которого есть закон (*quod principi placuit legis habet vigorem*), римский народ перенес все свое право и всю свою державную власть (*omne suum jus et omne imperium*). Оккам в своих «Восьми вопросах о власти верховного первосвященника» оспаривал законность «Константинова дара», ибо император не имеет права отчуждать неотъемлемую собственность империи. Так отразились в литературе столкновении папской и государственной власти в первой половине XIV в., а этот век видел еще зарождение гуманизма, который по самой сущности своей должен был внести в политическую литературу идею независимого от церковной опеки светского государства. Названные писатели (особенно Данте и Оккам) стоят еще на схоластической почве, которая не могла быть вполне благоприятна для государства, так что теоретическое обоснование его прав больше всего давалось тогда римским правом.

В этой политической литературе, понятное дело, ставился и решался вопрос не об одном отношении церкви к государству. Например, в «Защитнике мира» Марсилия Падуанского рядом с требованием ограничения священства одними духовными делами и подчинения духовенства светскому суду, рядом с заявлением, что церковь не может владеть имуществом, мы находим и изложение таких мнений: основа веры — Священное Писание; соборы выше пап; никого нельзя насильно заставить верить; наказание еретиков возможно лишь тогда, когда ими нарушаются светские законы. Весьма любопытно, что Марсилиус Падуанский, провозгласивший принцип законодательного права как права всей совокупности или большинства граждан (*legislatorem humanum solam civium universitatem esse aut valentiorum eius partem*), выставил и тот тезис, что Евангелие не позволяет кого-либо приводить к исполнению предписаний божественного закона наказаниями и казнями (*ad observanda praecepta divinae legis poena vel supplicio temporali seu praesentis saeculi nemo evangelica scriptura compelli praecipitur*). Таким образом, Марсилиус в своем политическом учении высказывает идеи, разработка и осуществление которых принадлежит уже Новому времени.

В литературе XIV—XV вв. мы встречаемся и с другими мотивами светской оппозиции. Мы уже знаем, какие побуждения заставляли светские сословия относиться недружелюбно к духовенству: это были привилегии последнего, его поборы, его поземельная собственность, возбуждавшая зависть в дворянстве и ставившая духовенство в особые отношения к народной массе. С другой стороны, мы еще увидим, что неудовольствие возбуждалось и порочностью духовенства — так называемую «порчею Церкви в главе и членах», доставлявшей обильную пищу обличительной и сатирической литературе. В первом случае общество относилось к духовенству как к одному из своих сословий, отрицая лишь его мирские права, не трогая, однако, его в его собственной области, во втором — духовенство подвергалось порицанию и насмешке во имя собственного же его аскетического идеала, самый же идеал при этом не подвергался критике. И вот рядом с социальной оппозицией против духовенства как привилегированного сословия в государстве, рядом с моральным протестом против монашества, не только не соблюдавшего своих обетов, но прямо вызывавшего соблазн зазорным поведением, мы имеем еще дело с *заявлениями, направленными против монашества во имя элементарных требований общежития и в защиту человеческой природы*. Общественная жизнь требует от людей труда, а не праздности, монахи же живут в праздности и являются обременительными для общества тунеядцами — такова одна точка зрения, встречаемая в литературных произведениях XIV и XV вв., направленных против монашества. Монахи давали обет нестяжания, но это не мешало монастырям владеть собственностью: в XIII в. появились нищенствующие ордена доминиканцев и францисканцев, которые отрицали не только индивидуальную собственность для своих членов,

но и собственность, бывшую во владении целых монастырей. Среди этих нищенствующих, именно среди францисканцев, возникло даже целое направление, которое ставило нищету как идеал и жизнь подаянием как обязанность, т. к. труд все-таки есть источник собственности. Такой взгляд должен был встретить оппозицию со стороны людей, лучше понимавших интересы земного общества. «Труд, — писал Guillaume de St. Amour¹ в сочинении "Об опасностях церкви", — задача человека. Это — закон, данный человеку Богом, сотворившим его в состоянии совершенства, это — обязанность, наложенная на него после его грехопадения. Мы естественно и необходимо должны производить вещи, без которых человеческий род не мог бы существовать; без труда он погиб бы: значит, мы должны работать... Жизнь налагает обязанности, это — деятельность, развитие способностей человека: исполнять свои общественные обязанности лучше, чем молиться... Если Сын Божий советует нам отказаться от наших имуществ то, конечно, вовсе не для того, чтобы мы вели праздную жизнь в тягость обществу... Если есть совершенство в том, чтобы все покинуть ради Иисуса Христа, то только под условием, чтобы жить своим трудом». Таким образом, аскетизм, доходивший даже до отрицания необходимости труда для своих представителей, вызывал *против себя оппозицию с социальной точки зрения. Но против него были также и отрицавшие им инстинкты природы*. Папа Григорий VII объявил безбрачие духовенства за основной закон церкви, но известно, какое сопротивление вызвал этот закон среди женатых и семейных священников и как долго в наиболее отдаленных от Рима странах были еще женатые духовные лица. Впоследствии во многих случаях celibat был простой фикцией, т. к. священники имели наложниц, и например, деревенские приходы в Швейцарии сами заставляли своих пастырей жить в конкубinate, оберегая нравственность жен и дочерей своего населения. Весьма естественно, что в светском обществе всегда было несогласие с тем аскетическим взглядом, по которому вне исполнения аскетических требований не могло быть нравственной жизни. В рыцарском кодексе чести, в светской поэзии Южной Франции, в этой «веселой науке», проглядывают тенденции в духе индивидуализма, хватающего иногда через край. Конечно, не под аскетический идеал нестяжания подходит такое явление, встречаемое в одном поэтическом произведении (Loherains): «Будь одна моя нога в раю, а другая в замке Незиле, я отнял бы первую ногу, чтобы и ее поставить к Незиле». Это относится и к другой категории аскетических идей, как и такая просьба трубадура (Сорделя): «Не бери меня в крестовый поход; я не спешу спастись, ибо я хочу как можно позднее достигнуть до вечной жизни». Смирение и послушание не были добродетелями рыцарства, отличавшегося, наоборот, гордою независимостью. Культ дамы сердца, «суды любви» опять-таки не гармонировали с аскетическим взглядом на

¹ Гильом из Сент-Амура — французский схоласт XIII в. — *Прим. ред.*

женщину, и трубадур готов отказаться от самого рая, если в нем не будет дам. Подобных отрицаний аскетического идеала можно было бы собрать много в средневековой литературе, но *с особою силою выразилось антиаскетическое направление в гуманизме*. Где бы оно ни зародилось, как бы ни выражалось, оно было проявлением того индивидуализма, который отрицался аскетическим идеалом, требовавшим отказа от своего Я, духовного и физического, от личной независимости, от материального благосостояния, от потребности в семейных привязанностях. Проявлением того же индивидуализма было и *зарождение рационализма в философии и науке, требовавшего большого простора для личной мысли*. Рационализм был осужден церковью, и, например, еще в 1226 г. она отнеслась, таким образом, к учению жившего в IX в. родоначальника схоластики Иоанна Эригены Скота. «Я, — писал он, между прочим, — не так боюсь авторитета, я не так боюсь ярости непросвещенных умов, что не колеблюсь громко заявлять мысли, которые отчетливо сознает и с достоверностью доказывает мой разум... Авторитет происходит от истинного разума, отнюдь не разум от авторитета (*auctoritas ex vera ratione processit, ratio vero nequaquam ex auctoritate*). Какой бы там ни был авторитет, если он не признан разумом, он не имеет силы. Напротив, разум, несокрушимо основанный на собственной силе, не имеет нужды в подкреплении со стороны какого-либо авторитета». Ансельм Кентерберийский явился защитником догматизма в схоластике (*credo, ut intelligam*), но и рационализм имел своих представителей в этой философии, не всегда жившей в ладу с церковными учениями. Между прочим, в схоластике возник спор, суть ли общие понятия (*universalia*) роды и виды вещей (*genera et species rerum*), вне нашего ума (*extraanimam*) и ранее вещи (*ante rem*) существующие реальности (*realia*), или же они лишь суть имеющие место в уме нашем (*in anima*) и возникающие после предмета (*post rem*) названия или имени (*nomina*), т. е. не реальности, а простые звуки (*flatus vocis*). Этот спор разделил схоластов на реалистов и номиналистов, и в номинализме с особою силою проявлялся рационализм, который преследовался церковью, тогда как реализм был опорой ее учений, доходя до утверждения, что *universalia* могут существовать и без соответственных предметов. Из номиналистов отметим жившего в XII в. Абельяра, известного своею любовью к Элоизе и своими бедствиями. Не оценивая здесь всего значения Абельяра, ограничимся указанием лишь на его принцип, по которому к истине ведет исследование, вызываемое сомнением (*dubitando ad inquisitionem venimus, inquirendo ad veritatem*), и на его сочинение «*Sic et non*» (т. е. да и нет), в котором он собрал и сопоставил противоречивые ответы богословских авторитетов на самые основные вопросы (то же самое предпринял по отношению к философским авторитетам Иоанн Салисберийский). Так как номинализм и рационализм пошли от изучения схоластами Аристотеля, то церковь нашла нужным приспособить его к своим учениям, что не помешало рационализму делать свое дело. В XIII в. «ангельскому до-

ктору» Фоме Аквинскому, назвавшему философию служанкой теологии, противостоял Дунс Скот, умерший в самом начале следующего века, который провозглашал независимость наук от теологии (*nulla alia scientia accipit principia a theologia*), что до известной степени характеризует разное отношение к богословию у «фомистов» и «скотистов». Позднее выработалось даже учение о том, что истинное в теологии может быть ложно в философии и, наоборот, ложным в первой, истинным во второй, — учение, осужденное в 1512 г. Схоластический рационализм весьма близко стоял к так называемому аверроизму. На схоластику значительное влияние оказала арабская философия, сама основанная на греческой и проникавшая в Западную Европу при еврейском посредстве. В XII в. среди арабских философов особенно возвысился Ибн-Рошд, бывший известным на Западе под именем Аверроэса, отвергнутый мусульманами за нечестие, но нашедший последователей среди евреев и христиан. Аверроэс был натуралистом, скептиком и индифферентистом: для него бессмертие заключалось в памяти потомства, загробное воздаяние было вредной выдумкой, лучшей религией — философия. Аверроизм, имевший последователей особенно в Италии и во Франции, и был после схоластического номинализма второю формою, какую принимает рационализм в философии. Он не умирает и тогда, когда на той же самой почве индивидуализма развивается гуманизм, который стал искать истины, опираясь на латинских и греческих классиков, мало-помалу вытеснивших у представителей этого направления все богословские авторитеты. Нам нет надобности долго останавливаться на первых двух проявлениях интеллектуальной оппозиции против католицизма, т. е. на номиналистическом рационализме и на аверроизме, характеризующих антирелигиозные проявления в исходе Средних веков, а о гуманизме придется говорить особо ввиду громадной важности, какую он имеет в культурной истории Нового времени.

В XIV в. начался так называемый Ренессанс, или Возрождение наук и искусств, восстановление античной образованности. Самой характерной чертой Возрождения считается обыкновенно обращение к классической литературе; в Средние века эта литература была полупозабита, полунепонятна, и сущность Ренессанса в том именно и заключалась, что начинают разыскивать, собирать, переписывать, изучать произведения римских и греческих писателей, что ими начинают увлекаться, начинают им подражать, т. е. Возрождение с такой точки зрения было прежде всего Возрождением классической древности. В этом действительно заключается одна из черт эпохи, но, быть может, будущему суждено выдвинуть на первый план в понимании обозначаемого этим именем культурного движения другую черту, для характеристики которой существует и другой термин, более древний, чем самое название Ренессанса, и более подходящей к основному свойству всего движения. Всем известно, что люди, сделавшие предметом своих занятий изучение классических авторов, получили название гуманистов,

и что созданное ими направление стало обозначаться как гуманизм. В гуманизме как основной черте эпохи Возрождения и заключается сущность последнего и источник того интереса, с каким представители всего движения относились к классической древности. Не нужно иметь больших филологических познаний, чтобы понять происхождение слов — гуманист, гуманизм: они образованы из латинского *humanus*, человеческий и, пожалуй, человеческий, гуманный. Другое дело — тот смысл, какой получили эти слова в связи с культурным переворотом, открывающим собою Новое время в западноевропейской истории. В Средние века целью и средоточием умственной деятельности человека считались занятия божественными предметами (*divini studia*), под которыми разумелось все, что имело отношение к богословию, а в противоположность к ним предметы, составляющее содержание светской литературы, были предметами человеческими, занятия которыми, т. е. *humana studia* представляли из себя нечто отличное от обычных интересов умственной деятельности. Понятно, кого стали поэтому называть гуманистами, когда античная литература сделалась предметом изучения сама по себе. В гуманизме был интерес к человеческому и притом интерес, весьма непохожий на тот, который человеческие дела могли возбуждать к себе со стороны представителей средневекового аскетического миросозерцания с его презрением к миру и ко всему, что составляет радость и красоту человеческой жизни. Чем был человек для этого миросозерцания? Существом прежде всего греховным, испорченным в самой своей природе, и если уж стоило им заниматься, то разве лишь потому, что он сделался предметом неизреченного милосердия Божия, предметом великого акта спасения воплотившимся Сыном Божиим: какой интерес был в нем самом, в этом существе, раз каждый ради будущей жизни должен был убить в себе все то человеческое, что привязывало его к миру с его соблазнами, и направлять все помыслы свои к божественному, возвращающему человека его небесной родине? Новое воззрение на жизнь, характеризующее гуманизм, пошло вразрез со средневековым миросозерцанием: для него, наоборот, человек явился венцом творения, существом богато одаренным, проявившим высшие свои способности в чудных произведениях античного интеллектуального и эстетического творчества, и к такому-то человеку возник интерес, который был, в сущности, интересом человека к самому себе, к своему внутреннему миру, т. е. самоуглублением не ради, однако, испытания своей совести, входившего в обиход и монашеского жития, а ради того интереса, какой представляет собою такое занятие. Новому настроению нужна была новая пища, новому самопониманию — новая опора. Подобно тому, как позднее, в эпоху Реформации для людей, порвавших связи со старою церковью, опору в выработке религиозных и моральных взглядов представляла собою Библия, так и зарождавшийся гуманизм со своим теоретическим интересом ко всему человеческому и со своим практическим отстаиванием человеческих начал в жиз-

ни находил себе опору в классической древности. Гуманисты оставляли позади себя эпоху, когда в области морали почти безраздельно царили аскетические идеалы — отречения от самого себя, бегства из мира: они искали иной морали, не отрываясь от христианства, отождествлявшегося у представителей средневекового мирозерцания с аскетизмом, и искали ее там, куда не гнушались обращаться за идейным содержанием и жившие за тысячу лет до них Отцы Церкви, — искали опоры для своего настроения, для своих стремлений у античных философов. Схоластика была слишком отвлеченна и суха, слишком мало говорила сердцу, чтобы удовлетворять людей нового настроения, стремившихся к самопознанию: весьма естественно, что гуманисты не должны были жаловать представителей схоластического умозрения, и борьба, первых с последними обнаруживает ту причину, которая заставила гуманистов обратиться от философии средневековой к философии античной. Для гуманистов диалектика была только упражнением ума, средством, а не целью, и уже Петрарка смеялся над глупцами, седеющими в игре словами и совершенно забывающими о понятиях, этими словами выражаемых, ибо предмет философии не голые понятия, а нравственный человек и человеческая жизнь. Таким образом, личность начинает сознавать самое себя, свои права, свои интересы; средневековое мирозерцание, выразившееся в аскетизме и схоластике, ее не удовлетворяет, и на свои запросы в области жизни и мысли она ищет ответов у античных писателей. Итак, за Возрождением классической древности стоит гуманизм, а сам он является одним из проявлений индивидуализма, характеризующего начинавшуюся новую эпоху, и в нем же проявляется то стремление к секуляризации, которое из церковной культуры Средних веков создает светскую цивилизацию Нового времени.

Возрождение и гуманизм

XXVI. Средние века и классическая древность¹

Постановка вопроса о гуманизме. — Три источника западноевропейской цивилизации. — Судьба классических литератур в Средние века и предшественники Ренессанса. — Отношение Данте к классикам. — Почему Ренессанс возник на итальянской почве? — Роль византийских греков. — Классицизм и христианство в Италии и других странах. — Петрарка и бл. Августин. — XIV и XV вв.

Нам предстоит теперь заняться гуманизмом. Определим сначала ту точку зрения, с которой будет рассматриваться в дальнейшем это крупное и сложное историческое явление.

Точка зрения, на которую мы должны стать, определяется общим характером настоящей книги, рассматривающей отдельные исторические явления, главным образом со стороны их общеевропейского значения и со стороны их значения для общей культурно-социальной истории. Это оговорку необходимо было сделать ввиду того, что, развившись первоначально на итальянской почве, гуманизм проник и в другие европейские страны, и что, получивши характер классического Возрождения, он был, однако, гораздо шире простого восстановления классических занятий, и значило бы донельзя сузить смысл всего гуманистического движения, если бы мы стали рассматривать его лишь по тому значению, какое оно имело для национальной итальянской истории, а перенесенное на общеевропейскую почву — для одного Возрождения ученого интереса к классическому миру. С точки зрения итальянской национальной истории гуманизм мог и не играть особенной роли в судьбах страны: весьма любопытно, что историки Италии относятся к нему не положительно, а отрицательно, чуть не ставя ему в вину печальное политическое состояние Италии при переходе от Средних веков к Новому времени. Историческая судьба Апеннинского полуострова, конечно, зависела от иных причин: и политическая раздробленность Италии, и отсутствие в ней политической свободы, и утрата отдельными ее частями национальной независимости, а вместе с тем и об-

¹ Самый обстоятельный обзор по истории итальянского гуманизма см. в соч. М.С. Корелина «Ранний итальянский гуманизм и его историография». Кроме того: *Фохт*. Возрождение классической древности (*Voigt. Die Wiederbelebung des classischen Alterthums*); *Буркхардт*. Культура в Италии в эпоху Возрождения (*Burckhardt. Die Cultur der Renaissance in Italien*); *Веселовский А.* Вилла Альберти (Характеристика перелома итальянской жизни XIV—XV вв.). *Symonds. Renaissance in Italy*; *Geiger. Renaissance und Humanismus in Italien und Deutschland* (в коллекции Онкена); *Zeller. Italie et Renaissance*; *Körting. Die Anfänge der Renaissance-Literatur in Italien*; *Тэн И.* Искусство в Италии и Нидерландах (*Taine H. Philosophie de l'art en Italie*). В указанной книге М.С. Корелина самый полный и подробный обзор критической литературы.

шествленная деморализация, — все эти явления были результатом весьма сложных обстоятельств, восходящих к временам весьма отдаленным, и скорее слабые стороны самого итальянского гуманизма должны искать своего объяснения в общем состоянии страны, чем, наоборот, общее состояние страны и ее исторические судьбы — в характере гуманистического движения. Для нас, с той точки зрения, с какой мы, как только что сказано, рассматриваем историю Западной Европы в этой книге, и в том смысле, какое отводим очерку гуманизма как проявления индивидуализма и секуляризации теоретического и морального мирозерцания, важнее поставить вопрос об общеевропейском значении итальянского гуманизма. По той же самой причине мы должны придать более важное значение той стороне явления, которою оно непосредственно соприкасается с общею переменною в средневековом мирозерцании, сравнительно с другими его сторонами, каковы, например, восстановление классических изучений и зарождение античной филологии или замена в литературе средневековых традиций традициями греко-римскими, т. е. *самое обращение к классической древности объясняется ни чем иным, как необходимостью найти опору для новых потребностей ума и новых жизненных стремлений*, не удовлетворявшихся схоластикой, мистикой и аскетизмом. Такой постановкой вопроса, выдвигающей на первый план общеевропейское и широкое культурно-социальное значение гуманизма, отнюдь не устраняется возможность отнестись к нему и с иных точек зрения, необходимо возникающих при изучении итальянского гуманизма. Мы это сейчас и докажем, поставив два вопроса: один, связанный с классической стороной гуманизма, — именно о судьбе античной литературы в Средние века, другой, вводящий нас в исторические судьбы Италии, т. е. вопрос о причинах, дозволивших произойти Возрождению ранее всего в Италии.

Средневековая западноевропейская цивилизация имеет три источника: 1) в гражданственности и образованности античного мира, короче говоря, в Римской империи, 2) в идеях и учреждениях церкви, т. е. в христианстве, и наконец, 3) в том, что принесли с собою новые народы, главным образом германцы. Из взаимодействия этих трех начал и произошла вся средневековая цивилизация в своих социальных и культурных формах, причем взаимодействие античных, христианских и народно-германских традиций наблюдается и в литературной эволюции Средних веков¹, — цивилизация весьма своеобразная, переработавшая в себе и приведшая к одному знаменателю самые разнородные элементы. Духовное содержание этой цивилизации имеет происхождение главным образом или классическое, или христианское, и чем далее мы идем от IV в. нашей эры, когда в сфере философии и литературы начался с особою силою синтез античных и церковных традиций,

¹ См. мою книгу «Литературная эволюция на Западе».

тем все более и более мы наблюдаем забвение первоначальных источников и искажение того, что не было забыто. В конце Средних веков начинается настоящее *Возрождение изначальных традиций западноевропейской цивилизации с крайне отрицательным отношением к тому, что выработано было самою Западною Европою в Средние века*, но в этом кризисе мы видим два Возрождения: классический Ренессанс и христианскую Реформацию, в которых произошло возвращение от схоластической образованности, с одной стороны, к классикам, с другой — к Священному Писанию и Отцам Церкви, как первым его комментаторам, — возвращение, вызванное естественным развитием жизни, искавшей для себя новых умственных и моральных устоев и обновлявшей себя обращением к изначальным источникам европейской образованности. Впрочем, о взаимных отношениях этих двух эпох — эпохи гуманизма и эпохи протестантизма — мы будем говорить особо, а теперь остановимся на судьбе классического элемента цивилизации в Средние века и на начале его Возрождения. Об этом я позволю себе сделать выдержки из моей книги о «Литературной эволюции на Западе»¹.

«Классическая древность была сравнительно мало известна средневековой литературе, особенно с тех пор, как школьная поэзия отступила на последний план и на первый выдвинулась национальная, возникшая на почве иной жизни и иных преданий. Весьма рано прекратилось на Западе изучение греческого языка и исчезло знакомство с тем, что на нем было написано: даже Аристотеля, этот философский авторитет Средних веков, знали не в оригинале, а в латинском переводе, сделанном не с греческого, а с арабского; римских классиков читали мало, а читая их и им подражая, не понимали их духа; многие предания древности были известны только из разных компиляций и попадали, таким образом, в национальную литературу из школьных переделок, т. е. из третьих и четвертых рук. С развитием образованности в XII столетии средневековые ученые начали обращать больше внимания, нежели делалось это прежде, на римских писателей, но отношение их к древней литературе было весьма своеобразное: постоянно имелось в виду язычество классиков, которое требовало осторожности в обращении с умами Древнего мира, и если ими интересовались, то потому, что в произведениях римской поэзии усматривали аллегорические передачи истин естественного богопознания да образцы языка и чисто внешних литературных форм, и, во всяком случае, тут не было увлечения самим содержанием, духом, эстетическими красотами столь долго забытой поэзии. Вот, например, знаменитый Иоанн Салисберийский; он знал до полутора десятка классиков, что для его времени было много, но из знакомства с ними он вынес такое впечатление, что читать их можно только людям, очень крепким в вере; с другой стороны, большая начитанность не вызвала в нем перемены

¹ См. именно с. 210–213, 214–216 и 217.

в обычном для Средневековья взгляде на Энеиду как на аллегория, в которой Эней — человеческая душа, временно заключенная в теле, а его приключения — человеческая жизнь с бедствиями детства, заблуждениями юности, преступною любовью и т. п. Почет, в каком находились классики у некоторых ученых людей XIII в., обуславливался также чисто средневековыми соображениями: например, Викентий Бовэзский, автор известной энциклопедии «Великое Зерцало» (*Speculum Magnum*), находил, что хотя и лишенные откровенной религии, эти писатели удивительно рассуждали о Творце и его творениях, о добродетелях и пороках, и совершенно в том же смысле доминиканский профессор Альберт Великий ставил в заслугу языческим мудрецам и философам познание Бога естественной мудростью разума, заменявшей для них то писание, из которого узнавали о Боге евреи. Подобный взгляд на римскую литературу не мог, конечно, благоприятствовать тому, чтобы она повлияла на поэзию, и все, чем в данном отношении пользовались из классиков поэты XII и XIII вв., не говоря о сюжетах, входивших в литературу из школьных переделок и компиляций, — сводилось, пожалуй, только к нескольким мифологическим украшениям, попадающим в латинских стихотворениях этих двух столетий. Таковы были интересы, которые поддерживали изучение римской литературы, изучение случайное, поверхностное, не обнаруживавшее понимания самого духа изучавшихся произведений, лишенное увлечения их идеями, преклонения перед их поэтическими красотами. Да и могло ли быть иначе при той резкой противоположности, которая существовала между духом античной литературы и бессознательной философией, лежавшей в основе средневековой жизни, между идеями, представлениями, интересами и настроением культурного человека древности, с одной стороны, и всем мировоззрением и стремлениями аскета-монаха, спиритуалиста-схоласта или мистика Средних веков, феодального рыцаря и только что выступившего на историческое поприще горожанина, с другой? Исключения, конечно, были, и например, переводилось или, вернее, перелицовывалось любовное искусство с лекарством от любви Овидия, но это все-таки были исключения, и в подобные переделки слишком проникал чисто средневековый колорит. Когда жизнь ушла от тех путей, на которых когда-то породила она религию, философию, науку, поэзию и искусство древних, люди не могли уже понимать духа античной культуры: только изменения в жизни, выразившиеся и в падении настоящих средневековых литературных традиций, могли создать класс людей, для которых сделались более понятными и более привлекательными мировоззрения и настроения погибшей, но не вполне еще забытой культуры. В эпоху господства одной литературной традиции, поддерживаемой всем складом современного быта, отличная от нее традиция не может получить силы: для нового направления должна быть расчищена почва, и такому расчищению почвы соответствует в истории западноевропейских литератур падение

средневековых поэтических традиций, которое мы обнаруживаем в XIV и XV вв. Новая жизнь искала нового литературного содержания и новых литературных форм, но она нашла, между прочим, и нечто готовое старое, что могло теперь воскреснуть: это была именно античная литература. В XIV в. начинают ее изучать ради нее самой, а не для богословских или чисто формальных целей, не ставя более вопроса об ее язычестве, но увлекаясь ее духом и "приятностью" ее форм, ее языком, стихом, стилем, всеми ее приемами в поэзии и прозе. Это — целое литературное течение Нового времени среди других течений, более непосредственно порождавшихся жизнью, и такова была его сила, что, в конце концов, классицизм, который немцы называют не без основания ложным (*Pseudoclassicismus*), заполонил к началу XVIII в. почти всю литературу почти всех европейских наций».

«Между тем отношением к античным писателям, какое мы находим у эрудитов XII и XIII вв., у Иоанна Салисберийского, у Викентия Бовэзского, у Альберта Великого, и у современных им латинских поэтов, с одной стороны, и тем преклонением перед древними, которое характеризует Петрарку и вообще всех гуманистов XIV—XV вв., разница громадная: последние вступили на путь прямого подражания классикам, имеющего мало общего со случайными заимствованиями мифологических украшений, делавшимися тем или другим школьным поэтом XII и XIII столетия, и с совершенно внешним отношением средневековых эпиков к таким классическим сюжетам, каковы Троянская война или подвиги Александра Македонского. Перемена эта произошла, однако, не сразу: переходные ступени представляют из себя предшественники Данте как продолжатели и преемники более ранних эрудитов и поэтов, и сам Данте как признанный предшественник классического Возрождения. Учитель Данте, Брунетто Латини, соединявший поэзию с ученостью, что было характерной чертой времени, ввел в зарождавшуюся итальянскую литературу классические воспоминания, сделав переводы Овидия и Боэция, превратив Овидия, канцлера бога любви, в своего руководителя, показывающего настоящую дорогу, и т. п. Другой писатель того времени, Альбертино Муссато (1261—1330), историк и поэт, начитанный в классиках, составляет трагедию Ахиллеиду у *Escherinis* не без прямого подражания древним, по крайней мере, во внешней форме: в последней трагедии есть и хоры, и длинные рассказы "вестников". Все это факты, напоминающие и более ранние отражения классических реминисценций в средневековой литературе, но здесь уже несколько заметно усиление классического образования к концу XIII и началу XIV в. при сохранении общего характера этого образования: классиками пользуются как источниками мудрости и образцами риторического способа изложения. Такое образование получил и Данте: оно было, по существу, средневековое, схоластическое, с обыною примесью классицизма, но уже значительно увеличившееся. Древность не господст-

вовала в мире его мысли безраздельно, как мы это видим у позднейших итальянцев: читая произведения римских поэтов, — а он читал Virгилия, Горация, Овидия, Ювенала, — он не увлекался благозвучием их стиха, как Петрарка своим Цицероном, не смаковал прелести их поэтической формы и часто ценил их главным образом за их мудрые изречения, заключающие в себе житейские правила, но ему чужд был дух Древнего мира, да и понимание последнего не доходило у него до уразумения полной его противоположности с современностью. Что, в самом деле, для Данте излюбленный им Virгилий? Он читал его с особенным удовольствием, называл его своим учителем, давая ему даже предикат "божественного", изображал его своим руководителем в загробных своих странствованиях, но в его взгляде на Virгилия было много средневековых черт: для него это — авторитет вроде схоластического Аристотеля или какого-либо учителя церкви, мистический святой из язычников как пророк о Христе, — представление, которое о Virгилии создали себе Средние века, сумевшие рядом с этим превратить римского поэта и в какого-то чернокнижника. Тут еще нет, конечно, ничего нового, и Данте не возвышается над современниками в своем взгляде на римских писателей, не ищет в них чего-нибудь большего сравнительно с тем, чего искали его предшественники, но не в этом одном заключается отношение Данте к классическим традициям».

«Быть может, круг классических знаний Данте и не превосходил ограниченную все-таки начитанность Латини и Муссато, но никто до него и при нем не содействовал большему распространению в обществе знакомства с древними: творец "Божественной комедии" уже без всякого школьного педантизма и не для риторических целей говорил в ней о мужах и женах древности, как об общеизвестных людях, имена которых беспрестанно сами собою приходят на память, и он знал эпоху и жизненную обстановку этих людей, а не одни имена, ничего не говорящие воображению. Словом, Данте, продолжая средневековое традиционное отношение к античной литературе, начинает находить в ней, — быть может, и по всей вероятности, не ища, — нечто такое, чем до него не пользовались или, во всяком случае, чем пользовались очень мало».

Данте, первый единоличный поэт Нового времени, по своему мирозерцанию оставался человеком совершенно средневековым, и его «Божественная комедия» была целой поэтической энциклопедией, в которой нашли выражение свое и схоластика, и мистика, и романтизм, и политические теории католицизма, но мы увидим, что у Петрарки, бывшем продолжателем Данте в деле создания итальянского литературного языка, уже совсем иное отношение к классикам, ибо и сам он уже иной человек.

Классицизм возрождается на итальянской почве. Помимо того, что в Италии именно ранее, чем где-либо, стали исчезать культурные особенности Средних веков и сделаны были наибольшие успехи индивидуализ-

мом; помимо того, что в Италии впервые развивается тип интеллигентного горожанина, столь отличный от типа монаха и рыцаря; помимо того, что здесь же очень рано происходит Возрождение положительных знаний (например, анатомии в Салерно еще в X в.), и, на что тоже надо указать, распространение скептицизма и религиозного индифферентизма под влиянием аверроизма, центром которого в XIII в. был падуанский университет, — помимо всего этого, Италия была страной, в которой наилучшим образом сохранялись классические традиции и реминисценции. В самом деле, развитие итальянского языка в литературе произошло довольно поздно, ибо до XIII в. латинский язык был не совсем непонятен даже народу в церковной проповеди. Кодифицированное Юстинианом Великим римское право принялось очень хорошо на итальянской почве, и в XII в. развилось уже научное его изучение в школах, задолго предшествовавшее его «рецепции» во Франции и Германии. Муниципальные учреждения Римской империи повторились в политическом быту средневековых итальянских городских республик. Отсутствие в Италии готического архитектурного стиля (исключение — миланский собор), столь характерного для Средних веков, указывает тоже на большую связь Италии с древностью и в этом отношении, — связь, которая поддерживалась и массой памятников римской эпохи на итальянской почве. Наконец, и вообще античные воспоминания не так уже заглохли в Италии, как в других местах, где они были очень слабы, не говоря уже, например, об Англии или Германии, где их почти и быть не могло. Важно было и географическое положение Италии. Для ее средневековой культуры несомненное и большое значение имели близость к Востоку, соприкосновение на юге с сарацинами, оказавшими на средневековую образованность большое влияние и, в частности, влияние на развитие рационализма, скептицизма, индифферентизма и положительных знаний. Позднее (и только позднее) в Возрождении приняли участие беглые греки, искавшие в Италии приюта от турок, утвердившихся на Балканском полуострове. Здесь уместно опровергнуть одно мнение, которое до сих пор повторяется не только в школьных руководствах, но и в более серьезных сочинениях, будто Возрождение в Италии произвели византийские греки. Это положительная неправда, и вот почему. Во-первых, появление греческих выходцев в Италии относится ко времени более позднему, чем зарождение интереса к классической древности, и прежде нежели научиться по-гречески и начать читать сочинения греческих писателей, итальянские гуманисты уже определили характер своей деятельности при непосредственном знакомстве с одними латинскими авторами, бывшими известными на Западе и раньше, но до того времени остававшимися несобранными вместе, или же с такими, которые были только тогда открыты. Эпоха флорентийской унии (1438) и падения Константинополя (1453) — вот когда происходил наибольший наплыв

греков в Италию, но уже за сто лет до этого, благодаря деятельности Петрарки (1304—1374), его друзей и последователей, определился характер гуманизма и его отношения к классической древности. Это раз. Во-вторых, византийские греки относились к сокровищам эллинской цивилизации, которые они сохранили, мало чем лучше того, как западные ученые до эпохи Возрождения относились к римской литературе. Византийцы, приезжая в Италию, привозили с собою книги на греческом языке, обучали этому языку итальянцев, сообщали им фактические сведения, но этим, главным образом, и ограничивалось все их влияние: сами учителя часто не понимали того, что передавали, т. е. понимали греческих авторов так же мало, как и средневековые схоласты или поэты — то, что знали из римской литературы, ибо они относились к предмету своего знания внешним образом, не проникались духом читаемых и изучаемых писателей, тогда как итальянские ученики византийцев и сами были предрасположены к лучшему пониманию классического мира, и уже на изучении латинских авторов подготовлены к тому, чтобы понимать по-настоящему и греческих писателей. Все значение византийских выходцев заключалось, таким образом, в формальном обучении языку и в передаче того, что самими ими было понимаемо совсем не в гуманистическом духе. Гуманизм и классицизм далеко, как мы вообще будем видеть, не синонимы.

Таким образом, *Ренессанс и гуманизм были продуктами итальянской жизни*, той ступени культурного развития, какой она достигла, и большей сравнительно с другими странами близости к античной традиции. Здесь же, в Италии, это явление и развилось с наибольшим усилием, получив в XV в. характер Возрождения языческого, бывшего, впрочем, явлением временным и местным, — временным и по отношению ко всей Италии, в истории которой о «паганизме» можно говорить, лишь имея в виду одну эпоху, и местным по отношению ко всей Европе, т. к. *преобладающим направлением было стремление примирить классическую древность с христианством*, которое все более и более начинает пониматься вне той теократической и аскетической оболочки, какую оно получило в средневековом католицизме. В XIV в. Петрарка, этот родоначальник итальянского гуманизма, защищал христианство от авероистического неверия, хотя авероизм развился в Италии на почве того же индивидуализма и рационализма, которые искали пищи и в классической литературе, а самый крупный, можно сказать, общеевропейский гуманист XVI в. Эразм Роттердамский порицал современных ему итальянских гуманистов за их язычество, не говоря уже о массе гуманистов, ушедших в реформационное движение XVI в. Этот синтез христианского с классическим и составляет одну из любопытнейших сторон в истории гуманизма в XIV—XVI вв. и в Италии, и в других странах, хотя мы не отрицаем в нем иного течения, с наибольшим усилием проявившегося в Италии XV в., но, так сказать, затертого вообще религиоз-

ной Реформацией XVI столетия, а, в частности, в Италии католическою реакцией, начавшей свирепствовать в середине XVI в. В том ли, в другом ли направлении — гуманизм действовал разлагающим образом на средневековое мирозерцание.

Примирение христианского с античным, которым занялись гуманисты в XIV в., было как бы продолжением и повторением того, что начали делать еще христианские писатели IV в., учившиеся в языческих школах, а в этом отношении было сходство в положении тех и других. Родоначальник гуманизма Петрарка с особенною любовью относился к бл. Августину, жившему за тысячу лет раньше его, и для такого отношения была глубокая причина. Совсем по-новому ценил в нем Петрарка писателя, которого по потоку римского красноречия он «тотчас же узнает как самого дорогого из тысяч». Книга признаний, «Исповедь», омоченная слезами, по выражению самого Петрарки, ему особенно полюбилась, и Отца Церкви, беседовавшего в ней с читателем, как человек с человеком, он часто называл «мой Августин». При объяснении этого предпочтения мы не можем не принять в расчет сходства в положении между итальянским гуманистом и латинским Отцом Церкви. Блаженный Августин жил на рубеже двух миров: в его время уходил один мир, оставляя по себе свою образованность, на смену ему приходил другой, приносивший с собою аскетический идеал Средневековья, и эти два мира столкнулись в семье Августина — один в лице отца, язычника, поздно обратившегося в христианство и хотевшего сделать из своего сына — ученого, литератора, другой — в лице матери, христианки, желавшей сделать из него образцового христианина. Противоположные начала вступили в борьбу между собою — отсюда все колебания и противоречия Августина, пока все не слилось в выстраданном им мирозерцании. С глубоким интересом к этому ритору, сделавшемуся христианином, должен был отнестись Петрарка, сам стоявший на рубеже двух миров — в эпохе уходившего аскетизма и приходившего гуманизма, человек, которого уже не удовлетворял средневековый католицизм, который искал истины в античной философии, не отрываясь, однако, от христианства. Таким образом, оба они искали примирения христианства с античной философией и оба дорожили образовательными средствами классического мира. В этой любви Петрарки к бл. Августину, при таком ее понимании, мы до известной степени находим объяснение всего смысла ранних фазисов в развитии гуманизма до того момента, когда, уже в XV в., с одной стороны, «стоицизм» Петрарки и его ближайших последователей сменяется открытым эпикуреизмом, а с другой стороны, платоники хотят поставить философию Платона на место Евангелия. За тысячу лет до первых гуманистов столкнулись между собою и столкнулись враждебно две силы — античная цивилизация и христианская церковь, первая — чуя, что новая религия грозит ей гибелью, вторая — относясь с недоверием к язы-

ческому происхождению этой цивилизации. В IV в. языческая империя превращается в христианское государство; острый фазис борьбы прошел, началась работа сближения, и тою дверью, через которую классические образовательные элементы проникли в христианскую литературу, оказалась школа, остававшаяся старою. Приход варваров прекратил работу слияния античных и христианских элементов в литературной деятельности IV в.: возобновилась она только в XIV в., и Петрарке лишь пришлось после перерыва в тысячу лет продолжать дело, над которым работал и бл. Августин. Это сходство между IV и XIV вв. было недавно отмечено Гастоном Буассье в конце второго тома его замечательной книги «О конце язычества»¹. «XIV в. лишь начал, — говорит он, — продолжать работу, насильственно оборванную варварами в V столетии. Без сомнения, — прибавляет он, — работа была возобновлена в другом направлении. В конце Римской империи смешение (*le mélange*) совершалось в пользу христианства, а тысячу лет спустя возобладал элемент античный, но в существе дела метод и приемы остаются те же, и можно без преувеличения сказать, что во времена Феодосия уже начинался Ренессанс».

¹ Boissier G. La fin du paganism. P., 1891. II. P. 499.

XXVII. Петрарка как первый гуманист¹

Разные точки зрения на Петрарку и Боккаччо. — Индивидуализм как основа гуманистического движения. — Секуляризация мысли и жизни. — Жизнь, сочинения и слава Петрарки. — Кола ди Риенци и Петрарка. — Отношение Петрарки к классической древности. — Его индивидуализм. — Славолубие гуманистов. — Историческое положение Петрарки. — Его борьба со схоластикой. — Историческое значение Петрарки.

Обыкновенно ставят рядом имена Данте, Петрарки и Боккаччо как родоначальников итальянской национальной литературы, и было время, когда на Петрарку смотрели исключительно как на автора канцон, в которых он более двадцати лет подряд воспевал одну и ту же женщину, Лауру, бывшую замужем за неким Гуго де-Садом, как на писателя, создавшего целое литературное направление «петраркистов», как Боккаччо, написавший сборник новелл, озаглавленный им «Декамерон», вызвал целый ряд «новеллистов», подражавших его «Декамерону». В этом смысле Петрарка и Боккаччо, действительно, как деятели итальянской литературы могут быть поставлены рядом с Данте, но в деятельности обоих писателей XIV в. есть еще одна сторона, благодаря которой они имеют более широкое в культурном отношении значение, нежели просто литературные деятели и основатели школ и направлений в словесности, и притом значение общеевропейское, и эта-то сторона их деятельности, выдвигавшаяся на первый план при их жизни и в ближайшем потомстве, впоследствии на долгое время почти совсем позабытая, чтобы быть вполне оцененной только во второй половине XIX в., заставляет нас их совершенно отделить от Данте. Когда умирал великий средневековый поэт (1321) уже в очень немолодых годах, Петрарке и Боккаччо (род. в 1304 и 1313 гг.) не было еще одному 18, другому 10 лет: оба они принадлежат совсем к другому поколению, чем Данте, отделенному от его поколения почти полустолетием. Данте в своих поэтических и прозаических произведениях стоит еще вполне на средневековой точке зрения, Петрарка является, как выразился о нем один из его биографов, «первым человеком Нового времени» (der erste moderne Mensch). Дело в том, что Петрарка был первый гуманист. То же значение принадлежит и Боккаччо. Одним словом, они были родоначальниками Ренессанса. Но и тут для настоящей оценки их исторического значения нужно различать между сущностью гуманистического движения, индиви-

¹ Корелин М. Ранний итальянский гуманизм. С. 175—416, где указаны и разобраны все сочинения Петрарки, равно как работы его критиков и биографов. Кроме того, см., главным образом, труды Фохта и Кёртинга (Petrarca's Leben und Werke).

дуализмом и стремлением к светскому знанию, и тою оболочкой, какую приняло это движение, начав искать опоры для своих стремлений в классической древности. В одной из лучших книг по истории итальянского гуманизма, именно в сочинении Фохта «Возрождение классической древности, или Первый век гуманизма», указавшем на индивидуалистические стремления Петрарки, но недостаточно их оценившем, преувеличивается увлечение Петрарки древностью, Боккаччо, например, оценен и совсем неверно, т. к. автор игнорирует гуманистическое настроение, выразившееся в итальянской его беллетристике и, слишком напирая на его ученые латинские сочинения, имеющие своим содержанием классические темы, представляет живого и остроумного автора «Декамерона» каким-то олицетворением крохоборства (Kleinmeisterei) и педантизма, предшественником филологических буквоедов. Не в том, что люди писали по латыни на классические темы или заимствуя литературные формы у античных писателей, а в том, что в сочинениях их проявляются совершенно новый дух, новое настроение и новые стремления, заключается сущность гуманистического движения, как оно понимается в настоящее время. Таким образом, Петрарку и Боккаччо мы можем рассматривать или как итальянских писателей, играющих важную роль в истории национальной литературы, или как классических филологов, имеющих значение возбудителей ученого интереса к античному миру, или, наконец, как гуманистов, как представителей нового мирозерцания, выражавшегося и в итальянской поэзии и беллетристике обоих, и в их классических занятиях.

Классическая древность вообще была не источником гуманизма, а его знаменем, его опорой, его орудием в борьбе, и кто хочет полного доказательства этого тезиса, того я могу только отослать к капитальному труду М.С. Корелина, где развивается и мысль о том, что в основе гуманистического движения лежали индивидуалистические стремления Нового времени. Или прочтите то место в указанном сочинении Фохта, где говорится о Петрарке «как индивидуальной личности, составляющей противоположность средним векам». То же найдете вы и в книге Буркгардта «Культура Италии в эпоху Возрождения», особенно в главе, посвященной развитию индивидуума¹. Этот индивидуализм был враждебен средневековому аскетизму, он стоял в оппозиции к догматизму католической философии, и он же был основой той секуляризации мысли и жизни, т. е. высвобождения светской культуры из-под церковной опеки, которое характеризует новую цивилизацию сравнительно со средневековою. В этом отношении также имеет важное значение поворот к забытым понятиям и идеалам античных народов, родоначальниками которого были Петрарка и Боккаччо. Гуманисты сделали светскую литературу предметом научного интереса и изучения и в решении

¹ Ср. в моей книге «Литературная эволюция на Западе». С. 220 и след., где речь идет о Петрарке как писателе.

вопросов человеческого поведения стали ссылаться на примеры, заимствованные из светской литературы, и на авторитеты светских писателей. Гуманисты положили начало светскому образованию, возвратившись в этом отношении к античной традиции и разрушивши средневековую систему, для которой религия была не ингредиентом воспитания и образования, а единственным их средством, содержанием и целью. Гуманисты поставили и политическую литературу на чисто светскую почву, сделавшись вообще родоначальниками светской науки. Правда, в эпоху Реформации и католической реакции это движение было затерто, вследствие того, что возобладал интерес к решению религиозных вопросов, но оно снова усилилось, и просветители XVIII в. недаром чувствовали свое родство с гуманистами, от которых отделены были временами Реформации, католической реакции, теологических споров и религиозных войн XVI и первой половины XVII в. Весьма естественно, что гуманистические тенденции и следствия Возрождения классической древности обнаружились не сразу, и что в истории этого движения мы должны принимать в расчет не только разнообразный характер, какой гуманизм и изучение античного мира принимают в отдельных странах, но и разные оттенки этого движения в самой Италии, смотря по отдельным его центрам, особенно же изменения в нем самом, бывшие результатом собственной его эволюции.

Познакомимся прежде всего с родоначальником гуманизма.

Родители Франческо Петрарки были флорентийцы, изгнанные из родного города. По желанию своего отца он обучался праву в Монпелье и Болонье, но его влекло к поэзии и классической литературе, которую он ревностно изучал в течение всей своей жизни, собирая рукописи древних авторов, переписывая их собственноручно или заказывая копии для своей библиотеки. Значительную часть своей жизни он провел при авиньонской курии, живя недалеко от Авиньона в Воклюзе и предпринимая путешествия в Париж, во Фландрию, в Германию и в Италию, где, между прочим, в 1341 г. происходило в Риме, на Капитолии венчание его лаврами поэта. Только в 1353 г. он навсегда покинул Францию, чтобы переселиться в Италию, и жил после этого то в Милане (добрую половину итальянского периода своей жизни), то в других городах, в Парме, Мантуе, Падуе, Вероне, Венеции и Риме, а напоследок в Аркв около Падуи, где он и умер, достигнув семидесятилетнего возраста. Литературная деятельность Петрарки была весьма обширна, причем она может быть разделена надвое: одну категории его сочинений составляют его итальянские сонеты, канцоны, баллады и т. п., в которых воспевается упомянутая Лаура (*Canzoniere*), и более поздние *Trionfi* (триумфы), написанные по-итальянски же в подражание аллегорической поэме Данте, другая состоит из латинских его сочинений, каковы поэма «Африка», написанная в прославление Второй пунической войны и Сципиона Африканского, эклоги, стихотворные послания, морально-философские трактаты,

сочинения историографического характера, письма и речи и, наконец, так называемые инвективы, имевшие полемический характер и сделавшиеся одним из наиболее своеобразных родов гуманистической литературы и т. п. Эта разнохарактерность деятельности Петрарки равным образом — совсем новая черта, вполне совпадающая с требованием развитой индивидуальности, которая не могла замкнуться в одну какую-либо специальность, как это делали средневековые ученые, бывшие теологами, юристами и т. д. чем угодно, но не выходявшими из рамок своей специальности. Уже при жизни Петрарки литературная деятельность доставила ему выдающееся положение в обществе, и он был первый частный человек (занимавшиеся им церковные должности были просто доходные статьи), который создал себе общественное положение, основывавшееся исключительно на его личной известности и славе, а не на занимаемом месте — первый писатель, прославившийся как писатель. Слава Петрарки действительно была весьма велика. Ему не было еще сорока лет, когда он получил двойное приглашение приехать для торжественного венчания, одно от канцлера парижского университета, другое от римского сената: известно, что Петрарка остановил свой выбор на втором приглашении, и для него устроена была торжественная церемония на Капитолии. Три раза призывал его к себе император Карл IV; король Роберт Неаполитанский его весьма высоко ценил и вместе с римским сенатом приглашал его на поэтическое венчание; папы его ласкали и давали ему должности; итальянские князья оказывали ему покровительство, и у них он находил почетный прием, особенно у Висконти в Милане; среди его друзей были высокие сановники церкви и аристократы (например, римская фамилия Колонна); Флоренция возвратила ему отнятое у его отца имение и учредила кафедру классической литературы, на которую его призывала; венецианский сенат декретировал, что Петрарка — величайший писатель; в Ареццо, его родине, ему устроили триумф и запретили перестраивать дом, в котором он родился; у него было великое множество почитателей, среди которых видное место принадлежит Боккаччо, написавшему его биографию; когда он был еще молод, в Авиньон приезжали многие образованные итальянцы и французы, чтобы только его видеть, а в Неаполь однажды пришел пешком, опираясь на сына и одного ученика, старый, совсем ослепший учитель из Понтремоли, сам сочинявший стихи, чтобы хоть раз услышать его голос, и не застав его там, отправился в Парму, где и нашел его, плакал от счастья и целовал его руки; другой раз, в Милан из близлежащего Бергамо приехал к нему один бывший золотых дел мастер, пригласил его к себе и устроил ему царский прием, в котором участвовали городские власти и нотабли; в письмах и стихах друзей и почитателей Петрарки преобладал тон самого чрезмерного почитания, самого безграничного удивления к его личности. Эта слава Петрарки — своего рода признак времени: мы не можем объяснить себе подобного увлече-

ния писателем, не сделав предположения, что *Петрарка достиг такого влиятельного положения, как выразитель нового настроения и новых потребностей, нарождавшихся в обществе*. Став на эту точку зрения, мы должны с особым интересом относиться к внутреннему миру Петрарки.

Но, говоря о его влиянии на современников, нельзя не коснуться, хотя и вскользь, одного эпизода, связанного с его именем. Гуманистов часто упрекали в сильном увлечении древностью, доходившем будто бы до желания вполне воскресить всю античную обстановку жизни. К числу немногих фактов, на которые можно в данном случае сослаться, принадлежит попытка Колы Риенцо (или ди Риенци) восстановить древнюю римскую республику. Кола, получивший сначала от одного из авиньонских пап должность нотариуса, потом при содействии папы, жившего не в ладах с римской аристократией, произвел в вечном городе демократический переворот (1347), провозгласив себя «трибуном» и начав править совместно с легатом папы, который признал совершившуюся революцию. Известно, что вскоре Кола должен был бежать, скитаться, быть вызванным на суд в Авиньон, но что папа снова воспользовался им для подавления в Риме аристократического своеволия. Кола вернулся в Рим, восстановил там свою власть в качестве «сенатора», явившегося в город с папским легатом, но его тираническое правление вызвало народное неудовольствие и насильственную смерть Колы ди Риенци (1354). Этот эпизод в истории средневекового Рима разыгрался на почве местных отношений между отсутствовавшим папством, аристократией и простонародьем, и нужен был демагог, которым папа мог бы воспользоваться для своих целей в сложной политике того времени, но для нас здесь важны не эти отношения и не личный характер «трибуна», а классическое знамя, под которым совершается римское демократическое движение 1347 г., через шесть лет после венчания Петрарки на Капитолии. Кола ди Риенци принадлежал к числу поклонников Петрарки и читателей его сочинений, был знаком с древними историками, знал топографию прежнего Рима, разбирал надписи, объяснял народу его бывшее величие. Между Петраркой и Колой установилась известная связь, и популярности «трибуна», восторгу, который охватил Италию при известии о перевороте в Риме, весьма много содействовало прославление «трибуна» Петраркой. Между прочим, в послании ad Nicolaum Laurentii de capessenda libertate¹ поэт описывает то впечатление, какое на него произвели римские развалины, виденные им впервые в 1337 г. Весьма вероятно, что Кола ди Риенци присутствовал при капитолийском венчании 1341 г.: по крайней мере, впоследствии он устроил себе трибунское венчание лаврами и помечал свои послания словами, красовавшимися на поэтическом дипломе Петрарки: «дано в Капито-

¹ «К Никола де Лоренцо о жажде свободы» (лат.). Никола ди Лоренцо Габрини, или Кола ди Риенци (1313–1354) — известный итальянский политический деятель, знаток античной истории и культуры, автор книги «Описание города Рима и его великолепия». — Прим. ред.

лии». Еще до 1347 г. оба познакомились в Авиньоне, куда приезжал будущий «трибун», и Петрарка одобрил его план, как и впоследствии прославлял восстановителя римской республики. И поэт, и «трибун» сходились между собой *в интересе к древности, в вере в свои личные силы, в своем стремлении к славе*, и Кола ди Риенци является также показателем совершившегося в Италии культурного переворота, но не следует думать, чтобы эксцентрическая попытка «трибуна» и его смелые планы вполне восстановить античные формы быта были указанием на то, в каком направлении будет развиваться отношение гуманистов к классической древности. Это — все-таки эпизод и притом эпизод исключительный, хотя и весьма характерный.

Увлечение Петрарки предприятием этого, как он его называл, третьего Брута, «нового Камилла», «нового Ромула», вполне гармонирует с его интересом и любовью к классическому миру: недаром он в своих поездках отыскивал рукописи с древними произведениями, снимал с них копии, поручал другим их отыскивать, создавал первую классическую библиотеку и первый музей древностей (монет и медалей), возбуждал в других тот же интерес. Но это не было сильное преклонение, ибо *Петрарка брал у классиков лишь то, что соответствовало собственному его настроению*, а это можно вообще сказать обо всех гуманистах, да и трудно было бы примирить безразборчивое подражание с развитой индивидуальностью Петрарки. Он любит древних, но выбирает между ними таких писателей, которые наиболее подходят к его личным воззрениям. Не отрываясь от христианства, но и не разделяя теократических притязаний и аскетических требований католицизма, он хочет оправдать индивидуальные потребности, осужденные аскетизмом, и для этого своего стремления он ищет поддержки в античном мире, отнюдь не мечтая заменить его формами христианскую цивилизацию. Нападая на папство, находившееся в упадке, он защищает христианство от авероистов. Вместе с этим он относится с эстетическим интересом к природе, осужденной тем же аскетизмом, и готов видеть в ней даже норму для жизни, воспитательницу и руководительницу человека. Те решения жизненных вопросов, которые давала аскетическая мораль, для Петрарки оказывались неудовлетворительными, и он искал новых решений — искал в классической литературе, действовавшей также на его эстетическое чутье и на его литературный вкус. Петрарку интересует его соответственное Я, интересует человек, интересует моральная личность. «Я верю, — пишет он сам, — что благородный дух человека ни на чем не успокоится, кроме как на Боге, цели нашего существования, кроме как на самом себе и на своих внутренних стремлениях, кроме как на другой душе, близкой ему в силу большого сходства». Этот интерес к человеческой личности ограничивает и область философских интересов Петрарки: он отвергает схоластику, но не придает значения и античной метафизике, *сосредоточивая все свое внимание на моральной философии, вопросы которой стремится разрешать не в смысле*

антииндивидуалистического аскетизма, а в духе античного стоицизма, примиренного с христианством; любопытно, что и вообще вкус к метафизике у гуманистов возникает сравнительно поздно. Собственные религиозные воззрения Петрарки с оттенком некоторого мистицизма вполне индивидуальны. Его отношение к истории и к обществу также индивидуалистично: к источникам истории он относится с критицизмом, сама история превращается у него в ряд биографий, и он верит в силу человеческого слова, выступая в своих произведениях как публицист, и верит в могущество отдельной личности, будет ли то «трибун» Кола ди Риенци, или император Карл IV, которого он умолял перейти через Альпы и в новой форме продолжить проигранное дело, дело «трибуна». Одним словом, в самых разнообразных формах *выступает в Петрарке индивидуализм, личное начало* — и в той рефлексии, с какою он анализирует собственное чувство к Лауре, и в том постоянном самоуглублении, которое отражается на его трактатах, и в той любви, какую он питал к признаниям бл. Августина. Один рассказ Петрарки о самом себе проливает некоторый свет на его душевное настроение, лежавшее в основе его интереса к человеку. Однажды Петрарка совершил трудное восхождение на Мон-Ванту, откуда открывался перед ним величественный вид. При нем была «Исповедь» бл. Августина, его любимого писателя, и под влиянием мыслей, которыми была полна его голова, он открыл книгу, ища в случайно прочитанном месте как бы указания свыше. «И люди, — прочел он, — идут дивиться на горные выси, на громадные массы морских вод и на течение широких рек, на необъятный простор океана и на движение звезд, — а на себя не обращают внимания, к себе самим не относятся с удивлением». Пораженный этими словами, он не стал читать дальше: от языческих философов ему незадолго перед тем, стало известно, что ничему не следует удивляться, кроме ума человеческого, и что великому уму ничто не представляется удивительным (кроме его самого). И Петрарка относился с большим вниманием к своей «ацедии», своего рода унынию, считавшемуся смертным грехом, но получившему у Петрарки характер античной *aegritudinis animi*, т. е. своего рода мировой скорби. Развитое чувство личности порождало и то славолубие, которым отличался Петрарка и все гуманисты. Уже у Данте пробивается через его церковное мирозерцание античная идея славы, что отмечено было уже Боккаччо, говорящим, что Данте был жаден до славы (*fu desideroso di fama*), прибавляя: как и все мы (*come siamo tutti*). Церковь обещала верующему, исполнившему ее предписания, награду в будущей жизни, а желание награды за свою деятельность в славе при жизни и по смерти было своего рода возрождением одного из явлений античного мира. Петрарка сам признается в своем стремлении к славе, полагая вообще, что земная слава играет роль могучего фактора в личной деятельности: в одном месте он говорит о славе, заставившей его улететь к небесам из родного гнезда, а в другом, что цель его трудов — честь и слава бессмертия в потомстве.

Характеристика в высшей степени сложной личности Петрарки не входит в нашу задачу: в характере первого гуманиста были слабости, были прямо несимпатичные черты, но нас и не с этой, так сказать, чисто психологической стороны он интересует. Нам важно выяснить историческое положение Петрарки, и мы уже видели, что во многом оно напоминает положение христианских писателей IV в., производивших слияние античного с христианским, и быть может, не столько его лично, сколько его положение характеризует некоторая, так сказать, сбивчивость в его собственных точках зрения. Он пишет, например, диалог «О средствах в радости и горе» (*De remediis utriusque fortunae*) и ссылаясь то на Библию, то на классиков, высказывается против привязанности к земным благам, разделяя аскетический взгляд на них, как на препятствие к достижению благ небесных, и вместе с этим становясь и на чисто стоическую точку зрения в этом предмете. Он пишет еще об уединенной жизни (*De vita solitaria*) и о досуге монахов (*De otio religiosorum*): с одной стороны им восхваляется отшельничество, как его понимали Средние века, с другой — он прославляет обеспеченный досуг в классическом смысле, т. е. в смысле возможности принадлежать лишь самому себе. И во взгляде на сущность поэзии он сбивается с одной точки зрения на другую. К концу Средних веков на поэзию установился взгляд как на аллегория, и сам Петрарка писал латинские эклоги, в которые вкладывал аллегорический смысл. И вместе с этим уже по классическому взгляду поэзия у него имеет целью и того прославлять, кого она воспевает, и тому доставлять бессмертие в потомстве, кто возвещает о славе героев. Или еще он пишет путеводитель в Св. землю (*Itinerarium syriarum*), в котором является и продолжателем авторов старых «хождений», предназначавшихся для паломников, и родоначальником тех описаний чужих стран, которыми может воспользоваться и просто любознательный турист. Быть может, эта сбивчивость вытекала прямо из трудности общей задачи, *а при взгляде на гуманизм как на новое моральное миросозерцание, вытеснявшее аскетическое миросозерцание Средних веков*, особый интерес получает отношение Петрарки к вопросам морали, которые он, не сходя с почвы христианства, разрешал в смысле этики древних стоиков. Цельного и законченного миросозерцания мы, впрочем, и не найдем у Петрарки, да и трудно было бы его искать в зарождавшемся движении. В нем только еще намечается светская оппозиция средневековым началам мысли. Петрарка борется со схоластикой, с астрологами, с алхимиками, со всякого рода суевериями, и особенно *борьба со схоластикой принимает характер борьбы принципиальной*: философия, отрешенная от жизни и от практического применения, противоречила всем его инстинктам, и находя, что диалектика хороша как гимнастика ума, как средство, а не как цель, он смеялся над глупцами, которые седеют в игре словами, совершенно забывая о понятиях, ими выражаемых, которые суетно и надменно вращаются в пустом круге со своими бесплодными умозрениями и прениями и вызывают

удивление лишь у глупцов, — и вот он смотрит на себя как на Сократа, разоблачающего призрачную мудрость софистов. Схоласты пытаются разграничить научные области, а Петрарка хочет, наоборот, чтобы в одном лице соединялись историк, философ, поэт и богослов.

Итак, мы видим, что в основе литературной деятельности Петрарки лежит индивидуализм, причем он ищет опоры для своих воззрений в классической древности, считая в ней авторитетным лишь то, что соответствовало его настроению и стремясь примирить новые потребности с средневековым христианством. И это историческое его значение, особенно значение его как латинского героического поэта и восстановителя древности было понятно и современникам, и потомству, пока живо было само гуманистическое движение. Еще при жизни Петрарки последнее сделалось уже весьма заметным в умственной жизни Италии, а благодаря отношениям Петрарки к папской курии, и в центре католического мира, который во все время жизни Петрарки был, как известно, не в Риме, а в Авиньоне. Заметим еще, что Петрарка обратил внимание и на греческий язык, бывший в Средние века совсем почти позабытым на Западе: он у римских писателей научился чтить греческих поэтов и философов и даже одно время (около 1340 г.) брал уроки греческого языка у монаха Варлаама, приезжавшего в Авиньон, хотя и не достиг необходимых знаний, чтобы читать Гомера, экземпляр которого ему удалось достать, а тем более Платона, сочинения которого у него также были и которого он противопоставлял схоластическому Аристотелю.

Мы остановились несколько подробнее на значении Петрарки, чтобы, выяснив его интерес к классической литературе, легче понять смысл всего гуманистического движения, но, конечно, не будем в состоянии уделить столько места другим гуманистам.

XXVIII. Гуманистическое значение Боккаччо¹

Общий взгляд на развитие гуманизма в Италии. — Боккаччо, его деятельность и сочинения. — Оценка его как гуманиста. — «Декамерон» и его значение. — Отношение Боккаччо к монашеству и духовенству. — Смешение христианского с языческим у Боккаччо и позднейших гуманистов. — «Обращение» Боккаччо. — Смена двух мирозерцаний.

История итальянского гуманизма охватывает собою около двух веков, начинаясь приблизительно в середине XIV столетия и кончаясь приблизительно же к середине XVI, а во второй половине этого периода (с середины XV в.) гуманизм значительно распространился и вне Италии, хотя в других странах он никогда не достигал такого значения, какое имел в своей родине. В Италии образовался целый, весьма многочисленный класс ученых знатоков классической древности, выступавших в качестве писателей по философским, моральным, политическим и историческим предметам, и исследователей языка и литературы греков и римлян, в качестве публицистов и поэтов, профессоров, публичных ораторов, наставников юношества, в качестве книгоискателей и книгособирателей, наконец, в качестве папских секретарей, канцлеров республик, придворных чиновников и т. п. должностных лиц на службе у разных правительств Италии. Их литературной и ученой деятельностью заинтересовывается образованное общество, в котором они занимают влиятельное положение, и они находят приют и почет в папской курии, в правящих сферах республик, при дворах потентатов: ими пользуются для деловой переписки, для дипломатических сношений, для полемики с противниками, для торжественных речей; ими окружают себя князья и знатные люди, стремящиеся к внешнему блеску, ищущие прославления в литературе, сами интересуясь их занятиями или подражая установившейся моде. Некоторые правители особенно прославили себя покровительством, какое оказывали гуманистическому движению, и первый пример в этом отношении подали еще некоторые современники Петрарки, а в XV в. особенно прославилась флорентийская купеческая фамилия Медичи в лице Козимо и Лаврентия Великолепного, фамилия, давшая в первой четверти XVI в. и папу-гуманиста Льва X. При папской курии, еще в Авиньоне, где жил Петрарка, образовался первый гуманистический кружок, и уже в XIV в. гуманисты начинают являться в роли папских секретарей, но *настоящий период процветания гуманизма при папской курии — вторая половина XV и начало XVI в., и быть может, ни*

¹ Корелин М. С. 417—576, где по отношению к Боккаччо сделано то же, что и по отношению к Петрарке. «Декамерон» издан недавно в русском переводе акад. А.Н. Веселовского, который готовит и биографию Боккаччо.

что так не содействовало распространению гуманизма вне Италии, как пример, подававшийся из самого центра католицизма, где еще с начала всего движения Петрарка находил друзей и последователей среди и французских кардиналов. Кроме авиньонской курии и папского Рима, образовались (частью еще в XIV в.) другие крупные центры гуманистического движения, каковы были Неаполь, где еще в первой половине XIV в. царствовал покровитель Петрарки Роберт, а потом одно время проживал и Боккаччо, — далее Милан, в котором Петрарка жил довольно долго, затем в разное время и в разной степени и иные большие и малые города Италии — Венеция, Павия, Верона, Падуа, Феррара, Мантуя, Болонья, Перуджия и пр. Множество центров Ренессанса с местными особенностями каждого, масса деятелей гуманизма с разными стремлениями, вкусами и характерами, разнообразие их общественных положений и занятий, разносторонность философских, научных, литературных, эстетических интересов, захваченных движением, — все это донельзя усложняет изучение итальянского Возрождения, тем более что каждое новое поколение гуманистов являлось и с новыми запросами и с новыми способами решения ранее поставленных задач. В этой истории развития Ренессанса, с одной стороны, обращает на себя внимание все большее и большее филологическое и историческое знакомство с античным миром, открытие новых рукописей, успехи в критическом их изучении, распространение интереса к классической древности в обществе, усиленное изучение греческого языка и литературы, проникновение итальянских писателей античными литературными традициями и т. п., а с другой — что для нас особенно важно — развитие индивидуализма и светского направления в решении вопросов отвлеченной мысли и особенно в решении вопросов личной и общественной жизни. С последней точки зрения в истории гуманизма можно различать разные периоды, более или менее ясно выразившиеся в деятельности отдельных крупных представителей всего движения.

К одному поколению с Петраркой принадлежал Джованни Боккаччо, бывший моложе его лишь на девять лет (род. 1313) и умерший в следующем же году по кончине своего друга (1375). Как люди одного поколения, они имеют много общего между собою, вся разница между ними происходит от несходства в складе ума и характера: Боккаччо менее субъективен, чем Петрарка, и обнаруживает менее способности — да и склонности менее чувствует — формулировать новые стремления, выражающиеся у него больше в общем настроении, нежели в определенных мыслях. Деятельность Боккаччо принадлежит Неаполю, где ему еще в молодые годы удалось проникнуть в высшее общество, и Флоренции, гражданином которой он был и где он основывается с 1349 г. и в следующем же году начинает получать дипломатические миссии к разным правительствам и к папской курии; между прочим, ему же поручено было ехать к Петрарке (1351), когда Флоренция возвратила ему право гражданства, с предложением поселиться в городе, откуда проис-

ходили его предки. Боккаччо еще раньше этого познакомился с Петраркою, и между ними возникла дружба, поддерживавшаяся перепискою и личными свиданиями, и младший из этих двух гуманистов даже сделался первым биографом старшего: их сближало общее обоим стремление к поэзии и изучению классической древности, бывшее одним из проявлений нового настроения духа. Боккаччо для своего времени обладал большою ученостью в классических предметах, о чем свидетельствуют его латинские сочинения (о генеалогии богов, о знаменитых женщинах, о несчастьях знаменитых мужей, о горах, лесах, источниках и т. д.); он собственноручно переписывал рукописи с древними произведениями, сверял тексты, учился по-гречески у Леонтия Пилата, которого переманил из Венеции во Флоренцию, читал с ним Гомера и переводил последнего на латинский язык. Эта сторона деятельности Боккаччо имеет значение в истории классического Возрождения, тогда как итальянские его сочинения характера поэтического и беллетристического и между ними знаменитый «Декамерон» относятся к истории национальной итальянской литературы, но было бы большою ошибкою думать, что гуманист Боккаччо проявился главным образом в занятиях своих классическим миром и в сочинениях, написанных на латинском языке: на этом языке он писал ученые исследования, бывшие собраниями фактического материала, наиболее же проявил он свое Я как раз в своем итальянском «Декамероне», не обращая на себя внимания историков, которые отождествляют гуманизм с классицизмом. Быть может, на примере Боккаччо лучше всего можно видеть ошибочность отождествления гуманизма и классицизма — отождествления, сделанного, впрочем, самими же гуманистами и по весьма понятной причине: вырабатывая моральное миросозерцание,сообразно с которым следовало бы направлять развитие индивидуальных свойств личности и ее общественную деятельность, гуманисты видели в классической литературе средство к достижению этой цели образования личности, но для многих людей цель заслонялась средством, и тогда они, будучи классиками, не превращались еще в гуманистов, в большинстве же случаев интерес к древности, возбуждавшийся гуманистическими стремлениями, был действительно показателем принадлежности к движению и в глазах самих представителей гуманизма. Немудрено, что позднейшие историки сузили смысл всего движения, увидев в нем одну классическую его сторону. С такой точки зрения совершенно неверную оценку Боккаччо сделал Фохт, разобравший только латинские его сочинения и выставивший его каким-то крохобором и педантом, — взгляд, который нашел место и в элементарных учебниках. Боккаччо отнюдь не был завзятым классиком ни в том смысле, что не признавал иных авторитетов, кроме античных, ни в том, что у него не было интереса ни к чему, что не соприкасалось с чисто учеными занятиями его Древним миром. Над ним даже сохраняли еще свою силу многие средневековые понятия: он цитирует рядом с классическими авторитетами и сред-

невековые; разделяет старые суеверия, отвергнутые, например, Петраркою; в сочинении о знаменитых женщинах говорит не об одних только женщинах античного мира. *Только позднейшие гуманисты отворачиваются от Средних веков как от эпохи, в которой для них не могло быть ничего интересного.* И гуманизм Боккаччо выразился не только в том, что он защищает поэзию от нападок теологов и монахов, доказывая, что и христианин может ею заниматься, но и во всем его общем *жизнерадостном, антиаскетическом настроении.* Он не отрицал средневекового мирозерцания с философской точки зрения, но насмешки его над монахами, жившими в разладе со своими идеалами, действовали убийственным образом на это мирозерцание. Философия, извлекающаяся из сочинений Боккаччо, вполне противоположна аскетизму Средних веков: цель жизни — счастье; человеческая природа благородна, благо же личности заключается во всестороннем ее развитии и в широком пользовании тем, что дает природа, хотя и лишения могут иметь смысл, но лишь тот, что закаляют характер. Петрарка, человек донельзя субъективный и склонный к рефлексии, интересуется главным образом своим Я и анализирует его как теоретик, но у Боккаччо отстаивается и чужое индивидуальное право против всего, что стоит поперек личных стремлений человека, например, в любви, которой препятствуют или аскетические воззрения, или сословные перегородки. Боккаччо является своего рода демократом (не в политическом смысле) и космополитом, защищающим права личности, более объективным, чем Петрарка, индивидуалистом, относящимся с большим интересом к чужой внутренней жизни не потому только, что она может походить на его собственную, но в силу того же интереса, с каким он относится и к природе, и к современности.

Все эти черты Боккаччо нашли самое полное выражение в его «Декамероне». Известно, что это сборник новелл, которые рассказывают друг другу по вечерам семь молодых красавиц и трое юношей, коротая время в прелестной вилле, куда они удалились из Флоренции во время страшной чумы 1348 г. Со специально литературной точки зрения в «Декамероне» доведен до высшей степени искусства художественный пересказ содержания разных итальянских хроник, более ранних новелл, фавлю, легенд, баллад и народных анекдотов, создавший итальянскую прозу и вызвавший целый ряд подражателей не только в Италии, но и за ее пределами. С другой стороны, важно отношение «Декамерона» к современному ему обществу, отразившемуся в нем, как в зеркале, и т. к. особенно достается в этой книге монахам и духовным, то ее можно сопоставить с другими литературными произведениями конца Средних веков, в которых с насмешкой, грустью или негодованием обличается «порча» церкви. Обработывая традиционный материал в новом духе, изображая именно современную жизнь, сильно удалившуюся от требований средневекового аскетического идеала, Боккаччо проповедует своими рассказами новый взгляд на жизнь, право личности на ее радости и, особен-

но, на радости любви. Он находит, что «для желания сопротивляться законам природы нужны слишком большие силы», и что «те, которые пытаются делать это, часто трудятся не только понапрасну, но даже с огромнейшим вредом для себя». Он признается, что у него «таких сил нет и что иметь их он не желает, а если бы они у него были, то он скорее предоставил бы их кому-нибудь другому, чем приложил бы к самому себе». Своих хулителей он приглашал молчать и не мешать ему пользоваться «радостями, предоставленными нам в этой короткой жизни». Под последними особенно разумеется у него любовь, в которой он готов видеть великую моральную и культурную силу; он даже сочувствует монахам, нарушающим свой обет держать себя далеко от женщин. Более инстинктивно, чем принципиально, он высказывается и вообще против монашества, указывая на то, что главной заботой и главным занятием монахов было обманывать «вдов и многих других глупых женщин, а также и мужчин», стремиться исключительно к «женщинам и богатствам». Но протест против порчи нравов и протест против самого учреждения — две вещи разные: Боккаччо, вопреки общему духу своих стремлений, не находит еще аргументов против монашества самого по себе, аргументов, с какими явятся позднейшие гуманисты. Вообще у него нет философского отрицания: ему приходится, например, смеяться над распространенными в его время злоупотреблениями священными предметами, но он был далек от самой возможности составления приписывавшегося ему памфлета «*De tribus impostoribus*»¹, под которыми разумелись основатели трех монотеистических религий. Боккаччо, как и Петрарка, стоит на христианской почве, не имея только его философской вдумчивости и религиозной глубины. Известно, что Петрарка рисовал папскую курию в весьма непривлекательном виде. Боккаччо также осмеивает пороки духовенства и скорбит о «порче» церкви, а одно из его изображений папства и клира прямо оправдывает то, что в одной новелле Авраам (еврей, об обращении которого идет речь), познакомившись с Римом, «не только не сделается из евреев христианином, но если бы он даже принял христианство, то, несомненно, вернется к иудейству». Стоя, как и Петрарка, на перепутье между двумя мирами, вращаясь в традиционных средневековых формах религии и морали, называя безумием языческие басни, которыми сам же он наполнял свои сочинения, он за внешнею ортодоксальностью скрывал дух светский, направленный на земное: это земное он не ненавидел, а любил, не представляя себе ничего лучшего, чем стоило бы дорожить, кроме любви славы, богатств.

У Боккаччо есть и произведения религиозного содержания, но он начинает впутывать языческую номенклатуру и фразеологию в изложение христианских предметов: в эклоге «Пантеон» он изображает под языческими именами библейскую историю, называя, например, Христа голым

¹ «Трактат о трех обманщиках» (лат.). — Прим. ред.

Ликургом, который превратил Фетиду в Бромия (чудо в Канне). В романе «Филокопо» он разукрашивает рыцарскую основу волшебными сказками, христианскими легендами и классическими мифами, выводя на сцену языческих богов то в виде реальных личностей, то в смысле аллегорических изображений христианского Бога, когда, например, заставляет Юпитера послать своего сына Христа для борьбы с Плутоном или обозначает папу как викария Юноны. Отмечая эту особенность литературных приемов Боккаччо, мы должны иметь в виду позднейших гуманистов, у которых эта смесь языческого с христианским получила особое развитие. В таком явлении даже усматривают один из признаков паганизма, характеризующего Ренессанс XV в., когда о христианских понятиях и представлениях принято было говорить, пользуясь выражениями, взятыми из языческого словаря. Эта мода, как и вообще стремление к восстановлению античных литературных форм, придает также классический оттенок сочинениям гуманистов. В самом деле под их пером христианский Бог превращался в «*Di Superi*»¹, в «*Iupiter Optimus Maximus, regnator Olympi, Superum Pater nimbipotens*»², Св. Дева обозначалась как «*Mater deorum*»³, святой становился божественным (*divus*), отлучение от церкви делалось отрешением от воды и огня (*aquae et igni interdictio*). Поэт Вида, протеже папы Льва X, пишет поэму, в которой изображает страдания и смерть Иисуса Христа («Хрисада»), выводя на сцену целый мифологический аппарат горгон, гарпий, кентавров и гидр в момент крестной смерти или превращая преломляемый хлеб в «*sinceram Cererem*»⁴, а уксус, которым утолили жажду Распятого, в «*corrupta pocula Bacchi*»⁵. Перед папою Юлием II произносится гуманистическая речь на ту же тему крестной смерти и последняя сравнивается с самоотверженными подвигами Курциев и Дециев, с кончиною Сократа. Мода проникает в официальный стиль, и однажды, например, венецианский сенат обращается к папе с просьбою, *uti fidat diis immortallibus quorum vices in terra geris*⁶. Подобные примеры можно было бы приводить до бесконечности, но раз первые случаи такого смешения христианского с языческим мы видим у Боккаччо, хотя и легкомысленного, но все-таки остающегося верным, сына католической церкви, сама по себе эта мода как нечто внешнее и формальное не может еще служить доказательством паганизма всех итальянских гуманистов, как, с другой стороны, и приверженность к изучению античного мира без нового настроения и новых стремле-

¹ Верховный бог (лат.). — Прим. ред.

² Юпитер лучший, величайший, повелитель Олимпа, верховный отец небес (лат.). — Прим. ред.

³ Мать богов (лат.). — Прим. ред.

⁴ «Чистая (девственная) Церера» (лат.). — Прим. ред.

⁵ «Початая чаша Вакха» (лат.). — Прим. ред.

⁶ «Испросить помощи у бессмертных богов, которые призваны защищать земное плодородие» (лат.). — Прим. ред.

ний не делала из человека настоящего гуманиста. Указанное смешение христианского с языческим, в общем, было одним из проявлений того стремления к слиянию средневекового с античным, которое характеризует и Петрарку. Полное религиозное равнодушие, отчасти сознательное неверие и даже паганизм были явлениями, развившимися в гуманистическом движении лишь во второй половине XV в.

Внутренняя жизнь Боккаччо не была так богата, как жизнь Петрарки, но и в нем, конечно, настроение менялось с годами. Это необходимо иметь в виду, чтобы понять надлежащим образом то «обращение», которое произошло с Боккаччо, когда ему было лет под пятьдесят. В 1361 г. к нему явился монах Джоакимо Чиани, сказавший ему, будто он послан своим учителем, тоже монахом Пьетро де'Петрони, незадолго перед тем умершим в Сиене, с поручением предостеречь Боккаччо от грозящей ему страшной смерти и адских мучений за его греховную жизнь, в особенности за его нечестивые сочинения, если он не поспешит раскаянием: сам Пьетро, по словам монаха, знал все это из чудесного видения, которое имел перед смертью. На Боккаччо Чиани произвел впечатление, но Петрарка в дружеском письме к нему советовал не забывать, что под покровом религии совершается немало обманов, и что пусть монах согласно выраженному намерению явится к нему, Петрарке, ибо он, Петрарка, узнает, насколько следует давать веры этому монаху. С этим эпизодом связано у некоторых биографов Боккаччо представление о каком-то его «обращении», но, в сущности, тут не было никакого обращения, и Средние века не побеждали Ренессанса. Дело в том, что он и после визита Чиани не бросал своих классических занятий и не переставал защищать поэзию, если же на старости лет он конфузится за «Декамерон», этот грех своей юности, то заботы о спасении души вовсе не окрашивают его ученых работ последнего периода его жизни, а с другой стороны, и до разговора с Чиани Боккаччо был верующий католик: все различие было в том, что к старости ослабела сила его творчества, и что его деятельность приняла характер ученого собирания фактов. Да и вообще Боккаччо и прежде не становился в такую резкую оппозицию к Средним векам, как Петрарка.

Петрарка и Боккаччо были продуктом аналогичного настроения, они выросли на одной и той же почве. Популярность первого, для которой не было precedентов, появление рядом с ним другого видного гуманиста, выступление за этими двумя первыми гуманистами целого ряда других, то значение, какое они приобрели в обществе и у правительств, все это доказывает, что на смену старому мирозерцанию шло в Италии мирозерцание новое, а образование рядом со старой интеллигенцией, замкнутой в церковные рамки, другой интеллигенции с характером светским показывало, в каком направлении совершалась эта смена. Гуманисты сделались именно первым «светским» сословием литераторов, ученых и публици-

стов, если не считать более ранних легистов, которые не возвышались, однако, над общим уровнем средневекового понимания жизни. Петрарка и Боккаччо — и особенно первый из них как человек более субъективный и склонный к рефлексии — провозвещают наступление Нового времени, начало секуляризации мысли и жизни, но они были не одни: у них были почитатели, последователи и сотрудники, оставившие массу разных сочинений; многие из последних были потом утрачены или затерялись в многочисленных итальянских библиотеках, и часто их авторы известны лишь по имени, да и то иногда потому, что им адресовали письма и посвящали свои сочинения Петрарка и Боккаччо. Эта секуляризация интеллигенции может быть прослежена от первых ее проявлений у двух родоначальников гуманизма — в целом ряде отдельных течений, приводивших каждое со временем или к философии и науке, отличным от философии и науки Средних веков, или к морали и политике, совсем не похожим на аскетические и теократические теории католицизма, или же, наконец, к новому искусству, на котором в XV в. с особою силою запечатлелся культурный переворот Возрождения, доказательства чему можно найти в любой истории искусства, особенно когда последнее изучается с общекультурной точки зрения, как это делается, например, в книге Тэна об итальянском искусстве эпохи Возрождения: в этой области влияние нового духа было так сильно, что для многих Ренессанс является обозначением специально блестящей эпохи в развитии архитектуры, скульптуры и живописи, эпохи Микеланджело, Леонардо да Винчи и Рафаэля Санти.

XXIX. Главные итальянские гуманисты

Книгоискатели и книгособиратели, меценаты, профессора классических знаний. — Колуччио Салутати. — Леонардо Бруни. — Никколо Никколи. — Поджио Браччиолини. — Лоренцо Валла. — Гемист Плетон. — Марсилио Фичино. — Пико дела Мирандола. — Анджело Полициано. — Помпонацио. — Общий вывод.

Мы лишены возможности долго останавливаться на отдельных деятелях итальянского гуманизма: их было так много, и они часто столь мало были похожи друг на друга; притом же как перечисление гуманистов, так и детали о их деятельности и не подходили бы к задачам, поставленным в настоящей книге — давать по преимуществу обобщенное знание и вместе с тем знание о фактах, имеющих наиболее общее значение в культурном или социальном отношении. Гуманисты явились деятелями на весьма различных поприщах духовной жизни, и если бы мы видели свою цель в том, чтобы дать сумму частных историй классической филологии или педагогики, историографии или юриспруденции и т. п., мы должны были бы остановиться на рассмотрении деятелей, имевших особое значение в той или другой области. Одна история открытия древних рукописей, приобретения греческих авторов, составления классических библиотек и т. п. заставила бы нас привести целый ряд имен, среди которых особенно прославлены имена таких людей, как Поджио Браччиолини и Никколо Никколи. Поджио, папский секретарь в эпоху констанцского собора, составил себе громкое имя на поприще открытий, распространив свою деятельность посредством личных путешествий и громадной переписки на всю Западную Европу, и благодаря главным образом его трудам к 1430 г. были собраны почти все произведения латинских классиков, какие нам известны теперь: в сравнении с этим были ничтожны дополнения, сделанные впоследствии, особенно во время папы Николая V, который сам был гуманист. Поджио, кроме того, собирал надписи и античные редкости. Никколо Никколи, живший во Флоренции, был библиоман и библиограф, в книгохранилище которого собрано было громадное количество рукописей, а в памяти удерживалась целая масса названий сочинений и сведений о разных библиотеках, книгах и т. п., переписка же его была своего рода литературной газетой гуманистов. Между прочим, Никколо Никколи был первый устроитель публичной библиотеки. Правда, такая мысль была уже у Петрарки, который думал пристроить свои книги в Венеции, но это дело не было приведено в исполнение, и его богатая библиотека была: разрознена после его смерти. Боккаччо завещал свои книги августинскому монастырю Сан-Спирито, в котором они должны были храниться для монашествующей братии, а гуманист Колуччио Салутати, бывший флорентийским канцлером (ум. в 1406), думал устроить особое книгохранилище, в котором можно было бы производить проверку книг и тем предохранять их текст от порчи. Никколи,

наоборот, открывал свою библиотеку для всех желавших в ней заниматься и завещал ее сначала одному монастырю под условием пользования ею всеми, кому будет надобность в ней, но потом он переменял намерение, поручил выбрать подходящее помещение для своих книг своим друзьям, в числе которых были Козимо Медичи и Поджио. Первый был одним из представителей того меценатства, которое развилось в эту эпоху среди богатых, знатных и власть имеющих людей: он заплатил долги Никколи, когда этот гуманист скончался (1437), и построил для его библиотеки особое здание, начав пополнять новыми покупками это собрание книг, сделавшееся настоящею публичною библиотекою. Козимо Медичи в его заботах о библиотечном деле, — он устраивал и другие библиотеки, — много помогал гуманист Томмазо Парентучелли, впоследствии папа Николай V, основатель ватиканской библиотеки, весьма немало содействовавший открытию новых рукописей с произведениями древних писателей. В частных гуманистических собраниях и в библиотеках, имевших публичный характер, все в большем и большем количестве появляются и греческие авторы, вывозившиеся или выписывавшиеся с Востока гуманистами или привозившиеся византийскими греками, которые приезжали просить помощи Запада против турок (Хризолор, учивший по-гречески во Флоренции, 1396) или для заключения унии с католическою церковью (например, деятель флорентийского собора, епископ никейский, позднее кардинал Виссарион¹) или просто спасаясь от варварского ига. Рядом с греческими подлинниками умножались латинские переводы с греческого языка. В открытии и покупке рукописей и устройстве библиотек соперничали между собою государи и республики, знать и ученые, у которых были средства. Рядом с библиотеками возникали другие учреждения, служившие все тем же научным занятиям: музеи, академии, публичные лекции, и многие гуманисты прославились именно как профессора классических языков и литератур. Это развитие вкуса к светской литературе, это покровительство научным занятиям, это появление ученого сословия вне сословия служителей церкви (хотя многие гуманисты и занимали духовные должности) и вне старых университетских корпораций, в которых продолжала царить схоластика, — весьма характерное явление, внутреннюю сторону которого представляет из себя постепенное отдаление развивающейся философской мысли от начал, лежавших в основе средневекового мирозерцания.

Следя за тем, как одно поколение гуманистов сменялось другим, и останавливаясь на самых выдающихся представителях отдельных поколений, мы можем видеть, как совершался этот процесс, столь характерный для культурной истории образованных классов итальянского общества в XV в. Той двойственности, какую мы наблюдаем у Петрарки и Боккаччо, живших на рубеже двух эпох, становится все меньше и меньше у последующих гуманистов. Полным равнодушием к «порче» церкви сменяется то обличительное направле-

¹ См. о нем соч. проф. А.И. Садова.

ние, которое проглядывает в литературной деятельности Петрарки и Боккаччо, и христианская теология со стоическою моралью, в сочетании которой с Евангелием искали принципов нравственной жизни первые гуманисты, уступают место классической философии сначала Платона, а потом и Аристотеля, в то самое время, как в этической сфере проповедуется эпикуреизм, и вместе со всем этим все более и более забывается или перестает пониматься, или же все более осмеивается и отвергается то, во что верили, чем жили и дорожили средневековые люди. Именно с этой точки зрения мы и должны теперь познакомиться с несколькими гуманистами, чтобы в каждом из них указать преимущественно на те черты, которые свидетельствуют о все большем и большем развитии гуманизма в направлении, диаметрально противоположном средневековым основам теоретической и практической мысли.

Как на представителя второго поколения гуманистов можно указать на Коллучио Салутати, родившегося в 1331 г. и умершего в 1406 г. Он был сначала апостольским секретарем в Авиньоне, потом возвратился во Флоренцию, откуда был родом, и с 1375 г. до самой смерти занимал должность канцлера республики. Салутати еще весьма близок к Средним векам, цитируя схоластические авторитеты и высказывая мысли в духе старого благочестия, но в то же время он проникнут уважением к классикам, которых ревностно изучает, и выбирает из теоретических вопросов, решению которых посвящает свои трактаты, преимущественно вопросы моральные, отдавая им преимущество перед метафизическими проблемами. На мир он смотрит еще глазами аскета, как на юдоль грехов и бедствий, но взгляд на человеческую природу у него гуманистический: Салутати ценит ее очень высоко, хотя из того соображения, что мир губит человека, и делаются у него аскетические выводы, и он полагает в то же время, что вне церкви нет спасения. Любовь Салутати к античным писателям, собственные его прозаические и поэтические произведения на латинском языке, должность канцлера, делали его весьма видным гуманистом, на которого многие представители движения в следующем поколении смотрели как на патриарха: он действительно был учителем и покровителем таких деятелей, каковы Поджио и Леонардо Бруни. Салутати много содействовал приглашению во Флоренцию грека Эммануила Хризолора (1396), в числе слушателей которого и был наиболее ревностным один из наиболее видных представителей третьего поколения названный Леонардо Бруни Аретино.

Бруни уже четыре года занимался правом, когда ученый византиец начал учить во Флоренции. Он нашел, что докторов права много, и что не следует упускать случая познакомиться с греческими поэтами, ораторами и философами. В самом начале XV в., при папе Иннокентии VII Бруни попал в число папских секретарей. Это был один из наиболее плодовитых писателей среди гуманистов, весьма интересный как человек, выставивший идею чисто светского образования, в которое он вводил религию лишь в качестве одного из его ингредиентов. Моральные вопросы весьма сильно занимали Бруни,

и в философии он видел главным образом средство выйти из ложных воззрений, сбивающих человека с должного пути к тому истинному благу, к которому человек стремится по самой своей природе. С этой точки зрения Бруни интересовался делом воспитания, которому отвел немало места в своем *Isagagone morales disciplinae*, определяя цель воспитания в стоическом смысле и приписывая решающее значение индивидуальным свойствам. Оставаясь верующим сыном церкви, подобно своим предшественникам, Бруни не вводил уже теологического элемента в свои философские, педагогические и политические (также его занимавшие) соображения и даже принципиально защищал светское образование в трактате «Обученных и литературных занятиях». Светским духом проникнута и его «Речь против лицемеров», под которыми он разумел монахов, да и самый аскетизм ему мало был уже вообще понятен. Например, возвращаясь нередко к вопросу о созерцательной и деятельной жизни и отдавая преимущество последней, Бруни допускал, что и первая, пожалуй, может вести к счастью того, «кто обладает мудростью, знанием, пониманием и другими умственными добродетелями», под условием «долголетия, телесного здоровья и других удобств», полагая, что этот именно идеал беспечного досуга увлекал к созерцательной жизни Василия Великого, бл. Августина и многих других. Становясь на такую чисто светскую точку зрения, Бруни устанавливал в своих сочинениях и особый взгляд на человека, ибо из всех психических свойств его выше всего ставил разум, из всех деятельностей, доступных человеку, особенно ценил науку. И древняя литература, которой он предавался с увлечением, не мешавшим, однако, критическому к ней отношению, — весьма сильная сторона его деятельности, — и древняя литература была ему дорога именно как орудие умственного развития: одним из первых его переводов с греческого языка на латинский был посвященный Салутати перевод книги Василия Великого «О научных занятиях»: предмет сам по себе интересовал Бруни, но кроме того, опираясь на авторитет Отца Церкви, он хотел нанести удар противникам гуманистических занятий. Переводческая его деятельность была весьма обширна, и он с особым усердием переводил Платона и Аристотеля, — из Платона «Федона» за его согласие во многих пунктах с христианством, из Аристотеля — политику, этику и экономику. К одному поколению с Бруни принадлежал и упоминавшийся уже Никколо Никколи, сам ничего не писавший, хотя не было другого гуманиста, о котором и к которому так много писали бы другие. Его друг Поджио оправдывал Никколи ссылкой на Сократа и Христа, также ничего не писавших. Судя по тому, что передают о нем другие гуманисты, это был крайний индивидуалист, рассуждения которого напоминают греческих софистов, а его резкий не знавший, по свидетельству Поджио, никаких преград критицизм, не позволивший ему выработать определенное мирозерцание, так сказать, расчищал или указывал путь для гуманистов следующих генераций. С Бруни, который в 1427 г. сделался флорентийским канцлером и до самой своей смерти в 1444 г.

занимал этот пост, Никколи был весьма близок. Не меньший интерес представляет нам и личность Поджио, знакомого нам по своему книгоискательству. В качестве папского секретаря он присутствовал на соборе в Констанце, но его весьма мало интересовали церковные дела — раскол и «ересь» Гуса: весь этот съезд был для него интересен с точки зрения личных знакомств, пригодных в любимом им деле, отыскивания и собирания рукописей. И гуманист по-своему понимал драму, разыгравшуюся на соборе с учеником Гуса Иеронимом Пражским, сожженным «за ересь» в 1416 г.: Иероним был для него не страдалец за веру, как для одних, и не еретик, как смотрели на него другие, а стоик, равнодушно, с презрением даже идущий на смерть, и вот Поджио сравнивает его с Сократом или Муцием Сцеволю, удивляясь его красноречию, близкому к античному, и предоставляя тем, кто «умнее его», т. е. богословам, решать вопрос, действительно ли это был еретик, достойный смерти. Поджио писал так своим друзьям, и любопытно, что Бруни в письме к Никколи говорит, что написал бы ему о делах собора, если бы не знал, что его, Никколи, этот предмет совершенно не интересует. Поджио вообще может служить образцом того, как гуманисты этой и следующей эпохи относились к курии. Гуманисты со времен Петрарки находили приют в курии: апостольскими секретарями как во время великого раскола, так и в эпоху соборов были ученые-гуманисты, владевшие пером и литературным стилем и, как наемники, отстаивавшие папские интересы, а переговоры об унии с восточной церковью заставляли обращать внимание и на знатоков греческого языка. К числу таких папских секретарей, которые внутренне были чужды интересам курии, и принадлежали Бруни и Поджио. Последний с шуткою относился к своему духовному сану и проводил время в веселой компании, рассказывая и слушая забавные анекдоты. Он даже собрал и изложил хорошим латинским языком (Фацеции) многие анекдоты о духовных и светских лицах на темы весьма нескромного свойства. С монахами он был в вечной войне: не будучи сам, по собственному признанию, добродетельным человеком, он презирал в монахах лицемерие и самохвалство людей, говоривших о своем образе жизни как о подвигах Геркулеса.

Особенно резко выразилось новое направление в деятельности Лоренцо Валлы, представителя еще более молодого поколения. Валла родился в 1407 г., провел детство и раннюю молодость при курии Мартина V, потом жил в разных итальянских городах и, между прочим, в Неаполе при дворе Альфонса Арагонского, а последние годы своей жизни (умер Валла в 1457 г.) провел в Риме, пользуясь покровительством папы Николая V (гуманиста Томмазо Парентучелли) и служа при курии. В свое время он был весьма влиятельным гуманистом как автор сочинения «*De linguae latinae elegantia*», как комментатор латинских авторов и переводчик греческих, как философ и историк. В Валле особенно силен был критицизм, направлявшийся на все предметы, каких он только ни касался, был ли это стиль Цицерона и Квинтилиана или светская власть папы и аскети-

ческий идеал, а боевой характер Валлы создал ему массу врагов, с которыми он вел постоянную полемику в излюбленной гуманистами еще со времен Петрарки форме инвективы. Валла — редкий пример гуманиста, интересующегося церковно-богословскими вопросами, о чем свидетельствуют его поправки к принятому церковью переводу Библии (Vulgata), «Речь о таинстве евхаристии», утраченное сочинение об исхождении Св. Духа и другие его труды, о которых будет идти еще речь, но, не будучи враждебен христианству, он направил свою критику, не щадившую, между прочим, классический авторитет Цицерона, «бога гуманистов», — и на церковные авторитеты. В 1440 г. он издал сочинение под заглавием «De falso credita et ementita Constantini donatione declamation», в котором доказал подложность так называемого «Константинова дара», будто император Константин подарил папе Сильвестру светскую власть над Римом. Кроме того, он опроверг принимавшееся церковью учение о происхождении апостольского символа и выяснил апокрифичность письма Иисуса Христа к Авгарю Эдесскому. За свое мнение об апостольском символе он едва спасся от инквизиции, и враги поставили ему в счет и его разногласие с Аристотелем. Валла должен был лицемерно признать, что он «верит вместе с матерью св. церковью», хотя последняя и ничего не знает о категориях Аристотеля. Главными его врагами были монахи, с которыми он полемизировал, заявляя себя принципиальным противником аскетизма. Валла оставил точку зрения более ранних гуманистов, стремившихся примирить стоицизм и христианство: его собственная философия — крайний эпикуреизм, хотя он и пытается его примирить с христианством. Этот свой взгляд он изложил в сочинении «De voluptate», выдвигающем на первое место в жизни человека наслаждение. Откровенность Валлы, выводящего вдобавок в качестве собеседников на эту тему папских секретарей, многих скандализировала, и он переработал свой трактат в сочинение об истинном благе («De voluptate ac vero bono»), отнюдь, однако, не изменив своей основной мысли. Монахи, впрочем, были задеты не столько этим теоретическим отрицанием какого бы то ни было аскетизма, сколько другим его сочинением «De professione religiosorum», где он нападает на самый институт монашества, проявляя, таким образом, с наибольшей силой антиаскетическую тенденцию гуманизма. Обет целомудрия особенно порицался Валлою, находившим, что такой обет ведет только к распутству. По отношению к метафизике Валла стоял еще на той же точке зрения, на какой находились и предыдущие гуманисты, хотя его трактаты «De dialectica», в котором вносились поправки к Аристотелю, и «De libero arbitrio», где опровергалось учение Боэция и доказывалось, что божественный Промысел не противоречит свободной воле, — указывают на начинавшийся среди гуманистов интерес и к отвлеченным вопросам философии, до того времени почти исключительно занимавшим одних представителей схоластического образования. Критик всяких авторитетов, принципиальный противник аскетизма, автор сочинения, подрывавшего одну из основ папских притязаний на светскую власть, Ло-

ренцо Валла является весьма типичным представителем гуманизма как противоположности средневековых догматизма, аскетизма и теократии¹. Гуманисты следующего поколения начинают удаляться от самого христианства, в чем весьма важную роль сыграло Возрождение античной метафизики сначала в виде восстановления платонизма, а потом в виде возвращения к Аристотелю, хотя, конечно, уже не к испорченному Аристотелю схоластов.

Родоначальником платоновского движения в Италии был Марсилио Фичино, центром — Флоренция, где фамилия Медичи (Козимо, а во второй половине XV в. Лоренцо Великолепный) оказывали покровительство гуманистическим занятиям.

На открывшийся сначала в Ферраре, а потом перенесенный во Флоренцию собор, на котором рассматривался вопрос об унии между западной и восточной церквями, съехалось много греков, между которыми были упомянутый выше Виссарион, игравший потом большую роль в итальянских гуманистических делах, как и в делах собора, и уже раньше бывший известным платоник или, вернее, неоплатоник и порицатель западной схоластики, которая опиралась на Аристотеля, Гемист Плетон, старик, достигший уже восьмидесятилетнего возраста². Внутренне чуждый греческой церкви, хотя и несочувственно относившийся к унии, он создал для себя новую философскую религию, которую противопоставил христианству: это был религиозный синкретизм на почве неоплатонизма с примесью даже церковной (греческой) обрядности. Едва ли Плетон распространял свое учение среди итальянцев; притом же он после закрытия собора уехал в Пелопоннес, где жил раньше, но он оставил сильное впечатление, а пропаганда другими греками Платона вызвала полемику, в которой итальянцы стали на сторону Аристотеля. В общем, гуманисты относились к византийцам с насмешкой и пренебрежением; любопытно, что в эту пору написанное Плетоном во Флоренции сочинение о различии между Платоном и Аристотелем было предметом спора между самими греками при очень слабом участии гуманистов, хотя во Флоренции были люди, читавшие и понимавшие Платона лучше греков, например, переводчик Федона, Бруни, совсем не смотревший на великого философа через неоплатоническую призму Плетона. Тем не менее разговоры последнего производили впечатление, и Козимо Медичи нашел нужным основать особую академию для изучения платоновой мудрости. Он тотчас же стал собирать сочинения Платона и Плотина и начал готовить будущего специалиста, каким должен был сделаться шестилетний сын его врача Марсилио Фичино. Надежды мецената вполне сбылись, и Марсилио Фичино сделался основателем религиозно-философского направления, бывшего, по существу дела, продолжением неоплатонизма первых веков христианства: недаром, например, Вашеро в своей «Исто-

¹ Vahlen. Lorenzo Valla.

² Schulze F. Georgios Gemisthos Plethon und seine reformatorischen Bestrebungen.

рии александрийской школы» рассматривает и эту эпоху Возрождения неоплатонизма. По мнению Фичино, усвоенному им от греков, настоящим истолкователем богословия божественного Платона был не менее божественный Плотин, раскрывший тайные учения древних, ибо оба они получили вдохновение свыше, а их философия совершенно согласна с христианством. Во Флоренции при Лоренцо Великолепном была основана Платонова академия, когда уже в достаточной степени развился вкус к метафизическим вопросам. На этой, новой для итальянского гуманизма почве вырос и Пико делла Мирандола, бывший на тридцать лет моложе Марсилио Фичино, энциклопедист по своему образованию, знаток нескольких языков (Пико учился и по-еврейски), один из наиболее видных деятелей платоновской академии: в своих сочинениях он соединял, например, учение Платона и Моисея (по вопросу о миротворении), примирял первого с Аристотелем и вводил в философию каббалистическую мистику.

Имена Фичино и Пико приводят нас во Флоренцию времен Лоренцо Великолепного¹, когда гуманизм принял оттенок эпикурейско-языческого направления. Эту эпоху характеризует и Анджело Полициано, принадлежавший к младшим современникам родоначальника итальянского платонизма и к старшим современникам Пико делла Мирандола². Полициано, прославившийся как поэт, стилист, критик, переводчик, профессор, жил у Лоренцо Медичи в качестве домашнего учителя и занимал во Флоренции кафедру классических литератур, привлекая к себе слушателей из всех стран Европы, где к этому времени гуманистические занятия приобрели уже последователей. Деятельность его как ученого и писателя была весьма разносторонняя, и кроме того, он является перед нами как типический представитель светского гуманизма конца XV в. (он умер в 1494 г.). По его представлению, в современной ему Флоренции снова ожила и процвела греческая образованность, давно погибшая в самой Греции, так что самые Афины могли бы пожелать оторваться от родной почвы и со всеми плодами своего образования переселиться во Флоренцию. Полициано был равнодушен к теологическим вопросам, и когда его однажды спросили, читал ли он Священное Писание, то он ответил в том смысле, что один раз занялся этим делом, но считает потраченное на него время потерянным.

Неоплатонизм, послуживший толчком к возникновению в Италии целого мистико-пантеистического направления, к которому в XVI в. могут быть причислены Кардано, Кампанелла, Ванини, Джордано Бруно (сожженный в Риме в 1600 г.), и религиозный индифферентизм, заслуживавший упрек в паганизме, были уже очень далеки от той точки зрения, на которой стояли родоначальники гуманизма. Петрарка был защитником христианства против скептического аверроизма, но тот же аверроистический скептицизм проник и в самое гуманистическое движение в связи с Возрождением аристотелевой философии. Это

¹ *Reumont*. Lorenzo di Medici.

² *Mähly*. Angelus Politianus.

явление связано с именем Помпонаццо, современника папы-гуманиста из фамилии Медичи, Льва X. Помпонаццо по отношению к философии Аристотеля был тем же, чем был Фичино для философии Платона, продолжая в то же время скептическую традицию аверроизма. Еще за два с лишком века до Помпонаццо это направление имело приверженцев в падуанском университете, и около 1300 г. Петр д'Абано в духе учения арабского рационалиста составил трактат под заглавием «*Conciliator differentiarum philosophorum et medicorum*»¹. Несмотря на то, что аверроизм был встречен громадным большинством мыслящих людей несочувственно и, между прочим, вызвал полемику со стороны гуманистов, он продолжал жить в Италии и в лице Помпонаццо соединился с гуманизмом. В своих сочинениях, из которых отметим трактат «*De immortalitate animae*» (1516), он развивал ту мысль, что у Аристотеля нет доказательств бессмертия души, что это — проблема, которой не может решить разум, что бессмертие души изобретено законодателями, дабы сдерживать народ, и вместе с этим он проводил резкую грань между философией и теологией, уча, что известные вещи бывают истинны теологически, но ложны с философской точки зрения. Как философ он отвергал бессмертие души, в которое считал нужным верить как христианин, и вопрос этот он разбирал с обеих точек зрения, приводя аргументы *pro* и *contra* и как бы предоставляя самому читателю решать вопрос о том, какое же мнение нужно считать истинным.

Из истории итальянского гуманизма мы выхватили несколько отдельных личностей, которые могут считаться представителями отдельных поколений гуманистов с конца XIV и до начала XVI в. Этот обзор, конечно, не мог иметь целью познакомить со всеми главными гуманистами и вполне охарактеризовать деятельность каждого из них: это был только способ представить, как происходило внутреннее развитие итальянского гуманизма от его возникновения до той поры, когда он имел уже крупных представителей и вне Италии. Некоторые известные гуманисты рассмотренной эпохи, например Франческо Филельфо и Никколо Макиавелли, были здесь умышленно опущены нами, т. к. о них придется еще говорить в иной связи, и кое-какие черты из жизни и деятельности тех, о которых шла уже речь, равным образом, не нашедшие места здесь, будут изложены в другой связи. Пока мы можем ограничиться тем общим выводом, что развитие гуманизма в Италии в XIV в. совершалось в смысле все большего и большего удаления от средневековых начал: стоицизм, примирявшийся у первых гуманистов с христианством, сменялся эпикуреизмом (Лоренцо Валла), христианская философия — неоплатонизмом и перипатетизмом (Марсилио Фичино и Помпонаццо), интерес к религии — равнодушным к ней отношением (Поджо, Полициано), и все направление получало все более и более светский характер (Леонардо Бруни). Мы еще вернемся к общей оценке гуманизма, а теперь перейдем к общему очерку его распространения в других странах.

¹ «Примиритель различных философов и врачей» (лат.). — *Прим. ред.*

XXX. Ренессанс вне Италии¹

Распространение Ренессанса. — Пути распространения нового образования. — Различный характер Ренессанса в разных странах. — Немецкий гуманизм. — Старшие гуманисты и Эней Сильвий Пикколомини в Германии. — Немецкие университеты и эрфуртский кружок. — Классические увлечения. — Рейхлин. — Эразм Роттердамский. — Его литературные произведения.

Вне Италии гуманизм нигде и никогда не получал такого развития, как на своей родине и особенно в XV в. Появившись в других странах и сделавшись заметным фактором культурной жизни много позднее, он и развивался здесь более короткое время, не имея вместе с тем такого громадного числа центров, каким обладал в Италии, такой массы деятелей и покровителей, какую выставило итальянское общество, не сосредоточивая на себе до такой степени умственные интересы интеллигенции, как то было в княжествах и республиках Апеннинского полуострова, и не проникая с такою силою в самую жизнь, не охватывая таким всеобъемлющим образом отдельных ее сфер, как опять-таки там, где он имел в числе своих представителей и поклонников — и пап, и владетельных князей, и государственных людей, и светскую и духовную знать, и ученых разных специальностей, и литераторов, и поэтов, и публицистов. Тем не менее и в других странах он получил важное культурное значение и выставил несколько первостепенных имен. Та же склонность приписывать крупные культурные или социальные перемены внешним событиям, которая выразилась в объяснении Возрождения бегством византийских греков в Италию, создала довольно распространенное представление о том, будто культура итальянского Ренессанса обязана, главным образом, так называемым итальянским войнам конца XV и начала XVI в. своим распространением по Западной Европе. Такое объяснение, нашедшее место в учебниках, принадлежит к числу тех *fables convenues*, которые весьма часто неизвестно как возникают и продолжают существовать, несмотря на то, что факты объясняются с научной точки зрения совершенно иначе. Одним из самых ранних центров гуманизма, именно еще в XIV в., была папская курия в Авиньоне, следовательно, вне Италии, и среди сторонников Петрарки были не одни итальянские, но и французские кардина-

¹ Вторая половина второго тома книги Г. Фохта посвящена раннему распространению классицизма вне Италии; *Geiger*. Renaissance und Humanismus in Italien und Deutschland; *Hagen*. Deutschlands literarische und religiöse Verhältnisse im Reformationszeitalter; *Janssen*. Geschichte des deutschen Volkes seit dem Ausgang des Mittelalters; *Bursian*. Geschichte der classischen Philologie in Deutschland (в Мюнхенской коллекции по истории наук в Германии); *Michelet*. La renaissance; *Müntz*. La renaissance en Italie et en France à l'époque de Charles VIII; *Egger*. L'hellénisme en France; *Szujski* J. Odrodzenie i reformacja w Polsce.

лы. Пример папской курии, этого духовного центра Западной Европы, не мог не действовать на другие страны, а гуманизм именно здесь свил себе прочное гнездо. Великий раскол и необходимость церковной реформы заставляли созывать известные сборы первой половины XV в., большие съезды прелатов и ученых людей, и на них появляются уже гуманисты, — вспомним, например, Поджио, — рядом с церковными реформаторами. Со вступлением на папский престол Томмазо Парентучелли под именем Николая V Рим начинает играть весьма видную роль в истории гуманизма как очень крупный его центр в Италии, и гуманистические преемники Николая V, каковы Пий II (Эней Сильвий Пикколомини) во второй половине XV в. и Лев X Медичи в первой четверти следующего столетия, в свою очередь, могли гораздо более содействовать распространению нового образования, чем какие бы то ни было войны. Флорентийский собор, на который съехалось и много греков, равным образом способствовал сближению между собою ученых разных национальностей. С другой стороны, итальянские гуманисты ездили иногда по Европе, а изобретенное около середины XV в. книгопечатание сделалось одним из весьма могучих средств распространения классиков. В Италии новое изобретение привилось очень скоро, и при том почете, в каком находились классические авторы, с них и начали здесь книгопечатание. Нужно кстати заметить, что типографии даже сделались своего рода учеными учреждениями, особенно издательская фирма Альдов в Венеции или Этьенов в Париже. Первая была старше, и сначала она главным образом снабжала книжный рынок изданиями греческих, латинских и итальянских авторов в небольших томиках и за дешевую цену: Венеция, благодаря Альду Старому, одна пустила в оборот целую четверть всего того, что тогда было напечатано, и если войны играли какую-либо роль в этом деле, то разве отрицательную, т. к. приостанавливали типографские работы. Из внеитальянских стран Франция первая дала широкое развитие тому же делу, начав печатать вместе с латинскими греческие, а также и еврейские книги. В XVI в. Париж был первым внеитальянским городом, в котором издание классиков (ученая фирма Этьенов) достигло настоящего процветания, так что парижские издания стали распространяться даже и в самой Италии. Вообще же в эту эпоху Италия делается модной страной, и из нее идет главным образом влияние светской культуры на разные западноевропейские страны: мы обнаруживаем это влияние и в Англии, и во Франции, и в Германии, и в Польше, и в других государствах.

С гуманизмом произошло то же самое, что случилось впоследствии с другими культурными явлениями, получившими общеевропейское значение, с протестантизмом XVI в. и Просвещением XVIII в., т. е. он приобретал разный характер соответственно с тем, что можно назвать духом того или другого народа, с культурным и социальным состоянием каждой отдельной страны в данный период. Везде новое образование принималось сначала

более внешним образом, так или иначе прилаживаясь к старому миросозерцанию и только с течением времени, как это случилось и в Италии, делаясь выражением и органом совершенно нового общественного настроения. В этом отношении любопытна, например, разница, существующая между ранними немецкими гуманистами и некоторыми из тех, которые жили в реформационную эпоху: для первых древняя литература была чисто внешним образовательным средством в целях, имевших большее или меньшее отношение к религии, богословию и церкви, тогда как у многих из последних уже проявляется более светский характер интереса к классическим занятиям; одни стоят еще на средневековой точке зрения, мало проникаясь духом изучаемых произведений античного мира, другие вырабатывают себе новое миросозерцание и в сочинениях древних авторов ищут ответов на запросы своей мысли. С другой стороны, и взятый на протяжении более длинного периода времени, гуманизм у одного народа отличается от аналогичного явления, когда мы наблюдаем его в другой нации. Взять хотя бы польский Ренессанс в сравнении с немецким: в Германии гуманизм был явлением более глубоким и серьезным, чем у поляков, где его роль была более внешнего свойства, общее значение — более поверхностное, хотя, с другой стороны, польское образованное общество, — а о нем только и может идти здесь речь, — отличалось более светским духом в XVI в., когда в обеих странах происходила Реформация, потому и принявшая в одной стране более мистический, в другой более рационалистический характер. Более тесная связь немецкого гуманизма с религиозными стремлениями, выразившимися как в самой Реформации, так и во всем, что ее подготовляло, и составляет наиболее характерную черту в истории нового культурного направления в Германии, хотя, повторяю, и здесь обнаружилось гуманистическое движение с более светским характером. Среди итальянских гуманистов можно указать разве на одного Лоренцо Валлу, который соединял с гуманистическими занятиями богословские, как это сплошь и рядом делали представители нового образования в Германии, хотя весьма многие из них, а сначала положительно все, вовсе не могут идти в сравнение с Валлой как носителем известного миросозерцания и представителем известных умственных стремлений. К светскому Ренессансу Франция XVI в. была гораздо более подготовлена, чем Германия, где общее направление культуры, в сущности, было враждебно итальянскому гуманизму, как он обрисовался к началу распространения классических знаний среди немцев: недаром в немецких гуманистах первых поколений с особою силою проявляется нелюбовь к итальянцам вместе с сильным национальным патриотизмом, благодаря чему гуманизм принимает здесь более оригинальный характер, нежели где бы то ни было в другом месте. Наоборот, Франция довольно легко подчиняется итальянскому влиянию, и если есть доля истины в воззрении, приписывающем распространение Ренессанса итальянским войнам, то разве только в том отношении,

что французские короли (Карл VIII, Людовик XII и Франциск I) и дворяне, побывав в Италии, пожелали и у себя на родине завести ту же обстановку, которая поразила их в Италии, но это уже относится к иному кругу явлений, нежели тот, которым мы заняты, рассматривая культурный переворот, отделяющий Новое время от Средних веков. Гораздо важнее общий подъем культурной жизни, каким характеризуется во Франции время Франциска I (1515–1547), позволяющее говорить о французском Ренессансе как совокупности новых явлений в области литературы, науки, искусства. В сравнении с немецким гуманизмом на задний план отступает и Возрождение в Англии, где и литература, и жизнь высшего общества, особенно в царствование Елизаветы (1558–1603), находились под сильным влиянием итальянских образцов, хотя, собственно говоря, влияние это началось раньше, и здесь можно указать на Колета, подобно немецким гуманистам, бывшего и классиком, и своего рода предшественником религиозной Реформации, или на Томаса Мора, одного из наиболее крупных гуманистических деятелей первой половины XVI в. Во всяком случае, все, что вне Италии было произведено гуманизмом более выдающегося, более замечательного, относится уже к началу XVI в., — что и подало повод говорить о влиянии итальянских войн на основание рассуждения, построенного по формуле *post hoc ergo propter hoc*, — и если где искать наиболее оригинальных проявлений Ренессанса в эту эпоху, то именно в Германии, хотя и некоторые лица и некоторые события, входящие в историю немецкого гуманизма, — имеем в виду преимущественно Ульриха фон Гуттена и так называемый рейхлиновский спор, — с большим удобством должны быть рассмотрены не в этом кратком очерке Возрождения, а в более тесной связи с историей немецкой Реформации.

Отличая гуманизм от классицизма, как внутреннее содержание от внешней оболочки, мы, говоря о ранних представителях нового образования в Германии, скорее должны были бы обозначать их как людей, ценивших изучение классиков в качестве образовательного средства, цели же, которыми они руководились, заключались не в выработке нового мирозерцания, а в улучшении духовного просвещения и церковной жизни. Первоначальным приютом возрождавшегося классицизма были здесь школы так называемых «братьев общей жизни» (*fratres vitae communis*), благочестивого общества, основанного Гергартом де Гротом из Девентера (род. 1340) и игравшего в конце Средних веков роль в истории религиозного просвещения в Германии, — роль, о которой будет упомянуто в своем месте. Братство, состоявшее из людей, которые вели почти монашескую жизнь, не давая бесповоротных аскетических обетов, ставило своею задачею содействие образованию в духе религии посредством переписки книг и обучения юношества, и в план их школьной реформы входило усиление классических занятий как средства подготовить для церкви лучших служителей и чад. Весьма естественно, что у них отношение к классикам, изучение которых сделалось более основа-

тельным, чем прежде, по духу мало чем отличалось от средневекового. Это зарождение гуманистических занятий в братстве, сделавшемся вместе с тем приютом мистицизма, и наложило свою печать на весь немецкий гуманизм как на противоположность во многих отношениях гуманизму итальянскому. Понятное дело, что новое направление не могло развиваться в Германии без всякого отношения к итальянскому Ренессансу. С одной стороны, в Италию стали ездить за наукой сами немцы, с другой — в Германии появлялись итальянцы, содействовавшие распространению гуманистических занятий. К числу людей, вышедших из среды упомянутого религиозного братства и отправлявшихся в Италию учиться, нужно отнести Николая Кузанского и Иоанна Весселя, двух ученых, имеющих, как мы увидим, гораздо более отношения к истории церкви и богословия, нежели чисто светского образования, — а также и некоторых других вроде Рудольфа Агриколы (1443–1485), одного из первых гуманистов, мечтавшего о том, чтобы смыть с Германии пятно варварства и сбить смесь с Италии, которая слишком кичилась первенством своего красноречия, для чего нужно было сделать Германию более латинской, чем сам Лациум. Из итальянцев, действовавших на Германию, следует отметить Энея Сильвия Пикколомини¹, бывшего впоследствии папой (Пий II). В качестве секретаря одного кардинала он приехал в Базель на собор, примкнул к антипапской партии, сделался секретарем собора, а потом и папской (Феликса V) канцелярии. Плодовитый писатель, оставивший много сочинений, важных для истории эпохи, легко переходивший с одной точки зрения на другую, он в конце собора, находясь уже на службе у императора Фридриха III (с 1445), оказал весьма большие услуги папству при заключении конкордата с императором. Эней Сильвий весьма много содействовал распространению в Германии классического образования, действуя в этом отношении, например, в одном же направлении со своим противником в вопросах церковной политики, Григорием фон Геймбургом², защищавшим права и достоинства немецкой нации. Этот немецкий деятель тогдашнего классицизма может служить образцом тех старших германских гуманистов, у которых занятия классиками соединялись не только с религиозными интересами, но и с сильным национальным патриотизмом, выражавшимся в нерасположении к курии и вообще к итальянцам. Можно даже сказать именно, что Возрождение в Германии настолько же характеризуется религиозностью и национализмом, насколько Ренессанс итальянский — индифферентизмом и космополитизмом, — разумеется, с разными оговорками и исключениями. Таким же защитником немецких национальных интересов является, например, и Яков Вимфелинг (1450–1528), проповедник и профессор, богослов и классик, написавший по поручению императора Макси-

¹ *Ioachimsohn P. Gregor Heimburg.*

² *Voigt G. Enea Silvio de' Piccolomini, als Papst Pius II, imd sein Zeitalter.*

милиана сочинение в защиту немецкой нации от папской курии¹. Наконец, в Германии представители нового образования, составляя литературные общества (*sodalitates litterariae*), умножившиеся к началу XVI в. в разных местах, не стояли в таких же отношениях к придворному меценатству, какие составляют одну из характерных черт внешнего положения итальянских гуманистов. Между прочим, новое направление нашло в Германии доступ к университетской жизни, хотя и не без борьбы со схоластикой. В то время, например, как кельнский университет оставался оплотом старого образования, другие делались центрами классицизма, причем нередко учащаяся молодежь шла далее своих наставников, которые на первых особенно порах стремились примирять традиционную схоластику с занятиями в гуманистическом духе. Многие из немецких гуманистов занимали профессорские кафедры или действовали на университетское студенчество иными путями. Одним из таких центров сделался Гейдельберг, благодаря деятельности Агриколы, но наиболее замечателен в первые десятилетия XVI в. эрфуртский университет², основанный в эпоху великого раскола, обнаруживавший в свое время некоторое сочувствие Гусу и никогда не знавший особого процветания схоластики. Здесь именно образовался целый гуманистический кружок, весьма характерный по своим классическим увлечениям и своему светскому духу, кружок, к которому принадлежал Ульрих фон Гуттен и из которого вышли знаменитые «Письма темных людей». Молодые гуманисты, противопоставившие себя представителям схоластики, как «поэты» — «софистам», были принципиальными противниками схоластики и аскетизма, защищая принцип жизни, сообразный с природой, и группировались около готского каноника Конрада Мута (Конрад Муциан Руф), человека с весьма неправомерными взглядами на христианство, которые он высказывал, впрочем, только в частной своей переписке. Интерес к гуманистическим занятиям переносился из одного университета в другой; в этом отношении особенно много сделал Конрад Целтес (род. 1459), гуманист, поэт и сатирик, побывавший в Италии и проведший свою жизнь в скитании по разным городам, в которых он читал лекции, привлекая на них массу слушателей и даже уводя за собою из одного университета в другой лучших студентов, будущих распространителей нового образования. К началу XVI в. в немецких классиках все более и более открывается настоящих гуманистических черт и сильнее сказывается итальянское влияние, хотя ему и не удалось победить другое течение, находившееся в большем соответствии с немецким национальным духом и культурным состоянием Германии.

Увлечение классицизмом, характеризующее немецких деятелей Возрождения, а также и Реформации, именно поколения, которое принадлежит уже началу XVI в., проявилось, например, в их страсти латинизировать или гре-

¹ *Wiskowatoff*. Wimpheling.

² *Kampschulte*. Geschichte der Universität Erfurt.

цизировать свои варварские имена. Иногда просто переводили немецкую фамилию на один из древних языков, иногда прибегали к более замысловатым способам, как это было сделано с фамилиями гуманистического деятеля Реформации Шварццера, превратившегося (через Шварццерде) в Меланхтона, или базельского реформатора Геусгена, сделавшегося (при посредстве Geussgen-Hausschein) Эколампадием, но своего рода образцом таких переделок была метаморфоза Иоанна Иерепа из Дорнгейма сначала в Iohannes Dornheim Venatorius, а потом в Iohannes Crotus Rubianus, ибо Jäger, т. е. охотник есть стрелок, а стрелок как знак Зодиака был сын Пана, называвшийся Кротом и живший на Геликоне, дорогим каждому служителю муз, тогда как Dorn принадлежит к числу колючих растений, к которым относится и rubus, что и позволило Dornheim заменить Рубианом. (Этот Рубиан был членом эрфуртского кружка, был другом Ульриха фон Гуттена и принадлежал к числу авторов «Писем темных людей».) Вот почему мы встречаемся в истории Германии этой эпохи с немецкими фамилиями вроде того же Агриколы (Гусмана), особенно в XVI в., каковы Спалатин (Георг Буркгардт из Spält'a), Rhagius Aesticampianus (Рак из Зоммерфельда), Меланхтон, Эколампадий, да и Рейхлин был известен у гуманистов под именем Капниона, данным ему в Венеции (в том предположении, что его фамилия происходит от слова Rauch = дым = χαλός, что дало врагам Рейхлина повод обзывать его в насмешку Fumulus). Во всяком случае, в те два-три десятилетия, которые предшествуют началу реформационного движения в Германии, классицизм сделал большие успехи в этой стране, и некоторые немецкие гуманисты (Эразм, Ульрих фон Гуттен до начала Реформации и др.), подобно итальянским классикам, пренебрегавшим родною речью, писали свои произведения по латыни, подражая классическим литературным формам и вводя античные элементы в содержание своих произведений.

Светилами немецкого гуманизма, двумя очами Германии (duo Germaniae oculi), выражаясь словами Ульриха фон Гуттена, были Рейхлин (1455–1522) и Эразм Роттердамский (1467–1536), достигшие большой славы и большого влияния в годы, непосредственно предшествующие началу Реформации.

Рейхлин¹, сын почтальона, благодаря своему голосу попавший в придворные певчие и товарищи по учению к сыну маркграфа баденского, учился в Париже, Орлеане и Италии, куда он ездил сначала в свите герцога вюртембергского Эбергарда Бородатого, а потом по другим поводам и где он заводил связи с гуманистами. На родине он то профессорствовал, то жил при княжеском дворе (курфюрста пфальцского), то занимал важную судейскую должность, предаваясь любимым своим занятиям филологического характера. Имя Рейхлина особенно знаменито в истории науки,

¹ Geiger. Reuchlin.

а в общей истории — по той борьбе, которая происходила из-за него между гуманистами и представителями старины во втором десятилетии XVI в. Рейхлин был знатоком языков латинского, греческого и еврейского, важность которого чувствовалась богословами, получавшими новое образование, — и его за это прозвали трехязычным чудом (*trilingue miraculum*). Своими изданиями и переводами классиков, грамматическими и лексическими руководствами (*Micropaedia, sive grammatica graeca*, 1478, *Breviloquus sive dictionarium singulas voces latinas breviter explicans*, 1478. *Rudimenta hebraica*, 1506) он значительно облегчал изучение древних языков, в том числе и еврейского, и по его имени названо известное произношение греческого языка (итаизм), заимствованное им у новогреков (в противоположность к другому произношению — эразмову). С классическими занятиями Рейхлин соединял богословские, навлекшие на него подозрение в ереси, да и в действительности в этой области он работал как мистик с склонностью к религиозному синкретизму. Изданные им в 1512 г. семь покаянных псалмов были первой вещью, напечатанною по-еврейски в Германии, а сравнение Вульгаты с еврейским текстом ветхозаветных книг привело его к обнаружению разных погрешностей в латинском переводе, а через то к столкновению с духовенством, монахами и схоластами. В сущности, последние не были неправы, обвиняя Рейхлина в ереси. На самое изучение еврейских книг он был наведен своим настроением, родственным тому, какое было у Пико делла Мирандолы, и изучая еврейскую каббалу, он посвящал тайному знанию особые трактаты (*De verbo mirifico*, 1494. *De arte cabbalistica*, 1517). Этою стороною своей деятельности Рейхлин соприкасается с тем философским движением в Италии, которое было представлено неоплатониками, но если считать наиболее характерным признаком гуманизма рационализм, соединенный со светскими интересами, то гораздо больше прав на название представителя гуманизма имеет Эразм Роттердамский, соединявший, впрочем, со своими светскими занятиями и богословские, внося, однако, в последние дух нового образования и выступая как противник схоластики и монашества¹.

Если в ком искать среди гуманистов проявления индивидуализма, составляющего основную черту гуманистических стремлений, то одним из наиболее видных представителей развитого личного начала в области духовной культуры будет всегда признаваться Эразм Роттердамский.

Эразм был родом из Голландии, но он так много путешествовал и проживал столь долго в разных странах — в Германии и Швейцарии, во Франции и Англии, а также и в Италии, куда тянуло каждого гуманиста: как это обстоятельство, так особенно и выдающееся положение Эразма среди гуманистов всех народов, его литературная слава, его индивидуалистический космопо-

¹ *Laur Durant de. Erasme, précurseur et initiateur d'esprit modern; Feugère. Erasme. Étude sur sa vie et ses oeuvres.*

литизм, позволявший ему давать такую постановку всем вопросам, которых он касался, что в его к ним отношении не было ничего такого, что могло бы специально интересоваться только одну какую-либо нацию, — все это делало из Эразма человека, возвышавшегося над национальными рамками и представлявшего собою известные умственные и общественные интересы всей Западной Европы. Такому его положению соответствовал и тот почет, какой ему оказывали и сильные мира в разных странах, и разноплеменные гуманисты, и тот прием, какой встречали его сочинения, написанные легким стилем, с большим остроумием и о вещах, способных заинтересовать всякого образованного человека. Со славою первостепенного гуманиста он соединял и известность богослова, основанную на его многочисленных трудах по изданиям, переводам и комментированию священных книг, — сторона деятельности Эразма, которой мы еще коснемся в другом месте. У Эразма высокопоставленные современники положительно заискивали, делали ему заманчивые приглашения, вступали с ним в переписку, в то самое время, как его сочинения не только много читались, но и переводились на другие языки. Чтобы дать понятие о необыкновенной его популярности, достаточно указать на два факта: когда вышла в свет (1510) «Похвала Глупости», достаточно было нескольких месяцев, чтобы расхватили семь изданий этой знаменитой сатиры, а осуждение Сорбонною эразмовых «Colloquia» не помешало, — если только прямо тому не содействовало, — издателю выпустить 25 изданий этой книги.

Обстоятельства жизни сделали из Эразма врага монашества. Отец его был клирик по принуждению, разлученный со своею возлюбленною, матерью Эразма, и он остался круглым сиротой по смерти своих родителей. Мальчиком он был упрятан своими опекунами в монастырь после того, как он уже успел вкушать гуманистической науки в Девентере. Монахи склоняли его принять посвящение, но он упорно отказывался; оставив этот монастырь, он весьма скоро попал после этого в другой, и в общей сложности он провел в монастырях около восьми лет и как очевидец хорошо изучил их быт. Затем он попал на время в Париж, где учился, страшно бедствуя, а оттуда в Лондон: в обоих этих городах он сближался с гуманистами. Первый обширный труд Эразма вышел в свет в 1500 г.: это была «Adagia», книга знаменитых изречений с собственными его комментариями, громадный сборник отдельных мыслей, взятых у разных классиков, остроумных рассуждений самого Эразма, сатирических эпизодов, в которых он проявил свою тонкую наблюдательность, живое отношение к современности, большую изобретательность и свою скептическую иронию вместе с громадною начитанностью в древних писателях и умением пользоваться их литературным наследием для выражения собственного оригинального мирозерцания. «Adagia» сразу сделала Эразма перворазрядною знаменитостью, так что, когда он вскоре после этого поехал в Италию,

а потом в Англию, то встретил почетный прием и со стороны папы, и со стороны английского короля Генриха VIII. К этому времени относится «Похвала Глупости»¹), главное сатирическое произведение не только самого Эразма, но и всей эпохи. Эразм был, большой почитатель Луциана Самосатского, называемого Вольтером II века нашей эры, да и самому ему в высшей степени давалась легкая манера и остроумие этого греческого писателя. Настоящее заглавие сатиры «Μορίας ἐγχρόμιον»; Мория, т. е. глупость, или, вернее, нелепость произносить сама себе панегирик, изображая себя владычицей мира, что дает Эразму возможность выразить в сатирической форме свое отношение к современности; нам еще придется вернуться к этому произведению знаменитого гуманиста. Через четырнадцать лет последовали его «Разговоры» (Colloquia) в том же остроумном и насмешливом роде сатирической публицистики, но это было уже в реформационную эпоху, когда между ним и энергичным Лютером произошло неприятное для гуманиста столкновение. Эразм является вообще принципиальным противником средневековой культуры. В «Adagia» он называет всю эпоху, когда классическая древность была в забвении, временами мрака, невежества и софистики. «Пусть, — писал он, — например, пусть мне назовут доминиканца или кордельера, которого можно было бы сравнить с Фокионом или Аристидом». «Vix mihi tempero, — признается он еще, — quin dicam: Sancte Socrates, ora pro nobis». Но, увлекаясь античной образованностью, Эразм вооружался против восстановления язычества, которое ему виделось в итальянском гуманизме, и он сумел осмеять в своем «Цицеронианце» завзятых классиков, педантически поклонявшихся стилю римского оратора. Вот одна его остроумная шутка: Desem jam annos aetatem trivi in Cicerone, восклицает подобный цицеронианец, а эхо ему отвечает, передавая мысль самого Эразма: οὐε! (аел!).

Та общеевропейская слава, какой достиг Эразм, соединявший в себе самые характерные черты гуманизма, популярность его сочинений и появление множества представителей нового образования во всех главных западноевропейских странах на рубеже XV и XVI вв. указывает на то, что к этому времени культурное движение, зародившееся полутора веками ранее в Италии, сделалось заметным историческим фактом и вне Италии, вышедши из тесной сферы школ, ученых кабинетов и библиотек на более широкую арену общественной жизни, и рейхлиновский спор, начавшийся вслед за появлением «Похвалы Глупости» и принявший размеры целого события, только указывает на то, что в борьбе гуманистов со схоластами шла борьба между отжившей средневековой образованностью и Просвещением Нового времени.

¹ Есть рус. пер. проф. А.И. Кирпичникова.

XXXI. Гуманистическая мораль

Разные проявления индивидуализма. — Скептицизм и критицизм эпохи. — Общие признаки большого индивидуального развития. — Социальная сторона Ренессанса. — Подрыв аскетического идеала. — Рабле. — Недостатки гуманистической морали. — Крайности индивидуализма. — Демократизм гуманистов. — Их социальный индифферентизм. — Филельфо как отрицательный тип гуманиста.

Новый дух, выразившийся в гуманизме, созданное им направление, которое все более и более сознавало свою противоположность со средневековым мирозерцанием, возродившееся изучение классической древности, заключавшей в себе богатый материал для работы мысли, и все это в связи с развивавшимся индивидуализмом, с первыми шагами рационализма, характеризующего наиболее верных выразителей основной черты всего движения, и с бессознательной или сознательной секуляризацией, — вот в чем заключается культурное значение Возрождения. Проходит длинная эпоха, прежде нежели философы, променявшие схоластические авторитеты Средних веков на человеческие авторитеты Платона и Аристотеля, начали мыслить в философии вполне самостоятельно, но и сама новая философия, отцом которой был Декарт, родившийся уже в самом конце XVI в. (1596), имела исходным своим пунктом крайне индивидуалистическое рассуждение: Декарт, как известно, допускал сомнение в существовании внешнего мира, в существовании Бога, но находил, что есть нечто такое, что не может быть принято ни за призрак, ни за предвзвешенное, именно существование самого сомневающегося Я, откуда его знаменитое *cogito ergo sum*. Гуманизм был лишь одним из продуктов этого индивидуализма Нового времени, создававшийся, впрочем, и при участии других факторов, равно как тот же индивидуализм находил и другие проявления, создавал иные формы, сделавшись, например, в области религии основой мистицизма, опиравшегося на личное чувство, основой протестантизма с его учением об оправдании посредством личной веры и с его личным разумением Священного Писания, позднее основой свободы индивидуальной совести. Тот же индивидуализм, так сказать, изверившийся во внешних критериях истины, но не нашедший никакого внутреннего критерия, выразился и в том скептицизме, который составляет весьма заметную струю в светском гуманизме как в самой Италии, так и вне ее. Культурные факты, составлявшие предмет предыдущего изложения, а еще более те, к рассмотрению которых нам еще предстоит перейти, конечно, не дают ни малейшего права на то, чтобы причислять скептицизм к главным и основным чертам Ренессанса. Но равным образом нельзя было бы и отрицать его существования в эту эпоху: стоит только вспомнить

аверроизм и Помпонацци, чтобы уже не выходить из пределов Италии. От скептицизма, далее, нужно отличать критицизм, с которым его напрасно смешивают, критицизм же и составляет наиболее характерную особенность гуманистической эпохи. Старая культура теряет свою прежнюю авторитетность, подвергается критике с каких бы то ни было точек зрения, но, во всяком случае, с точек зрения, являющихся новыми по отношению к тем, на которых держались прежние авторитеты: в этом заключалась разрушительная, отрицательная сторона духовной и общественной работы в то самое время, как выработка нового мирозерцания, новых нравственных принципов и новых форм общественной жизни не могла обходиться без того, чтобы не делать заимствований из еще державшихся традиций или из традиций позабытых и возобновленных, каковы были античная цивилизация или христианство первых веков. Индивидуальные особенности и историческое положение деятелей Ренессанса обуславливают большую или, наоборот, меньшую принадлежность каждого из них в отдельности к той или другой категории — бессознательных и сознательных разрушителей старины, таких же бессознательных и сознательных новаторов, людей более резко понимающих разницу между старым и новым и, наоборот, более склонных к примирительным попыткам и компромиссам, людей, сильнее отрывавшихся от спиритуалистической основы средневекового мирозерцания и, напротив того, крепко за нее державшихся, хотя бы и со значительными видоизменениями. *Во всяком случае, культурная жизнь около 1500 г. отличается бóльшим богатством содержания, бóльшим разнообразием направлений, бóльшей сложностью отношений,* чем за два века перед тем, а это было зараз и следствием, и причиною большего индивидуального развития, зараз причиною и следствием, т. к. тут мы имеем дело с взаимодействием личности и культурной среды: более развитая личность больше вносит своего — индивидуального и оригинального — в общую сокровищницу идей и знаний, обогащая ее новым материалом, создавая в ней новые отделы, комбинируя новым образом элементы ее прежнего содержания, а от более содержательной, разнообразной и сложной культуры, в которой существует более богатый запас знаний, идей, воззрений, идеалов, часто сталкивающихся между собою враждебно и наводящих на мысль о новых комбинациях, выигрывает индивидуальное развитие, выигрывают критические и творческие силы личности, выигрывает, наконец, общество, получающее людей, которые оказываются более способными производить разнообразную работу, требующую развитую социальную жизнь. Совокупность культурных явлений, обозначаемая растяжимым и не вполне точным названием Возрождения, несомненным образом содействовала индивидуальному развитию: одно появление крупных личностей на разных поприщах научной, литературной и художественной деятельности, — благодаря чему образованность делает гигантские шаги вперед во всей Европе около 1500 г., — свидетельствует

о том, как общие социальные условия и новая умственная культура способствовали вызову на историческую сцену индивидуальных сил, во-первых, для работы над разрушением старого, самого по себе приходившего в упадок, во-вторых, для более трудной еще работы — созидания новых форм и отношений.

Параллельное развитие личности и культуры, эти две эволюции, находящиеся между собою во взаимодействии, делают весьма быстрые успехи, и это, конечно, не может пройти бесследно для социальной стороны истории, как, в свою очередь, только на известной ступени общественного развития, при существовании подходящего социального класса, при достаточном экономическом обеспечении, откуда бы последнее ни получалось — из собственных ли средств культурного слоя, или из кармана меценатов, словом — лишь при благоприятным образом сложившихся условиях общественного быта лишь и возможны были как это личное развитие, так и это развитие образования. Духовная культура и социальная структура, имея каждая свое особое бытие, не могут существовать совершенно отдельно одна от другой, не находиться между собою во взаимодействии, и *самое выделение из массы — развитых личностей, перестающих жить ее традициями, и образование светского культурного класса с особыми духовными стремлениями и интересами* есть уже факт социальной важности, т. к. им вносится нечто новое в прежние отношения между отдельными людьми и общественными классами. В данном случае мы действительно имеем дело с двумя явлениями, составляющими слабую сторону Ренессанса, особенно в Италии, где раньше, резче, полнее и многостороннее проявились все его основные черты, а эти два явления относятся одно к моральной сфере, другое — к социальной: я разумею именно *эгоистический оттенок индивидуализма, нередко граничащего с полным отсутствием альтруистических чувств и с общественным индифферентизмом, и чисто аристократический (хотя и не в сословном смысле) характер гуманистической образованности*. Вот эти два явления и подлежат теперь нашему рассмотрению, причем мы должны будем коснуться и другой стороны дела, имеющей более положительное значение.

Средневековый аскетизм в истории христианства как религии, требующей прежде всего любви к ближнему, был проявлением не этой любви, а себялюбивой заботы о личном спасении, которому какие бы ни были земные привязанности могли только мешать. Гуманизм восстанавливал личные права, отрицавшиеся аскетическим идеалом, но и он в лице первых своих представителей поставил вопрос о морали, к которому сводилась вся его первоначальная философия, опять на почву личного же блага. «Стоицизм» Петрарки и его ближайших преемников и «эпикуреизм» Лоренцо Валлы и позднейших гуманистов мало чем в этом отношении отличались от эгоистического аскетизма, приучавшего человека думать только о том, как бы прежде всего спасти свою грешную душу в этой юдоли греха

и печали. Поэтому в гуманистическом индивидуализме мы должны отличать две стороны, положительную и отрицательную: положительная — это утверждение прав личности, отвергавшихся средневековым мирозерцанием; отрицательная — это возведение в единый принцип морали своего личного Я. Неразличение этих двух сторон вообще в индивидуализме и в частности в гуманистическом приводит к сбивчивым и противоречивым суждениям не только о гуманистах, но и об основной роли индивидуализма, приветствуемого одними, видящими главным образом или даже исключительно его положительную сторону, между тем как другие, подразумевая под ним лишь отрицательную его сторону — эгоизм и социальный индифферентизм, рассматривают его как явление отрицательное.

Самым важным результатом гуманистического движения в области морали было разрушение аскетического взгляда на жизнь и монашеского идеала: основными чертами гуманизма были индивидуализм, не мирившийся с требованием у личности отказа от следования инстинктам человеческой природы, и интерес ко всему, что прежде противопоставлялось духовному, как мирское. К тому же отрицанию аскетизма, но только иным путем приходит и Реформация XVI в., так что ее противникам казалось, будто бы Лютер начал свое восстание против церкви, чтобы иметь возможность бросить монастырь и жениться, но протестантизм отверг монашество как средство, не ведущее к спасению, как одно из тех внешних дел, которые не имеют никакого значения с точки зрения учения об оправдании посредством одной веры. Как бы там ни было, хотя и гуманизм, и Реформация оказались враждебными аскетической морали, лишь в гуманизме с особою силою проявилась защита именно прав личности. Эпикуреизм, сменив собою стоицизм более ранних поколений, был уже диаметрально противоположностью аскетизма, заставлявшего таких людей, как Лоренцо Валла, уже сознательно восставать против того, что до него подвергалось более инстинктивным возражениям. Но не в одной Италии направление, неблагоприятное аскетическому взгляду на жизнь, находило убежденных и талантливых выразителей. В Германии, например, таким носителем гуманистического мирозерцания был Эразм, во Франции — Франсуа Рабле.

Рабле¹ — рельефное и яркое проявление того светского духа, который составляет одну из основных черт гуманистического движения в чистом его виде. Не забегая вперед, в историю XVI в., когда во Франции до начала кальвинистской Реформации проявилось скептическое направление, я отмечу здесь только одну сторону деятельности Рабле. Родившись в один год с Лютером (1483), а умерший в один год с Серветом, которого Кальвин сжег на костре в Женеве (1553), он предназначался своим отцом к духовному званию и воспитывался поэтому в монастыре, сделавшись впоследствии мона-

¹ *Fleury J. Rabelais et son oeuvre; Gebhart. Rabelais, la renaissance et la réforme; Stapfer. Rabelais, sa personne, son génie, son oeuvre.*

хом, а затем священником, но главными его профессиями были медицина, которой он обучался в Монпелье, и преподавание. К монашеству Рабле, как и Эразм, чувствовал одно отвращение и подобно Эразму же осмеивал в своем знаменитом сатирическом романе «Гаргантюа и Пантагрюэль» испорченное духовенство своего времени. Рабле был увлечен потоком Ренессанса, радуясь возрождению языков и тому, что «мир наполнился учеными, сведущими наставниками и отличными библиотеками», и находя, что «ни при Платоне, ни при Цицероне не существовало таких благоприятных условий для занятий, как в его время», когда даже «разбойники, палачи, мошенники и кучера сделались более учеными, чем прежде были доктора и проповедники». Рабле принялся сам за изучение древних языков и за чтение классиков, что ему создало массу неприятностей в кордельерском монастыре, к которому он принадлежал: монахи отнимали у него книги, сажали его под арест, и только с переходом в бенедиктинский монастырь он мог вздохнуть свободнее. Получив степень доктора медицины, Рабле делается профессором в Монпелье и своим чтением Гиппократов, перевод которого был им напечатан, привлекает к себе массу слушателей. Но особенно он прославился как один из наиболее крупных сатириков, жесточайшим образом осмеивая весь средневековый быт в своих знаменитых романах.

Рабле был скептик или человек, верующий по-своему, и ему приписывают даже такие предсмертные слова: «Je m'en vais chercher un grand Peut-être»¹. Осмеивая католицизм с его папством и монашеством, он выражал неудовольствие и против «бесноватых кальвинов», говоря, что их вместе с папелярами, монахами и всякими другими безобразными чудовищами породила «противоприрода» (антифизис) в то время, как настоящая природа производит только красоту и гармонию. Человечность и природа — вот с какой точки зрения Рабле критикует современность не только в культурной ее стороне, но и в стороне социальной, нападая на несправедливых правителей и жестоких судей, на войну, на военных деятелей и подымаясь, таким образом, до политической сатиры. Но самое главное, самое замечательное в его литературной деятельности, это — проповедь свободы человеческой деятельности и мысли, освобождения жизни путем убийственной насмешки над всем, что ее стесняет и что противоречит природе:

Mieux est de ris que de larmes écrire
Pour ce que rire est le propre de l'homme²,

но этот видимый смех, по собственным словам сатирика, скрывал за собою слезы над горем, изнуряющим и скупающим людей.

¹ Опустите занавес, фарс сыгран (фр.). — Прим. ред.

² «Милей писать не с плачем, а со смехом,

Ведь человеку свойственно смеяться» (фр.) / Пер. Ю. Корнеева. — Прим. ред.

Рабле любит природу, удивляется ее красоте и гармонии, считает законным все то, что согласно с нею и с естественными потребностями человека, требует свободного развития духа и тела: в этом смысле и он выводит на сцену брата Жана как живое воплощение естественной личности, протестующей против всего условного, не основанного на природе, неестественного, и с той же точки зрения он рисует идеальное местопребывание под названием Theleme (от θέλω, желаю), где жизнь основывается на совершенно новых принципах. Над входом в здание общины написано: «делай, что хочешь» (*fais ce que voudras*), и в Телеме действительно царствует полная свобода, т. к. там все будут работать и развлекаться, кто когда захочет. Кроме того, Рабле, противопоставляя утопическое общежитие Жана монастырям, прямо говорит, что, вместо монашеских обетов бедности, послушания и целомудрия, в Телеме разрешаются богатство, свобода и брак. Жизнь будущих телемских монахов и монахинь в этом общежитии вполне свободная, а доступ в него открыт всем, и нет туда входа только лицемерам и святошам, фарисеям и притеснителям народа, не понимающим истинного значения Евангелия. Моральный взгляд его построен на вере в доброту природного инстинкта, который, по его мнению, всегда направляет человека ко благу, а не ко злу (*ung instinct et aiguillon qui toujours les pousse à faitcz vertueux et retire de vice*); на том же принципе основана и вся педагогическая система Рабле, заключающая в себе требование физического воспитания тела, наглядного обучения и широкого умственного развития.

В Рабле, скептике и индивидуалисте, выразилась особенно рельефно интеллектуальная и моральная эмансипация личности, начавшая проявляться и делать успехи еще задолго до возникновения гуманистического движения, которое создало этого замечательного сатирика: он был, однако, конечно, не единственный, далеко не первый и тем более далеко не последний новый писатель, основывавший мораль на жизни, сообразной с природою. Мы видели, что поисками нравственного принципа, который заменил бы собою аскетические требования средневекового мирозерцания, собственно говоря, и начинается гуманистическое философствование. Не раз отмечалось выше, что искомую истину предполагалось сначала обрести в соединении стоицизма с Евангелием и что только постепенно стоицизм уступил место эпикуреизму. Выработка нравственного мирозерцания — дело нелегкое само по себе, затруднялось тем положением, в какое гуманисты были поставлены историей, и первые представители нового направления действительно страдали от внутреннего разлада вследствие непримиримости обозначавшихся в них стремлений со средневековыми воззрениями; только в XV в. итальянские гуманисты все менее и менее уже обращают внимания на моральные вопросы и забываются в своих увлечениях. Новые индивидуальные потребности разрушали основы старого этического мирозерцания, но не могли вместо них сразу создать сколько-нибудь прочные начала для

новой морали: этим отсутствием у них твердо установленного идеала нравственности должны быть объясняемы все те недостатки, которые бросаются в глаза при более близком, а иногда даже и при первом знакомстве с их жизнью и общественной деятельностью: отсутствие прочных убеждений и твердых правил, противоречия между внутренним настроением и исполняемым делом или занимаемым местом, компромиссы с совестью ради выгоды и отдача в чужое распоряжение за покровительство и подачки — своих способностей, знаний и сил. Их индифферентизм в вопросах религиозных, моральных и политических обуславливался, впрочем, не одною трудностью, подчас невозможностью примирения противоположных начал, но и печальною, как известно, итальянскою действительностью той эпохи, бывшею веком кондотьеров и тиранов, которым гуманисты служили и словом, и делом за материальные выгоды и обеспеченный досуг. Но все-таки главная причина отсутствия морального содержания у громадного большинства итальянских гуманистов заключалась в совершенной для них невозможности сразу же противопоставить такой цельной, стройной и полной системе воззрений, как средневековый католицизм, — мирозозерцание, которое могло бы с ним соперничать по своей законченности, определенности, всеобъемлемости. Освобождая мысль от тисков, не дававших ей простора, вышедши сами из-под церковной опеки, они не могли ни сокрушить эти тиски, ни уничтожить эту опеку, ибо у них не было морального принципа, который они могли бы противопоставить как знамя общественного движения против католицизма, притом доставлявшего им своими должностями и бенефициями известные выгоды. Обеспеченный досуг с почетным и влиятельным положением в обществе и с беспрепятственною возможностью предаваться излюбленным занятиям, вот к чему стремилось громадное большинство итальянских гуманистов, бывших индивидуалистами не только в смысле развитого понимания своих человеческих прав, но и в смысле почти совершенного непонимания своих общественных обязанностей, и в этом были виноваты, конечно, не классики и не светские, антиаскетические стремления, а общий склад жизни в Италии, разложение ее социального строя, выдвинувшее на первый план удачливых эгоистов — кондотьеров, тиранов, дипломатов и политиков. Уже в родоначальнике гуманизма выразился, хотя и облагороженный умственными стремлениями эгоизм: в этом отношении весьма любопытно то сравнение, какое между Данте и Петраркой делает Леонардо Бруни, отдавая предпочтение первому за его общественную деятельность. «Данте, — говорит он, — имел большую цену в деятельной и гражданской жизни, чем Петрарка, потому что он со славою принимал участие в войне за родину и в управлении республикой, чего нельзя сказать о Петрарке, т. к. он не жил в свободном государстве, которым мог бы управлять, и никогда не поднимал оружия за родину, что мы признаем за великую заслугу добродетели». Конечно, не все гуманисты следовали примеру Петрарки и уклонялись от общест-

венной деятельности, но, занимаясь последнею, многие из них, как это делали, например, папские секретари, относились к ней подобно наемникам или добивались известных государственных целей, весьма редко проявляя твердые политические убеждения, тем более что у них не было определенных общественных идеалов, которые заставляли бы их выступать в роли новаторов и реформаторов, в роли протестантов против социальных несправедливостей. Многие прямо высказывали воззрения крайнего индивидуализма и вели себя сообразно с этим: таков был, например, Никколо Никколи, всячески устранившийся от каких бы то ни было общественных вопросов; Поджио, который разделял в этом отношении взгляд Никколи, в одном диалоге («О несчастии государей») вкладывает ему в уста такое рассуждение: счастье заключается в разумности и добродетелях, а князья, включая в их число и пап, лишены того и другого, так что хорошие между ними большая редкость, несчастливы же они потому, что подавлены заботами, и вот рассуждение заканчивается призывом к истинному счастью, полагаемому в устранении себя от общественной деятельности и в научных занятиях (*liberalium artium disciplinae et humanitatis studia*), а последние с этой точки зрения представляются как спокойный порт, где можно найти блаженную и счастливую жизнь (*vita beata ac felix*).

Другим недостатком гуманистов, вытекавшим из их морального индифферентизма, была их оторванность от народа. Они образовали из себя новый общественный класс, вытеснивший духовенство из исключительного господства в сфере мысли, и поскольку класс этот набирался, употребляя русское выражение, из разночинцев, он отличался демократизмом, который был уже отмечен нами у Боккаччо, когда он протестует против сословных предрассудков; притом самый принцип индивидуализма, полагающий все права личности в ней самой, а не во внешних ее отношениях, заставлял гуманистов выступать противниками сословности. *Протест против родовой знати и наследственных привилегий — черта, сближающая всех видных итальянских гуманистов* и многих их последователей в других странах. У Леонардо Бруни есть недавно сделавшееся известным¹ сочинение «Спор о знатности» (*Nobilitatis contentio*), где вопрос решается в таком смысле: знатность заключается не в «чужой славе» и не в богатствах, а в личной добродетели, ибо как духовное превосходство отличает человека от животных, так и люди отличаются друг от друга духовными достоинствами, наследственная же знатность не имеет цены вследствие того, что по рождению все люди равны между собою, а с другой стороны, многие знатные ведут такую жизнь, которая уничтожает в них всякое благородство. Та же тема рассматривается в диалоге Поджио «О благородстве», где противником знати введен Никколо Никколи, ведущий спор с Лоренцо Медичи, защитником

¹ Корелин М. 632 sq.

аристократии. Никколи доказывает ту мысль, что лишь мудрость и добродетель создают благородство, а то, что люди называют этим именем, не истинно и в разных местах понимается различным образом, — и при этом гуманист перебирает аристократии разных государств Италии и внеитальянских стран, чтобы прийти к такому выводу: ни праздность, ни прибыльные занятия, ни богатство, ни длинный ряд предков, ни пожалования государей не могут служить источником благородства. Но такой теоретический демократизм, вытекавший из индивидуалистической основы философствования гуманистов и из их собственного положения в обществе, был весьма далек от народолюбия. То есть и в данном отношении итальянские гуманисты, как и в защите личных прав, оставались на чисто эгоистической почве, не проявляя социального альтруизма. Мало того: если каждый из них в отдельности создавал свое положение в обществе собственными учеными и литературными занятиями, доставлявшими и почет, и выгоды, устанавливавшими в буквальном смысле знатность, то и весь класс выделял себя из массы, гордился своею культурою, видел в ней основу своего превосходства и относился с особого рода аристократизмом к простому народу. Гуманистическая наука и литература были аристократичны, — разумеется, не в сословном смысле: господство в ней латыни, когда итальянский язык Данте, Петрарки и Боккаччо, да и другие национальные языки уже достигли известной степени совершенства, — даже соглашаясь с тем мнением, что гуманистическое пренебрежение к родной речи несколько преувеличивается, — господство, таким образом, мертвого языка в литературе, преобладание в ней тем отвлеченной науки или личной морали над общественными вопросами, в особенности отсутствие в ней выражения народных интересов, не говоря уже об антикварном или только эстетическом направлении великого множества гуманистических произведений, — все это делало духовную культуру Ренессанса достоянием своего рода замкнутой аристократии, жившей своими интересами, которые не были, положим, интересами какого-либо сословия или социального класса, но, несомненно, были доступны, понятны и дороги только известному культурному слою. В эпоху Ренессанса в Италии совсем пришла в забвение мысль Данте, выраженная им в «Трапезе» (*Il convito*), в которой он задумал поделиться умственной пищей ученых с народом. Данте называет здесь счастливыми немногих (т. е. ученых), сидящих у стола, за которым им подается пища ангелов, тогда как большинство довольствуется кормом скота. «Но т. к., — говорит он, — всякий человек другому человеку по природе друг и всякий друг соболезнует о лишениях, претерпеваемых тем, кого он любит, то и сидящие за столь возвышенным столом не остаются без сострадания к тем, которые пасутся, как скот, поедая траву и желуди. И т. к. сострадание есть мать благотворения, то обладающие знанием всегда щедро подают от своего настоящего богатства и становятся живым

источником, из которого утоляется жажда знания». Не считая себя сидящим за столом счастливых, но признавая себя далеким и от пастьбы черни, Данте захотел «собирать у ног сидящих то, что падает со стола», собирать «по влечению сострадания к бедным», чтобы «устроить им общую трапезу». Вот это-то «сострадание к бедным» и отсутствовало в литературной и общественной деятельности гуманистов. Иные из них считали итальянский язык пригодным только для непросвещенной черни, и один из наименее симпатичных деятелей Ренессанса, Франческо Филельфо, заявлял, что он может излагать на языке простонародья лишь те предметы, о которых он не хочет возвещать потомству. Гуманисты других стран, в общем, были менее повинны в оторванности от народных интересов, и когда, например, Ульрих фон Гуттен в начале Реформации почуял в себе народного борца, он тотчас же бросил латынь, «которая не всякому понятна», чтобы «взывать к немецкому народу на его родном языке». Есть один итальянский гуманист, который, так сказать, воплотил в себе отрицательные черты итальянского Ренессанса и выразил их в наиболее рельефном виде. Гуманист этот — только что упомянутый Филельфо, и потому на нем стоит несколько остановиться. Филельфо (1398—1481) принадлежал к числу тех итальянцев, которые ездили в Византию за знанием греческого языка и литературы и привозили оттуда, кроме того, целые сундуки греческих книг. Попав в Венецию в качестве преподавателя, он получил от ее правительства место секретаря посольства в Константинополь, где несколько времени спустя он поступил на службу к императору Иоанну и женился на дочери своего наставника в греческом языке и литературе. Вернувшись в Италию, Филельфо сделался весьма видным и влиятельным представителем классических занятий, которого охотно желали видеть у себя во всех главных гуманистических центрах, а неуживчивость его характера как нельзя более содействовала его переселениям из города в город, — да и вообще нужно сказать, что гуманисты часто ссорились между собою, наполняя личными своими дразгами инвективы, которые писали друг против друга. В Флоренции Филельфо не удалось ужиться с Никколо Никколи и его кружком; притом по своему характеру он был более склонен к придворной жизни. Будучи человеком большого самомнения и высокомерия, как ученый, умевший говорить по-гречески и писавший изящной латынью, он в то же время ради внешнего почета и обеспеченной жизни готов был унижаться и льстить сильным мира. Одно время он нашел пристанище при дворе миланского герцога Филиппа Висконти Марии: этот деспот отлично его одарил и на придворных празднествах отводил ему место среди высшей знати, а гуманистический поэт прославлял за это своего «божественного» князя. Когда последний умер, в Милане установилась республика, раздиравшаяся партиями внутри, извне обуреваемая войнами. Филельфо в это время угождал всем партиям и всем претендентам на

власть, то прикидываясь республиканцем, то подъезжая к кондотьеру Франческо Сфорца, которому он, между прочим, аттестовал себя как человека, сидящего дома и беседующего со своими книгами, т. е. не вмешивающегося в политику. Когда миланский престол занял этот кондотьер, для Филельфо наступила новая пора благополучия. Лично Франческо Сфорца не чувствовал ни малейшей любви к наукам и искусствам, но он был политик, и ему нужен был глашатай его доблестных подвигов и славы: в числе гуманистов, служивших новому герцогу, состоял Филельфо, задумавший целую эпическую поэму под названием «Сфорциады». Придворный поэт, хваставшийся тем, что затмит славу Вергилия, постоянно выпрашивал денег у герцога, а у него их было очень мало. Казначей тирана отказал было однажды выдать требуемую сумму, но Филельфо пригрозил перейти на службу к Венеции, бывшей в войне с Миланом, и Сфорца приказал удовлетворить его просьбу. Несколько лет работал Филельфо над «Сфорциадой», издавая ее отдельными песнями и грозя прервать продолжение поэмы в случае отказа в деньгах, но она так-таки и осталась без конца за смертью ее героя, уже при жизни которого поэт не прочь был перейти и на другую службу, даже к туркам. Отношение герцога, поймавшего на хальству Филельфо, указывает на то, какую все-таки силу составляли гуманисты в общественном мнении, и к этому нужно прибавить еще одну черту: среди сильных мира и знатных особ в то время было какое-то болезненное стремление спастись от забвения в потомстве, и все они думали, что имя их сохранится на вечные времена в сочинениях гуманистов и поэтов: последние, по меткому замечанию одного историка, «своими стихами так же открывали храм славы, как ключи Петра в руке папы открывают врата рая». Филельфо буквально торговал бессмертием в потомстве и оптом, и в розницу, обирая разных высокопоставленных лиц и распространяя тот взгляд, что его неодобрительный о ком-либо отзыв может покрыть его имя вечным позором. Из множества однородных случаев приведу один: в Мантуе княжеская власть принадлежала Лодовико Гонзага, которому Филельфо однажды сообщил, что ему нужна такая-то сумма денег в приданое для просватанной дочери, и что за присылку ему пятидесяти дукатов он оплатит хвалебными стихами в «Сфорциаде»; Лодовико выслал эти деньги и после того делал Филельфо и еще очень ценные подарки. Другие итальянские князья равным образом оказывали почет знаменитому ученому и поэту и осыпали его подарками. Папы не отставали от светских государей, и Филельфо даже выпрашивал у Николая V кардинальство. Названный папа даже переманивал его к себе как хорошего переводчика с греческого, и Филельфо за папские милости начал писать хвалебную биографию Николая V.

XXXII. Гуманистическая политика¹

Гуманизм и политика. — Понимание роли личности в истории. — Политические воззрения Петрарки. — Недостатки гуманистической политики. — Взгляд Никколо Никколи на законы. — Макиавелли и «Il principe». — Индивидуализм и культ государства. — Взгляд Макиавелли на религию. — Томас Мор и его «Утопия».

Гуманистическое движение в Италии и вне Италии не могло не затронуть области политики в ее практической и теоретической сторонах. Гуманисты окружали государей, воспитывали их наследников, занимали государственные должности и в монархиях, и в республиках, исполняли дипломатические поручения разных правительств, защищали своим пером те или другие политические и династические интересы, а с другой стороны, они касались политических тем в своих теоретических рассуждениях и историографических трудах, которыми многие из них занимались довольно охотно, проявляя в этих трудах нередко и тонкое понимание современности, и знание людей вообще, а также и патриотизм, хотя и не выставляя определенных политических идеалов. Не касаясь сложной темы о гуманистической политике во всем ее объеме, мы согласно с общим планом настоящего обзора должны обратить особенное внимание лишь на одну сторону дела, именно на *ту секуляризацию политической науки, которая должна была произойти под влиянием гуманизма* как направления мысли, отличающегося светским духом. В Средние века, когда философия была «служанкой теологии», а государство находилось под опекою церкви, весьма естественно было и политическим учениям основываться на богословских доктринах, отличаться церковным характером и принимать за главный вопрос политической теории взаимные отношения церкви и государства. Но уже и тогда на понимании того, что такое государство и общество, сказывались классические традиции, преимущественно двоякого рода. Выше уже не раз отмечалось нами влияние римского права, на которое опирались защитники государственной власти в борьбе с папством и феодализмом, другой же источник заключался в Аристотеле, игравшем, хотя и в искаженном виде, очень важную роль у схоластов вроде Фомы Аквинского, соглашавшего Священное Писание и Отцов Церкви

¹ См. общие сочинения по истории политических учений (Чичерина, Paul Janet, Bluntschli, Robert Mohl и т. п.). Политические воззрения ранних гуманистов у Корелина. Далее: *Mohl R. Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften*, в третьем томе которого дана «die Machiavelli-Litteratur»; *Villari. N. Machiavelli ed i suoi tempi* (есть нем. перевод); *Алексеев*. Макиавелли как политический мыслитель. О Томасе Море соч. Mackintosh'a, Thommes'a и др. «Утопия» входит в особую отрасль политической литературы, об историческом изучении которой сделано будет указание в другом месте.

с греческим философом. Весьма естественно, что гуманистическое обращение к классической древности должно было еще более подчинить политическую мысль эпохи античным воззрениям на государство, не знавшее над собою церковной опеки, а общий дух всего движения только содействовал освобождению политической науки от теологических соображений. Мы видели, наконец, что впервые в Италии наметились также черты государства Нового времени, отрешившегося от феодальной подкладки, и что в итальянских республиках с их внутреннею борьбою аристократии и демократии и в итальянских княжествах, напоминающих древнегреческие тирании, как бы повторился государственный быт античного мира, а это должно было известным образом способствовать пониманию гуманистами политических отношений древности, развитию интереса к историческим событиям, проникновению их греко-римскими взглядами на государственную жизнь, столь отличными и от католических, и от феодальных воззрений в этой области. *Политическая наука Нового времени и тесно связанная с нею историография берут начало в эпохе Возрождения*, и в этом отношении, как и во многих других, первый, хотя и слабый почин принадлежал Петрарке, хотя и безусловно, т. к. уже Марсилиус Падуанский, как мы видели, был настоящим предтечей новой политической мысли в своем «Защитнике мира», написанном, когда Петрарка был еще двадцатилетним юношей.

Петрарка, этот глубокий индивидуалист, сводивший историю к одним биографиям, любопытен как писатель, проводящий ту идею, что человеческие личности и создают, и расстраивают общественные порядки. Описывая в одном письме современные бедствия, он замечает, что «все это не могло случиться без согласия человеческого рода», а в другом месте он высказывает веру в силу человеческого слова, «которое в состоянии привести в движение умы, могущественно развивая свою скрытую силу». Предприятие Колы ди Риенцо как нельзя более соответствовало его воззрению на историческую роль личности. Равным образом Макиавелли, главный представитель гуманистической политики, посвятил одну из последних глав своей знаменитой книги «Il principe» рассмотрению вопроса, «насколько в человеческих делах играет роль судьба и насколько можно ей сопротивляться». «Мне неизвестно, — пишет здесь Макиавелли, — что множество людей думало встарь и думает теперь, что Бог и судьба так всевластно управляют делами этого мира, что вся человеческая мудрость бессильна остановить или направить ход событий», но он сам соглашается с этим лишь отчасти, думая, что судьба управляет только половиною наших действий и оставляет другую на людской произвол — стоит нам лишь изменить свои действия, кстати, сообразно с обстоятельствами и отличаясь отважностью. Но личная роль в истории может проявляться или в смысле борьбы во имя известных идеалов, или в смысле умелого пользования обстоятельствами: гуманистическая политика в Италии пошла именно по

этой второй дороге — в зависимости от культурного и социального состояния страны. Политические воззрения Петрарки обсуждались его биографами и историками эпохи весьма различным образом, тем более что в этих воззрениях действительно были противоречия, дающие так же много поводов к разногласиям в толковании и оценке, как это случилось и по отношению к Макиавелли. Петрарка лично любил свободу, но всю свою жизнь служил деспотизму, в котором видел одно спасение от тогдашней анархии; будучи в своей философии прежде всего моралистом, он, однако, не прикладывал нравственную мерку к правителям, когда от их действий ожидал общего блага, т. к., видя бедствия, губившие его родину, он искал в общественной жизни такую силу, которая могла бы осуществить общее благо, создав политическое единство Италии под властью одного короля. Одно время он увлекался Кола ди Риенцо, потом возлагал свои надежды на императора Карла V, но потом увидел, что наиболее жизненности представляла из себя тогдашняя тирания, с которою он и заключил союз, хотя и не без колебаний, т. к. жестокость и порочность князей должны были возбуждать в нем отвращение. Известно, что переход Петрарки к миланскому тирану, архиепископу Джованни Висконти, человеку, отличавшемуся коварством и бывшему не без жестокости, весьма огорчил друзей первого гуманиста и в особенности подействовал неприятно на Боккаччо, настроенного более республикански. Когда тиран умер, Петрарка остался на службе у его племянников, из которых двое младших отравили своего брата. В конце своей жизни Петрарка служил падуанскому властителю Франческо ди Каррара, которому даже посвятил трактат «О наилучшем управлении государством» (*De republica optime administranda*). Этот трактат замечателен тем, что в нем проводится та же точка зрения, какую через полтора века развивал Макиавелли. Петрарка рекомендует государю снискивать любовь добрых граждан и внушать страх дурным, избегая как «излишней снисходительности и необдуманной слабости», так и напрасных жестокостей. Благодеяния, которыми, по его мнению, князь может достигнуть первой цели, принимают у него, между прочим, характер мер, направленных на жизненные удобства и на удовлетворение эстетических требований: правитель Падуи мог употребить для этого средства городской казны. Другое дело государя — содействовать материальному благосостоянию граждан, создающему общественное довольство и спокойствие государства, и по той же причине он советовал осторожно вводить новые налоги, стараясь по возможности убеждать народ в том, что правитель устанавливает их «против воли» и «с болью в сердце» и давая «что-нибудь от себя», дабы народ видел, что князь признает себя частью народа. Благодетельствование бедным и не только из своего кармана, но из того, что можно без несправедливости взять у богатых, также входит в число политических советов трактата. Рекомендую князю с моральной точки зрения

избегать пороков и стремиться к добродетели, Петрарка в политическом отношении советует не поручать управления государством приближенным и не давать знати привилегий. «У меня было намерение, — говорит еще Петрарка, — здесь в конце письма посоветовать тебе исправить нравы народа, но считая теперь это делом невозможным, видя, что для его исполнения всегда тщетно прилагалась сила законов и царей, я оставляю эту мысль».

Гуманистические черты политических воззрений Петрарки мы должны видеть в том взгляде, по которому люди сами, своими собственными силами и средствами устраивают и расстраивают свои общественные порядки, и в том, что порядки эти рисуются как светское государство, само в себе заключающее и основу, и цель своего существования. Но освобождая политическую мысль от теологической опеки, гуманистические учения в этой области сами лишены были нравственного принципа, который можно было бы противопоставить средневековому воззрению, ставившему государство под контроль церкви во имя морального идеала царства Божия, осуществить которое на земле и было задачей церкви. Гуманистическая мораль утверждала права личности, гуманистическая политика утверждала права государства, но как в одном случае отсутствие альтруизма и социальных инстинктов, так в другом отсутствие основного морального принципа и определенного политического идеала составляют слабое место гуманистической этики и политики. Союз представителей нового образования с тиранией был одной из причин того, что гуманизм не мог играть всей той общественной роли, какая выпадала на его долю при его превосходстве над стариною в умственном отношении, при разложении самой этой старины, при соответствии его новым стремлениям и потребностям личности и общества. Позднейшие итальянские гуманисты даже совсем изверились в какой бы то ни было политике и относились совершенно индифферентно к государственным и политическим делам, и если, например, Петрарка от тиранов еще ожидал спасения родины от внутренней анархии и междоусобиц, то другие, вроде Филельфо, помогали князьям-деспотам потому, что те им платили деньги, окружали их внешним почетом, давали им возможность беспрепятственно заниматься любимыми предметами и вести приятную жизнь при дворе. Вот почему *гуманистическая политика, в общем, лишена действительно нравственного и общественного содержания, хотя внешнее политическое искусство достигло тогда в Италии большого совершенства*, и Италия в конце Средних веков и начале Нового времени делается настоящею школою политики для государственных людей всех западноевропейских стран, тем более что пример венецианским королям и князьям подавало и само папство, в эпоху Возрождения действовавшее в духе совершенно светской политики.

Крайности индивидуализма, как бы переносящие нас во времена греческих софистов, были другою причиною недостатков гуманистической

политики. В одном из диалогов Поджио выводится Никколо Никколи, рассуждающий о юриспруденции и праве. Законодатели приписывали свои установления богам, и Никколи сопоставляет тут Моисея и Нуму с маленькой оговоркой в пользу истинности первого. Положительное право для него не имеет значения, ибо законы, как паутина, сдерживают только слабых, а сильные им, к счастью, не повинуются, — к счастью, говорит он, потому, что без нарушения законов не было бы ни военных подвигов, ни процветания наук, искусств и красноречия, и в доказательство этого тезиса им приводится множество примеров из истории и современности. Бросая взгляд на Италию, Никколи спрашивает: разве не таким образом (*appetendo rapiendoque*) выросли герцоги Ломбардии, венецианцы, флорентийцы и многие другие? Они ведь не руководствуются никаким законом (*quibus nulla lex imperat, neque ejus reguntur praescepto*), а только выгодой и увеличением своих владений (*utilitate et augmento suae reipublicae*). Вывод отсюда тот, что законы бессильны и вредны и что масса управляется более силою и страхом наказания, сильные же мира сего плюют на них и попирают их ногами. Не лучше для Никколи и каноническое право, вытекающее из папских постановлений: что один папа устанавливает, то другой отменяет, и таким образом это суть произвольные распоряжения, приспособленные к обстоятельствам (*res voluntariae, temporibus et causis accomodatae*). Никколи признает только естественное право, заявляя: *non omne legum genus impugno, sed vestrum jus civile*.

Самым полным и характерным произведением политической литературы итальянского Ренессанса был, вне всякого сомнения, «Il principe» (Государь) Макиавелли, получивший столь печальную известность, что именем его автора обозначается безнравственная, коварная и вероломная политика.

Никколо Макиавелли родился в 1469 г. во Флоренции. Вскоре после изгнания из Флоренции фамилии Медичи, Макиавелли получил место секретаря Совета десяти, которое и занимал потом более 14 лет, участвуя в эти же годы в разных посольствах в отдельные итальянские города, во Францию и Германию, а, между прочим, и к сыну папы Александра VI, знаменитому Цезарю Борджиа, который интригами, беззакониями и убийствами создавал себе в Италии княжество, причем Макиавелли пришлось быть свидетелем одного из варварских подвигов Цезаря. Один раз Макиавелли даже начальствовал флорентийским войском, взявшим Пизу. В 1512 г. Медичи вернулись во Флоренцию, Макиавелли лишился места, был заподозрен в заговоре против кардинала Джованни Медичи (будущего папы Льва X), посажен в тюрьму, подвергнут пытке и изгнан из Флоренции. По восшествии на папский престол названного кардинала он был, однако, прощен и даже сблизился с фамилией Медичи, особенно с будущим Клементом VII, который еще при его жизни сделался папой. Умер Макиавелли в 1527 г.

Макиавелли был весьма крупный мыслитель, историк и политический писатель, «Флорентийская история» (*Istorie florentine*) которого, охваты-

вающая XIII–XV вв., и «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия» (*Discorsi sopra la prima decade di Tito Livio*) принадлежат к числу первоклассных учебных произведений эпохи. Но особенно для нас важна его книга «О государе», написанная после его несчастий в 1512 г. и посвященная им Лоренцо Медичи (племяннику Льва X и отцу знаменитой французской королевы Екатерины), на которого он возлагал надежду как на возможного объединителя Италии. Макиавелли был патриот: мысль о политическом единстве родной страны господствует во всех его политических соображениях, но у него не было ни твердого политического идеала, ни непоколебимой гражданской доблести. Это был умный эгоист, которого нельзя назвать, однако, бесчестным, а книга его вовсе не была злой сатирой над тиранией, вовсе не была написана с целью изобличить деспотов перед общественным мнением, но была итогом чтений и наблюдений автора над современностью: трактат в качестве руководства для государя-объединителя мог быть собранием практических советов, как поступать для достижения известных целей. Макиавелли сам говорит, что до него многие писали о том, каким образом государи должны держать себя по отношению к своим подданным и союзникам, но что он, рассуждая об этом предмете, думает сойти с обычной дороги, т. к. находит без сравнения «более удобным при описании какого-либо предмета рассматривать его реальную сущность, а не отдаваться мечтательным увлечениям. Многие писатели, — продолжает он, — изображали государей и республики такими, какими им никогда не удавалось встречать их в действительности. К чему же служили такие изображения? Между тем, как живут люди, и тем, как они должны жить, расстояние необъятное; кто для изучения того, что должно было бы быть, пренебрежет изучением того, что есть в действительности, тем самым, вместо сохранения себя приведет себя к гибели: человек, желающий в наши дни быть во всех отношениях чистым и честным, неизбежно должен погибнуть в среде громадного бесчестного большинства. Из этого следует, что всякий государь, желающий удержаться, может и не быть добродетельным, но непременно должен приобрести умение казаться или не казаться таковым, смотря по обстоятельствам»... «Государь, — говорит он еще, — не должен опасаться осуждения за те пороки, без которых невозможно сохранение верховной власти, т. к., изучив подробно разные обстоятельства, легко понять, что существуют добродетели, обладание которыми ведет только к гибели лицо, обладающее ими, и есть пороки, усваивая которые, государи могут только достигнуть безопасности благополучия»¹. Макиавелли с политической объективностью, которая ужасает своею откровенностью, рассказывает, как создаются, поддерживаются и управляются государства независимо от образа их правления, как в них приобре-

¹ Глава XV. Цитирую по русскому переводу под ред. Н. Курочкина, изд. 1869 г.

тается, сохраняется и применяется верховная власть, и соответственно с этим им даются советы, когда, например, жестокость может быть хорошо направлена (см. гл. VIII: о правителях, достигающих верховной власти бесчестными средствами), и лучше ли государю пользоваться любовью своих подданных или возбуждать к себе страх (что значит в XVII заголовке). «Я нахожу нужным, — говорит Макиавелли, — чтобы государи достигали одновременно того и другого, но т. к. осуществить это трудно и государям приходится обыкновенно выбирать, то в видах личной их выгоды замечу, что полезнее держать подданных в страхе». Такое свое мнение Макиавелли основывает на том, что «люди, говоря вообще, неблагодарны, непостоянны, лживы, боязливы и алчны», а потому на них нельзя полагаться: люди, кроме того, «скорее бывают готовы оскорблять тех, кого любят, чем тех, кого боятся», тем более что «любовь держится на весьма тонкой основе благодарности, тогда как страх наказания никогда не оставляет человека». Пессимистическое убеждение в испорченности людей проходит красной нитью через все сочинение Макиавелли, но и сам он не высоко ставит моральное совершенство, оценивая все общественные явления с точки зрения выгоды: последнюю целью политической деятельности Макиавелли считает общее благо, осуществляемое государством и достигаемое целесообразною политикою, которая не останавливается ни перед какими средствами: если уж нельзя действовать добром, то надо решиться на всякие злодеяния, т. к. средний путь ведет только к гибели. В своем учении он вдохновлялся древним Римом, мудрость и доблесть которого им ставится в пример современникам, и для того, чтобы наглядно показать, как следует вообще поступать в политике, он и написал свои «Discorsi sopra la prima decadi Tito Livio»¹. Относительно форм правления он держался того мнения, что республика годится тогда, когда нужно лишь поддерживать установившийся порядок, но в других случаях необходима монархия — тогда именно, когда государство создается или преобразовывается, когда народ нравственно испорчен, когда существует своевольная аристократия, властвующая над народом, и когда нужно создать единство страны. Так как главной политической целью Макиавелли было «освобождение Италии от варваров» (гл. XXVI), то и понятно, что при его вдобавок взгляде на нравственность современников он находил нужным появление в Италии деспота, который действовал бы в смысле правил, преподанных ему в «Il principe».

Это сочинение Макиавелли имело непреходящее только значение политического трактата, вызванного известными обстоятельствами места и времени. В XVI и XVII вв. его «Государь» сделался настольною книгою правителей, и это явление будет для нас весьма понятным, если мы вспомним те тенденции, которые обнаруживала королевская власть уже в предыдущем

¹ Рассуждения о первой декаде Тита Ливия (*итал.*). — Прим. ред.

веке, выставившем Людовика XI, Генриха VII, Фердинанда Католика. Но и этого мало: в политических воззрениях Макиавелли проявился дух античного государства, вне себя не знающего никакой высшей силы, внутри все себе безусловно подчиняющего во имя отвлеченного принципа: *salus populi suprema lex*. Если общий колорит гуманистическому движению придется индивидуализмом, то *политическая теория Макиавелли может быть признана за полное отрицание индивидуальной свободы*. Склонялись ли его симпатии на сторону монархии или республики, основывал ли он свои воззрения на идее общего блага или на принципе политического интереса, он везде является государственным, родоначальником тех деятелей Нового времени, которые практически, как Ришелье, или теоретически, как Гоббз, — оба в XVII в., — утверждали безусловное верховенство государства над всеми проявлениями общественной жизни. Секуляризация государства сопровождалась перенесением на него того высшего на земле авторитета, какой средневековое мирозерцание признавало за церковью. С государственной точки зрения смотрит Макиавелли и на религию, тоже как на своего рода политическое орудие. В «Рассуждении о Тите Ливии» есть на этот счет весьма характерные места (кн. I, гл. II и след.). В главе о религии римлян он говорит об установлениях Нумы «как средства, прежде всего необходимого для насаждения гражданского быта: он основал религию так, что в течение многих веков нигде не было такой богобоязненности, как в этой республике, и это облегчало все предприятия сената и великих римских мужей... Изучая римскую религию, — говорит он несколько далее, — можно увидеть, какую помощь оказывала религия для начальствования войском, для соглашения народа, для поддержания добрых граждан и для посрамления злых». Нума, вводя свои установления, ссылаясь на волю богов, но так делали и другие мудрые законодатели, ибо без этого нельзя было обойтись. «Где нет религиозного страха, — замечает Макиавелли, — там государство или распадается, или должно сохраняться боязнью к государю, который в этом случае заменяет религию». Поэтому «государи и республики, желающие сохранить государство от порчи, должны прежде всего соблюдать в чистоте религиозные обряды и всегда поддерживать уважение к ним... Они должны поощрять и поддерживать все, что благоприятствует религии, хотя бы даже считали все это обманом и ложью, и чем более они мудры, чем более сведущи в познании природы, тем более обязаны поступать таким образом. Оттого, что мудрые люди соблюдали все это и действовали таким образом, явилась вера в чудеса, которые почитаются во всех религиях, даже и в ложных: откуда бы ни возникла эта вера, мудрые всегда ее поддерживают, и авторитет их внушает доверие остальным». Макиавелли рассматривает тут же современное ему состояние католической церкви, порчу которой отмечает мимоходом. «Мы, — говорит он, — мы, итальянцы, обязаны прежде всего нашей церкви и нашему духовенству тем, что потеряли религию и развратились, но мы

обязаны им еще и худшим — тем, что сделалось причиной нашей гибели... Причиною, почему Италия... не имеет общей республиканской или монархической власти, должно считать только церковь. Церковь приобрела и сохранила мирскую власть, но никогда не была настолько могущественна и достойна, чтобы занять всю Италию и сделаться в ней единодержавной, а с другой стороны, она была так слаба, что из страха лишиться мирской власти постоянно призывала на помощь себе всех, кто мог защитить ее против другой слишком усиливающейся власти в Италии».

В индивидуализме, выступившем против аскетизма, и в светской государственности, составляющей противоположность теократической идее католицизма, заключены основания Нового времени: отречение от мира во имя загробного спасения и власть церкви над миром сменяются стремлением личности к устройению своей земной жизни и стремлением государства к полному и безусловному господству на земле, но между индивидуализмом и государственностью существует также противоположность, и в политическом идеале личность так же предъявляет свои требования государству, как реальное государство свои требования — личности. Макиавелли исходит из принципа реальной государственности, но одновременно с ним другой гуманист, англичанин Томас Мор или Морус в своей «Утопии» (οὐ τόπος, небывалое место), вышедшей в свет в 1513 г., начертывает целый план идеального общества, как позднее сделает это и Рабле, изображая свой Thelème.

Томас Мор (род. 1480) был канцлером (1529—1532) Генриха VIII, обнаружившим большую моральную силу, стойкость характера и, между прочим, не хотевшим против своей совести присягнуть королю как главе церкви, когда у него этого потребовали, за что и поплатился, сложив голову на плахе (1535). Знаток древних языков, хороший политик и юрист, он и был автором сочинения «De optimo reipublicae statu deque nova insula Utopia»¹, в котором он вдохновлялся примером Платона, хотя в воззрениях Мора проглядывают уже начала Нового времени. «Утопия» — разговор между автором, его другом и одним путешественником по имени Рафаил. Сначала идет критика существующих порядков. Рафаил говорит о жестоких казнях за воровство в Англии, при которых совсем не исследуют причин этого порока, а они ясны: богатство в руках вельмож, которые держат много прислуги, и разведение овец сгоняют с земли мелких владельцев и фермеров. Казнить за кражу негуманно: воры должны быть употребляемы для публичных работ, для общей пользы и их собственного исправления. Собеседники спрашивают Рафаила, почему он не дает своих советов князьям, но он отвечает, что его никто не стал бы слушать, ибо советники государей думают только об одних завоева-

¹ Полное название этого произведения: «Libellus vere aureus, nec minus salutaris quam festivus, de optimo rei publicae statu deque nova insula Utopia» («Золотая книжечка, столь же полезная, сколь и забавная о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия»). — *Прим. ред.*

ниях, о наполнении казны, да об усилении государственной власти, тогда как он стал бы давать советы в смысле забот об общем благосостоянии и свободе. Затем Рафаил переходит к критике начал, на которых основан общественный порядок, и, как на источник зла, нападает на частную собственность, ссылаясь на мнение Платона об этом предмете. На возражение собеседников, что с отменой частной собственности исчезнет побуждение к труду, Рафаил и отвечает рассказом об острове Утопии, который он посетил во время своих путешествий: там-де установлен коммунизм, и люди счастливы. Моррисует в этой части своей книги идеальную картину быта утопийцев, сопоставляя их порядки с современным ему обществом. К сожалению, в Утопии Мора допускается рабство для неприятных работ, каких никто не захотел бы добровольно исполнять, но в основу общественных порядков положены обязательный для всех физический или умственный труд и полное демократическое равенство граждан при общности имуществ и выборном начале в управлении. Моральная философия утопийцев определяется как достижение честного, согласного с добродетелью, т. е. основанного на природе и разуме счастья с уважением к чужому счастью, ибо этим достигается еще большее блаженство. Религии у утопийцев разные, все они чтят единого верховного бога, относясь совершенно терпимо к чужим религиозным воззрениям и не допуская только к должностям людей, не верящих в Провидение и бессмертие души. Атеистам запрещено, кроме того, разговаривать с другими людьми, дабы последние не могли быть соvrращены; наконец, вне сената и народных собраний под страхом смерти запрещены какие бы то ни было суждения о политике во избежание смут. Изобразив это состояние, Рафаил еще раз делает обзор общественных несовершенств в выражениях весьма резких. Таков был в общих чертах «утопический» идеал общественной жизни, выставленный гуманизмом, признавшим равенство людей (хотя и не вполне) и обязательность для них работы в противоположность Платону с его аристократизмом и пренебрежением к труду; если, далее, Платон на первый план выдвигал благо целого, перед которым должна была склоняться личная польза, то Мор, наоборот, заботился прежде всего о благосостоянии всех личностей, входящих в состав общества. Слово «утопия» сделалось впоследствии синонимом несбыточного общественного устройства, но дело не в формах, а в принципах, и в лице Мора, в котором сильно было моральное начало совести, гуманизм проявил свою способность и к альтруизму, и к политическому идеализму, которых он был лишен в Италии, ибо проявления одного и того же отвлеченного принципа зависят и от личных характеров людей, и от условий культурной и социальной среды, которая в Италии не была средою вполне здоровою.

XXXIII. Гуманистическая наука¹

Сложность вопроса о значении гуманизма. — Значение гуманизма в умственной истории. — Научные интересы гуманистов. — Характер гуманистической науки. — Гуманистическое представление о человеке и обществе. — Выработка научных методов. — Гуманистическая публицистика. — Интеллигенция Нового времени. — Общечеловеческий характер гуманизма. — Значение классицизма. — Наука и общественное движение.

Общая оценка гуманистического движения — дело весьма сложное и допускающее разные точки зрения. Например, национальные историки Италии в большинстве случаев относятся к нему несочувственно — с патристической точки зрения, ибо Ренессанс совпал с самым тяжелым для Италии периодом ее истории, когда страну раздирали и угнетали кондотьеры, князья-деспоты, а потом в период так называемых итальянских войн — иноземные завоеватели, которые боролись между собою за обладание Италией на ее же собственной почве. Как же вели себя в это время гуманисты? Разве они не служили тиранам, подавлявшим свободу Италии? Разве в числе покровителей классицизма не было кондотьеров? Разве гуманисты в эпоху иноземных вторжений проявили патриотизм? Наконец, не слишком ли любили они древность в ущерб современности и не заявляли ли мнений вполне космополитического характера, пренебрегая весьма часто родным языком для классической латыни?.. Но гуманизм не был явлением специально итальянским: значение его в истории было гораздо шире, ибо он сделался явлением общеевропейским и притом оказывал влияние не на одну современность, занявши именно место в числе крупных исторических факторов, участвовавших вообще в создании всей культуры Нового времени, — и вот с этой-то точки зрения мы должны оценивать его положительные результаты.

Современная наука все более и более убеждается в том, что в основе гуманистического движения лежал индивидуализм, и что в результате он должен был привести к культурной секуляризации, чем и дается *та точка зрения, с которой мы должны смотреть на общеисторическую роль гуманизма*. В «возродившейся» классической древности гуманисты находили опору для своих новых стремлений, и чисто светская цивилизация античного мира не могла, со своей стороны, не возбуждать новых умственных стремлений,

¹ История умственного развития — и притом главным образом на научной почве — была предметом нескольких известных сочинений, каковы: *Дрепер*. История умственного развития в Европе (*Draper*. History of intellectual development in Europe, есть и нем. перевод); *Idem*. History of the conflicts between religion and science (появилась на разных языках в международной научной библиотеке); *Лекки*. История рационализма; *Cournot*. Considérations sur la marche des idées et des événements dans les temps modernes и др.

бывших неизвестными в Средние века. Поэтому и *оценивать гуманизм мы должны главным образом как явление в чисто умственной истории*, как движение, положившее начало светской цивилизации Нового времени, создавшее в Западной Европе науку, которою она справедливо гордится, выдвинувшее, наконец, класс светской интеллигенции, к которой в новой истории и переходит духовное руководство обществом.

О значении Возрождения в истории секуляризации мысли сказано было достаточно, но нам нужно еще рассмотреть общее значение гуманизма для развития науки. Средневековое мирозерцание, как мы видели, не допускало самостоятельного существования науки: в лучшем случае последняя признавалась, как подспорье для церковных целей, а потому ей отводилась весьма узкая область интересов, да и в той еще человек не мог двигаться с полной свободой, будучи со всех сторон обставлен готовыми решениями. Гуманисты эмансипируют науку из-под церковной опеки и дают ей самостоятельное значение в умственной жизни, направив деятельность исследующей мысли на человека, умственный интерес к которому является одним из главных признаков всего движения (хотя бы этот интерес и не всегда сопровождался моральным альтруизмом или развитым гражданским чувством). Первый научный интерес возбудил к себе сам человек: этим объясняется то, что, в общем, гуманисты особенно в более раннюю эпоху занимались исключительно одними гуманитарными науками; но без возбуждения ими вообще интереса к научному исследованию всей вообще действительности не могло бы развиваться необходимых умственных условий для того, чтобы возникло впоследствии и естествознание, в котором новой Европе также сначала приходилось учиться у древних, если не считать тех положительных знаний, какие в Средние века были заимствованы ими у арабов. Большой умственный интерес к действительности, хотя бы и сопровождаемый, как это было особенно у позднейших гуманистов, моральным и социальным индифферентизмом, очень важная черта в истории гуманизма, и она положительно противоречит весьма часто встречающемуся в исторических сочинениях взгляду, будто бы гуманисты целиком ушли в классическую древность, закрыв глаза на окружающую их современность, хотя бы, конечно, из всех областей знания, с какими только можно было познакомиться по книгам, они лучше всего были знакомы с древней литературой, что весьма часто и выдвигается совершенно напрасно на самый первый план, когда речь заходит о гуманизме. Конечно, среди гуманистов были, так сказать, специалисты классической филологии, но ни один крупный представитель движения не замыкался исключительно в эту область, чтобы заниматься только вопросами грамматики, стиля, критики текста, археологии, истории литературных произведений и другими тому подобными предметами. *Гуманисты были люди широкого общего образования: в этом их отличие от средневековых ученых, которые слишком специализировались в тех или других отраслях знания.* Уже Петрарка широко определял цель науки как са-

мопознание. Он отвергал теологию за недоступность ее предмета разуму и за то, что она не ведет к самопознанию; он выдвигал на первый план поэзию, этику и историю, говорящих о человеке, и сравнительно с ними принижал медицину и юриспруденцию, касающихся, по его мнению, менее важных сторон человека, Петрарка защищал еще занятия языческой поэзией и философией потому, что они внушают уважение к истинной религии и ведут к добродетели, и вообще моральную цель науке ставят другие ранние гуманисты, но Леонардо Бруни уже высказывает взгляд, по которому наука стоит в тесной связи с самостоятельной духовной потребностью знания. Средневековая наука не могла удовлетворить новые умственные запросы, пришлось прибегнуть к классической древности, но в ней гуманисты останавливаются преимущественно на философах, поэтах, ораторах и историках, оставаясь равнодушными к праву; если они пишут свои сочинения по латыни, то не ими это началось, да и не ими кончилось, так что в этом отношении они продолжали средневековую привычку, очищая только язык от варваризмов и вырабатывая хороший стиль, особенно подражая Цицерону, хотя и тут Петрарка выставил индивидуалистический принцип (*suns caique formandus stylus*), напоминающий нам известное изречение Бюффона: *le style est l'homme*¹. Научные занятия гуманистов, направленные на человеческие дела, должны были положить начало разным отдельным наукам, каковы педагогика, политика и история, существовавшие, конечно, и раньше, но совсем в иной форме, нежели та, какую они получают в эпоху Возрождения и в какой развиваются в Новое время, причем, разумеется, образцы им были даны писателями античного мира. Но у этих писателей гуманисты могли заимствовать лишь формы и приемы: дух исследования, полная свобода от традиций, критическое отношение к действительности, стремление к обобщению личного опыта, построение собственных теорий — все эти черты умственного индивидуализма, без которых не может существовать настоящая научная деятельность, конечно, не могли быть заимствованы внешним образом, если бы предыдущее культурное и социальное развитие не заключало в себе условий для того, чтобы выступили на сцену люди с такой умственной характеристикой.

Всем этим создавались основы дальнейшей научной эволюции, играющей такое важное значение в истории Нового времени, и особенно важно то, что усилия гуманистов были направлены на мир человеческих отношений. Какую бы роль ни играли в истории моральные принципы и социальные идеалы, — а их роль громадная, — удачное разрешение ставимых историей общественных вопросов бывает возможно лишь при свете знания, в чем и заключается великая историческая роль науки. *Гуманисты положили в основу своей науки изучение человеческой природы, каковою она является в действительности*, и как бы они ни расходились между собою в понимании и оценке

¹ «Стиль — это сам человек» (фр.). — Прим. ред.

этой природы, они были близки друг к другу потому, что стояли на одной почве, далекой от схоластики и аскетизма. Пусть Бруни находил, что человек по природе своей существо нравственное и что на лучших ее сторонах должна быть основана мораль, именно на развитии этих сторон, а не на подавлении всех инстинктов природы, и пусть Макиавелли высказывался в смысле диаметрально противоположном, чтобы сделать свои ужасные политические выводы, оба они сходятся между собою именно в том, что берут реальных людей, а не схоластические абстракции и рассматривают человека с точки зрения земных условий и целей индивидуального бытия, а не с той, которая господствовала в аскетических сочинениях. На ту же почву они переносят и политическую науку, отрешаясь от богословских соображений и теократических тенденций, основываясь на рационалистических посылах, на данных опыта, взятых из истории или современности, и на идеях общественной пользы. Национальный и политический индифферентизм, выработавшийся у гуманистов, относится к субъективной стороне их политических теорий, и мы уже видели, как следует смотреть на последние с этой точки зрения, но в том, что касается научного объективизма и исследования политических явлений, именно гуманисты являются родоначальниками общественных наук Нового времени, наук, — уже сыгравших важную роль в решении политических и социальных вопросов новых веков, — наук, которым принадлежит еще большая роль в будущем. Гуманисты в XIV—XV вв. совершенно также начинают собою ряд социологических писателей Нового времени, как жившие в XVI и XVII вв. протестантские (и католические) авторы крупных политических трактатов заканчивают собою развитие политической науки на богословской почве, начавшееся в Средние века и пережившее появление гуманистической политики, которая, однако, не осталась без влияния и на эту отрасль политической литературы.

Это движение в области науки не могло не сопровождаться выработкой научных методов. Прежде всего они были приложены к изучению классических литератур. Хорошее понимание древних авторов требовало больших усилий ума преимущественно в критическом установлении текста, испорченного переписчиками, а также в точном переводе греческих писателей на более понятный латинский язык. Дальнейший шаг был сделан в выработке исторической критики, которою занимается уже Петрарка, но особенно хорошо пользуется приемами критики источников Леонардо Бруни, решая такие вопросы, как о начале Мантуи и происхождении Цицерона, составляя биографии как этого последнего, так и Аристотеля, наконец, очищая историю Флоренции от баснословного элемента. Критические приемы Лоренцо Валлы уже составляют истинную его славу: он занимался с критической точки зрения не только теми предметами, о которых упоминалось раньше, но и римской историей, изучая Тита Ливия. Макиавелли в своих «Discorsi» своеобразно соединяет историю с политикой и философией, а в своей флорентийской истории явля-

ется одним из крупнейших исторических писателей, хотя и тут он имел предшественника в лице Бруни. Средневековому летописанию гуманистической историографией был положен конец не только со стороны внутренней, но и с внешней стороны: введению в историографию критики и исследовательских приемов и общих взглядов и оценки отдельных событий, равно как обобщений, основанных на личном опыте и на данных прошлого, соответствовала и самая перемена в форме изложения, между тем как обыкновенно личность автора средневековой хроники, совершенно исчезающая в изображаемых событиях, выдвигается в мемуарной литературе Нового времени, которой положено было начало опять-таки итальянскими гуманистами.

Не строго отвлеченное исследование сущности общества и государства, встречавшееся и у схоластов, обуславливает общественную роль политической науки, но такое отношение к этому вопросу, когда наука переходит уже прямо в публицистику, и тогда только благотворно действует публицистика, когда она возвышается до научного духа, выдвигая на первый план истину как результат исследования, а не элемент страсти и предвзвешенности. Гуманисты были настоящими публицистами Нового времени, писавшими свои политические трактаты ввиду дурно ли, хорошо ли понимаемых требований жизни и создавая целую популярную литературу (переписка, речи, инвективы, стихотворная полемика), так сказать, насыщенную научным духом, как бы мы ни смотрели на нее с моральной или политической стороны. Гуманистическая публицистика приобрела значение в обществе и *сделалась органом общественного мнения*. Конечно, мы не станем отвергать существования последнего и в Средние века, но важно было то, что выразителями и вместе с тем руководителями общественного мнения сделались люди, к голосу которых стали прислушиваться лишь потому, что они были представители образования, обязанные своим правом на влияние самим себе, своей учености и своим способностям, а не внешнему своему положению в обществе, т. е., например, не по знатности своего происхождения, не по ученым университетским степеням, не по принадлежности, наконец, к духовному сану, которая одна в Средние века была основой умственного влияния на общество. В гуманизме сказалась сила научного образования, сила науки и ума. Средневековая церковь господствовала над обществом равным образом вследствие своего умственного превосходства, как единственная носительница тогдашнего образования, но она в то же время была целой организацией, опиравшейся на известную материальную основу, которая заключалась в ее землевладении, так что стоило сделаться членом церковной иерархии для того, чтобы тем самым оказывать влияние на общество уже в силу одного своего сана; да и самое это влияние должно было получать более или менее сословный характер, не говоря уже о клерикальной окраске, которую имело все образование, развивавшееся под сенью католической церкви. Гуманисты впервые образуют интеллигенцию в духе Нового времени, в которой каждый занимает свое ме-

сто лишь в силу личного своего образования и таланта, которая не имеет по самому существу своему (другое дело местные и временные условия) сословного характера, и которая, наконец, отличается чисто светским характером. *Индивидуализм, бессословность и светскость этой первой в Западной Европе интеллигенции Нового времени составляют полную противоположность церковному, сословному и корпоративному характеру интеллигенции средневековой*, т. е. вообще католико-феодальным основам культурного и социального быта с весьма слабым в нем развитием личного начала. Развитие гуманистических принципов и составляет главное содержание новой цивилизации.

Нужно сразу охватить мыслью то значение, какое приобрела наука в Новое время, чтобы понять всю заслугу ее родоначальников перед потомством и человечеством, т. к. новая западноевропейская наука, значение которой все более и более усиливается в культурно-социальной жизни не одного Запада, и есть та сила, естественная цель которой — создать такое духовное содержание, чтобы на его основах возможно было культурное объединение человечества. Гуманизм с самого своего начала получает характер общечеловеческий, как и Просвещение XVIII в., что и объясняет нам его громадный успех во всей Западной Европе: в этом отношении он не только превосходит лютеранизм, бывший проникнутым национальными тенденциями, но и более космополитический кальвинизм, распространявшийся все-таки только в странах католической культуры, тогда как новая наука не знает ни племенных, ни вероисповедных преград для своего распространения. Гуманизм не был специальным порождением итальянского национального гения, но он в дальнейшей своей эволюции утрачивает и специфические западноевропейские свои черты, чтобы стать действительно общечеловеческим. В последнем отношении особенно важно одно обстоятельство, тесно и неразрывно связанное с Ренессансом.

В выработку нового философского, этического и социологического мирозерцания, которая была начата итальянскими гуманистами, пошло именно все богатое наследство классического мира, бывшее результатом долгой исторической жизни, продуктом великих усилий ума, синтезом всего, что могла дать жизнь не только самих классических народов, но и других древних культурных стран, влияние которых на греков и римлян не подлежит сомнению. Гуманисты были первыми людьми, заинтересовавшимися чуждым окружавшей их действительности миром и вследствие этого вышедшими из культурной исключительности: обращение христианской Европы к Европе языческой, Европы латинской к Европе греческой, Европы XIV—XV вв. к той Европе, которая существовала за тысячу лет перед тем, было великим культурным фактом. Этот интерес к чужому был сам по себе общечеловеческим, ибо человеку, как таковому, не может быть чуждо все человеческое, хотя бы оно относилось к самым отдаленным и во времени, и в пространстве предметам. Овладев знанием классического мира, новая Европа в круг своих научных интересов заключала с течением времени все

времена, народы и страны, и ту древность, в сравнении с которой античный мир есть явление более позднее, и нации самого далекого Востока до Индии и Китая, и вновь открытый мир африканских, американских и австралийских варваров и дикарей. Начало расширения научного интереса ко всему человеческому было, таким образом, положено изучением классической древности, и классицизм сделался, таким образом, научным направлением, подымавшим западноевропейскую теоретическую мысль на высшую ступень развития общечеловеческих начал в науке. Для гуманистов античный мир был не простым предметом, на котором можно было упражнять исследовательскую страсть и критические способности: они искали там опоры для своих стремлений, ответов на разные вопросы мысли и жизни, формулировки известных воззрений, образцов для подражания в отдельных родах деятельности и находили там новые идеи и новые принципы, пошедшие как материал в умственную постройку новой науки.

Понятное дело, что эта новая наука не могла не захватить в круг своих интересов своего, родного, общего всей Западной Европе или отдельным ее нациям. Гуманисты вовсе не были так увлечены древностью, чтобы из-за нее забывать все остальное, и например, три великих современника, овладевших новым образованием, Макиавелли, Эразм и Томас Мор отразили каждый по-своему свою родную действительность. Светская наука была еще слаба и вследствие внутреннего недостатка в силах, и вследствие внешних условий, чтобы тогда же, т. е. около 1500 г., овладеть всецело общественным движением, как она это сделала двести пятьдесят лет спустя во время развития просветительной литературы и просвещенного абсолютизма, но путь, по которому она пришла к тому, чтобы достигнуть господства в обществе, был намечен еще гуманистами, но уже от морального и социального содержания самой жизни зависело то, какие веяния и движения современности будут отражаться на науке, какой материал по части нравственных и общественных принципов будет поставлять жизнь для научной обработки, какие социальные и политические интересы проникнут в идейную лабораторию знания. В XVI в. наука должна была уступить первенство религии в решении вопросов не только морали, истинной сферы всякой религии, но и политики; зато происшедшее в религиозной области движение само сделалось достоянием светского просвещения, наполнив его идеями и принципами, которые были слабо представлены или вовсе не развиты в гуманистической литературе, но которые были не только плодом усилий мысли отдельных личностей, но и результатом целых политических и общественных движений, в которых сталкивались старые и новые интересы, старые и новые традиции. Для науки это течение жизни не оставалось бесследным, и в новой истории наступила пора, когда научное и общественное движения перестали существовать отдельно одно от другого, когда они встретились более прочным и более плодотворным образом, чем в эпоху Возрождения, и вследствие внутреннего прогресса са-

мой науки, и вследствие того, что и общественная история была уже и морально, и политически более содержательна, чем все итальянские внутренние перевороты и внешние войны, из которых не возникало ничего такого, что могло бы идти в сравнение с такими событиями, как немецкая Реформация, восстание Нидерландов, английская революция и т. п., ограничиваясь фактами только одного реформационного периода. Светская наука не могла рано или поздно не захватить в число своих предметов и современной действительности, и гуманисты были первые ученые, которые интересуются реальной жизнью: это выражается в их политических трактатах и сочинениях историографического характера, в которых они рассматривают окружавшую их действительность не с точки зрения каких-либо традиций, а на основании личных соображений, основывающихся на рационалистической аргументации, на исторических примерах и собственных наблюдениях автора.

На основании всего этого мы и должны *видеть в гуманизме прежде всего эмансипацию человеческого ума от догматической традиционности, которая господствовала в области мысли в течение всех Средних веков, и зарождение научного духа*, которому, впрочем, пришлось еще много бороться не только с католицизмом, но и с новой схоластикой, выработавшейся в самом протестантизме, не говоря уже о светской власти и обществе, с которыми новой науке не раз приходилось сталкиваться, когда она относилась критически к тем или другим традиционным принципам или современным интересам.

XXXIV. Возрождение и Реформация¹

Два движения в начале Нового времени: светское и религиозное. — Вопрос о взаимных отношениях Возрождения и Реформации. — Их антагонизм. — Сравнение обоих движений в Италии, Германии, Франции и Англии. — Примирение христианства и античной образованности. — Новое образование и церковная реформа. — Разные оттенки обоих движений и разнообразие их отношений. — Причины победы реформационного движения. — Чем интересна история Савонаролы?

Гуманистическое движение, возникшее в Италии в XIV в. и заглохшее в ней лишь в XVI столетии, движение, получившее во второй половине XV в. значение общеевропейское, чтобы усилиться в первой половине следующего столетия, не было единственным крупным явлением в духовной жизни западноевропейских народов в эти века их истории: как раз в то время, когда оно развивалось и, по-видимому, стремилось лечь в основу всей дальнейшей культурной эволюции, подготовлялось и другое движение, имевшее совсем иной источник и отличавшееся иным характером, движение, которое мы должны назвать реформационным по имени религиозной Реформации XVI в., когда именно оно достигло уже наибольшего напряжения и, оттеснив гуманистическое на второй план, стало первенствовать в исторической жизни. Таким образом, *новая история открывается двумя движениями — светским и религиозным, Возрождением и Реформацией, и из них второе пересиливает первое*. В самом деле, в XIV и XV вв. так называемая «порча» католической церкви вызывает против себя протест религиозный, имевший иной источник, чем все виды светской оппозиции против католицизма, и *выражавшейся не в стремлении освободить мысль и жизнь от церковной опеки, а в стремлении реформировать самую религию*, в стремлении, которое ставит для нас на одну общую почву и сектантов, отторгшихся от церкви, и предшественников протестантской Реформации XVI в., и сторонников реформы церкви при помощи соборов, т. е. вообще весьма не схожих между собою деятелей XIV и XV (отчасти и более ранних) вв., но отличающихся от итальянских гуманистов, бывших их современниками, своими религиозными и церковными стремлениями, достаточно вспомнить, что вторая половина XIV и первая по-

¹ Вопрос о взаимных отношениях между гуманизмом и Реформацией мало исследован во всем его объеме, хотя можно указать на множество сочинений, касающихся этого вопроса и даже указывающих на него в самых своих заголовках. Кроме соч. Ранке, Янсена, Гагена и др., посвященных эпохе Реформации и рассматривающих деятельность гуманистов, кроме и биографий гуманистических деятелей реформационной эпохи вроде Эразма, Ульриха фон Гуттена и др., см.: *Nisard. Renaissance et réforme; Gebhard. Rabelais, la Renaissance et la Réforme; Szynski. Odrodzenie i reformacja w Polsce; Seeböhm. The Oxford reformers Colt, Erasmus and More; Cornelius. Die münsterischen Humanisten und ihr Verhältniss zur Reformation; Kampfschulte. Die Universität Erfurt; Reindell W. Luther, Crotus und Hutten*. Для Савонаролы см.: *Осокин Н. Савонарола и Флоренция; Villari. Storia di Girolamo Savonarola e de'suoi tempi*, а также *Perrens*.

ловина XV в. были временем проповеди Виклифа и Гуса, временем распространения их учений, временем парижских богословов, выставивших идею ограниченной папской монархии и федерации национальных церквей, временем великих соборов в Пизе, Констанце и Базеле. В самый разгар гуманистического паганизма в Италии, в пору наибольшего распространения Ренессанса, в 20-х гг. XVI в. в Германии и немецкой Швейцарии начинается религиозная Реформация; в тех же двадцатых годах она овладевает скандинавскими государствами, в следующем десятилетии захватывает Англию, в сороковых годах получает новый центр в Женеве, откуда в пятидесятых и шестидесятых распространяется по Франции, Шотландии, Нидерландам, Польше, чтобы наполнить потом историю целого столетия, до середины XVII в. религиозными междоусобиями и войнами и дать религиозное знамя политическим и общественным движениям эпохи.

В каких же отношениях находились между собою Возрождение и Реформация? Вот вопрос, на который трудно дать общий и вполне исчерпывающий суть дела ответ, тем более что *нет ни одного исторического труда, в котором вопрос этот был бы решен полно, всесторонне и вполне научно*. Да и трудно его решить. Начать с того, что нужно высказать приговор о целых трех столетиях в истории Запада, если начинать гуманистическую эпоху серединою XIV в., а за конец эпохи реформационной взять середину XVII в: и гуманизм пережил разные фазисы, и Реформация тоже за эти века изменялась. Вопрос усложнится, если мы примем еще в расчет, что оба движения происходили на территории почти всей Западной Европы, у разных народов. Наконец, оба они затрагивали столько сторон личной и общественной жизни — религию, философию, науку, литературу, искусство, мораль, политику, социальные отношения, а это, разумеется, делает предмет, подлежащий исследованию, еще более сложным и трудным. Отсюда и возможность противоречивых ответов на этот вопрос, смотря по тому, какие факты принимаются главным образом во внимание (т. е., например, индифферентный ли к религии гуманизм итальянский или религиозно настроенный гуманизм немецкий), и смотря по общим соображениям, без которых нельзя обойтись при решении сложных исторических вопросов.

Я позволю себе привести некоторые соображения, которые будут исходным пунктом дальнейшего изложения. Гуманизм богаче всего и оригинальнее развился в Италии именно как светское направление, тогда как Реформация есть явление религиозное, а потому *между ними должен был возникнуть антагонизм*. Гуманисты ставили личности цели в этой жизни, понимая их в смысле земного благополучия, тогда как реформаторы исходили из идеи о спасении души, отвергнув только старые католические средства для достижения этой цели. Гуманизм был проявлением индивидуализма в области мысли, выдвигая на первый план человеческий разум и служа поэтому рационализму, а в религиозной Реформации индивидуализм проявлялся в области веры и более склонялся к мистицизму, чем к рационализму. Отворачи-

ваясь одинаково от средневековой схоластики и аскетической морали, гуманисты искали опоры своим стремлениям в античной литературе, которую для реформаторов в этом отношении заменяли Священное Писание и Отцы Церкви. Если обобщить увлечения одних, то можно признать, что их помыслы были в классической древности, отделявшейся от них целыми столетиями варварства, невежества, падения истинной образованности; обобщая же увлечения других, мы найдем у них стремление вернуться к первобытному христианству, к первоначальной церкви, в средневековой истории которой виделись лишь порча и искажение. Классический гуманизм и христианская Реформация могли бы рассматриваться с этой точки зрения как две реставрации, как восстановление двух миров, когда-то находившихся в борьбе между собою не на живот, а на смерть. Таковы чисто логические соображения, и эта логика оправдывается фактами. Возьмем Италию: в ней силен был светский гуманизм, индифферентный к религии, казавшийся прямо языческим, и в Италии не было религиозной Реформации, но когда в середине XVI в. началась здесь реставрация католицизма, то эта религиозная реакция, направленная против Реформации, оказалась губельною и для Возрождения. Иное дело Германия: здесь Возрождение принимает более религиозный характер под стать гораздо большей религиозности самого общества, и зародыши более светского направления, обнаружившегося в первые десятилетия XVI в., гибнут с началом реформационного движения. Или вот еще Франция: ее история в XVI в. делится как бы на две части, из которых в первой, до середины столетия, господствует итальянский Ренессанс, выражающийся в литературной деятельности индифферентного к религиозным спорам Рабле, скептика и проповедника жизни, сообразной с природою, а во второй половине господствует суровый кальвинизм с его религиозным фанатизмом. Аналогичное явление представляет нам и Англия, именно «старая веселая Англия» XVI в., когда сильно было итальянское влияние, когда процветал театр, когда жил совсем светский по своему духу писатель, Шекспир, о котором так-таки хорошенько и неизвестно, был ли он в душе католик или протестант в эту эпоху всеобщей борьбы двух исповеданий, и Англия середины XVII в., Англия мрачных пуритан, религиозных сект, Англия Мильтона, этого протестантского Данте. Одним словом, ни в Италии, ни в Германии, ни во Франции, ни в Англии *не уживаются между собою оба движения*, и везде за более или менее продолжительною (иногда именно менее продолжительною, т. е. довольно короткою) эпохой светского характера наступает время сильного религиозного возбуждения, которое то совершенно затирает гуманизм и вышедшие из него направления, то отодвигает их на задний план. Ко второй половине XVII в. все, что непосредственно было связано с Реформацией, начинает ослабевать, светское культурное движение мало-помалу получает перевес и достигает сильного развития в Просвещении XVIII в., деятели которого чувствуют свое

родство с гуманистами дореформационной эпохи, и нужно заметить, что чутье их в данном случае не обманывало.

Было бы весьма заманчиво остановиться на такой формулировке отношений между двумя великими культурными явлениями, которым Западная Европа главным образом и обязана переходом своим в Новое время. Но реальная жизнь и притом жизнь нескольких поколений в разных странах, притом в связи с массою всевозможных культурных и социальных отношений и с великим разнообразием индивидуальных характеров сложнее логики отвлеченных принципов: в ней есть непоследовательности, противоречия, есть стороны, которые не укладываются в схематическое построение, которые ускользают от ясной и простой формулировки. Поэтому мы и не должны придавать приведенным соображениям безусловного значения.

Основною чертою в деятельности первых гуманистов в Италии мы признали стремление *примирить христианство с античною образованностью*, и если позднейшие итальянские гуманисты сходят с этой почвы, то в других странах, наоборот, ее не покидают представители Возрождения, бывшие современниками уже реформационного движения: наиболее рельефный пример такого отношения гуманизма к христианству представляет собою Эразм Роттердамский, который был не только представителем светского Ренессанса в начале XVI в., но и настоящим основателем протестантского богословия, представлявшего из себя, — по крайней мере, в первые времена своего развития, пока и здесь не образовалась своя схоластика, — применение к изучению Священного Писания и Отцов Церкви — тех приемов, которые были выработаны при изучении классических авторов. В XVI в., когда религиозные вопросы заинтересовали и итальянцев, между последними явилось немало количество вольнодумцев, внесших рационализм в понимание христианских догматов, но и они, как мы увидим, не хотели отрываться от христианства, хотя и сходили с исторической его почвы, отрицая троичность Божества и божественность Иисуса Христа (так называемые антитринитари). Как в первые века христианства церковные писатели пользовались образовательными средствами классической древности и под влиянием античной философии складывались еретические учения, так и в XV—XVI вв., с одной стороны, обнаруживалось более или менее свободное, но отнюдь не враждебное отношение к христианству, а с другой — *стремление воспользоваться средствами нового образования для блага церкви или в целях ее реформы*. На него думает опираться архиепископ гнезненский Сбигнев Олесницкий для противодействия гуситству в Польше; им овладевает религиозное «братство общей жизни» в Германии; в числе помощников Лютера и вообще реформаторов были люди гуманистической науки, каковы Меланхтон или Эколампаций. Церковная реформа XVI в. нуждалась в умственных силах, в научных средствах, и вот эти-то силы, эти средства достав-

лены были ей Возрождением с его знанием древних языков, с его новыми приемами исследования, с его отвращением к схоластике. Одним словом, оба движения были способны сближаться одно с другим на некоторой общей почве, так что та противоположность между ними, которая была указана выше на основании отвлеченных соображений и некоторых исторических обобщений, вовсе не была безусловною. В этом отношении мы имеем право говорить о более умеренных направлениях, какие принимались светским Возрождением и религиозной Реформацией, и о направлениях более крайних, в которых именно и проявлялся с наибольшею силою указанный антагонизм. В самом деле, не было уже никакой общей почвы, например, с одной стороны, у того гуманистического направления, которое отличалось в делах веры и морали индифферентизмом, скептицизмом, паганизмом и эпикуреизмом, а с другой, у фанатического сектантства, отрицавшего науку, образование, радости жизни, хотя рационализм одного и мистицизм другого были проявлениями одного и того же индивидуализма, противопоставляющего всему объективному или личный разум, или личную веру. Между людьми, органически сливавшимися в себе дух нового образования и религиозные интересы, с одной стороны, и людьми, или исключительно дорожившими интересами земной жизни и светского образования, или, наоборот, насквозь проникнутыми мыслью о спасении в ином мире и о реформе религии, мы находим целый ряд людей, в которых элементы обоих движений, то сходящихся в одном пункте, то диаметрально расходящихся, встречаются в разных сочетаниях с большим или меньшим перевесом или того, что составляло сущность Ренессанса, или того, что было содержанием Реформации. Во всяком случае, лишь очень немногие, вроде Эразма Роттердамского, могли бы служить примерами сколько-нибудь равноправного сочетания гуманистических и теологических интересов: у других деятелей, носящих на себе следы влияния обоих движений, перевешивает либо одно, либо другое, и то вся новая образованность поступает на службу религии, то, наоборот, религиозная реформа вызывает к себе сочувствие лишь вследствие соображений, имевших отношение к светским стремлениям вообще и в частности к интересам нового образования. И вообще при сближении обоих движений, даже тогда, когда ни одно из них не делалось принципиальным врагом другого, между ними не могло быть равновесия, т. е. происходило усиление этого и ослабление того, так что на первый план выдвигается либо гуманизм, либо Реформация. Одним словом, когда мы смотрим на эпоху издали, различаем лишь основные линии и крупные очертания культурно-исторического процесса, совершавшегося в Новое время, мы можем строго отграничить одно явление от другого, провести резкое между ними отличие, приурочить каждое к определенной эпохе, которой в наших глазах оно и дает известную окраску, но ближе приглядываясь к исторической действительности, исследуя каждую ниточку пестрой ее ткани, мы теряем возможность

строго различать характерные особенности интересующих нас движений, резко отделять признаки одного от признаков другого, когда эти признаки соединяются в одном и том же факте, в одном и том же лице или группе лиц, в одной и той же эпохе.

С подобными лишь ограничениями только и можно говорить о противоположности Возрождения и Реформации, выросших на одной и той же исторической почве и находившихся в известном взаимодействии между собою, и с теми же лишь оговорками, позволительно как в истории всей Западной Европы, так и в истории отдельных стран, установить деление на периоды по преобладанию гуманизма или религиозных интересов. Мы едва ли ошибемся при этом, если, в конце концов, остановимся на том положении, что *религиозная Реформация XVI в. затерла на более или менее продолжительное время и в большей или меньшей степени то светское культурно-историческое движение*, характернейшим продуктом которого был гуманизм. В обществе, жившем преданиями средневекового католицизма, возникло культурное направление, сначала бессознательно, потом сознательно поставившее себе целью секуляризацию мысли и жизни, а полная расшатанность католической системы, омирщение самой церкви обеспечивали временный успех этого направления, под знаменем которого, могло казаться, и должно было бы пойти практическое разрешение политических и социальных вопросов, поставленных предыдущую жизнью государства и общества, но этого-то именно и не случилось: на целые почти полтора века политические и социальные движения подчинились религиозным началам, хотя и в новых формах, возникших на развалинах средневекового католицизма, и в том, что общество подчинилось им сильнее, чем началам гуманизма и классического Ренессанса, не было ничего удивительного, раз мы признаем, что *гуманизм и классицизм даже в Италии затронули лишь верхи общества, да и в этих верхах содействовали образованию лишь незначительного меньшинства, вполне проникшегося светскою культурой Возрождения*. Гуманизм не проникал в народные массы, понимавшие моральные и социальные принципы лишь в религиозной обосновке, а в образованном обществе он не был исключительным и всеобъемлющим направлением, и вот когда явились на смену обветшалым идеям католицизма новые религиозные идеи реформационной эпохи, они тотчас же нашли отклик во всех слоях общества, и жизненные интересы последнего тотчас же нашли формулировку, ставившую их под знамя этих идей. Нужно было, чтобы улеглось возбуждение, произведенное реформой церкви, и пошедшие под ее знаменем или в связи с нею политические и социальные движения, нужно было, чтобы дело, начатое итальянскими гуманистами, окрепло, расширилось, чтобы усилилось его значение и влияние в обществе, одним словом, нужны были новые и новые шаги на пути общего культурно-социального развития, и только тогда могла произойти новая и более решительная секуляризация теоретической и практической мысли, та, которую мы наблюдаем в Просвещении прошлого века, и лишь тогда могли со-

вершаться государственные и общественные перемены под влиянием чисто светской философии и науки. Таким образом, *в общем культурно-социальном состоянии Западной Европы при переходе от Средних веков к Новому времени мы должны искать объяснения того, почему Возрождение не играло в истории столь шумной роли, какая выпала на долю Реформации*, и почему из двух течений, связанных с этими именами, одно было отодвинуто другим, сужено и затерто. Эта причина — основная, и в сравнении с нею мало имеют значения известные недостатки итальянского гуманизма, часто, впрочем, преувеличивавшиеся, особенно национальными итальянскими историками, которые упрекают гуманистов за политический индифферентизм, за службу кондотьерам и тиранам, за отсутствие патриотизма, за малую выработку характеров, за эпикурейскую мораль, за чрезмерное увлечение древностью и пренебрежение к современности, за сосредоточение своих интересов на археологии и искусстве и т. д. Все перечисленные недостатки, даже оставляя в стороне неправильные обобщения и преувеличения, были результатом печального политического и морального состояния Италии, отнюдь не естественными и неотъемлемыми свойствами самого гуманизма, но и люди, настроенные на общественный лад, со стойкими характерами и твердыми убеждениями не могли бы оказывать исключительно влияния на широкие круги общества и особенно на народные массы в ту эпоху, когда во всех проявлениях жизни царил, хотя и расшатанная, католическая церковность.

Даже в самой Италии, родине гуманизма, Возрождение не имело под собою действительно народной основы: это видно, между прочим, из того, что случилось в одном из главных гуманистических центров, именно во Флоренции в самом конце XV в., после блестящего периода Медичи именно из известного эпизода с монахом Джироламо Савонаролой, на время установившим во Флоренции совершенно монастырский режим. Савонаролу нередко причисляют к предшественникам Реформации, но это неверно: знаменитый проповедник покаяния и монах-пророк имеет лишь то общее с реформаторами, что обличал «порчу» церкви, но во всем остальном он был настоящим воплощением средневекового аскетизма на почве строгого католического правоверия; он не только не создал новой церкви, но и не провозгласил никакого нового религиозного принципа, его учение было оправдано папою Павлом IV и реабилитированному в XVI в. Савонароле в XVII в. была составлена церковная служба. Самое интересное в эпизоде его владычества во Флоренции в девяностых годах XV в. заключается в том, что средневековый аскет, воспитанный на Фоме Аквинском, мог, хотя и временно, быть господином положения в городе, имевшем значение одного из крупнейших гуманистических центров, и вести в нем успешную борьбу со светским культурным направлением. Вдохнув жизнь в тосканские монастыри бенедиктинского ордена, Савонарола создал свое положение проповедью покаяния, пророческими предсказаниями (поход Карла VIII в Италию, бывший началом

итальянских войн). «Единственное добро, — проповедовал он, — совершенное Платоном и Аристотелем, состоит в том, что они придумали аргументы, которые можно употребить против еретиков. Однако и они, и другие философы находятся в аду. Любая старуха знает о вере более, чем Платон. Было бы целесообразным для веры, если бы многие некогда казавшиеся полезными книги были уничтожены. Если бы не было такого множества книг, естественных доводов разума (*ragioni naturale*) и диспутов, вера быстрее распространилась бы». В особом сочинении Савонарола доказывает вред науки вообще. По его мнению, ее изучением должны заниматься только немногие люди, чтобы не погибала традиция человеческих знаний, а главное, чтобы всегда имелись ученые, искусные в опровержении ересей, для остального же общества довольно изучения грамматики и священных книг. Несомненно, Савонарола был крупным человеком, если ему, жившему такими средневековыми идеями, удалось победить гуманистический энтузиазм флорентийцев, но победа эта опиралась на помощь людей, врывавшихся в частные дома и силою требовавших предметов, гонимых суровым аскетизмом. Известны торжественные сожжения на кострах масок и маскарадных костюмов вместе с латинскими и итальянскими книгами, в числе которых были сочинения Петрарки и Боккаччо, вместе с картинами, с разными произведениями искусства и предметами роскоши. А ведь Савонарола не был единственным проповедником покаяния, имевшим успех, история же его указывает на то, что было возможно в Италии в самый разгар паганизма. Политическая роль Савонаролы во Флоренции, его итальянский патриотизм, его оппозиция папству во имя старых идеалов аскетизма и теократии, его трагическая судьба и сожжение на костре (1498) относятся к иному кругу явлений, нежели те, которые нас теперь интересуют, а потому этого всего мы здесь и не касаемся, но говоря о Савонароле, нельзя не вспомнить женевого реформатора XVI в., Кальвина, одного из самых резких противников католицизма, также превратившего, однако, Женеву в подобие монастыря и с таким же рвением, как и флорентийский пророк XV в., преследовавшего мирские удовольствия и чересчур светские книги. Нельзя также при этом не остановиться мыслью и на той католической реакции, которая со второй половины XVI в. убила в Италии умственную жизнь и до такой степени прервала традицию гуманизма, что для позднейших поколений Петрарка и Боккаччо были только итальянские писатели, творцы национального языка и литературы.

Заговорив о взаимных отношениях Возрождения и Реформации, до сих пор еще весьма мало исследованных, чтобы не сказать: почти совсем не исследованных, я имел в виду только наметить главные пункты вопроса, в особенности же указать на то, что, по существу дела, гуманистическое и реформационное движения, встретившиеся одно с другим, относятся к совершенно различным категориям явлений в истории той оппозиции, того протеста, которые поднялись со всех сторон против средневекового католицизма.

Мы рассматривали до сих пор одну сторону католицизма и одну категорию оппозиции против него в конце Средних веков: католицизм создавал известные рамки для индивидуальной и социальной жизни, но личность и общество тяготились этими рамками и выступали с оппозицией против этой системы, но восставали во имя человеческих начал счастья и свободы, во имя прав общества, как нации, государства и совокупности отдельных сословий и классов, и высшим проявлением этой оппозиции был светский гуманизм, опиравшийся на светскую философию, науку и литературу классического мира. Нами, далее, указано было на то, что это движение уступило, однако, первенство другому движению, также имевшему оппозиционный по отношению к католицизму характер, но совершенно иной источник: это был именно протест против церкви во имя уже религиозных начал, соединенный не с желанием секуляризации мысли и жизни, а со стремлением к ее преобразованию в духе новых религиозных идей. Реформационное движение, идущее параллельно с секуляризационным, вытекало из неудовлетворительного состояния самой церкви, из того, что на языке эпохи называлось ее «порчей в главе и членах».

Порча церкви и стремление
к реформе

XXXV. Упадок папства и монашества¹

Реформы Григория VII и их судьба в XIV и XV вв. — Великий раскол. — Моральный упадок папства. — Симония и фискальный характер курии. — Преувеличенные представления о папстве. — Упадок монашеских нравов. — Разложение средневекового католицизма. — Общие причины деморализации клира. — Морально-религиозный протест. — Общее значение XIV—XV вв. в истории католицизма.

То, что в эпоху религиозных движений и церковных реформ конца Средних веков и начала Нового времени называлось порчею церкви, не было явлением совершенно новым в истории католицизма. И раньше бывали периоды упадка церковной жизни, и раньше производились в ней преобразования, которые выводили ее из печального состояния. Известно, например, в каком положении был католицизм в X в., и известно, какими мерами поднял из упадка папство и клир в середине XI в. энергичный Григорий VII. На этом нужно немного остановиться, ибо к XIV—XV вв. *реформы Григория VII оказались, так сказать, износившимися, а в конце Средних веков не явилось другого такого папы, который устранил бы порчу церкви.* До Григория VII выбор папы был нерегулирован: утверждение пап императорами (сначала византийскими, потом западными) позволяло в это дело вмешиваться светской власти, а в противном случае выбор был в зависимости от римских аристократических партий, вследствие чего происходили иногда двойные выборы, что бывало причиною схизм, — на папский престол попадали недостойные люди, иногда возводившиеся на него женщинами, иногда в слишком юном возрасте (Иоанн XII в X в. совсем мальчиком), совсем не соответствовавшие высокому сану первосвященника (Иоанн XII посвятил дьякона в конюшне (in equorum stabulo)). Григорий VII, еще будучи монахом Гильдебрантом, при папе Николае II учредил коллегия кардиналов, которой и было предоставлено избрание папы в том предположении, что высшие духовные сановники не станут разделяться между собою и будут останавливать свой выбор на людях достойных. Посредством закона об обязательном безбрачии духовенства (целибат) Григорий VII думал теснее свя-

¹ Визинский Г. Папство и Священная Римская империя в XIV и XV вв.; *Грегориовиус*. История города Рима в Средние века (*Gregorovius*. Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter); *Haas*. Geschichte der Päpste; *Ланфре*. Политическая история пап (*Lanfrey*. Histoire politique des papes); *Rocquain*. La papauté au moyen âge; *Wattenbach*. Gesch. des röm. Papstthums; *Pastor*. Gesch. der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters; *Ранке Л.* Римские папы, их церковь и государство в XVI и XVII веках (*Ranke L.* Die römischen Päpste, ihre Kirche und ihr Staat im XVI und XVII Jahrhundert); *Creighton*. A history of the papacy during the period of the reformation. По истории великого раскола новое сочинение: *Gayet*. Le grand schisme d'Occident.

зять духовенство с интересами церкви, сделать его более независимым, устранить возможность наследственного духовного сословия. Наконец, Григорий VII вооружился против продажи церковных должностей, т. е. против симонии, которую практиковали светские владетели, распоряжавшиеся духовными местами по их связи с феодальными владениями, и знаменитое запрещение инвеституры имело своею целью не только сделать клир независимым от государей, но и восстановить каноническое избрание, прекратить симонию. Усилия Григория VII принесли свои плоды, но к XIV и XV вв. его реформы обнаружили свою несостоятельность как мер, рассчитанных на обеспечение церкви и во все будущие времена от указанных зол. После победы Филиппа Красивого над Бонифацием VIII папство в лице Климента V переносит свою резиденцию в Авиньон, но избрание его преемников по-прежнему кардиналами не спасло Святой престол от занятия его недостойными людьми: авиньонская курия прославилась своим развратом, а папы XV в. были не лучше своих предшественников XIV в. Мы еще увидим, при каких обстоятельствах был в начале XV в. избран Иоанн XXIII, бывший раньше пиратом, а впоследствии судившийся констанцским собором, причем некоторые пункты обвинения по скандальности своей требовали процесса «при закрытых дверях». Коллегия кардиналов не оберегла церковь и от схизмы и притом от небывалой раньше, — от схизмы, продолжавшейся чуть не сорок лет и потому известной под названием великого раскола. В конце семидесятых годов XIV в. папа Григорий XI приехал из Авиньона в Рим, где и скончался. Римское население потребовало от сопровождавших его кардиналов, чтобы был выбран на его место итальянец и чтобы он остался жить в Риме. Папою сделался тогда Урбан VI — в Риме, но кардиналы, оставшиеся в Авиньоне, выбрали Климента VII, да и впоследствии и римская, и авиньонская курии выбирали каждая своего папу, из которых одного признавали одни страны, другого — другие. Раскол сопровождался взаимными проклятиями пап и скандальными разоблачениями, ронявшими авторитет папства. Порча церкви в главе отражалась и на членах, среди которых притом развивается конкубинат, делавший безбрачие фикцией. В то же время больших размеров достигает симония, но уже на новой почве: торгует церковными местами, хорошо оплачивавшимися постоянным доходом (бенефициями), уже само папство, сосредоточивая в своих руках раздачу должностей, соединяя по нескольку бенефиций в одних руках, давая места без обязательства исполнять должность (*beneficium sine cura*), устанавливая разные поборы при назначениях. Таким образом, реформы Григория VII оказались через два-три века бессильными, чтобы предохранить церковь от схизм, от порчи нравов духовенства, от симонии, и великий раскол, продолжавшийся почти сорок лет, разделивший католические нации на римскую и авиньонскую паствы, сопровождавшийся скандальною полемикою двух курий, был лишь самым резким симптомом того, что стало называться порчею церкви в главе и членах.

Основная причина упадка папства заключалась в его отступлении от спиритуалистического идеала, в его материализации, в стремлении к светскому господству и к стяжанию денежных средств, на что оно было натолкнуто особенно своею борьбою с Гогенштауфенами. Духовные интересы отступили на задний план перед интересами мирскими. Авиньонские папы более всего заботились о своей итальянской области, которой грозили соседи, вместе с чем и в самом Риме подымала голову непокорная аристократия, и вот для отражения одних политических врагов и для обуздания других, для посылки в Рим кардиналов-легатов, для найма военных отрядов оказывается нужным много денег, но много денег оказывается нужным и для содержания курии, для той роскоши, какую окружает себя авиньонское папство. Духовная власть делается тогда источником доходов, и та же духовная власть пускается в ход как политическое средство, когда отлучение от церкви падает, например, на Венецию за то, что она напала на союзную с папой Феррару, или за то, что она не дала галер своих неаполитанскому королю. То, что началось в Авиньоне, успешно продолжалось в Риме, когда миновала опасная для пап пора великого раскола и соборов первой половины XV в., стремившихся реформировать церковь, и мы еще увидим, что папы второй половины XV и начала XVI в. были прежде всего итальянские князья и светские правители, а потом уже духовные владыки католического мира.

Папские доходы были громадные, и среди источников этих доходов симония, более или менее открытая или замаскированная, играла не последнюю роль. С Иннокентия III спорные выборы епископов дают повод папам от себя замещать вакантные кафедры, а т. к. выборы были обставлены многими формальностями, то и нарушение последних или пропуск срока были поводами для папского вмешательства. Иногда папы обращались к капитулам, имевшим право избрания на должности, с просьбами (*preces*), заменявшимися нередко более настоятельными указаниями на кандидатов (*litterae monitoriae*, *litterae praeceptoriae*) или прямо такими грамотами, в которых уже давалось приказание исполнить папскую волю (*litterae executoriae*). Если епископ умирал во время пребывания в курии или путешествия туда или обратно (*vacantes in curia*), папа прямо назначал его преемника, а случалось, что преемник намечался еще при жизни своего предшественника (экспектанция), и тогда выборов не было, для низших же должностей существовали способы пользования доходами до фактического вступления в должность, если она давалась лицу, не достигшему канонического возраста. Умирал епископ, папа пользовался его имуществом и получал доходы с епархии до назначения преемника покойному (*jus spoli* и *fructus medii temporis*), а с Иоанна XXII установились аннаты, т. е. равная годовому доходу плата, которую епископ платил папе: был даже тариф, где значилось, сколько должны платить разные епископства, а пере-

мещения из одного в другое были лишними поводами получать аннаты. Продавались за деньги разные утверждения, апелляции, привилегии, диспенсации и т. п., ибо без денег в курии ничего не делалось (*curia romana non curat ovem sine lana*), что говорило о фискальном характере папства, которое оказывалось благоприятным только по отношению к «дающему»:

Cum ad papam veneris, habe pro constanti,
Non est locus pauperi, soli favet danti¹.

Собиралась еще подать на Крестовый поход, обращавшаяся на борьбу с политическими противниками папства, а кроме того, праздновались юбилеи католической церкви, когда богомольцам в Риме обещалось прощение от грехов, и паломники приносили с собою много денег. Установление это ведет свое начало с Бонифация VIII, на понтификат которого пришлось начало XIV столетия, но Клименту VI захотелось отпраздновать также юбилей, и он сократил столетний срок, назначенный для юбилеев Бонифацием VIII, на 50 лет, после чего Урбан VI еще сократил юбилейные периоды до 33 лет в воспоминание числа лет земной жизни Спасителя, а Сикст IV — «по причине краткости человеческой жизни» (*ob brevitatem vitae humanae*) уже прямо на 25 лет. В праздновании юбилея была денежная выгода, и папам было лестно, чтобы, не дожидаясь отдаленного срока, до которого можно было и не дожить, представился такой случай получения лишних доходов. Знаменитые индульгенции, которыми продавалось за деньги отпущение грехов, были также источником для наполнения папской казны: грехи были распределены на категории и расписаны по рубрикам денежной таксы, составлены были отпустительные грамоты, которые пущены были в продажу, как теперь продаются ценные бумаги, и для довершения сходства торговля этими бумагами отдавалась на откуп банкирским домам. Одним словом, *папская теократия выродилась в какое-то фискальное учреждение*, что не мешало защитникам ее прав заявлять самые неумеренные притязания на значение папства как чисто божественного учреждения. Действительность была в полном противоречии с идеей, и если этим противоречием оскорблялось вообще нравственное чувство, то более развитая религиозная совесть, в частности, плохо мирилась с суеверным обогащением папской власти, продолжавшимся и даже усилившимся в эпоху авиньонского плена, когда, по-видимому, менее всего можно было думать о папском всемогуществе, или в эпоху великого раскола, когда взаимные разоблачения двух курий роняли достоинство пап даже как обыкновенных смертных. Образцом неумеренных теоретиков папской власти могут служить два автора XIV в., для коих, по-видимому, мало

¹ Досл.: «Если ты направился к папе, имей в виду: у него не место бедным, лишь богатым он оказывает благодетеля» (*лат.*). — Прим. ред.

было того, что «рабы рабов божих» (титул Григория Великого — *servus servorum Dei*) превратились постепенно из преемников ап. Петра в заместителей Христа, заместителей Бога (*vicarius Christi, vicarius Dei*). Один из этих авторов, августинский монах Августин Триумф, в сочинении «*Summa de ecclesiastica potestate*», приписывая папе безусловное верховенство на земле, доводит понимание его священного сана до крайних пределов, отождествляя приговор папы с приговором самого Бога, утверждая, что папе следует поклоняться, как Богу, а францисканец Альвар Пелагий в трактате «*De planctu ecclesiae*», отдавая папе две власти, духовную и светскую (как у Христа два естества), и провозглашая, что эта двойная его власть беспредельна (*sine pondere, numero et mensura*), объявлял, что на папу нельзя никому апеллировать, ибо суд его и суд Христов на земле одно и то же (*unum est consistorium et tribunal Christi et papae in terris*), и что папа не простой человек, а Бог (*papa non est homo simpliciter, sed Deus*), что папа — Бог императора (*papa est Deus imperatoris*). Если римский первосвященник как духовный владыка, заявлявший притязание на светское господство, *вызывал против себя оппозицию политическую, то деморализация папства, с одной стороны, и суеверное поклонение его сану, с другой, возмущали более чуткое нравственное чувство и более развитую религиозную совесть*, делаясь нередко предметом и сатирической насмешки.

Религиозно-нравственный протест и насмешливое отношение вызывало против себя и монашество вследствие своей испорченности, не говоря уже о той оппозиции, какую оно встречало со стороны светского общества как сословие, жившее на чужой счет, и оставляя в стороне проявления оппозиции против самого аскетического идеала. Монашеский обет нестяжания находился в противоречии с земельными богатствами монастырей и с тем способом, как они тратили свои доходы в конце Средних веков. Для сатирической литературы этой эпохи монахи — неисчерпаемая тема, развиваемая в фавлю и новелле, в «Романе о Лисе» (*Roman du Renard, Reinhardus Vulpes*), отражающаяся в дидактике «*Roman de la Rose*» и т. п., и обличениями монашеской испорченности полна публицистика той же эпохи. Допустим, что сатира могла преувеличивать, что памфлеты по самому существу дела должны были накладывать густые краски, но то же самое, что и эти произведения, свидетельствуют нам известия, идущие из аскетического же лагеря, со стороны людей, которые не скрывали недостатков своих товарищей и скорбели о порче, закравшейся в монастырскую жизнь. Например, св. Бернар Клервоский, проповедник второго крестового похода (в середине XII в.), замечает, что гораздо легче найти благочестивых лиц среди светских людей, нежели среди монахов (*Multo facilius reperias multos saeculares converti ad bonum, quam unum quempiam de religiosis transire ad melius*), прибавляя, что такой монах — редкая птица (*rarissima avis est*). «Они, — говорит Иоанн Салисберийский, — не живут с другими людьми,

своими ближними, они ведут ангельскую жизнь и беседуют с небесами. Они ежедневно постятся и беспрестанно молятся, но так, чтобы об этом все знали. Они любят выставить бледность лица своего, показывать свои слезы. Не предлагайте духовного сана этим смиренным христианам: они вам скажут, что они недостойны. В самом деле недостойны, ибо чаще всего они заранее купили себе то, от чего с таким смирением будто бы хотят отказаться». О порче монахов и монастырской жизни так говорит Petrus Cellensis: «Монахи живут в бесстыдстве, преданные брюху, роскоши и всем грешным страстям; им сладко только вино, им горек только монастырь; они любят только плоть и мир, им ненавистны слово и дух Христовы». Многие монахи оставляли тишину монастырей и предавались светским делам. Так, по поводу занятия монахов адвокатурой говорилось на реймском соборе (1131) следующее: «Пламя жадности охватывает душу монахов, они мешают правду с неправдой, чтобы получить как можно больше денег». Собор 1240 г. также осуждает занятие монахов мирскими делами, а в особенности торговлею, как тесно связанною со всякого рода обманом. «Разве, — говорилось в соборном постановлении, — избранные Господа могут служить мирянам, людям, принадлежащим сатане? Разве это не унижение для духовной власти быть подчиненною светской и быть обязанной отдавать ей отчеты?... Нет договора, в котором одна из сторон не стремилась бы обмануть другую, нет продажи, с которою не было бы соединено греха; миряне сами должны были бы воздержаться от этого постыдного занятия, что же сказать о духовных, которые ему предаются?» Или вот как один парижский магистр в письме к другу своему канонику характеризует монахов со стороны обета нестяжания: «Редкость большая — монах, который не присвоил бы той или другой вещи; слова “мое” и “твое” раздаются в монастырях чаще, чем имя Бога. Нет из тысячи монахов ни одного, который оставался бы верным своему обету. В XIII в. возникли два монашеских ордена францисканцев и доминиканцев, которые отрекались от всякой собственности, даже и от общей и получили название нищенствующих орденов: это была своего рода реформа монашества, но всеобщая порча церкви проникла и в среду нищенствующих, у которых место прежней добровольной бедности также заняла страсть к наживе. Любопытны, например, следующие слова св. Бонавентуры о францисканцах через 70 лет после основания ордена: «Деньги, этот смертный враг нашего ордена, вымогаются с такою жадностью нашими братьями, что прохожие боятся встреч с ними и бегут от них, как от грабителей на большой дороге. Наша бедность — вопиющая неправда: мы просим милостыни, как нищие, а сами плаваем в изобилии». Еще одна черта монашеской жизни — взаимное соперничество разных орденов, доходившее до ненависти одних к другим. «Хотя, — говорит Петр Достопочтенный, — они и принадлежат к одной семье, одному ордену, они глубоко ненавидят друг друга и ведут

одни с другими войну не на живот, а на смерть. Я не раз видел черного монаха, который, встретив белого, смеялся над ним, как будто бы видел какое-нибудь странное чудовище, кентавра или химеру. Из-за чего же монахи, имеющие одного отца, до такой степени враждебны друг другу? Это гордость их заставила враждовать. Черные монахи, более древние, не могут простить, что белые отняли у них их популярность, а белые гордятся тем, что они возродили орден св. Бенедикта».

Высшее и низшее духовенство светское (епископы и священники) равным образом подлежали обвинениям в нравственной порче, но главным образом именно папство и монашество, представители средневековых теократических и аскетических принципов и идеалов, вызывали против себя протест и делались предметом обличения и насмешки: в том состоянии, в каком находились перед Реформацией папство и монашество, мы должны видеть *прямые признаки внутреннего разложения католицизма*, ибо лица, которые должны были отречься от мира и господствовать над миром именно своим служением духовным потребностям человека и общества, не стояли уже на высоте своего призвания, изменяли собственным своим принципам, на которых было основано самое их существование как пап и монахов, жили в противоречии со своими идеалами, во имя которых только и могли требовать подчинения себе со стороны светского общества, погрязали в разврате и любострастии. Средневековая католическая система была раньше сильна не только слабостью начал, которые могли бы выступить с оппозиционными стремлениями, т. е. слабостью национального самосознания, государственной власти, общественной солидарности и неразвитостью личности, но была могуча и собственной силою, которую она почерпала из морального превосходства своих представителей над светским обществом и из услуг, какие они последнему оказывали. Люди легко подчиняются авторитету, раз чувствуют его нравственное превосходство, мирятся с привилегиями, когда они соединены с услугами: духовенство и монашество были защитниками слабых, благотворителями бедным, пионерами гражданственности, носителями просвещения, инициаторами божьего мира (*treuga Dei*) и проводниками гуманности в общественные отношения и т. д. Система, в основу которой была положена идея о превосходстве духа над телом, конечно, требовала, чтобы ее органы соответствовали этой основе. Светское общество росло, должно было расти и духовенство, а между тем оно делалось не лучше, а хуже, и этим подрывало свой авторитет. От взявшего на себя много многого и требуют, и каждое противоречие между словом и делом в подобных случаях особенно бросается в глаза и потому особенно охотно ставится в счет. С другой стороны, услуги, оказывавшиеся прежде обществу со стороны церкви, стали исполняться другими органами: государство окрепло для обеспечения внешнего порядка, промышленность нашла свою организа-

цию в цехах, образование стало развиваться и не среди одних церковников, а между тем последние начали пренебрегать исполнением своих обязанностей, и вот этим также вызывалось общественное недовольство, напоминавшее клиру о необходимости нравственного исправления и строгого исполнения своих обязанностей: властолюбие и корыстолюбие особенно выдвигались как признаки порчи, и им противопоставлялись христианское смирение и апостольская бедность.

Но откуда же шла эта порча церкви? В основе католической системы с ее теократической идеей и аскетическим идеалом лежал крайний спиритуализм, но общество, среди которого приходилось существовать этой системе, было грубо: ее представителям следовало воспитывать, морализировать это общество, эту духовную свою паству, но паства была не только средой, окружавшей пастырей, но и средою, из которой последние выходили сами. В этом была одна опасность для системы, другая вытекала из задачи и средств самой системы. Церковь была учреждением духовным, представлявшим на земле «царство не от мира сего», но в грубом обществе она не могла держаться одною духовною силою, а стремясь подчинить себе государство, боровшееся за свою самостоятельность, она и сама должна была схватиться за мирские средства. Нам уже известна по вопросу об инвеституре та *связь, какая существовала между феодализацией церкви и теократическими стремлениями папства*: духовенство не могло отказаться от своих земель, папство не могло отдать назначения на церковные должности в руки светской власти, но церковное землевладение привязывало прелатов и монастыри к миру, ставило их в ряды феодальной иерархии, давало им массу продуктов сельского хозяйства, которые можно было продавать за хорошую цену, а вступая в борьбу с государями, папы должны были пускать в ход те же самые средства, какими пользовались их противники, погоня же за средствами мало-помалу заслонила цель. Результатом было омирщение самой церкви, и *положительною стороною того протеста, какой возбуждало это явление в обществе, было стремление возратить церкви ее чисто духовное значение*. С этой точки зрения подвергаются одинаковому неодобрению и светское властолюбие пап, и корыстолюбие духовенства, и церковное землевладение, т. е. *не одобряются не только с тех точек зрения, которые были защитой прав государства и интересов светских сословий, но и с той точки зрения, для которой выше всего был религиозный идеал церкви*. Морально-религиозный протест давал высшую санкцию той оппозиции, в которой на первом плане были мирские права и интересы, и все это замечательным образом сходило в отрицании политической и экономической основ церкви — ее светского могущества и ее землевладения и десятин.

В XIV и XV вв. католицизм переживал тяжелый кризис: извне усилилась оппозиция светская, принимавшая характер национальный, политический,

социальный, не говоря уже о рационализме и индивидуализме гуманистического движения, а внутри все было расшатано, и что особенно замечательно, так это именно внутренний разлад в церкви. В эпоху авиньонского пленения папы встретили сильную оппозицию в одной части францисканского ордена — факт весьма любопытный, который стоит отметить. В XIII в., как мы видели, был основан нищенствующий орден францисканцев, часть которого, более строго державшаяся его аскетических правил, носила особое название миноритов, т. е. меньшей братии, и среди них-то произошло в XIV в. движение, враждебное испорченному папству и богатству духовенства, тем более усиливавшееся, что папы объявили этих своих противников «еретиками» и, подвергая их наказаниям, приучали их смотреть на себя как на мучеников за правду. Между тем проповедь миноритов имела большой успех, особенно в народных массах. Это был протест средневекового аскетизма против выродившейся теократии, и аналогию ему представляет собою проповедь Савонаролы в конце XV в., т. е. теократия была в разладе с аскетизмом. Произошел еще великий раскол католической церкви: он породил новый внутренний разлад, за которым последовала борьба двух церковных партий, партии, желавшей ограничения папской власти соборами, и партии, стоявшей за папский абсолютизм. Победа склонилась на сторону второй из них, но папы воспользовались своей победой лишь для того, чтобы продолжать практику авиньонской курии. Мы увидим развитие всех этих явлений, но прежде нам нужно указать еще и на другие стороны той порчи, о которой идет речь, стороны, вызывавшие не аскетический протест миноритов или Савонаролы, не организационные только планы соборной реформы, но и нечто другое — протест настоящих предшественников Реформации XVI в.

XXXVI. Суеверия и злоупотребление религией¹

Реформация как очищение веры. — Наивное проникновение народных взглядов в религиозную сферу. — Двоеверие. — Демонология. — Суеверные легенды и суеверная обрядность. — Piae fraudes. — Индальгенции. — Торговля отпущениями грехов. — Формализм и материализм в религии. — Падение образования среди духовенства.

Порча церкви объясняется в некоторых, по крайней мере, отношениях проникновением мирского направления в клир, который должен был отрешаться от мира и его интересов. Но из мира, из светского общества, из простонародной массы могли проникать в среду духовенства не одни только материальные интересы, но и грубые воззрения, противоречившие более высокому пониманию христианства, особенно легко воспринимавшиеся малоразвитыми в умственном и нравственном отношениях клириками. Религиозные реформаторы XVI в. и их предшественники в веках предыдущих полагали, что порча церкви состоит не в одной деморализации ее служителей, имевшей свою основу в мирских богатствах, как думали аскетические оппоненты порчи, не в одних, главным образом, недостатках внешней организации, как утверждали сторонники соборной реформы, но также и в искажениях религии, заключающихся в человеческих выдумках, которые были прибавлены к Слову Божию. Говоря короче, в конце Средних веков происходит еще *протест против католической церкви во имя более духовного понимания христианства*, и в этом протесте слышалось не только возмущенное нравственное чувство, но проявлялось и более развитое сознание, не мирившееся со многим из того, что было терпимо и даже санкционировано церковною властью в воззрениях и мирян, и духовных, особенно же когда эти воззрения тесно соприкасались с нравственною сферой, отражаясь на ней невыгодно, хотя бы и выгодно отзываясь на материальных интересах папы и клира.

Средневековое общество было грубо и могло воспринимать христианство только в чувственной форме, перенося, например, в священные повествования о прошлом или в изображения небесного — черты и краски варварского или феодального быта. В этом была наивная сторона проникновения народных взглядов в религиозную область, в литературном же отношении гуманисты, говорившие о христианском Боге и святых в выражениях языческого лексикона, только повторяли то, что делали более ранние писатели уже с меньшею сознательностью. Англосакс VII в. (Кедмон) парафра-

¹ *Laurent*. La réforme; *Raoul*. Recherches critiques sur l'histoire religieuse de la France; *Baissac*. Histoire du diable; *Mauray* A. Les legemles picuses au moyen âge.

зирует в особой поэме Книгу Бытия: Авраама он представлял себе как англосаксонского Ярла, красоту Сарры сравнивал с красотой германских мифических существ. «Гелианд» (Спаситель), саксонская поэма IX в., повествует о земной жизни Христа также в духе германских воззрений: двор Ирода — сколок со двора саксонского герцога, ап. Петр говорит перед отречением о своей верности, причем ему влагаются в уста выражения феодального быта; сам Христос среди учеников является скорее как народный вождь, окруженный дружиною, а Нагорная проповедь рисуется в виде веча. Вейсенбургский монах Отфрид несколько позже написал книгу Евангелий в форме поэмы на немецком языке, «дабы дать народу песни благочестивые и понятные и тем изгнать нечестивые песни мирян», но и он говорит о короле назаретского бурга и обращает смиренных рыбарей в храбрых воителей. Еще позднее один аббат монастыря St. Germain des Près говорит в своей поэме о турнире между Иисусом Христом и антихристом, и самый турнир происходит у него при такой же обстановке, как обыкновенные турниры: борющиеся выезжают на лошадях при звуке труб и крушат копыя; между зрителями присутствуют Мать Божия и другие святые жены и девы как дамы. Рай часто представлялся феодальным двором, и в нем предполагались такие же увеселения, как в любом замке средневекового владетеля. На картинах рай изображался садом, в котором играют на музыкальных инструментах и танцуют. Более серьезное значение имело то «двоеверие», которое состояло в перенесении на святых — воззрений, соединявшихся в прежние времена с языческими богами. Вот как описывает это двоеверие Эразм Роттердамский в сочинении своем «Enchiridion militis christiani». «Один, — говорит он, — ежедневно вечером ходит молиться к св. Христофору, а по утрам становится на колени перед его изображением в убеждении, что в этот день с ним не приключится смерти. Другой идет молиться к св. Роху, веря, что он сохранит его от чумы. Этот постится в честь св. Аполлины, чтобы не иметь зубной боли, а тот идет к образу Иова, надеясь избежать проказы... Есть и такие, которые зажигают свечи перед св. Гиероном в видах найти потерянную вещь. Наконец, мы раздаем святым занятия сообразно с нашими опасениями и желаниями. Св. Павел во Франции делает то, что у нас обязан делать св. Перон, и что св. Иоанн или св. Иаков могут делать в одной стране, то недоступно им в другой. Такое благочестие, не относящееся к Иисусу Христу, недалеко от суеверия язычников, которые посвящали десятую часть своего имущества Геркулесу, чтобы обогатиться, или которые приносили в жертву Эскулапу петуха, чтобы выздороветь, или же которые, чтобы иметь счастливое плавание, закалывали для Нептуна быка».

Рядом с культом святых, получившим полуязыческий характер, необыкновенно развилась демонология. Сатане стали приписывать большое могущество: сначала он только не мог творить чудес, но впоследствии ис-

чезло и это ограничение, ибо и за Сатаню признано было право производить хотя и мнимые чудеса, но такие, которых люди не в состоянии отличить от истинных. Сатане же непосредственно приписывались и многие греховные искушения, т. к. между последними различали такие, которые происходят от плоти, и такие, которые происходят прямо от дьявола. Демонологию изучали даже как науку, и по этому предмету написана была масса трактатов. Возьмем, например, сочинение *Beati Richalmi Speciosae Vallis (Schönthal) in Franconia abbatis liber revelationum de insidiis et versutiis daemonum adversus homines*. «Totus aer, — говорит аббат, — non est, nisi spissitudo eorum»; укулы блох и клопов у него объясняются действием дьявола. «Я бы не поверил этому, — замечает он, — если бы мне это сказал кто-либо другой, но в этом я сам лично убедился». Демонологические воззрения разделяли даже замечательные умы (богослов Жерсон), да и реформаторы, впрочем, не отставали впоследствии в этом отношении от католиков (Лютер). Главным стремлением дьявола, по демонологическому верованию, было искушение аскетов: если, например, монах во время ночного богослужения дремал, думали, что дьявол садится ему на веки, или еще упомянутый Рихальм рассказывал об одном напившемся монахе, который начал буяннить, объясняет это вмешательством дьявола.

Совершенно особенный характер принял в Средние века культ Святой Девы. Вообще признавались две степени культа: *dulia* и *latria*; первый относился к Богу, второй к святым, поклонение же Св. Деве принималось за нечто среднее между поклонением Богу и почитанием святых (*Hyperdulia videtur esse medium inter duliā et latrīam*). Поэтому Св. Дева часто поднималась до значения божества, когда, например, в требнике писалось: «Слава Матери, Отцу, и Сыну». С другой стороны, между Св. Девой и Иисусом Христом предполагались такие же отношения, как между земными матерью и сыном, и в этом смысле было составлено немало легенд. Многие полагали, что благодаря заступничеству Св. Девы можно избежать наказания за грехи, т. к. Иисус Христос не имеет права отказать просьбам своей Матери. Было еще в ходу мнение, что мир должен был быть уже уничтожен Богом за грехи людей и что он существует лишь благодаря вмешательству Божьей Матери. Так, один монах имел видение, в котором ему представилось зрелище светопреставления: ангелы протрубили уже во второй раз, как вдруг Мать Божия бросилась перед Сыном своим на колени и стала просить, чтобы дано было время покаяться монахам монастыря Сито. Или рассказывалось, например, что Иисус Христос явился однажды к монаху, читавшему всегда «*Ave Maria*», и упрекал его в том, что он Ему не молится. «Мать моя, — сказал Он, — благодарит тебя, но не нужно и меня забывать». Равным образом и некоторые святые как бы заслоняли собою самого Бога, и, например, поклонники св. Франциска хотели уподобить его прямо Иисусу Христу. Так, в 1385 г. появилось сочинение Варфоломея Альбиция под заглавием

«*Lieber conformitatum*», получившее одобрение от капитула францисканского ордена. В этой книге проводилась параллель между Христом и св. Франциском, и доказывалось, что св. Франциск выше Иисуса Христа, т. к. последний, например, только один раз преобразился, первый же двадцать раз. Сорбонна однажды объявила еретическим учение одного францисканского монаха, который утверждал, что св. Франциск был вторым Христом, вторым Сыном Божиим. Наконец, в Средние века особенно распространено было суеверие по отношению ко всякого рода реликвиям.

Этот грубый взгляд отразился и на морали: исполнение внешнего обряда считалось главным средством угодить Богу. Легенда говорит, что одна обманутая мужем жена просила Матерь Божию наказать женщину, жившую с ее мужем, но Св. Дева отказала в этой просьбе, т. к. виновная женщина всегда читала молитвы. В другой легенде рассказывалось, что однажды молодая монахиня бежала из монастыря с монахом, но т. к. она всегда произносила «*Ave Maria*», то Св. Дева приняла ее вид и десять лет вместо нее служила в монастыре. Весьма естественно, что на грех поэтому смотрели как на формальное отклонение от известного предписания, и этот формальный взгляд был принят самой церковью, выразившись в раздаче индульгенций, которыми отпускались совершенные грехи. Хуже всего было то, что народные суеверия прямо эксплуатировались духовенством, допускавшим так называемые обманы с благочестивыми целями (*riae fraudes*), дабы побудить народ к благочестию. Это было, например, засвидетельствовано уже протоколом латеранского собора 1215 г., в котором говорится: «В большей части мест употребляют обыкновенно ложные легенды и ложные документы, чтобы обманывать верных, с целью получить деньги». На майнцском соборе (1261) дошло до сведения высшего духовенства, что многие священники вместо реликвий святых помещают на алтарях кости простых людей или даже животных (*Hi profanissimi pro reliquiis saepe exponunt ossa profana hominum, seu brutorum et miracula mentiuntur*). Или еще известный Гиберт Ногентский (XII в.) говорит об «обманах, которые производятся ежедневно без всякого стыда» с целью обирать карманы легковверных людей. Существовали, например, притворные больные, после прикосновения к какой-нибудь реликвии вдруг получавшие исцеление и этим увеличивавшие славу данного места, ибо туда начинали стекаться богомольцы и своими пожертвованиями обогащали местное духовенство. В XV в. была в ходу замечательная *riä fraus*. Известно, что гуситы требовали, между прочим, чтобы мирянам давалось причащение под двумя видами (*Sub utraque specie*) — тела и крови, и вот в доказательство того, что в гостии соединены и тело и кровь Христовы, появились в некоторых местах окровавленные гостии. Этот «благочестивый обман» был разоблачен на магдебургском соборе 1412 г., на котором говорилось: «Мы не знаем, какой крови поклоняется народ, тем более что

нет там ни крови, ни чего-либо даже на нее похожего; мы удостоверены в этом признанием самого священника, виновного в обмане. Это не мешает давать большие индульгенции тем, которые идут на богомолье в Вильснак, где выставлена окровавленная гостия. Жадность внушила и продолжила этот обман». Между прочим, это дело вызвало целую бурю во всей Европе. Два университета выступили против кровавых гостий; оба нищенствующие ордена, францисканский и доминиканский, соединились и вместе действовали в том же смысле, но впоследствии двое пап (Евгений IV и Николай V) разрешили кровавую гостию, признав в ней чудо. Соединение формального взгляда на грех с эксплуатацией суеверия выразилось еще более в индульгенциях, на которых особенно сосредоточивался протест реформаторов. Происхождение их было такое. В первые века церкви с покаянием соединялись обыкновенно благочестивые действия и трудные подвиги (эпитимии). С течением времени введено было в обычай заменять эти действия деньгами и, наконец, в X в. установлена была особая такса, по которой от той или другой эпитимии можно было откупиться за деньги, но выкуп наказания стал скоро рассматриваться как выкуп греха. Первую общую индульгенцию дал папа Григорий VII во время борьбы с Генрихом IV, когда объявил, что все ставшие на его сторону против Генриха получают полное отпущение грехов. При Урбане II на клермонтском соборе (1095) решено было, что все те, которые возьмут крест и пойдут в поход против неверных для освобождения гроба Господня, получают полную индульгенцию, так что поход этот заменит раскаяние (*iter illud pro omni poenitentia reputetur*). Папа Бонифаций VIII праздновал в 1300 г. юбилей католической церкви и издал постановление, по которому все явившиеся к этому юбилею в Рим получают отпущение грехов; мы уже видели, как сокращались юбилейные сроки его преемниками. Для оправдания индульгенций выработалось даже целое теоретическое учение, особенно развитое Фомаю Аквинским. Он учил именно, что заслуги одного человека могут быть вменяемы другому, потому что все, будучи солидарны в грехе и искуплении, составляют одно тело — церковь: т. к. у некоторых людей накопилось добрых дел более, чем необходимо для их собственного спасения, то из избытков их заслуг, равно как из безмерной заслуги Иисуса Христа и заслуг святых, составила неисчерпаемая сокровищница, из которой церковь может брать заслуги для раздачи их грешникам. Раньше еще требовалось, чтобы те, которые получали индульгенции, действительно каялись в грехах своих, но потом стали утверждать, что церковь может давать индульгенции каждому, не заботясь о том, кается ли он или нет. «Не нужно брать, — писал Фома Аквинский, — в расчет ни веру, ни дела того, кто получает индульгенцию, но сокровищницу заслуг, которыми церковь имеет право располагать; эта сокровищница неистощима, и церковь тратит из нее по своему усмотрению и сообразно со своими видами. Без сом-

нения, хорошо, чтобы она знала меру в своих милостях; но если бы даже акты покаяния были отпущены почти за ничто, индульгенции не теряют от этого своей силы, ибо сокровищницы заслуг достаточно для искупления всех грехов». Сначала полагали также, что только живые могут получать индульгенции, но впоследствии церковь дозволила приобретать их и для мертвых, хотя и с некоторыми ограничениями. В 1343 г. учение Фомы Аквинского было подтверждено буллой папы Климента VI. Вместе с тем прежнее учение было добавлено новым положением, по которому заслуги каждого, насколько они не нужны для него самого, раз он получает индульгенцию, прибавляются к общей сокровищнице, которая, таким образом, всегда пополняется и никогда не может быть исчерпана. Паоло Сарпи, историк тридентского собора, остроумно замечает, что и «грешник посредством этой системы выкупает свою вину векселем, который он трассирует в небесную казну». Далее, до Бонифация IX не было еще публичного торгова индульгенциями, но этот папа разослал продавцов разрешительных грамот в разные страны. Лев X задумал воспользоваться индульгенциями как средством для получения денег на постройку церкви Св. Петра в Риме и также разослал торговцев с индульгенциями, в которых каждому покупщику обеспечивалось прощение в грехах, возвращение благодати Божьей и избавление от мук чистилища. Между этими торговцами особенно грубостью и бесстыдством отличался монах Тецель, против которого восстал Лютер. Это, впрочем, был не первый и не единственный протест против торгова грамотами, в которых грехи отпускались за денежный взнос, но около 1500 г. в эту систему введено было лишь больше нахальства и кощунства, чем когда бы то ни было раньше. В том же году, как Тецель продавал свой товар недалеко от Виттенберга, где жил Лютер, издана была в Герцогенбунге оценка грехов (*taxae cancellariae ecclesiae romanae*), и в инструкции Тецеля святотатство было оценено в 9 дукатов, убийство в 7, колдовство в 6, отцеубийство и братоубийство в 4, несколькими же годами раньше (1507 и 1512) папою Юлием II отпущение было распространено и на ересь. До нашего времени сохранились разрешительные грамоты начала XVI в., когда особенно часто и в особенно большом количестве они выпускались. На грамоте 1517 г. изображен доминиканец с крестом, терновым венцом и пылающим сердцем, а по углам изображены сверху пригвожденные руки Христа, внизу пригвожденные ноги. На передней стороне стоят слова: «Папа Лев X. 1517. Давайте. Это длина и ширина ран на пречистых бедрах Христа. Кто целует их, тот получает всякий раз отпущение на 7 лет». На задней стороне надпись такая: «Крест, увеличенный в сорок раз, представляет длину Христа в его человечестве. Кто целует его, тот предохранен на семь дней от внезапной смерти и от падучей болезни, а также и от паралича». Со своей стороны продавцы разрешительных грамот, расхваливая свой товар, говорили такие вещи: «крас-

ный крест, водружаемый в церкви у ящика с разрешительными грамотами, с привешанной к нему папской печатью имеет такую же силу, как крест Христов», «покупающие индульгенции становятся чище, чем после крещения, чем был Адам в раю в состоянии невинности», «продавец разрешительных грамот делает блаженными большее количество людей, чем ап. Петр», а некоторые заявления, приписываемые Тецелю, просто даже неудобно было и повторить.

Если в поэтических образах писателей, бравшихся за религиозные сюжеты, мы можем видеть наивное отношение малообразованного человека к священным предметам, которых он не думал, однако, профанировать, если в двоеверии оставались следы грубого язычества, если демонологические трактаты и легенды с сомнительною нравственностью были продуктом прежде всего невежества, то, конечно, не на иное что, как именно на наивность, грубость и невежество массы можно было рассчитывать, практикуя разного рода *pías fraudes* и продавая индульгенции, но те, которые так поступали, менее всего, понятно, заботились о том, чтобы искоренять суеверия в народе. В индульгенциях поэтому с особою силою выразилась порча церкви, порча, указывавшая на то, что в самом вероучении не все обстояло благополучно. Церковь, терпевшая и поощрявшая полуязыческие формы культа святых, поклонение реликвиям, которое получало характер фетишизма, внешнюю обрядность, посредством которой люди думали угодить Богу, не заботясь об истинном покаянии, обман, искавшие оправдания в благочестивых целях, взгляд на грех как на формальное нарушение, уничтожаемое таким же формальным поступком, уверенность, что за деньги можно получить отпущение грехов, — эта церковь, погрязавшая в материализме и формализме, не могла, разумеется, удовлетворять людей с более высокими требованиями от религии и лучше знавшими и понимавшими основы христианства, а именно *новое образование как нельзя больше содействовало более духовному пониманию христианства*. Эта неудовлетворенность католицизмом и порождает в конце Средних веков искание новых религиозных форм, выразившееся в ересь, сектах, мистических учениях, гуманистическом богословии и других тому подобных явлениях предреформационной эпохи.

Между тем официальные представители религии в большинстве случаев не предпринимали никаких мер к тому, чтобы устранить из церковных учений наслоения, производившие соблазн в более развитой части светского общества. Мало того: среди более просвещенных людей должно было падать уважение к духовенству и потому, что оно не отличалось особым образованием, и что невежество и суеверия, бывшие обычным явлением среди монашества, прямо возбуждали насмешки или негодование людей с более высокой умственной культурой. Во время знаменитого рейхлиновского спора, которым ознаменовано было второе десятилетие XVI в., с поразительною ясностью обнаружилось, до какой степени официальные представители церкви

отстали в просвещении сравнительно с людьми нового гуманистического образования, а сатирическая литература этой эпохи вообще подчеркивает невежество заурядных схоластов и монахов как одну из наиболее выдающихся черт, характеризующих этих людей. Монополия образования, бывшая в Средних веках в руках духовенства, суживала, как мы видели, область философии и науки, убивала сколько-нибудь свободную мысль и в тесной области, да и тут авторитет Священного Писания и его первых комментаторов заслонялся авторитетом схоластических теологов. Эразм Роттердамский, о богословских занятиях которого у нас будет еще идти речь, жаловался на то, что теология слишком вдалась в софистические тонкости, что знакомство с первоисточниками веры мало распространено, что их читают только в отрывках, предпочитая изучать схоластические трактаты. В данном случае Эразм отмечал явление, засвидетельствованное множеством и других известий: само невежество, соединенное с суеверием, в делах веры именно у тех самых лиц, которые бы должны были быть специалистами в области религиозных вопросов, объясняется тем, что они плохо знали основные источники вероучения. Зато, с другой стороны, непосредственное знакомство с Библией и с творениями Отцов Церкви весьма часто вело именно к обнаружению всей порчи, какой подверглась католическая церковь. Вот почему, чем более приближаемся мы к реформационной эпохе, тем все чаще встречаемся с требованием, чтобы изучалось непосредственно само Священное Писание, и чтобы оно одно было главным авторитетом в делах веры. *Сравнение воззрений и учреждений католической церкви с содержанием слова Божия и было главным источником указаний на те человеческие выдумки, под которыми разумелись и плоды невежества и суеверия*, и все то, что было результатом исторического развития церковных воззрений и учреждений в зависимости от известной культурно-социальной обстановки. *Внутреннее разложение католицизма выразилось и в том, что для защиты своей позиции от нападений во имя так или иначе понимаемого слова Божия у него или не было аргументов, которые опирались бы на тот же авторитет, или же его аргументы были в противоречии с источниками веры*, обнаруживая или желание клира отстоять старину разными софизмами, или полное незнание его со Священным Писанием. В предреформационную эпоху весьма было распространено убеждение, что папы нарочно скрывают Евангелие, и в рассматривавшейся нами ранее «Реформации Фридриха III», в которой папа называется уже антихристом, эта мысль выражена была в такой форме: «Антихрист скрыл и уничтожил Евангелие и слово Божие. Папа, что ты сделал?» Весьма естественно, что верующая совесть, встревоженная порчею церкви, и религиозная мысль, заподозрившая в церковных учениях присутствие человеческих выдумок, должны были непосредственно обратиться к Священному Писанию и сделать из него главный критерий своей веры.

XXXVII. Обличение духовенства в литературе¹

Отражение недовольства состоянием церкви в литературе. — Сатирическое изображение порчи нравов и невежества духовенства. — Франсуа-де-Рю и Рабле. — Немецкая сатира и «Похвала Глупости». — Свидетельство Яна Бундаля. — «Кентерберийские рассказы» и «Видение» Лонгlanda. — «Colin Clout» Скельтона и сатира Роя и интерлюдии Гейвуда. — Два оттенка в этой литературе. — «Мандрагора» Макиавелли. — Итальянская новеллистика. — Протест против духовенства в «Реформации Фридриха III». — «Просьба нищих» Фиша.

Литература конца Средних веков полна обличениями, направленными против папства, духовенства, монашества, против порчи нравов, злоупотреблений религией, невежества, и чтобы понять успех, какой встречали в культурных слоях общества и в народных массах разные антицерковные учения, нужно посмотреть, как выражалось недовольство церковью в литературе предреформационной эпохи. Можно было бы собрать целую коллекцию отдельных изречений из сочинений всех наиболее выдающихся писателей XIV и XV вв., в которых резко говорилось о том, что обобщается под названием «порчи» церкви. Нам уже раньше по разным поводам приходилось говорить о литературных проявлениях антицерковной оппозиции и указывать на некоторых писателей, в том или другом смысле изображавших печальное положение церкви. Не повторяя того, что в этом отношении дает предыдущее изложение, ограничимся рассмотрением лишь некоторых проявлений общественного недовольства деморализацией и невежеством клира, особенно во времена, непосредственно близкие к Реформации.

На первый план мы поставим сатирическое изображение порчи нравов и невежества клира, примеры которого представляет из себя уже и более ранняя литература, чем те два переходные от Средних веков к Новому времени века, на которых сосредоточивается наше изложение. В Италии это направление нашло самое рельефное свое выражение в «Декамероне» Боккаччо, на котором мы, впрочем, останавливаться не будем. Во Франции в эпоху борьбы Филиппа Красивого с Бонифацием VIII появился «Роман о Фовеле», написанный неким Франсуа-де-Рю по заказу самого короля, не пренебрегавшего и таким способом полемики с папством и ор-

¹ См. главным образом разные истории литературы. Кроме того: *Надлер*. Причины и первые проявления оппозиции католицизму в XIV и XV веках; *Михайловский В.* Предвестники и предшественники реформации в XIV и XV веках (приложение к «Истории Реформации» Гейсера); *Lenient*. La satire en France au moyen âge.

деном храмовников, который, как известно, был уничтожен этим королем. Фовель — аллегорическая сатира, в которой под видом странного существа, полулошади, получеловека (это и есть сам Фовель), изображаются все пороки, находящие себе поклонников в лице папы, монахов, храмовников, причем первый самый поклонник, конечно, папа. Фовель собирает для него деньги со всего мира; за Фовелем, как конюхи, ухаживают одетые в пурпур кардиналы и разные прелаты, купившие свои места за деньги, но сами совершенно невежественные, ухаживают нищенствующие монахи, добывающие себе несметные богатства и т. п. Папа — преемник ап. Петра, но его рыбацья лодка рискует утонуть в море: так она нагружена золотой монетою. Через два столетия, отделяющие времена Филиппа IV от эпохи Реформации, сатирические изображения папства, духовенства и монашества во французской литературе не прекращаются. Рабле, бывший ровесник Лютера, в своем «Гаргантюа и Пантагрюэле» (1535 и 1542 гг.) остроумно осмеивает все, что уже задолго до него было предметом сатиры на клир. Известен эпизод о «звонящем острове» (*isle sonnante*), населенном птицами разного рода, под которыми выведены папа, кардиналы, епископы, аббаты и монахи и притом так, что автор и не скрывает, кого он изображает под видом разноцветных птиц, черных, белых, красных и т. п. Посетитель острова (Панург) полюбопытствовал посмотреть на птицу-папчика (*rapergau*), сидевшего в клетке и, увидев его, нашел, что он похож на удода, но сопровождавший посетителя человек сказал, что если птица только услышит, как ее сквернословят и поносят, то не миновать гибели. От Рабле достается и невежественным схоластам. Герой первого романа, великан Гаргантюа, приезжает в Париж и снимает с собора Богоматери колокола, чтобы повесить их на шею своей лошади. К нему является депутат от Сорбонны и держит речь, в которой на невозможном языке просит возвратить колокола, ссылаясь на то, что их хотели купить да и то их не продали «ради субстантификального качества элементарной комплекции интронифицированного через террестритет их кваддитативной природы для экстранеизирования бурь и непогод от виноградников», ибо, прибавлял он, «если мы потеряем виноградный сок, то потеряем все — и смысл, и добро». И далее: «*Ego occidi unum porcum et ego habet bonum vino*¹. А от хорошего вина не заговоришь худо по латыни. Ну же, *de parte Dei, date nobis clochas nostras*²...» и т. д. Ученые занятия схоластов осмеиваются беспощадно у Рабле устами Панурга, который видел целую их толпу, как они в несколько часов делали негров белыми; другие, продолжает он, пахали песок тремя парами лисиц и не теряли посева; иные мыли черепицы крыш и выгоняли из них краску; другие стригли ослов и получали хорошую шерсть; другие снимали виноград с шиповника и фиги с чертополоха; были и та-

¹ «Я заколол свинку, найдется у меня и доброе вино» (*средневек. лат.*). — *Прим. ред.*

² «Бога ради, отдайте нам наши колокола» (*средневек. лат.*). — *Прим. ред.*

кие, что доили козлов и собирали молоко в волосяное сито и т. п. Или выводится на сцену монах Жан, которого Рабле рекомендует читателю как beau despecheur d'heures, beau desbrideur de messes, beau descroteur de vigiles¹, словом — как самого настоящего монаха.

Мы взяли во Франции писателей, разделенных целыми двумя столетиями, в течение которых в литературе то и дело появлялась все та же сатирическая насмешка, какую мы видим у Франсуа-де-Рю в XIV в. и у Рабле в XVI в. Когда дойдет очередь до изображения внутреннего состояния Германии в годы, непосредственно предшествовавшие началу Реформации, мы еще познакомимся с «Письмами темных людей», направленных против клира, монахов и схоластов, а пока отметим, как и в других сатирических произведениях той же эпохи в Германии осмеивалось духовенство. Немецкая сатира конца XV в. может быть разделена на народную и ученую (гуманистическую), хотя их элементы переплетались, и между ними разница была более в форме, чем в содержании. Одной из наиболее популярных книг около 1500 г. был «Narrenschiff» Себастиана Бранда (ум. 1521), в котором автор осмеивает пороки и нелепости своего времени. Он был сам человеком глубоко религиозным, даже одним из главных защитников учения о непорочном зачатии, но это не мешало ему в грубой форме народной сатиры коснуться разврата духовных. «Многие, — говорит он, — делаются духовными, чтобы бездельничать; некоторые, имеющие много приходов, не стоят одного маленького». Или вот гуманист Бебель в «Торжестве Венеры» рассказывает о том, как богиня любви пожаловалась Амуру на то, что у нее мало поклонников, и как ее сын по этому поводу собирает на смотр ее всех служителей: на первом плане являются монахи, самые преданные Венере люди и даже похваляющиеся своею ей преданностью, а за ними приходят схоласты, кардиналы, папы. «Похвала Глупости» Эразма Роттердамского наполнена изображениями, в которых духовенство выставляется также не в привлекательном виде. Вот несколько выдержек из этого замечательного памятника сатирической литературы XVI в.² «Может быть, — говорит Глупость, произносящая сама себе панегирик, — было бы лучше пройти молчанием наших теологов, не трогать этого зловредного болота и не прикасаться к этой вонючей траве, тем более что это люди крайне подозрительные и раздражительные: пожалуй, они нападут на меня с сотнями своих заключений и принудят меня отречься от моих слов, угрожая в противном случае обвинить меня в ереси — это их обыкновенный способ устрашать тех, кто им не нравится. Хотя они менее всех других признают мои благодеяния, однако я утверждаю, что они со мною тесно связаны». Доказывая эту мысль, Глупость приводит примеры: ведь

¹ «Мастак отбарабанить часы, отжарить мессу и отвалить вечерню» (*фр.*) / Пер. Н. М. Любимова. — *Прим. ред.*

² Есть в русск. пер. проф. А. И. Кирпичникова.

это все «авторы положений, перед которыми парадоксы стоиков вовсе не кажутся парадоксальными, что, например, меньше греха убить тысячу человек, чем в воскресенье починить башмак бедняку»... «Я сама не в силах удержаться от смеха, видя, что они считают себя тем священнейшими богословами, чем нелепее и хуже изъясняются... По их мнению, уважать законы грамматики — значит унижать достоинство Священного Писания... Когда их с благоговением называют *magistri nostri*, они считают себя равными богам... уверяя, что эти оба слова нужно писать прописными буквами, а если кто произнесет их в обратном порядке, тот унизит достоинство богослова. С ними, продолжает Глупость обзор своих почитателей, по блаженству почти равняться могут те, кого называют *religiosi* и *monachi* (одинокие), хотя и то, и другое название для них неподходящее: с религией они не имеют ничего общего, и нет людей, которые бы так часто, как они, появлялись на всех перекрестках. Высшим проявлением благочестия они считают полное удаление от науки, так что и грамоте не учатся. Иные из них гордятся своей грязью и нищенством и громко требуют милостыни, нападая на все гостиницы, экипажи, корабли к немалому ущербу для остальных нищих. И эти-то милейшие люди хотят нам напомнить апостолов!» За этим следует у Эразма длинное описание монашеских нравов с постоянными ссылками на их несоответствие с христианским идеалом: «цель монахов не в том, чтобы с Христом сходствовать, а чтобы друг от друга различествовать» (сказано по поводу распрей между орденами); «они не хотят думать, что Христос, пожалуй, не обратит на все это (церемонии и уставы) внимания и потребует исполнения единственной своей заповеди — любви к ближнему»; «Христос, прервав это нескончаемое самохвальство (аскетическими подвигами), скажет: откуда этот новый вид фарисеев? Я признаю своим один закон, о котором ничего от них не слышу, а между тем я ясно, не скрывая своей мысли под формою притчи, обещал царство небесное не капюшонам, не молитвам, не постам, а делам любви». Осмеивается Эразмом и монашеское невежество: один ученый старец, «намереваясь изъяснить тайну имени Иисуса, с необыкновенною тонкостью показал, что в самых буквах имени заключается все, что можно сказать о самом его носителе. То обстоятельство, что имя Иисуса по-латыни имеет только три падежных окончания, служит явным указанием на божественную троичность; что первый падеж оканчивается на *s*, второй на *m*, а третий на *i*, заключает в себе некую несказанную тайну: именно этими тремя буквами означено, что Христос есть высший (*summus*), средний (*medius*) и последний (*ultimus*). Затем следовало такое, еще более тонкое соображение: если имя *Iesus* разделить на две равные части, в середине останется не принадлежащая ни к какой половине буква *s*; эта буква по-еврейски называется «*syn*», а по-шотландски «*syn*» значит грех: явно отсюда, что Иисус явился, чтобы уничтожить в мире грех». Пап, кардиналов и аббатов Эразм обвиня-

ет преимущественно в том, что они роскошью уподобляются светским государям. «Они пасут только самих себя, а заботу об овечках предоставляют Христу или своим заместителям они не хотят даже вспомнить о том, на что указывает их название (*ἐπισκοποι* = надсмотрщики), а именно о труде, заботе, беспокойстве зорко надсматривают они только над тем, как бы не упустить своих денежных выгод... А первосвященники, заступающие место самого Христа, если бы попытались подражать Ему бедностью, трудами, учением, презрением к жизни, несением креста, если бы подумали о значении своего священного имени, — нашлись ли бы на земле люди, более их страдающие? Кто стал бы покупать, жертвуя своим состоянием, папский престол? Кто, купив его, стал бы удерживать орудием, ядом, всяким насилием? Что осталось бы из всех благ, связанных с папой, из всех почестей, власти, побед, чиновников, роскоши, пошлин, индульгенций, лошадей, мулов, служителей, если бы мое место (не забудем, что речь произносится Глупостью) заняла мудрость? Да что я говорю, мудрость? — если б явилась хоть капля той соли, о которой говорит Христос! Место всех этих наслаждений заняли бы бдения, посты, слезы, проповеди, заботы, воздыхания, тысячи тяжелых трудов, а толпе писцов, копиистов, нотариусов, адвокатов, делопроизводителей, секретарей, погонщиков, конюхов, стольников, сводников, всех этих людей, унижающих... то бишь украшающих курию римскую, пришлось бы умирать с голоду». Указав на то, как папы не исполняют своих обязанностей, ибо это и неприятно, и трудно, Глупость продолжает: «Стало быть, им остается управление армией, раздача благословений, на которые они так щедры, интердикты, временные и вечные отлучения, страшные громы, которыми они низвергают души смертных дальше самого тартара. Святейшие во Христе отцы, наместники Спасителя, ниспосылают эти громы с особенной энергией на тех, кто по наущению дьявола пытается уменьшить или расхитить имущество ап. Петра. Хотя по Евангелию Петр и сказал: мы все оставили и за тобой последовали, — тем не менее, они причисляют к его имуществу поля, города, подати, пошлины, доходы с вассалов. Защищая это имущество огнем и мечом, проливая кровь христианскую, они убеждены, что по-апостольски стоят за церковь, Христову невесту, и борются с ее врагами, между тем у церкви нет врагов более опасных, чем нечестивые первосвященники, которые молчанием своим заставляют забыть о Христе, связывают Его продажными законами, протитуируют вымученными объяснениями, убивают нечестивою жизнью». За целым рядом других подобных обличений против пап Эразм переходит и к простым священникам, «которые считают, конечно, грехом не следовать праведному примеру своих начальников и сражаются за церковные доходы мечами, камнями и всеми другими видами оружия, к книгам же обращаются только за тем, чтобы там отыскать какой-либо текст, которым можно было бы утратить чернь и заставить ее

платить более десятины, а что там написано об их обязанностях в отношении к народу — того они и знать не хотят».

Одни и те же темы повторяются в литературных произведениях, разделенных столетиями, принадлежащих разным векам. В XIV в. нидерландский поэт Ян ван Бундаль в сатирическом диалоге «Свидетельство Яна», например, так же как и писатели других стран и других времен, обвиняет священников в том, что они для народа издали строгие законы, а сами их не соблюдают, обвиняет прелатов в том, что их расположение покупается лишь за деньги, что они погрязают в разврате, охотятся, храпят во время богослужения, устраивают роскошные пиры, лишая простых монахов лучшей пищи. В Англии в XIV в. равным образом сатира бичует нравы духовенства. «Кентерберийские рассказы» Чосера, этого «первого изобретателя английского литературного языка», повторяют собою «Декамерон» Боккаччо. В гостинице на пути в Кентерберии собирается общество богомольцев, среди которых есть и монахи, и духовные лица: монах франт и добрый малый, нищенствующий монах, ловко устраивающий браки, монахиня, священник из женского монастыря, приходской священник, — и все спутники берутся рассказывать по очереди разные истории, заимствованные из фавлю и новелл. Чосер в этих рассказах также рисует испорченность клира, язвительно и резко отзываясь о монахах, индульгенциях; даже есть указания на то, что он сочувствовал реформатору Виклифу, с которым был лично знаком. Раньше уже нам приходилось ссылаться на «Видение пахаря» Лангганда, в котором равным образом выразилось отрицательное отношение к нравственности духовенства. В сонном видении автор видит паломников, идущих в Рим или к св. Иакову, чтобы иметь право лгать во всю свою остальную жизнь, нищенствующих монахов, проповедующих во благо своему чреву и вкривь и вкось толкующих Евангелие, продавца индульгенций, который показывает дуракам буллу и, пока они, стоя на коленях, к ней прикладываются, их обирают и т. п. Он видит далее олицетворенный Обман и его свиту, в которой различает Подачку, чувствующую себя дома даже в папском дворце: ей предстоит выйти замуж за Обман, но этому противится Теология. В конце поэмы является Антихрист: нищенствующие монахи оказывают ему почет, под его знамя стекается масса народа, но против него восстает Совесть, сама, однако, вредящая делу тем, что пускает в дом единения лъстивого исповедника. В этой поэме клирикам противопоставляется простодушный Петр — пахарь, который и раскрывает истину. Между прочим, автор так объясняет порчу церкви: когда Константин наделил церковь землею, людьми, доходами, ангел Божий воскликнул, что все, имеющие власть Петра, заражены ядом. В конце XV и начале XVI в. сатира в Англии не перестает бичевать духовенство. Лет за пятнадцать до начала нового столетия выступает со своими памфлетами Скельтон, который в «Colin Clout» передает речи, слышанные

героем произведения в народной среде: митры покупаются и продаются за серебро и золото; духовные лица пьянствуют по тавернам, а на кафедрах появляются люди не умнее телят; народ называет духовных просто бочками, полными обжорства и лицемерия, которые только корчат из себя святых. В сатире Роя (Satire against the clergy) также говорится, что епископы-богословы более толку знают в винах, чем в богословии, законники же они опытные только в делах против совести; вместо того, чтобы поучать народ, они гоняются в поле за зайцами и оленями или проводят время в пирушках, картежной игре; в этой среде из тысячи не найдется и одного, который был бы целомудрен телом и душой. Или, например, в одной интерлюдии Гейвуда выводятся на сцену монах и продавец индульгенций, выпросившие у простодушного сельского священника позволение устроить в церкви сбор пожертвований: первым стал собирать монах в пользу своего ордена, распространившись о святости последнего, но тут явился продавец индульгенций с реликвиями (вроде большого пальца Св. Троицы), и между ними начался спор, дошедший до потасовки; священник при помощи одного соседа хотел выгнать обоих из церкви, но оба они терпят поражение в общей свалке, пока монах и продавец индульгенций не оставляют церковь, проклинаемые жертвами избиения.

В этой сатирической и обличительной литературе было весьма разное отношение к духовенству, т. е. или более насмешливое, веселое, подчас фривольное, или, наоборот, негодующее, скорбное, нередко гневное, смотря по тому, видел ли автор более забавную сторону безнравственности и невежества или, напротив, сторону вредную, оскорблявшую нравственное чувство и возмущающую религиозную совесть, а если было и то, и другое, тогда смотря по тому, что в данном случае перевешивало. В общем, можно сказать, что первого рода отношение господствует в романских литературах, тогда как второе характеризует литературы германских наций, а еще с большим правом можно сказать, что менее серьезное, *более насмешливое и веселое отношение к духовенству и монашеству чаще встречается, даже господствует у представителей Ренессанса, тогда как отношение, в котором слышится протест нравственного чувства и религиозной совести, роднит выступающих с ним писателей с деятелями Реформации*, если только, как у Эразма Роттердамского, не слышится и остроумной насмешки светского человека, и обличения неправды во имя религиозного идеала. Эту разницу мы хорошо можем понять, если сопоставим индифферентное отношение к церкви многих итальянских гуманистов, позволявшее им видеть в ее порче лишь одну забавную сторону, и страстные обличения неправд папства, духовенства и монашества сектантами и реформаторами. Произведения обеих категорий отражают, таким образом, одну и ту же деятельность, но отражают ее различным образом.

Вот как отразился уголок этой действительности в комедии «Мандрагора», написанной знаменитым Макиавелли и разыгранной при дворе

папы Льва X. Содержание комедии следующее: у старого флорентийца Ничии молодая жена Лукреция, в которую влюблен некий Каллимако. С помощью матери молодой женщины и друга дома Ничии Каллимако выдает себя последнему за знаменитого врача из Парижа и втирается в его дом, но добивается взаимности Лукреции только при помощи ее духовника, отца Тимотео, который своею казуистикой склоняет молодую женщину к тому, чтобы она изменила мужу. Эту комедию стоит отметить не только потому, что она рисует отношение к духовенству такого человека, как Макиавелли, не только потому, что ее представление при папском дворе, несмотря на ее грязное содержание, характеризует тогдашнее папство, но и потому, что Макиавелли уловил в ней тип позднейшего иезуита-духовника, усыпляющего совесть ловкими софизмами. «Бывает много вещей, — говорит Тимотео, убеждая Лукрецию, — бывает много вещей, которые издали кажутся страшными, невыносимыми, ужасными, а как приблизишься к ним, они становятся приятны, сносны, они нравятся... Вам следует касательно совести постоянно помнить то общее правило, что, если есть действительное добро и еще вероятное зло, то из страха перед злом никогда не должно упускать добра... Что же касается до того, будто бы этот поступок будет грехом, то это только так кажется: грешит ведь воля, а не дело... Клянусь вам этим святым символом, что ваша совесть будет встревожена не больше, как если бы вы съели мяса в пятницу — грех, который можно смыть святою водою». В конце концов патер убеждает молодую женщину. Это вообще тон итальянской новеллистики, когда она касалась духовенства и монахов: Массучио в своих «Новеллино» рассказывает грязные истории, в которых действующими лицами являются клирики, и в числе авторов таких новелл был даже один епископ (Маттео Банделло). Но именно этот слишком насмешливый тон и показывает, что у большинства авторов новелл не было того отношения к предмету их сатиры, которое других делало отщепенцами от церкви и религиозными реформаторами.

Кроме сатиры, принимавшей весьма часто публицистический характер, отрицательное отношение к духовенству за его безнравственность мы встречаем и в тех памфлетах, которые издавались прямо с целью политической агитации в широких кругах общества и в народной массе. В другой связи мы уже останавливались на так называемой «Реформации Фридриха III». В этом памфлете также много мест, обличавших и нравственную неправду клира. «Я желал бы знать, — говорится, например, здесь, — кому приносят пользу высокие сановники церкви; которые потешаются над нашими женами и дочерьми и делают из них блудниц. Желал бы я услышать от кого-нибудь, что Христос Спаситель, будучи на земле, упомянул когда-нибудь о монахах и монахинях. Кому этот народ может приносить пользу? Прелаты ведут свою безнравственную жизнь открыто и без стыда, и никто их за это не осмеливается наказывать; монахи же и монахини желают

скрыть свой образ жизни, но время этого не терпит и обнаруживает все». Реформация требует поэтому улучшения нравов духовенства, в особенности сельских приходских пастырей, и вооружается против монахов, которые только обманывают народ, прикрываясь духовным званием. «Попробуй-ка не накормить монаха, тогда является во двор пристав и угоняет коров и телят, а если удастся задобрить пристава в свою пользу, то монах разражается отлучением от церкви, чтобы тем увлечь крестьянина в еще большие убытки. Вот каково их духовное милосердие, и вот какова их христианская, братская любовь! Подашь им раз, ради Бога, они после того требуют этого по алчности своей с насилием для того, чтобы скопить и сохранить»... «Что им, — говорится еще о духовных в этом памфлете, — вменяется в грех, то нам дозволяется; что им дозволяется, нам вменяется в грех. Возьмет один из них жену — то будет грех, а нам мирянам — нет; отнимет же один из них жену у какого-нибудь благочестивого мужа и возьмет ее в свой дом, это не вменится ему в вину, а мирянину был бы грех; возьмет мирянин пять процентов со ста — это будет грех, духовный же берет 60 и 70 и это не грех». И тут же составитель памфлета замечает: «либо мы не христиане, либо они еретики».

В Англии около 1524 г. появилась и распространилась разбрасыванием по улицам «Просьба нищих» (The supplication of beggars) Фиша, в которой нищие жалуются на «хищных волков, известных под именем епископов, аббатов, приоров, деканов, суффраганов, священников, монахов и т. д.» как на людей, отбивающих у них хлеб, жалуются на то, что духовные торгуют святыней, отдавая предпочтение тому, кто больше даст, развратничают, соблазняют честных женщин, совращают своими богатствами с пути честного заработка многих девушек, живут в праздности, приучая и других к такой же жизни.

XXXVIII. Неудача соборной реформы¹

Разные отношения к церковной реформе. — Три параллельных течения в истории религиозной Реформации. — Идея соборной реформы. — Галликанизм. — Разные формы церковного устройства. — План парижского университета. — Церковные события конца XIV и начала XV в. — Пизанский собор. — Иоанн XXIII. — Констанцский собор. — Неудача дела реформы. — Базельский собор и национальная оппозиция. — Несколько черт из истории пап второй половины XV и начала XVI в.

Порча церкви естественно и необходимо должна была вызвать в лучшей части духовенства и в светском обществе стремление к направлению недостатков, обнаружившихся в церковной организации и доктрине. Многие из тех литературных произведений, в которых папство, высшее и низшее духовенство и монашество подвергались суровому осуждению, заключали в себе и положительные требования церковных реформ в духе христианской нравственности. *Необходимость морального перевоспитания клира была в общем сознании всех людей, сколько-нибудь думавших о церковных делах* и не относившихся индифферентно к общественной нравственности, но зато вопрос, какими же способами могло бы быть произведено улучшение, решался весьма неодинаково у различных представителей общего недовольства состоянием церкви. Во-первых, многие ограничивались простою проповедью о возвращении клира к большей чистоте нравов, указывая лишь на элементарные средства, которые уже сами по себе были бы известною степенью большого совершенства. Из тех лиц, далее, у которых мы встречаемся с более выработанными планами реформы и с более определенными идеалами, многие указывали на необходимость изменений во внешнем устройстве церкви, полагая, что *сама старая организация заключала в себе корень морального зла*, но оставаясь при этом, однако, на той точке зрения, что в общем и целом церковная догма совершенно правильна и не требует (да и требовать не может, как основанная на Священном Писании и Священном Предании) никаких изменений, тогда как другие шли дальше и *подвергали сомнению многое и в самой этой догме*, считая церковное предание не вполне согласным с откровением и требуя, чтобы на нем одном исключительно основывались главные

¹ *Визинский Г.* Папство и Священная Римская империя; *Налимов Т.* Вопрос о папской власти на констанцском соборе; *Hefele.* Conciliengeschichte; *Zimmerman.* Die kirchlichen Verfassungskämpfe im XV Jahrhundert; *Hübler.* Die Constanzer Reformation und die Concordate von 1418; *Petrucelli della Gatina.* Histoire diplomatique des conclaves; *Bess J.* Gerson und die kirchenpolitischen Parteien Frankreichs vor dem Concil zu Pisa; *Koetzsche.* Ruprecht von der Pfalz und das Concil zu Pisa; *Stuhr.* Die Organisation und Geschäftsordnung der Pisaner und Constanzer Concils. Кроме того, соч. о Жерсоне (Schwab'a), Алии (Tschalckert'a) Клеманже (Müntz) и др.

положения веры. Наконец, недовольство церковью и стремление ее реформировать выражалось и в иных формах, *бывших уже своего рода выходом из исторического христианства*. Таким образом, рядом с более или менее неопределенными желаниями относительно моральной дисциплины духовенства, высказывавшимися в сатирической, дидактической и публицистической литературе, мы встречаемся с тремя главными видами реформационных стремлений: одно из них имело в виду главным образом церковную организацию, другое — реформу самой догмы на основании Священного Писания, третье — полное преобразование религии с весьма свободным отношением к внешнему откровению Священного Писания, противопоставляя ему новые откровения. Эти три вида реформационных стремлений мы находим и в те бурные времена, которые наступили для католицизма после появления Лютера, и во всю длинную эпоху, когда впервые обнаружились, задолго еще до Лютера и других реформаторов XVI в., реформационные стремления. Это как бы три параллельных течения, которые мы *можем назвать по характерным их признакам — соборным, библейским и мистическим, а по окончательным их результатам в XVI—XVII вв. — католическим, протестантским и сектантским*.

Займемся теперь соборной реформой, как известно, окончившейся неудачей. Когда-то церковь была обновлена монашеством (клюнийцы в X в.) и папством (Григорий VII в XI в.), но после авиньонского плена, в эпоху великого раскола, который нужно же было когда-нибудь уладить, *указан был новый орган для церковной реформы — вселенский собор, долженствовавший реформировать и самое папство*. Идея соборной реформы вызвала целую литературу, произвела целое движение в церкви, имела своим результатом созвание соборов в Пизе (1409), Констанце (1414—1418) и Базеле (1431—1449). Идея эта не умирала и после неудачи, постигшей партию реформы в первой половине XV в. на этих соборах, где она была лозунгом всех, желавших преобразования. Папство несочувственно относилось к этой идее, и только когда его вынуждали обстоятельства, должно было соглашаться на созыв соборов. Так точно случилось и в середине XVI в., в эпоху полного разгара Реформации, когда был созван тридентский собор (1545—1563). Причина этого явления заключалась в том, что с самого начала по новому плану имелось в виду ограничить папскую власть вселенским собором, в чем отчасти заключалась и самая реформа, дополнявшаяся еще проектом большей самостоятельности национальных церквей со своими особыми национальными соборами. Неудача реформы именно в том и состояла, что не только не был осуществлен ее основной принцип в первой половине XV в., когда созывались пизанский, констанцкий и базельский соборы, но даже прямо восторжествовало противоположное начало папского абсолютизма, окончательно утвержденного в середине XVI в. тридентским собором. Идея большей самостоятельности национальных церквей также имеет свою длинную историю: она возникла во Франции, была особенно популярна среди фран-

цузского духовенства, выразилась в известной буржской прагматической санкции середины XV в., а в конце XVII столетия — в знаменитой декларации о вольностях галликанской церкви, почему и носит название галликанизма, но, кроме того, на основах национального собора думала одно время устроить свою церковь и часть высшего польского духовенства в середине XVI в. (*kosciół narodowy*). И вообще это движение любопытно потому, что в нем проявлялась национальная оппозиция против космополитического универсализма католической церкви.

Чтобы понять идею соборной реформы, нужно бросить взгляд на историю церковной организации.

Церковь как организованное общество имела в разное время разные правительственные формы. Первоначальное ее устройство было общинно-демократическое: автономные и соединенные в общий союз религиозные общины состояли из мирян и выборного клира, в котором существовали три священных сана (епископа, пресвитера и диакона), причем высший сан еще так не выделялся над двумя другими, как в последующие времена. Вторую эпоху и составляют те века, когда церковь имеет уже федеративно-аристократическую организацию: религиозные общины, объединенные под властью епископов, составляют целые церковные области, в которых собираются соборы из епископов или их заместителей (поместные соборы), и эти же епископы съезжаются на общие для всей церкви, или вселенские соборы (IV–VIII вв.). Наконец, на Западе возвышается власть папы, и церковь получает унитарно-монархический характер с абсолютной властью церковного монарха. Соборная реформа имела своею целью возвратить церковь к тому устройству, которое мы называли федеративно-аристократическим: предполагалось, с одной стороны, установить автономные национальные церкви, с другой — ограничить папскую власть собором, в обоих случаях выдвинув на первый план епископат. В XVI в. национальная церковь с аристократическим устройством клира, но уже не в союзе с Римом, а в полном отторжении от католицизма, была действительно организована в Англии (англиканская церковь), но в большинстве случаев Реформация XVI в. склонялась более к демократическому началу в организации клира.

План соборной реформы вышел в конце XV в. из парижского университета, который пользовался большим авторитетом, как *alma mater* других университетов, основывавшихся по его образцу, как корпорация, заключавшая в себе около 20 членов, как главный центр, наконец, богословского образования. Еще во время распри Филиппа IV с Бонифацием VIII университет этот апеллировал против папы к вселенскому собору, а в эпоху великого раскола в нем действовали выдающиеся богословы, «светочи церкви» (*luminaria ecclesiae*) Петр д'Альи, Жан Жерсон и Николай Клеманж. По мнению парижских богословов, раскол был симптомом порчи церкви, требовавшей реформы, корень же зла заключался в том, что папская власть,

сама по себе необходимая для единства церкви, узурпировала права самостоятельных национальных церквей и соборов. Они думали, далее, что уничтожить мирское направление папства и прекратить губительный раскол можно будет только путем созвания высшего трибунала, каковым является вселенский собор. Папа существует не сам по себе, его производит церковь, а собор и есть орган церкви. Соборы были в первоначальной церкви: они созывались в более близкие времена такими императорами, как Оттон Великий или Генрих III; к соборам апеллировали Филипп Красивый и Людовик Баварский в спорах с папами, — и вот соборы должны были быть снова восстановлены. План ученых богословов оставлял в неприкосновенности церковную иерархию, сохраняя вместе с тем за папою значение верховного правителя церкви, глава которой есть сам Иисус Христос: хотя папа как второстепенный глава (*caput secundarium*) и необходим для внешнего единства церкви, но он есть все-таки глава случайный, ибо церковь продолжает существовать и без него, например, во времена папских междуцарствий. Выражение церкви есть собор: в известных случаях она прямо обязана прибегать к созыву такого высшего трибунала, указаниям которого должен повиноваться и сам папа даже в том случае, если бы собор потребовал от него сложить свою власть, и по той же причине собор может низложить папу, если бы он ему отказал в повиновении. Наконец, высказывалась мысль, что вселенские соборы должны повторяться часто и что, кроме них, должны созываться соборы национальные и провинциальные. Одним словом, учению сторонников папства, — которые и теперь выступили с защитой своих принципов, — учению о единоличной и бесконтрольной власти римского первосвященника, с присвоением ей всей полноты прав и с превращением всех остальных органов законной власти на земле в простые орудия папского авторитета противопоставлена была доктрина об условной лишь полезности этой власти как административного учреждения, зависимого, однако, в последней инстанции от церкви. В самом лагере реформаторов были, впрочем, разные оттенки, например, в самом понимании церкви, есть ли это одна только иерархия (каков и был взгляд Жерсона), или под церковью следует разуметь всю совокупность верующих (как полагал немецкий богослов Конрад Гейленгузен), вследствие чего возможно было (и в действительности происходило) и разъединение в среде соборных реформаторов. Рассматривая, далее, план парижских богословов, мы уже *в нем самом открываем некоторые причины той неудачи, какую испытала церковная партия, стоявшая на его стороне.* Трудно было именно согласовать то, что хотели удержать реформаторы из прежнего церковного устройства, с тем, что они в него хотели ввести нового. План превращения абсолютной церковной монархии в монархию конституционную или в смешанное правление (*regimen mixtum*), был план, в сущности, консервативно-аристократический, — консервативный, поскольку он опирался на предание, сохранял иерархию и лишь за последнею признавал основное право именоваться всею

церковью, аристократический, поскольку, благодаря соборному управлению, первенствующим элементом церкви должен был сделаться епископат, но именно то и было трудно, чтобы согласовать восстановление уничтоженных ходом истории преобладания епископата, соборного устройства и национальной автономии с тем, что история выработала вместо уничтоженного с папскою властью, сделавшеюся властью абсолютною и универсальною. За папою признавалась полнота апостольской власти (*plenitudo potestatis apospolicae*), и в то же время собор как раз посягал на эту полноту; папа был вселенским епископом (*episcopus universalis*), но этому понятию противоречила церковная автономия отдельных наций под главенством поместных соборов. Кое-какие вопросы не были притом достаточно разработаны: кто, например, стал бы созывать соборы и утверждать их решения? Предоставить и то и другое папе значило все дело подвергнуть риску: а если папа не станет созывать соборов или не захочет утверждать их решений? Или, с другой стороны, если бы собор сходил сам собою и его постановления получали бы законную силу сами по себе, какую роль пришлось бы играть тогда верховному правителю церкви? Важен был вопрос и о подаче голосов на соборе: поголовное голосование было опасно, ибо тогда перевес был бы на стороне прелатов итальянской национальности, а подача голосов по нациям противоречила бы задаче собора, которому предстояло прежде всего восстановить единство церкви, нарушенное великим расколом.

План докторов парижского университета нашел много приверженцев. В 1394 г. десять тысяч членов этого университета подали свое мнение о схизме, которое состояло в том, чтобы потребовать отречения у обоих пап, авиньонского и римского, а потом созвать вселенский собор. В 1395, 1398 и 1403 гг. собирались в Париже национальные соборы, и по инициативе французского короля другие государи приглашались принять участие в прекращении схизмы. В 1407 г. удалось склонить обоих пап, Бенедикта XIII (авиньонского) и Григория XII (римского) съехаться в Савоне для того, чтобы одновременно и в присутствии друг друга сложить с себя власть, но дело успеха не имело. Началась недостойная комедия выездов в Савону, остановок на пути, заявлений с одной стороны, что она будет чувствовать себя безопасной только на берегу моря, тогда как другая, наоборот, считала себя в полной безопасности только внутри страны, как будто, пользуясь сравнением одного современника, это были двое животных, одно морское, никогда не выходящее на сушу, а другое сухопутное, боящееся воды. Примеру Франции, объявившей себя нейтральною между двумя папами, последовали многие кардиналы, которые во исполнение рассматриваемой идеи созвали Собор в Пизе (1409), объявивший себя вселенским и стоящим выше папы. Прелаты, съехавшиеся на это церковное собрание, подверглись отлучению со стороны обоих пап, создавших свои соборы — в Аквилее и Перпиньяне. Общественное мнение было, однако,

на стороне собора пизанского, и он объявил обоих пап низложенными. Теперь надлежало решить вопрос — произвести ли прежде реформу церкви или выбрать нового папу. Верх одержали те, которые стояли за выбор нового папы. В данном случае большое влияние оказал на отцов собора кардинал Балтазар Косса, человек весьма порочный, когда-то морской разбойник, впоследствии папский легат в Болонье, и им же был указан кандидат в лице миланского архиепископа Петра Филарги, который и был избран в папы с именем Александра V. Новый папа распустил собор и отложил дело реформы. Церковный вопрос теперь только умножился: вместо двух пап стало три, да вдобавок после вскоре случившейся смерти соборного папы его место занял под именем Иоанна XXIII Балтазар Косса, которого впоследствии обвиняли в отравлении своего предшественника и в достижении тиары путем денежного подкупа, интриг и насилий. Доктора парижского университета поняли, какая ошибка сделана была в Пизе, и требовали нового собора, и Иоанн XXIII думал посредством подкупа заставить их замолчать. Сам он о соборе и слышать не хотел, но после того как ему объявил войну неаполитанский король, стоявший за Григория XII, и папа вынужден был бежать к императору Сигизмунду, последний заставил его назначить новый собор в Констанце в 1414 г. Неохотно ехал Иоанн XXIII на это знаменитое собрание высших духовных и светских представителей католического мира, ехал с намерением закрыть собор при первой возможности, а в случае надобности даже бежать из Констанца, и когда с высот, окружающих город, он его увидел, подъезжая к нему со своей свитой, то сравнил место будущего собора с ловушкой, в которую заманивают лисиц (*sic capiuntur vulpes*), слова, оказавшиеся по отношению к нему самому пророческими.

Самому знаменитому из соборов первой половины XV в. предстояло три дела — уничтожить раскол, произвести реформу церкви, решить вопрос об учении и деятельности чешского реформатора Гуса и его последователей, и для папы наиболее удобным показалось занять отцов собора делом Гуса. Мы не станем касаться здесь последнего предмета и укажем лишь на то, как решены были два других вопроса. Их решение зависело, несомненно, от способа подачи голосов. Поголовная подача, более соответствовавшая идее единой церкви и задаче собора прекратить раскол, была опасна в том отношении, что благодаря ей могло бы образоваться большинство на стороне итальянских («загорных», ультрамонтан) прелатов, защитников папского абсолютизма, а потому реформаторы добились подачи голосов по нациям, так, чтобы в каждой нации голосование было поголовное и мнение большинства получало значение мнения всей нации. *Этим введением национального принципа в дело соборной реформы как бы показывалось, что в общей церковной жизни у отдельных народностей существовали собственные интересы, но в этом была и опасность, ибо папство*

могло воспользоваться противоположностью национальных интересов, чтобы на их разьединении основать свое господство по правилу «divide et impera!»¹. На констанцском соборе было пять наций: итальянская, французская, немецкая (со скандинавами, венграми и славянами), английская и позднее присоединившаяся испанская, пять национальных церквей, на которые распалась западная церковь еще в VIII в., в эпоху соборного устройства. Докторам богословия и канонического права был дан совещательный голос, и это было вполне справедливо ввиду той роли, какую они играли в подготовительных работах, тем более, что были на соборе и неученые прелаты, по поводу которых говорилось, что они лишь увенчанные ослы (*praelatus indoctus est asinus coronatus*). Собор объявил себя не простым продолжением пизанского и постановил большинством трех голосов (французы, англичане, немцы) против одного (итальянского) отрешить всех трех пап. Между тем собору на Иоанна XXIII был подан одним клириком донос с весьма скандальными подробностями, и собравшиеся прелаты, не думая его обнародовать, хотели воспользоваться им, чтобы понудить папу к отречению. Сам Иоанн XXIII уже шел на то, чтобы принести повинную, но в соборе не было единодушия, и сторонники старых порядков подбили папу на сопротивление. Иоанн XXIII начал тогда препираться о форме отречения, а потом бежал в Шафгаузен к Фридриху Австрийскому, и только вмешательство императора Сигизмунда, пригрозившего Фридриху опалой, заставило последнего выдать ему беглеца. Между тем Жерсон, бывший «душою собора» (*anima concilii*), настоял на принятии последним в высшей степени важного декрета, узаконившего реформаторское воззрение на папство, воззрение, формально никогда не отменявшееся, но затемненное последующими папами. «Во имя святой и нераздельной Троицы» собор объявлял, что «он, представляя собою воинствующую католическую церковь и заседая при содействии Св. Духа, имеет власть непосредственно от самого Иисуса Христа; что каждый, каково бы ни было его звание и сословие, даже сам папа обязан повиноваться собору во всем, что относится к вере, к прекращению раскола, а также к реформе церкви в главе и членах»; что «каждый, не исключая папы, кто только пренебрегает и оказывает сопротивление постановлениям, решениям и приказаниям законным образом соединившегося собора и не повинуется ему во всех вышеупомянутых и других к ним относящихся делах, тот должен быть подвержен публичному церковному покаянию и другим заслуженным наказаниям, сообразным с обстоятельствами». Иоанн XXIII, привезенный в Констанц, был предан соборному суду по обвинительному акту в 70 пунктов, из которых многие не подлежали оглашению по своей скандальности; папа был лишен не только сана, но и всех вообще духовных должностей. Так как один папа был таким образом низложен, другой (Григорий XII) сам покорился

¹ «Разделяй и властвуй» (лат.). — Прим. ред.

собору и был им за это обласкан, признававшие же его испанцы присоединились к собору, а третий папа (Бенедикт XIII) умер, то раскол был наконец уничтожен. Одно дело, таким образом, было сделано, оставалось другое — реформа церкви, но вопрос решен был не в пользу предварительного проведения реформы, а опять в том смысле, чтобы сначала выбрать папу: на этом именно сошлись романские нации (итальянцы, французы и испанцы), тогда как немцы и англичане хотели противного. Постановлено было только, что через пять лет соберется новый собор, потом еще через семь лет, чтобы затем созываться правильно через каждые десять лет, и что с нового папы будет взято обязательство произвести реформу. При выборе папы французы и испанцы и слышать не хотели об итальянце, но немцы и англичане в отместку им за то, что по вопросу о выборе папы и произведении реформы, они были на противной стороне, своими голосами дали перевес итальянцам, и на папский престол был возведен итальянец (Оттон Колонна) под именем Мартина V. Новый первосвященник сделал разные уступки отдельным нациям, чем и разъединил их оппозицию, произвел мелкие реформы, запретил кому бы то не было апеллировать собору, и констанцский собор был распущен (1418). Это церковное собрание запятнало себя сожжением Гуса, в деле которого оно отчасти впало в противоречие с самим собою, ибо Гусу, между прочим, поставлены были в вину его мнения о вмешательстве светской власти в церковные дела и о том, что порочный папа не есть папа, и поставлены как раз собором, который обязан был своим существованием вмешательству светской власти (Сигизмунда), настоявшей на его созвании и поддержавшей его в критическую минуту бегства Иоанна XXIII, — и который сам засудил порочного папу как недостойного носить свой сан. В следующем же году по закрытии собора начались гуситские войны (1419—1436): папа Мартин V объявил крестовый поход против чешских «еретиков».

Миновал пятилетний срок (1423), и новый собор не созывался; миновал и второй срок семилетний (1430), и опять был пропущен, и только в 1431 г. собрался базельский собор, просуществовавший с перерывами и перенесениями заседаний в Феррару и Флоренцию целые восемнадцать лет (до 1449). История этого собора — история внутренних раздоров. Преемник Мартина V, Евгений IV, дал клятвенное обещание порешить гуситский вопрос и осуществить реформу церкви, но он был в душе против этого, тогда как само духовенство тяготилось фискальным характером курии. Усиление партии реформы заставило папу подумать о закрытии собора. Образовалось две партии, которые произвели голосование вопроса о продолжении собора, после чего составлено было два противоположных декрета, пропето два *Te Deum*'а, и от декрета большинства, стоявшего за продолжение собора, была отрезана соборная печать для прикрепления ее к декрету меньшинства. Папа перенес собор в Феррару, потом во Флоренцию, — где произведена была известная уния, — но духовные, оставшиеся в Базеле, низложили Ев-

гения IV, выбрали на его место нового папу (Феликса V, герцога Амедея Савойского, бывшего благочестивым аскетом), провозгласили, что собор выше папы и объявили соборы непогрешимыми. Евгений IV тогда проклял базельцев и склонил на свою сторону государей и князей, боявшихся нового раскола, сделал им кое-какие уступки и дал обещания, впоследствии оставшиеся, однако, неисполненными. В 1449 г. базельский собор разошелся, подчинившись вместе с Феликсом V преемнику Евгения IV, Николаю V. В эпоху этого собора церковно-национальная оппозиция курии с особой силою проявилась в некоторых фактах. Два высоких сановника германской церкви, один из них ее примас, именно архиепископы майнцский и кельнский, курфюрсты Священной Римской империи были главными оппонентами Евгения IV (и даже были им отрешены, но потом опять восстановлены), и немецкие князья признали было базельские решения, но Евгению IV удалось ловкой политикой склонить на свою сторону императора Фридриха III и обмануть князей. Другой факт — буржская прагматическая санкция, положившая в основу прав французской (галликанской) церкви учение о главенстве соборов и национальной самостоятельности.

Что соборы окончились бесплодно, лучшим тому доказательством может служить история пап второй половины XV и начала XVI в. Мы не можем излагать здесь этой истории и наметим лишь некоторые ее черты, чтобы показать одно: *папы второй половины XV и начала XVI в. — светские государи, политики и воины, покровители гуманизма, иногда гуманисты сами*, но для них совершенно бесследно прошли все толки о реформе. Базельский собор разошелся при Николае V: это был ученый Томасо Парентучелли, папа-гуманист, покровитель Лаврентия Валлы. Пропустив незначительного Калликста III, мы имеем перед собой Пия II: это опять гуманист Эней Сильвий Пикколомини, про которого при его избрании говорили, что выбирают поэта, и что он будет управлять церковью не по ее канонам, а по правилам мифологии. Кипрская королева приезжала при нем в Рим, и папа приветствовал ее стихами из Вергилия — словами Юпитера к Венере, приходящей к нему с жалобой. За суровым Павлом II следует юрист Сикст IV, возводящий в систему обогащение своих родных на счет церкви (непотизм), ведущий войны, участвующий в политических заговорах. На рубеже XV и XVI вв. (1498—1503) правит церковью Александр VI Борджиа, дети которого (дочь Лукреция и сын Цезарь) запятнали себя развратом, злодеяниями и убийствами; молва приписала смерть папы и болезнь его сына-братоубийцы яду, приготовленному для богатых кардиналов. За Пием III, бывшим папой весьма короткое время, следует воитель Юлий II, «Pontifex Maximus Caesar», стремящийся объединить Италию под свою власть, ведущий войны, рассуждающий на латеранском соборе (1512) о военных предприятиях. Когда он умер, во Франции появился памфлет — «Юлий II, изгнанный из рая»: ап. Петр не узнает своего преемника в одежде военачальника и закрывает перед

ним райскую дверь, на которую папа бросается с обнаженным мечом. Лев X Медичи (1513—1521), при коем началась лютеранская Реформация, 13-ти лет от роду был кардиналом, 18-ти — доктором богословия, а учился у гуманистов, у платоника Марсилио Фичино, у Пико делла Мирандолы, у Анджело Полициана, лишь раз читавшего Священное Писание и жалевшего, что только даром на это потерял время. При вступлении Льва X на папский престол говорили, что за царством Венеры (понтификат Александра VI) и Марса (Юлия II) следует царство Минервы. На триумфальной арке папы были поставлены статуи Иисуса Христа, дающего ключи ап. Петру, и Аполлона с лирой. Сам папа находил удобным пользоваться выгодной «басней», как он называл христианство, т. к., по отзыву одного современника, был «добрый малый и любил пожить» (*e una buona persona ma ama a vivere*), и действительно жил он широко: он ездил на охоту, устраивал у себя пиры, маскарады, театральные представления, и уже известная нам «Мандрагора» Макиавелли была поставлена при его дворе. Будучи человеком мягкого нрава, он взял под свою защиту Помпонаццо, скептически рассуждавшего о бессмертии души. Одним словом, до религии и церкви дела ему было мало: он продал, кроме того, французскому королю Франциску I право назначать епископов и аббатов во Франции (болонский конкордат 1516) и торговал индульгенциями при помощи банкирского дома Фуггеров. Юлий II собрал латеранский собор, который при нем превращался по временам в военный совет, и Лев X назначил в этом соборе комиссию по вопросу о реформе. Латеранский собор вооружился против роскоши духовенства и запретил спорить о природе души, как раз при самом роскошном и неверующем папе, и осудил учение о том, что истинное в богословии может быть ложно в философии и наоборот, хотя и сам собор этот и папа держались такого же «двойного счета» — проповедовали одно, а жили по-другому. Достаточно этих черт, чтобы видеть, как велика была неудача церковной реформы, но именно вследствие такой неудачи дело исправления пошло в XVI в. иным путем, именно помимо церковных властей и даже вопреки им, и уже в XIV и XV вв. были прецеденты такого хода дел.

XXXIX. Предшественники Реформации XVI в.¹

Общее понятие предшественников Реформации и разделение их на две категории. — Альбигойцы и вальденсы. — Джон Виклиф. — Лолларды. — Предшественники Гуса, Гус и гуситы. — Единичные предшественники Реформации. — Вечное Евангелие и мистические секты. — Флагелланты. — Мистики. — Кризис католической церкви в исходе Средних веков.

Переходя теперь к так называемым предшественникам Реформации, мы должны прежде всего установить самое это понятие и указать на два различных течения, которые обнаруживаются среди этих предшественников. В более широком смысле такими предшественниками мы можем назвать и Жерсона, и Конрада Гейленгузена, но в смысле более тесном название это дается тем религиозным деятелям, которые более или менее разрывали связь с церковной традицией и, отрицая многое, выработанное историей, стремились и в организации церкви, и в вероучении возвратиться к первым векам христианства, как они его понимали, или же создавали новые религиозные формулы. На том основании, что Савонарола стоял вполне на почве католического правоверия, признавая все его предания и установленную иерархию, мы должны отказаться от причисления его к предшественникам Реформации: хотя он и обличал испорченное папство и клир, но он был настоящий католик и не создал никакого нового догмата. Равным образом нельзя считать вполне предшественником Реформации немецкого кардинала Николая Кребса (или Кузана — Cusanus, как он назывался по месту, откуда происходил, именно Cues у Трира): ученый богослов с гуманистическим образованием, он считал нужным очистить и обновить церковь, ничего не разрушая, и в этом смысле он действовал в годы, непосредственно следовавшие за закрытием базельского собора, стремясь

¹ Осокин Н. История альбигойцев и их времени; Михайловский В. Главные предвестники и предшественники Реформации; Müller K. Die Waldenser; Ullmann. Reformatoren vor der Reformation; Keller. Die Reformation und die älteren Reformpartien; Lechier. Johann von Wiclif und die Vorgeschichte der Reformation; Budensieg. Wiclif und seine Zeit; Poole R. L. Wycliffe and movements for reform; Соколов В. Реформация в Англии (есть изложение учения Виклифа); Новиков. Гус и Лютер; Jordan. Die Vorläufer des Hussitentums; Krummel. Geschichte der böhmischen Reformation; Bezold. Geschichte des Hussitentums; Denis. Huss et la guerre des hussites; Loserth. Huss und Wiclif; Вертеловский А. Западная средневековая мистика и ее отношение к католицизму; Noack. Die christliche Mystik; Böhringer. Die deutschen Mystiker; Preger W. Ueber die Verfassung der französischen Waldesier; Palacky. Ueber die Beziehungen und das Verhältniss der Waldenser zu den Secten in Böhmen; Jundt. Histoire du panthéisme populaire au moyen âge et au XVI siècle; Les amis de Dieu au XIV siècle; Hecker-Hirsch. Die grossen Volkskrankheiten des Miller alters; Delprat. Die Bruderschaft des gemeinsamen Lebens; Bonnet-Maury. Gerard de Groot, un précurseur de la réforme au XIV siècle; Dollinger. Beiträge zur Sektengeschichte des Mittelalters.

улучшить дисциплину клира, устраивая визитации монастырей, предлагая (папе Пию II) проект общей реформы в смысле разрешения церковного вопроса мирным путем. Деятельность его на этом поприще не осталась совершенно бесплодной, ибо в 1464 г. 127 монастырей следовало его правилам, хотя, нужно прибавить, это число сократилось до 70 к концу XV в. С другой стороны, среди самих предшественников Реформации мы должны различить еще два направления: библейское и мистическое, которым в реформационную эпоху соответствуют протестантизм и сектантство. Общее между ними — отрицание (часто, впрочем, замаскированное) католической доктрины и внешности, различие же в том, что одни основывались на Священном Писании, другие признавали и иные пути познания религиозной истины. В Средние века было вообще много ересей, сект, братств, много мистических и богословских учений, в которых мы узнаем духовных предков протестантов и сектантов реформационной эпохи и зародыши их принципов, так что *религиозная Реформация XVI в. с этой точки зрения началась не около 1520 г., а ранее целыми веками*, ибо первая секта с протестантским характером появляется еще в XII в.

Этою сектою были вальденсы (valdenses), распространившиеся на юге Франции одновременно с другою сектою — альбигойцев (albigenses), получившею название от города Альби. Этих сект смешивать между собою не следует: в то время, как вальденсы были первыми протестантами на западе Европы, альбигойцы были в ней последним отпрыском одной из весьма древних восточных ересей. В первые века христианства образовалось в восточных частях империи дуалистическое учение, получившее название манихейства. Вскоре после принятия христианства болгарами оно проникло и к ним и легло в основу так называемой богумильской ереси, распространившись оттуда на запад, в Италию (патарены, катары, т. е. «чистые», *χαθαροί*, откуда немецкое Kötzer, польское Касер — еретик) и в Южную Францию, куда в начале XIII в. против них был направлен крестовый поход, истребивший богатую культуру Прованса. Другое дело — вальденсы, община которых существует и по настоящее время в горах Дофинэ и Пьемонта: это были самые ранние христианские протестанты. Под именем вальденства сливаются, по-видимому, два религиозных течения: одно было учение «долинных людей» (vaudois, valdenses) указанной местности, другое — учение «лионских бедняков», последователей богатого купца Петра Вальдо, отдавшего себя делам благотворения и христианской проповеди. Одним из ересиархов называют Петра де-Брюи, сожженного в 1125 г., а после него — его ученика Генриха, который восставал против крещения младенцев, построения храмов, поклонения кресту, пресуществления, молитвы за умерших и обрядности. Генрих подвергся большим преследованиям, попал в пожизненное заключение (1148) и умер узником. Последователей Петра де-Брюи мы и находим в долинах Пьемонта, и еще за

тридцать лет до появления Вальдо уже было написано «contra valdenses» одно сочинение, и даже весьма вероятно, что у них лионский реформатор Петр Вальдо заимствовал свои идеи. Около 1175 г. именно он выступил со своею проповедью, добровольно обрекши себя на бедность, сделав провансальский перевод некоторых частей Священного Писания (которое переводилось и раньше катарами) и начав вскоре оказывать большое влияние на народ, так что последний перестал ходить в католические церкви. На латеранском соборе 1179 г. он и его последователи были объявлены еретиками, а в 1184 г. папа Луций велел их изгнать из лионской епархии, после чего они отправились во Фландрию и Пикардию, где имели успех и привлекли много приверженцев, разоренных впоследствии во время одного из походов Филиппа Августа, а затем удалились в Германию и Чехию, где их прозвали пикардами. Гонимые отовсюду, вальденсы сумели удержаться только в указанных местностях, сливши в одну секту последователей Петра де-Брюи, Генриха, Петра Вальдо и т. д., несмотря на многократные гонения. Одно из поздних гонений было на них в середине XVII в., и они тогда обратились к Оливеру Кромвелю за защитой и отправили в Англию свои религиозные книги, хранящаяся с 1658 г. в Кембридже и частью напечатанные в Лейдене в 1669 г. Их исповедание сводилось к признанию Символа веры в 12 членов, к вере в канонические книги Священного Писания, к учению о том, что единственный посредник между Богом и людьми есть Иисус Христос, к отрицанию чистилища, мессы, постов, обрядности и вообще людских изобретений (*las cosas atrobadas de li homes*), к сведению таинств на символы, без которых они считали возможным обходиться, хотя и оставляли у себя крещение и причащение. Известно, что против них был объявлен Иннокентием III крестовый поход, и сам папа этот признавался (1204), что «еретики тем лучше успевают привлекать на свою сторону простых людей, что находят в жизни епископов свои аргументы против церкви». Другие свидетельства также указывают на то, что сектанты обличали духовную власть за светское направление, называли духовных преемниками мытарей и фарисеев, отрицали за ними право христианского служения вследствие их порочности. Строгая нравственность сектантов привлекала к ним массу последователей, и именно в эпоху борьбы с ними церковь отнимает у мирян Библию, на которую вальденсы ссылались, запрещает ее переводы и учреждает нищенствующие ордена францисканцев и доминиканцев.

Второе крупное религиозное движение в протестантском духе связано с именем оксфордского профессора Джона Виклифа, деятельность которого как реформатора начинается около 1366 г., когда он вступает на путь политической оппозиции против Рима с требованием реформы церковного строя, чтобы около 1378 г. сделаться и реформатором церковного учения. Государственная власть в Англии, бывшая не в ладах с курией, поддерживала и защищала смелого профессора, т. к. он отстаивал интересы

нации и государства, вследствие чего ни требование его к суду, ни папская булла (Григория IX) о ереси Виклифа, ни козни его врагов не могли нанести ему существенного вреда. Виклиф — враг монашества и папства: нищенствующие монахи, креатуры и шпионы папы, были, по шутливому его замечанию, именно те люди, о которых упоминается в Священном Писании словами: «аминь, аминь глаголю вам, не вем вас», а что касается до папы, то Виклиф написал даже целый трактат, в котором доказывал тождество папы с антихристом. Единственный источник веры, по его учению, заключается в Священном Писании, знакомство с которым он считал нужным для всех верующих, что и заставило его самого перевести Библию на английский язык с латинской Вульгаты (т. к. Виклиф не знал ни греческого, ни еврейского языка): если бы, говорил он, какое-либо мнение утверждали сто пап и все монахи, превращенные в кардиналов, ему не следовало бы верить, раз оно не основано на Священном Писании. С этой точки зрения Виклиф отрицал в церковном учении и строе все, что не было основано на буквальном понимании текстов Священного Писания. «Евангелие, например, — говорил он, — не знает ни папы, ни патриархов, ни кардиналов, ни архиепископов, ни епископов, ни деканов, ни монахов», и на том же основании он отвергал богослужебную обрядность. Единственным посредником между Богом и людьми он признавал Иисуса Христа и опровергал учение о пресуществлении. Аскетизма, он, впрочем, не касался, и им было даже задумано и приведено в исполнение образование своего рода ордена «бедных священников», которые распространяли в народе его учение и английскую Библию. Эта проповедь совпала по времени с известным крестьянским движением, но деятельность Виклифа имела к народному восстанию в Англии такое же отношение, в каком через полтора века стояла проповедь Лютера к Крестьянской войне в Германии, т. е. между обоими фактами связь была слабая, да и священник Джон Балль, сопровождавший Тайлера, не был прямым учеником Виклифа. Тем не менее народная вспышка была поставлена в вину реформатору, и его положение перед смертью (1384) пошатнулось.

Последователи Виклифа получили название лоллардов, но, в сущности, это имя, перенесенное в Англию еще в начале XIV в. из Фландрии, где оно обозначало пантеистических сектантов, скрывало под собою не одних только приверженцев оксфордского реформатора, а довольно разнообразные секты, отрицавшие, например, или священство, или таинства, или празднование воскресенья и т. п. Эти секты осуждались действительными последователями Виклифа, но его противники смешивали все под одним названием. Вступление на престол ланкастерского дома (1399) было крайне неблагоприятно для лоллардов, ибо Генрих IV для упрочения своего положения считал нужным сблизиться с клиром, и потому в самом начале его царствования был издан статут *«de haeretico comburendo»*, т. е. о сожжении еретиков, на основании которого было предано казни несколько лоллардов.

Особенно же свирепствовало католическое правоверие над еретиками в царствование Генриха V. Виклифизм был подавлен, но не вполне: идеи оксфордского реформатора таились в низших классах английского общества, и когда настала реформационная эпоха, они как бы воскресли в том народном движении, которое проявилось с особою силою в английском пуританизме.

В некоторой связи с учением Виклифа находится религиозное движение, получившее свое название от имени замечательнейшего из предшественников Реформации чеха Яна Гуса. Мнение о том, будто в учении чешского реформатора нужно видеть отголоски существовавшего когда-то в Чехии восточного обряда, следует в настоящее время оставить как не имеющее за себя прочных научных оснований, но нельзя также представлять гуситство как нечто заносное, ибо оно родилось на чешской почве и, будучи вызвано, как и все аналогичные религиозные протесты, порчею церкви, в то же время было продуктом местных национальных и политических отношений. О национальном и политическом характере гуситства речь будет идти впереди, но Гус как религиозный реформатор имел предшественников в самой Чехии вроде Конрада Вальдгаузера, августинского монаха, призванного Карлом IV в Прагу, десять лет спустя (1358) после учреждения первого университета в Центральной Европе (пражский университет был основан в 1348 г.), вроде его преемника Яна Милича из Кромержижа (Кремзира), начавшего проповедовать по-чешски вместо латинского и немецкого языков, которыми пользовался Вальдгаузер, вроде Матвея из Янова, написавшего (по латыни) смелые трактаты о необходимости церковной реформы, или Фомы Штитного, влиявшего на умы современников своими произведениями, написанными по-чешски: у всех этих проповедников и писателей мы уже встречаемся с идеями, впоследствии характеризующими Гуса. Вальдгаузера нищенствующие монахи за его проповеди об испорченности церкви обвиняли в ереси, равно как и Милича, так что им пришлось оправдываться перед папой, но они еще восставали больше против дурных духовных, нежели против самих учений и учреждений церкви. Матвей из Янова уже прямо обвинял пап в том, что они стали на место Слова Божия ставить людские выдумки, и требовал, пожалуй, более радикальной реформы церкви, чем сам Гус, а Штитный, занимаясь богословскими вопросами, вовсе не хотел делаться клириком. Тем не менее несомненно и влияние идей Виклифа на пражский университет. Дело в том, что между Англией и Чехией были деятельные сношения, усилившиеся с тех пор (1381), как Ричард II женился на дочери Карла IV, Анне. Чешская половина университета весьма благосклонно относилась к проповеди Виклифа, находившей, наоборот, отпор в немецкой половине, более значительной и влиятельной. В 1391 г. рядом с университетом возникает другой центр свободного отношения к католицизму — вифлеемская капелла, в которой раздается исключительно чешская проповедь, благодаря высту-

плению нескольких талантливых чешских деятелей, каковы были Ян Проти́ва, Ян Ште́кна, Степан Колинский и, наконец, Ян Гус из Гусинца (1369–1415), с 1398 г. читавший лекции в пражском университете, в 1400 г. принявший посвящение в священники, а в 1402 г. сделавшийся весьма популярным проповедником в вифлеемской капелле и ректором университета. В 1398 г. Гус собственноручно переписывал рукопись с разными трактатами Виклифа, делая кое-какие свои примечания на полях, из которых одно гласило: «Дай, Господи, царство небесное Виклифу! О Виклиф, Виклиф! ты смутишь не одну голову»¹. Между тем вопрос об еретичестве оксфордского реформатора сделался одним из предметов, разделявших мнения чешских и немецких членов пражского университета, и Гус, в своих проповедях, подобно Виклифу, обличавший порчу церкви, требовавший ее возвращения к первоначальной чистоте, возбудил против себя ненависть немцев и защитников иерархии. Изложение его борьбы с правоверными католиками и с немецкой партией в университете, равно как его процесса, осуждения и казни на констанцском соборе, не входит в план настоящего сочинения, т. к. для нас важно в этой деятельности Гуса одно — его оппозиция против католицизма, вытекавшая из религиозных побуждений. Гус сначала думал лишь о легальной реформе, а дальше того, на что он первоначально готов был идти, его толкнули его оппоненты и враги, действовавшие возбуждающим образом на его страстную натуру, на его боевой характер: в пылу спора, в увлечении борьбою Гусу некогда было ясно и определенно формулировать свои положения, откуда — многие неясности и противоречия его мнений, позволяющие передавать их и так, и сяк, и в смысле якобы возвращения к восточному православию, и в смысле якобы полной солидарности с позднейшим протестантизмом. У Гуса не было ни того, ни другого: он сам не отделялся от римской церкви, он считал себя католиком, хотя и не хотел безусловно подчиниться собору, да и вообще он остался гораздо ближе к католическому правоверию, чем Виклиф, смущавший в числе других голов и голову Гуса. В чешском реформаторе поражает не столько сила мысли, не столько логика, сколько сила характера, энергия, убежденность в правоте своего дела, преданность идее, и *эта-то сила характера, создающая вообще исторических деятелей, проявляясь в отдельных личностях, особенно способствовала тому, чтобы религиозный протест против католицизма, зарождавшийся в глубинах человеческой совести, становился напряженным и деятельным*. Гус имеет свое значение в национальной чешской истории, из чего, однако, не следует, что его имя должно было сделаться каким-то лозунгом для всего славянства в его противопоставлении романо-германскому Западу как особого мира: чех и, следовательно, славянин, Гус вырос все-таки на почве западной культуры, был ее продуктом, хотя и стал в оппозиционное отноше-

¹ Влияние Виклифа на Гуса особенно доказывает Лозерт; Бецольд старается доказать, что гуситство целиком местное явление.

ние к одной из ее основ, и та реальная роль, какую он играл в истории Запада, та роль, какая выпала на долю гуситов-чехов, была одним из редких в культурной истории Запада проявлений активного учения той части славянского племени, которая принятием христианства из Рима была вдвинута в исторические рамки западной культуры; сам тот национальный принцип в религии и политике, который отстаивался Гусом, не был чем-то неведомым романо-германскому Западу, специфически славянским, ибо то же национальное начало проявлялось в разные времена в церковной жизни и Франции («галликанская церковь»), и Англии (Виклиф и Реформация XVI в.), и Германии (лютеранская Реформация), и Польши, считающейся изменницей славянству (идея «костела народного» в XVI в.). Гус принадлежит истории Запада, хотя та самая вражда, с какою он и его последователи относились к немцам, и заставляла последних платить чешским «еретикам» тою же монетою: Гус был прямо предшественником Лютера в хронологическом смысле, хотя его религиозные идеи и не находили последователей в Германии, если не считать социальных воззрений позднейших гуситов, повлиявших на немецкий народ, а не на теологов, так что сам Лютер, познакомившись с сочинениями Гуса, признавался в 1520 г. (в письме к Спадатину), что был гуситом, вовсе того не подозревая. В 1412 г. Гус выступил с проповедью против индульгенций, торговля которыми возмутила его религиозное чувство; выступил против отпустительной буллы Иоанна XXIII и учения об индульгенциях на публичном диспуте. В сущности, однако, он не желал при этом никаких нововведений, и самые ярые его враги не могли найти у него ересей в учении о таинствах и, в частности, о таинстве причащения, о поклонении Св. Деве и святым, а если он в чем и уклонялся от общепринятых начал, то только в двух пунктах, имеющих прямо протестантский характер: единственным источником веры он признавал Священное Писание, а церковь определял как совокупность всех предопределенных к спасению (*universitas praedestinatorum*) — последнее в смысле довольно близком к тому, в каком учил об этом представитель соборной реформы Конрад Гейленгузен. Гус считал возможным, что видимый глава церкви, папа, не будет принадлежать к истинной церкви, и что тогда власть его будет недействительна, но настоящее развитие идея эта получила у крайних его последователей, известных под названием таборитов. Кроме того, он требовал причащения под обоими видами (*sub utraque specie*), практиковавшегося в западной церкви еще за двести лет до его времени, и нападал на церковное землевладение (в частности, на «дар Константина», в подлинности которого не сомневался) и на десятину как на источник моральной порчи клира.

Между последователями Гуса, против которых церковью был объявлен крестовый поход и религиозная война с которыми приняла национальный характер вражды между немцами и чехами, образовалось *два направления, аналогию с которыми представляют из себя и два течения в протестант-*

ской Реформации XVI в. Исходя из того общего принципа, что главным авторитетом для людей должно быть Священное Писание, одни, более консервативно настроенные гуситы, считали возможным удержать из старых установлений церкви все, что прямо не противоречит Священному Писанию, тогда как другие, люди более радикального темперамента, находили необходимым уничтожить все то, что не предписывается буквально Словом Божиим. Первые — чашники, или утраквисты, лозунгом которых была чаша для мирян и причащение *sub utraque specie*, вторые — табориты (от основанного ими укрепления, названного Табором), отвергавшие учение о чистилище, поклонение святым, посты, праздники, иконы, мощи и т. п. Между обеими фракциями возник антагонизм, и утраквисты вступили в переговоры с базельским собором на основании взаимных уступок и чаши для мирян с народным языком в богослужении. Табориты потерпели поражение, но и католическая церковь, вышедшая победительницей из этой борьбы, оказалась вынужденной сделать уступки тому, что считала ересью.

К предшественникам протестантской Реформации XVI в. причисляют еще нескольких одиноко стоящих богословов XV в., высказывавших идеи, аналогичные реформационным учениям следующего столетия. Вот краткие о них сведения. Иоанн Гох (собственно Пуппер из Гоха), приор одного женского монастыря (ум. 1475), был автором нескольких сочинений, увидевших свет в печати лишь в XVI в. «Одно Священное Писание, — писал он, — имеет неоспоримый авторитет, а творения Отцов Церкви имеют силу лишь тогда, когда согласны со Священным Писанием». Гох подвергал критике католическое учение о добрых делах, допускал погрешимость церкви и создавал особую духовную теорию таинств. Иоанн Вессель, «светоч мира» (*lux mundi*), был профессором в разных университетах и умер в 1489 г. Его учение, сделавшееся известным Лютеру только после отпадения от церкви, ставилось последним весьма высоко. Одно из сочинений Весселя (*Farrago rerum theologicarum*), напечатанное впервые в 1522 г., было издано еще раз с предисловием Лютера. Существо его взглядов следующее: «ничему не нужно верить, кроме того, что находится в Священном Писании, ибо Иисус Христос велел своим ученикам проповедовать Евангелие, а не говорил, что они должны издавать новые законы»; «истинное единство (церкви) есть союз верующих... и неважно, кто — правители, под властью которых они живут... единство церкви под главенством папы есть случайность, ибо не папа есть связующая сила, а Дух Святой». Поэтому он находил, что *graecus vera pietate affectus* скорее спасется, чем *latinus non affectus*¹, и прямо высказывал мысль об оправдании посредством веры, сделавшуюся исходным пунктом протестантского вероучения в XVI в. (*arbitratur homo per fidem in Christum sine operibus*). У Весселя были силь-

¹ «Грек скорее спасется искренней верой, чем латинянин, [живущий] без нее» (лат.). — Прим. ред.

ные защитники, и потому он не имел никаких неприятностей с духовными властями, тогда как третий современный предшественник Реформации Иоанн Рухрат из Везеля, тоже профессор и проповедник, умер в монастырской темнице (около 1480 г.) за свои смелые обличения порчи церкви, за протест против индульгенций и т. п. Его сочинения, в которых он указывал на Священное Писание как на единственный источник веры, были осуждены и пропали, кроме двух, напечатанных впоследствии. В начале XVI в. число подобных, как эти «предшественники», вообще вырастает, и около того времени, как выступил Лютер против индульгенций, было уже много людей, высказывавших аналогичные мнения: в Англии Колет и его друзья еще раньше поступления Лютера в монастырь; во Франции профессор Лефевр д'Этампль, писавший в 1512 г. о посланиях ап. Павла, где есть указание на идею оправдания посредством веры, и францисканец Михаил Мено, проповедовавший против индульгенций в том же году, как и Лютер; в Швейцарии Ульрих Цвингли, который сам о себе говорит, что он учил тому, что и Лютер, когда еще имя Лютера было ему неизвестно, а в Польше в 1516 г. некто Бернارد из Люблина писал Симону из Кракова, что нужно верить одному Писанию, и там же в 1504 г. вышли сочинения в новом духе «об истинной вере» и «о браке священников».

Другую категорию религиозных движений представляют собою массовые проявления мистицизма со стоящими в связи с ними учениями отдельных мистиков. В XIII в. была в большом ходу проповедь «вечного евангелия» и как раз среди части францисканцев. В 1254 г. парижский архиепископ послал папе Иннокентию IV «Введение в вечное евангелие или в книги аб. Иоахима», осужденное буллой следующего папы. Авторство этой книги приписывается разным лицам. Сущность учения была такова: от Адама до Христа было царство Бога Отца, выражавшееся в законе и имевшее свой орган в синагоге; затем наступило царство Сына, основанное на благодати, сообщаемой в таинствах, и воплощенное в церкви, и вот сектанты думали, что наступает царство Св. Духа, когда все непосредственно будут находиться в общении с Богом. Некоторые полагают, что в связи с этим движением (хотя и непрямой) находились некоторые народные волнения в Северной Италии. Были и другие мистические секты, каковы братья свободного духа, на Рейне, с XIII по XV в., так называемые *humines intelligentiae* в Брюсселе в XV в. с пантеистическим оттенком, бегарды и бегинки, бывшие сначала братьями (в начале XIII в.) и сестрами (еще в XI в.) милосердия и т. п. Мистические секты искали спасения вне путей, указывавшихся церковью. Именно церковь ставила необходимыми условиями спасения принадлежность к видимой церкви, участие в общественном богослужении и посредство священнического чина между Богом и людьми, тогда как сектанты держались противоположных взглядов: для них не существовало того принципа, по которому, где видимая цер-

ковь, там находится и Христос, ибо они думали, что в католической церкви есть только тщеславие и суета и что церковь там, где действительно Христос, с Богом же человек может соединяться непосредственно, что даже сарацины и евреи способны спастись, что все дело во внутреннем состоянии души. Многие из них относились свободно к Священному Писанию, находя в нем много поэтических мест. Особую форму религиозного движения в народе мы можем наблюдать, далее, в бичующихся, или флагеллантах, известия о которых относятся к XIII—XV вв., но с особою силою это движение, весьма часто принимавшее совершенно характер моральной эпидемии, охватило Западную Европу в эпоху «черной смерти», т. е. в середине XIV в. Толпы народа переходили из города в город, из села в село, увлекая за собою новых последователей. Это были как бы большие крестные ходы, встречавшиеся колокольным звоном: участники этих паломничеств молились, пели священные гимны, каялись в грехах перед своими наставниками, не принадлежавшими, однако, к духовенству, а главное — подвергали каждый самого себя и все друг друга жестокому бичеванию до крови, до потери сознания или начинали неистово плясать (пляска св. Витта), за чем наступали обмороки, эпилептические припадки. У немецких бичующихся была в ходу грамота, якобы принесенная от Иисуса Христа ангелом и найденная на алтаре храма Св. Петра в Риме. Многие бичующиеся видели отверзтое небо, Христа, Богородицу и т. п.

Мистическое настроение, принимавшее весьма различные формы во внешнем своем выражении, но всегда или враждебно становившееся к католицизму или представлявшее из себя более или менее незаметный из него выход было своего рода почвой, на которой вырастали целые философские системы мистицизма, имевшие нескольких весьма видных представителей в Германии XIV и XV вв., каковы три доминиканца Эккарт (умерший в 1329 г. на пути в Авиньон, куда он поехал для оправдания), Таулер (ум. в 1361), Сузо (ум. в 1365), затем священник Рейбрук (ум. в 1385), *doctor extaticus*¹, и, наконец, Фома Гамеркен из Кемпена, знаменитый автор книги о подражании Христу (ум. в 1471). Мистики стремились к непосредственному созерцанию Бога духом, и их учения весьма трудно формулировать вкратце, т. к. мистицизм выражался сильнее в чувствах, чем в понятиях, да и самые понятия мистиков слишком своеобразны, чтобы быть схваченными в очень сжатой передаче, тем более что идеи мистиков или были крайне абстрактного свойства, или, наоборот, принимали поэтическую окраску. Мистики не выходили из церкви наружным образом, а то уважение, каким, например, пользуется книга Фомы Кемпийского у христиан разных исповеданий, указывает на то, что ее автор и не сходил с почвы христианства, а только особенно выдвигал, подобно позднейшим протестантам, на первый план в деле спа-

¹ Экстатический доктор (лат.). — Прим. ред.

сения индивидуальный акт души. Зато Эккарт подвергся осуждению со стороны папы Иоанна XXII за свои пантеистические воззрения. Отголосок его учения находят у некоторых сектантов, но из мистических же кругов вышла «Theologia Germanica», о которой Лютер впоследствии говорил: «Ниоткуда, кроме Библии и бл. Августина, я не узнал так хорошо, как из этой книги, что такое Бог, что такое Христос, что такое человек и все вещи». Последователи мистицизма носили название друзей Божиих и составляли множество тайных кружков в Германии, Швейцарии и Нидерландах, и из этих же кружков вышел Гергарт де Грот из Девентера (1340—1384), основатель братства общей жизни (*fratres vitae communis*). Это был сколок с монашества, но без бесповоротных обетов: «братья», живя в общих домах, должны были заниматься перепиской книг и обучением юношества. Братские школы довольно рано усвоили новое классическое образование, приспособив его к нуждам религии, и из этих-то школ вышли такие деятели, как Николай Кузанский, Фома Кемпийский, Иоанн Вессель и Эразм Роттердамский.

Успех таких реформаторов, как Виклиф и Гус, увлекших за собою громадное количество последователей, одновременное появление одиноких богословов, высказывавших идеи, несогласные с учениями католической церкви, распространение мистического сектантства в народных массах, выступление мистических писателей, искавших особых путей к спасению и лишь наружно остававшихся в церкви, образование тайных мистических кружков, возникновение братства общей жизни, из которого, как еще увидим, вышла реформа теологии, и одновременно со всем с этим требование легальной реформы церкви путем собора, с другой же стороны, литературное обличение испорченности папства, высшего и низшего духовенства и особенно монашества, то гневно-негодующее, то презрительно-насмешливое, а наконец и развитие гуманизма, в лучшем для католицизма случае к нему совершенно равнодушного, — все это указывает на то, что церковь утратила свой прежний моральный авторитет, в то самое время, как полная неспособность, какую она обнаружила реформироваться своими внутренними силами, заставила принять в этом участие внецерковные сферы.

XL. Внецерковные силы в религиозной реформе¹

Участие правительств и народов в церковной реформе. — Начало народности и реформа церкви. — Отношение государства к этой реформе. — Общественные и народные движения против католицизма с реформационным характером. — Старое и новое образование в церковной реформе. — Индивидуализм в религии. — Слияние светской оппозиции с религиозным протестом. — Богословские занятия Эразма. — Его отношение к церкви. — Его рационализм.

Нам предстоит теперь обратить внимание на одно важное явление, особенно характеризующее XVI в., но зародившееся еще в предыдущие столетия. Кто производит реформу церкви в XVI в.? Кроме отдельных деятелей, дававших реформе новые принципы и лично порывавших связь с церковью, *реформу производили правительства и народы и притом вопреки легальным церковным властям и нелегальными, с церковной точки зрения, путями.* Папа-реформатор вроде Григория VII не появлялся; не появлялись католические реформаторы из монахов вроде клунийцев, францисканцев, доминиканцев; соборная попытка возрождения церкви окончилась неудачей. Только в середине XVI в. успехи Реформации вдохнули жизнь в разлагавшийся католицизм, и за починку — если не за реформу — католической церкви взялись папы, оставившие политику своих предшественников, новый, хоть и не совсем монашеский, орден иезуитов и собор, заседавший в Триденте. И вот мы видим, что за дело реформы церкви берутся в первой половине XVI в. правительства и народы, берутся, однако, имея своего рода antecedенты в XIV и XV вв. Что заставляло их вступаться в это дело? Ответ на этот вопрос должен быть ясен для каждого, кто возьмет на себя труд припомнить все, что говорилось раньше о различных отношениях, в каких находилась церковь к светскому обществу — к народности, к государству, к отдельным сословиям. Новые теологические учения были делом немногих, испорченность духовенства бросалась в глаза всем, но, помимо того, действовали и другие силы, *те самые силы, которые заставляли правительства и народы выступать на путь оппозиции против католицизма из-за причин чисто светских.* История XVI в. вся свидетельствует об этом.

В свое время мы уже видели, что чисто мирские начала, народности, государства, светское общество, равно как человеческие начала личного раз-

¹ Главные относящиеся сюда факты см. в разных сочинениях, относящихся к истории церковных дел, а специально можно указать на труды, в которых рассматривается интерес светского общества к реформе, например: *Dietz. Die politisch Stellung der deutschen Städte (1421—1431) mit besonderer Berücksichtigung ihre Betheiligung an der Reformbestrebungen dieser Zeit.*

ума и личной жизни, приводили целые страны и отдельных людей в столкновения с церковью на почве разных практических отношений, теперь же мы должны увидеть, как *эти самые оппозиционные силы, действовавшие в смысле освобождения общества и личности от церковной опеки, сами начинают брать под свою опеку церковные дела*, — сторона дела, которой не следует упускать из виду при изучении и реформационной эпохи, и эпохи великого раскола, неудач соборной реформы и таких движений, каковы были связанные с именами Виклифа и Гуса.

Универсализм католической церкви, говорили мы, вызывал против себя оппозицию во имя человеческого начала народности: в XIV и XV вв. *эта национальная оппозиция выразилась и в реформационном смысле*, породив идею национальных церквей. Начало народности в эту эпоху громко заявляет свои права. Великий раскол дает случай отдельным национальностям стать на сторону того или другого папы. В это же время задумывается реформа церкви на началах национальной автономии с национальными соборами. На констанцком соборе голоса подаются по нациям, и каждая народность выступает со своими особыми интересами. Пользуясь последним обстоятельством, папа заключает конкордаты с отдельными народностями. Буржская прагматическая санкция создает вольности галликанской церкви. Оппозиция Виклифа и Гуса, кроме религиозного, имеет и национальный характер; оба реформатора считают нужным дать верующим Священное Писание и богослужение на народном языке. Базельский собор делает уступку утравкистам по вопросу о национальном языке. Этот же национальный принцип играет роль и в Реформации XVI в.

Рядом с национальной оппозицией Риму мы видели политическую оппозицию его теократическим стремлениям. *Государственная власть равным образом действует как сила, помогающая реформационным стремлениям*. Королевская власть во Франции оказывает поддержку требованиям парижского университета по вопросу о реформе церкви. Констанцкий собор был обязан и тем, что был созван, и тем, что не разошелся после бегства Иоанна XXIII, настояниям и вмешательству императора Сигизмунда. Людовик XII при столкновении с папою Сикстом IV грозит ему собором. Известно, что Виклиф как защитник политической независимости Англии пользовался поддержкою королей Эдуарда III и Ричарда II. Сам он доказывал, что государство имеет по отношению к духовенству известные права, и этой стороной его проповеди особенно дорожили правящие классы. По учению Гуса, государи как помазанники божии имеют право вмешиваться в церковные дела, и Гуса поддерживал чешский король (Вацлав), а королева сделала его даже своим духовником. Тот же Вацлав объявил свой нейтралитет между римским и авиньонским папами, но особенно любопытен следующий эпизод из его царствования. Пражский архиепископ Збинек велел сжечь более двухсот томов сочинений Виклифа, отобранных

у профессоров и студентов, и вместе с ними один трактат Гуса, но Вацлав наложил на церковные имущества запрещение, требуя, чтобы собственники сожженных книг были вознаграждены. В этом вмешательстве государей в церковные дела, в этом их покровительстве проповедникам, которые приходят в резкое столкновение с церковными властями на почве верования, в этом учении реформаторов о праве государства устроить церковные отношения, равно как в известном нам поощрении государства к тому, чтобы оно секуляризовало церковные владения, мы узнаем зародыши той политики, которая в XVI в. заставляла некоторых государей делаться церковными реформаторами.

Мы познакомились в свое время и с социальной оппозицией духовенству, которым отдельные сословия были недовольны по довольно разнообразным причинам как морального, так и материального свойства, т. к. здесь оказывали свое влияние на возникновение недовольства и привилегии клира, и церковный суд, и богатства церкви, и взимание десятины, и роскошный образ жизни, праздность, пренебрежение своими обязанностями, алчность и порча нравов духовенства. *Оппозиционно настроенное общество готовилось принять участие и в церковной реформе: великий раскол католической церкви и особенно соборы первой половины XV в. направили внимание светских людей на церковные дела, и после неудачного исхода соборов, после того, как папство сумело привлечь на свою сторону светскую власть, все более и более должна была утверждаться мысль, что не папа, не прелаты могут произвести реформу, да, пожалуй, и не светская власть, а именно сам народ. Старые секты, но особенно виклифизм, а в еще большей степени гуситство были проявлением участия народных и общественных сил в деле церковной реформы, но мы еще увидим, что такое участие было теснейшим образом связано и с решением чисто политических и социальных вопросов, как это особенно можно сказать о движении гуситском, а затем и обо всех случаях общественного или народного движения в реформационную эпоху.*

Рядом с оппозицией национальной, политической и социальной мы ставили еще оппозицию интеллектуальную, выражавшуюся главным образом в философской и научной мысли, поскольку последняя тяготилась схоластическим догматизмом. *Представители научной мысли (разумеется, в области богословия) являются также в числе деятелей и даже инициаторов церковной реформы: Виклиф, Жерсон, Гус были учеными профессорами, в деле соборной реформы парижскому университету принадлежала руководящая роль, и Жерсон считался даже «душою» констанцкого собора; гуситское движение началось в пражском университете прежде, чем сделаться всесословным и общенародным; Гох, Вессель, Везель были также ученые люди; наконец, на самом констанцком соборе был дан совещательный голос докторам богословия и канонического права. Но и Жерсон со своими товарищами, и Виклиф с Гусом были людьми старого, схоластического обра-*

зования, и если новое, гуманистическое образование в Италии приняло характер умственного направления, равнодушного к церкви и ее реформе (вспомним хотя бы Поджио на констанцском соборе), *то со второй половины XV в. распространение гуманизма по Европе сопровождается уже приложением изучения древних языков (вместе с еврейским), вообще классических знаний и новых научных приемов к богословским занятиям*. Мы видели, что таково было именно направление в братстве общей жизни, основанном Гергартом де Гротом, хотя этот деятель и вышел сам из мистических кружков, да и основанное им братство воспитывало в себе мистиков, что явствует хотя бы из примера Фомы Кемпийского. Возникнув около 1375 г., братство это с самого же начала поставило своею задачею подъем богословских знаний для чего, как общеобразовательным средством, не пренебрегало и древнею римскою литературою: развитие классических знаний в Италии заставило нидерландских и немецких братчиков усилить и в своих школах классический элемент. Мы знаем уже, что в этих школах учились такие люди, как Николай Кузанский, сторонник церковной реформы, уже вкусивший нового образования, далее предшественник Лютера Иоанн Вессель, видевший в итальянском гуманизме пригодную для церкви силу, учившийся по-гречески, занимается изучением Священного Писания и Отцов Церкви, наконец, сам Эразм Роттердамский. Известно также, какую роль люди нового образования играли в реформационную эпоху: к числу подобных людей принадлежали, например, сотрудник Лютера Меланхтон и сам Цвингли. Таким образом, даже церковная наука не только уже выходила из-под опеки иерархии, но даже сама начинала делаться силою, без которой не могла бы совершиться религиозная Реформация XVI в. Наконец, *и личность, начавшая отстаивать свои права против гнета, который на нее налагался средневековым католицизмом, проявилась как самостоятельный фактор и в деле религиозной реформы*. Говоря это, мы должны иметь в виду не только такие случаи, когда личное разумение противопоставляло себя церковному авторитету, как это наблюдается хотя бы и в деле Гуса, требовавшего от собора доказательств своей неправоты, но и другие факты, в которых обнаруживался индивидуализм. В этом отношении заслуживает, например, внимания немецкий мистицизм (да и вообще мистические секты), поскольку он допускал непосредственное общение индивидуальной души с Богом, поскольку он отодвигал на задний план внешние средства спасения и выставлял на первое место внутреннее состояние единичной души. Этот религиозный индивидуализм проявлялся и в сектантстве, в том пророческом духе, который овладевал наиболее рьяными сектантами, думавшими, что через их личное посредство глаголет сам Дух Святой, — явление, с которым мы встречаемся и в сектах XVI—XVII вв., принимавших учение о внутреннем откровении или о божественном озарении (*lumen divinum*), совершающемся в душе отдельных лиц. Мистицизм получал нередко пантеистический характер, например, в проповеди

«вечного Евангелия» или в учении Эккарда, и тогда принималось прямо воплощение самого Бога в отдельных людях (учение Амальриха Бенского в начале XIII в., одного из родоначальников «вечного Евангелия») или, как мы это видим у Эккарта, признавалось отождествление познания Бога отдельным лицом с божественным самосознанием. Если в конечном своем результате пантеистическая окраска мистицизма уничтожала отдельное Я, то учение о непосредственном общении с Богом и внутреннем откровении давало простор тому рационализму, который необходимо должен был выйти из подобного религиозного индивидуализма, едва только ослабевал элемент чувства, лежавший в основе мистического настроения. В другой форме индивидуализм проявляется также в учении об оправдании посредством веры, сделавшемся исходным пунктом протестантской теологии. Хотя реформаторы и отвергли значение личного усилия в этом деле, приписав все действию благодати Божией, предопределению, но зато они выдвинули вперед веру как внутреннее состояние индивидуальной души. Уже в Новое время на почве того же религиозного индивидуализма возникает идея свободы совести.

Итак, что же мы видим? Церковь сама, своими силами оказывается неспособною реформироваться, и в роли факторов реформы выступают целые народы, государи, общественные классы, представители образования, отдельные лица, но все эти факторы Реформации являются и факторами оппозиции. Одним словом, *реформационное движение, исходя не из самой церкви, принимает по отношению к последней характер оппозиционный, и та оппозиция, которая имела источник в человеческих началах нации, государства, общества, личной мысли и личной жизни, сливается с религиозным протестом верующей совести и нравственного чувства*. В этом общем явлении мы должны видеть основу для надлежащего понимания всей реформационной эпохи, хотя наша формула требует одного дополнения, именно указания на то, что *со светскою оппозицией и религиозным протестом против церкви слилось еще решение политических и социальных вопросов*, не имевших отношения ни к притязаниям, ни к порче церкви.

Уже было сказано, что реформа церкви, произведенная в XVI в., не могла бы совершиться без образовательных средств и что эти образовательные средства заключались в гуманизме. Были также сделаны указания на богословские интересы немецких гуманистов. Об одном из них, об Эразме Роттердамском, уже приходилось говорить не раз, но мы мало еще знаем о его отношении к теологии.

Богословские занятия гуманистов как представителей светского образования сами по себе представляли факт новый в истории Западной Европы, когда же занятия эти получали независимый характер, им принадлежала известная роль и в проведении церковной реформы. Мы уже знаем, как отрицательно относился Эразм к папству, духовенству и монашеству; хотя сам он, тем не менее, не стал на сторону Лютера, богословские его занятия не прошли

даром для протестантизма. «Эразм, — говорили враги нового движения, — снес яйцо, а Лютер его высидел», или «Лютер высосал весь яд из сочинений Эразма». Знаменитый гуманист был действительно богословом совсем нового направления, истинным отцом протестантской теологии, основывавшейся на Священном Писании и Отцах Церкви, хотя многие его воззрения и казались Лютеру слишком рационалистическими, и он даже отчаивался в спасении Эразма. Раньше мы приводили уже кое-какие мнения Эразма, познакомимся теперь несколько ближе с его теологическими занятиями. Во-первых, он издавал латинских Отцов Церкви и переводил греческих, подвергал критике Вульгату и очищал греческий текст Нового Завета для вполне правильного издания. Во-вторых, он писал сам сочинения на религиозные темы, каковы «Увещание к изучению философии Христа», «Сокращенное руководство к истинному богословию», «Руководство христианского воина» и комментарии. Но Эразм был слишком индивидуалистичен (*Erasmus est homo pro se*), слишком рационалист и политик, чтобы увлечься лютеранским движением, происшедшим в конце его жизни (Эразм умер в 1536 г.). Это был человек, ничего, так сказать, прямо не отрицавший, мало что утверждавший, но зато все потрясавший, часто уклончивый и осторожный, смотревший на себя как на философа, а не как на сектатора, и его, верившего в силу образования, отталкивала от себя антинаучная проповедь, раздававшаяся с самого начала реформационной бури в Германии. Само происхождение Эразма ставило его в особое отношение к церкви: он был незаконнорожденным сыном монаха, которому пришлось многое вытерпеть; его самого хотели в ранней юности упрятать в монастырь, и он к монашеству получил какое-то отвращение. Вот как Эразм сам характеризует свою деятельность: «Вот вкратце чего я всегда добивался своими книгами. Я сильно поднимал голос против войн, которые уже столько лет потрясают почти весь христианский мир. Богословие (эти слова мы уже приводили) слишком вдалось в софистические тонкости, и я пытался возратить его к его источникам и прежней простоте. Мы старались возратить прежний блеск священным писателям, у которых можно более живым образом почерпать вещи, читаемые некоторыми людьми в отрывках или, лучше сказать, в кусках. Я научил, — продолжает Эразм, — литературу, до того времени почти языческую, говорить о Христе (*sonare Christum*). Я по мере сил помогал развитию языков, которые начинали расцветать. Я порицал суждения людей большею частью странные. Я будил мир, засыпавший в почти иудейской обрядности, и призывал его к более чистому христианству, не осуждая, однако, церемоний церкви, но указывая на то, что следует предпочитать». Мы уже приводили одно место из сочинений Эразма, направленное против языческих суеверий, связанных с культом святых, но, кроме того, он был решительным противником и того паганизма, который характеризует итальянский гуманизм его времени. «Все, — писал он в одном письме, — все обещает великий успех, и одно меня только тревожит:

я боюсь, как бы под покровом возрождающейся древней литературы язычество не сделало попытки поднять голову, ибо и между христианами есть люди, знающие Христа, так сказать, только по имени. В сущности же они язычники. Таковы-то дела человеческие: всегда под сенью хорошего стремится проникнуть в мир что-либо дурное». В сочинении «Цицеронианец», в котором он осмеивает увлечения некоторых гуманистов, он говорит еще: «Я подозреваю, что под этим названием замышляют нечто иное: из христиан нас хотят сделать язычниками. Напротив, литература должна служить прославлению Господа и Бога нашего Иисуса Христа, как Цицерон украшал своим красноречием мирские предметы». Богословские вопросы сильно занимали Эразма, и он хотел основательной реформы в этой области. «В богословии, — писал он одному другу, — дело несколько труднее, ибо до сих пор теологи по профессии, незнакомые с литературой, под ложным претекстом благочестия отстаивают свое невежество и натравливают толпу на всякого, кто нападает на их варварство. Они думают, что грамматист не может быть философом, что оратор никогда не будет юрисконсультom, а учитель риторики — богословom. Но и здесь совершится Возрождение, если три языка будут преподаваться в общественных школах, как это уже начали делать». Естественными источниками богословия Эразм признавал Священное Писание и первых его комментаторов: Оригена, Василия Великого, Григория Назианзена, Кирилла Иерусалимского, Иоанна Златоустого, блаженного Иеронима и блаженного Августина: поэтому-то он и издавал их и переводил. Но самое его отношение к Священному Писанию было весьма свободное. «Если, — писал он, — ты будешь изучать рассказы Священного Писания поверхностно, как Адам был создан из земли, как от его ребра была создана Ева, как они съели запрещенный плод и были изгнаны из рая, то ты не имеешь преимуществ, как если бы ты начитался классиков-поэтов, например, как Прометей создал из камня статую, как он похитил с неба огонь и оживил эту статую. Таким образом, если станешь понимать поверхностно, буквально, то изучение твое будет весьма неплодотворно; но если понимать аллегорически, то будет большая, большая польза. Например, миф о гигантах весьма ясно указывает на то, что человек не должен вступать в борьбу с тем, что выше его. Если человек, например, убежден, что он может быть полезен только в мирской жизни, в семье, то должен жениться, а в противном случае должен удалиться в монастырь. Легенда о Цирцее свидетельствует, что развращенная жизнь человека делает его подобным свинье. Миф о Тантале свидетельствует, что сокровище на земле бесполезно. Миф о Геркулесе показывает, что неослабимым трудом и благородным стремлением человек заслуживает небо. Но если понимать все это буквально, то пользы не получится никакой. Какая польза христианину, если он узнает из Священного Писания, как дети патриарха враждовали между собою еще в утробе матери и как они поссорились за чечевицу. Это есть и у Ливия, и даже полнее, ибо

там есть много нравственных рассказов». Отсюда — присутствие рационализма в теологических взглядах Эразма. Он находит, например, что апостолы только в существенных делах получали вдохновение от Св. Духа, в несущественных же могли ошибаться, но тут являлся вопрос: что следует считать существенным, где критерий для этого? Говорил, например, Эразм об ошибках против языка в Священном Писании, и знаменитый по своему диспуту с Лютером доктор Экк спрашивал его, где же тогда тот дар языков, на основании которого апостолы могли распространять Евангелие на всех языках. Эразм, далее, признавал первородный грех, но придавал ему другое значение, чем церковь: для него этот грех не был источником наследственной порчи человеческой природы, а скорее как бы дурным примером. Он веровал в божественность Иисуса Христа, но отрицал доказательность тех текстов, против которых восставали и ариане. Защищая впоследствии самые установления церкви, он становился на чисто светскую точку зрения. «Я вижу, — говорил он, например, в защиту папства как учреждения, — я вижу, что все церкви передали папе высшую власть. Мне нет дела до происхождения этой власти, но хорошо, чтобы между всеми епископами был верховный первосвященник не только для поддержания единства, но и для ограничения деспотизма других епископов и даже светских государей. Жалобы, которые подымаются против римской курии, для меня имеют мало значения. Не нужно всему верить и все сваливать на папу, что делается в Риме. Св. Петр сам, если бы сидел на папском престоле, вынужден был бы смотреть сквозь пальцы на многие вещи». Известно, наконец, какие смелые мысли высказываются Эразмом в заключительной части «Похвалы Глупости». Глупости вообще свойственно заговариваться, и это давало ему возможность высказать вещи, которые он не решился бы высказывать в иной форме. Пародируя приемы схоластического доказательства, Эразм развивает здесь ту мысль, что глупые приятнее Богу, чем мудрые, и что существует сходство между произносящей себе похвалу Морией и лучшими чадами церкви — детьми, женщинами, стариками, что ревностные исполнители ее предписаний ведут себя против требования практической мудрости, и что мистический экстаз и есть состояние поклонников Мории. Все это показывает, что Эразм был представителем рационализма в религии, и мы нарочно здесь остановились на его богословских занятиях, имеющих несомненное отношение к начавшемуся в его время протестантскому движению, чтобы показать, как *в дело церковной реформы вступал и чисто рационалистический элемент.*

Но это еще далеко не все, что можно сказать вообще о взаимных отношениях между светским обществом и церковной реформой: под знаменем последней пошли и чисто политические и социальные движения, возникавшие из государственных и сословных, или классовых, отношений.

XII. Общественное значение религиозных движений¹

Связь религиозной и политической истории. — Религиозные идеи как знамя общественных движений. — Сектантский коммунизм. — Викилифизм и крестьянское восстание. — Гуситские войны. — Религиозные партии в Чехии и общественные классы. — Политические программы умеренных и крайних гуситов. — Временные успехи таборитов. — Боязнь гуситства в Европе. — Социальное значение чешской революции. — Гуситство и Реформация XVI в.

Изучая как реформационную эпоху, так и попытки реформы и разные религиозные движения конца Средних веков, можно смотреть на все относящиеся сюда явления и события со специальной точки зрения истории церкви и с общих точек зрения культурной или социальной эволюции. Как реформационное движение XVI и XVII вв., так и более ранние проявления недовольства католическою церковью имели прямое отношение не только к истории теоретического мирозерцания и моральных идеалов западных народов в конце Средних веков, но и к тем политическим и общественным движениям, которые происходили в это время в тех или других странах. Рассматривая западноевропейское государство и общество при переходе от Средних веков к Новому времени, мы должны были обратить внимание на те требовавшие решения в ту или другую сторону вопросы политического и социального строя, которые были поставлены самою жизнью в главных странах Европы, — вопросы как о взаимных отношениях между государственною властью и подданными, так и между отдельными сословиями и классами, из которых слагалось общество. Но общественные вопросы всегда решаются на основании каких-либо теоретических положений, могущих в свою очередь быть или светскими, или религиозными, т. е. или философскими, или богословскими. В Средние века принципы морали и политики имели религиозный характер, и их разработка совершалась на богословской почве. В гуманизме совершалось зарождение светской этики и политики, но мы видели, что в этом отношении гуманизм слишком опережал громадное большинство современного ему общества, и только в XVIII в. светские и философские принципы, теоретическая разработка которых происходила в так называемом Просвещении этого столетия, стали руководить государственными людьми и общественными деятелями просвещенного абсолютизма и Французской революции. В XIV, XV, XVI и XVII вв., во времена Викилифа, Гуса, соборной реформы, протестантизма католической реакции, борьбы католицизма с Реформацией, индипендентского движения, проис-

¹ Соч. по истории Чехии Палацкого (по-чешски и нем. пер.), Томка (по-чешски и рус. пер.), Гайслера (по-польски) и др.

ходили, кроме того, народные волнения, совершались государственные перевороты, причем социальные и политические партии были в то же время известными вероисповедными системами. *Эта тесная связь религии и политики, характеризующая реформационную эпоху*, и заставляет нас в богословских спорах и событиях церковной истории видеть не только то, что естественно и необходимо выдвигается на первый план в специальных историях религии и церкви, но и то, что получает значение особенно для историка политических и общественных отношений, не говоря уже о той более общей, культурно-социальной точке зрения, с которой мы рассматриваем историческую эволюцию на Западе в настоящем труде, потому что с этой точки зрения религиозная Реформация, бывшая в то же самое время и реформацией социально-политической, имела и причины, и следствия свои как в сфере духовных интересов общества, интересов интеллектуальных и моральных, так и в области материальных его отношений, отношений экономических и политических. Вопросы церковной догмы и организации, конечно, были вполне понятны только специалистам богословия и канонического права, для светского же общества, для народной массы, когда они становились под знамя новых идей, последние имели значение главным образом по своей связи с моральными и социальными вопросами, с тем исканием правды в жизни, которое увлекало многих в сектантство, с теми попытками улучшить свое положение, которые весьма естественно объясняются политическими, юридическими и экономическими отношениями, имевшими начало в феодальном строе или создававшимися на его развалинах в эту переходную эпоху от Средних веков к Новому времени. Народы в разных своих слоях дорожили не столько реформой отвлеченных догматов религии или внешнего строя церкви, сколько реформой практических отношений жизни, реформой государственного строя, реформой правового порядка, реформой хозяйственных отношений, ища принципиальной санкции своим стремлениям в религиозных истинах, совершенно так же, как позднее политические и социальные стремления оправдывали себя ссылками на истины философские. Другими словами, *реформированная религия должна была служить арсеналом таких аргументов, которые с высших точек зрения оправдывали бы желательные изменения в государственном и общественном быту, в праве и экономических отношениях*. Если в XVI и XVII вв. политические теории протестантов строятся на богословской основе, то и практическая политика народных и общественных движений этой эпохи совершалась под знаменем религиозных идей, была ли то немецкая крестьянская война в начале реформационного периода или индипендентская республика «святых» в конце. Конечно, религиозные идеи стали служить знаменем для социально-политических движений еще раньше XVI в.

Мистические секты конца Средних веков, равно как и те, которые получили развитие в XVI и XVII столетиях, были весьма часто религиозными обществами, признававшими не только новые начала веры, но и мечтавшие о введении новых начал в общественное устройство; самый успех сектант-

ской проповеди в народе объясняется тем, что новые учения соответствовали не одной религиозной потребности, не находившей удовлетворения в католицизме, но и стремлению к улучшению быта, обнаруживавшемуся по временам с особою силою в народных массах. Нередко учения, которые были по своему характеру как учения именно религиозные проникнуты мистицизмом, в общественном смысле представляли из себя проповедь прямо коммунистических начал. Например, немецкие братья свободного духа, учение которых во второй половине XIII в. распространилось в прирейнских землях, а в XIV столетии уже обратило на себя озабоченное внимание церковных властей, с одной стороны, — признавали, что убеждения, вытекающие из сердца, имеют более значения, чем само Евангелие, с другой же, говорили, что все вещи должны составлять общую собственность.

Известно, что враги Виклифа обвиняли его в том, что он вызвал крестьянское восстание Вата Тэйлера. Обвинение это было несправедливо, но косвенной связи между деятельностью реформатора и народным движением отрицать все-таки нельзя. Проповедь «бедных священников», рассылавшаяся Виклифом, падала на почву, достаточно подготовленную к тому, чтобы призыв к истинной вере и праведной жизни был понят в смысле не одной церковной реформы, а общее социальное состояние было таково, что среди проповедников могли появиться люди, начавшие переносить вопрос о реформе с церковной почвы на почву социальную. Священник Джон Балль, имя которого связано с именем вождя крестьянского восстания Уота Тайлера, не принадлежал к числу учеников Виклифа, но его успех и успех настоящих виклифитов объясняются одними и теми же причинами. Стремление землевладельцев вернуться после «черной смерти» к барщинному труду обострило антагонизм между землевладельческим и крестьянским классами в Англии, и мы уже знаем, что доставляло сторонников «безумному попу». Между прочим, Балль говорил, что лишь тогда все хорошо пойдет в Англии, когда имущества сделаются общими и не будет более дворян и вилланов. Реакция против виклифизма, наступившая впоследствии, также объясняется тем, что лэндлорды стали бояться церковной реформы, как двери, открываемой для социальной революции. Между баронами и церковью была вражда, и первые были даже очень не прочь лишить духовенство его имуществ и власти, так что в этом отношении учение Виклифа было как нельзя более на руку феодальным баронам, ибо оксфордский реформатор думал, что бедность и безвластие церкви в мирских делах — необходимые условия для улучшения нравов и подъема морального значения духовенства. Крестьянское восстание сблизило недавних противников: бароны отшатнулись от церковной реформы, а «бедные проповедники», посылавшиеся Виклифом, стали рассматриваться как люди политически опасные, как агитаторы, восстанавливавшие крестьян против помещиков, так что вообще в глазах имущих классов церковная реформа отождествилась с требованиями народного восстания. Так называемый лоллардизм после Виклифа был не только религиозным протестом, но и выражением социального недовольства и притом не-

довольства разных классов общества, начиная с дворян, которых было немало среди лоллардов, и кончая крестьянами, приверженцами коммунистических мечтаний. Уже при Ричарде II против лоллардизма как учения, считавшегося опасным в политическом смысле, принимались меры, но настоящий удар ему был нанесен Генрихом, возведенным на престол революцией 1399 г., в которой приняло участие и духовенство, надеясь, без сомнения, что новый король подавит ересь. Пример этого совпадения религиозного и социального движения показывает, что у каждого были свои особые причины, но что оба шли рука об руку: религиозная проповедь Виклифа освящала стремление баронов лишить церковь ее земель, религиозная проповедь Джона Балля была выражением и крестьянского недовольства, а если высшие классы охладели к делу церковной реформы, то причиною этого было то, что, кроме выгодной для себя стороны, они увидели в реформе и сторону, для себя прямо опасную.

Но особенно хорошо наблюдается связь религиозного движения с общественным в истории гуситства. Чешское движение XV в. имело, кроме религиозной стороны, еще сторону национальную и социально-политическую. Известие об аресте, а потом и о сожжении Гуса вызвало первые волнения в Чехии, и еще в 1415 г. в Праге на сейме несколько сот чешских панов подписали договор о союзе в защиту свободной проповеди Слова Божия и отправили свой протест собору. Король Вацлав колебался присоединиться к этому союзу, изменивши свое прежнее отношение к гуситству вследствие настойчивых увещаний своего брата, императора Сигизмунда. Им были по той же причине удалены от двора приверженцы нового учения, в их числе знаменитый Ян Жижка из Троцнова, талантливый военачальник, и Николай из Гусинца, отличавшийся большими политическими способностями, будущие предводители гуситов. Когда в 1419 г. Вацлав умер, вспыхнула война между Сигизмундом и Чехией, получившая характер религиозной борьбы католицизма с гуситством и племенной борьбы между немцами и славянами (1420—1431), и в этой войне особенно прославился Жижка, сумевший в общем деле объединить разные партии, образовавшиеся среди самих гуситов и после его смерти (в 1424 г.), впрочем, перессорившиеся между собою. Против мятежной Чехии папа (Мартин V) и император (Сигизмунд) предприняли крестовый поход, который только разжег религиозные и социальные страсти, и Жижка сделался самым характерным представителем энтузиазма, овладевшего чешскими «братьями» или «служащими в поле общинами». Гуситы построили себе укрепленный город Табор, сделавшийся центром сопротивления, и после смерти Жижки у них нашлись новые вожди — Прокоп Большой и Прокоп Малый. Чехи не ограничились отражением крестоносных ополчений, несколько раз вторгавшихся с Богемии, но начали делать нападения на Венгрию, Австрию, Саксонию, Бранденбург, и их успехи заставили папу Евгения IV согласиться на созывание базельского собора (1431), на котором умеренные гуситы заключили (1433) с церковью на известных нам уже условиях договор (компактаты), возбу-

дивший неудовольствие среди крайних гуситов и тем вызвавший между чехами усобицу; крайние (табориты) потерпели, однако, поражение от умеренных (пражан) при Липане (1434), иглавский сейм (1436) утвердил договор последних с собором, а Сигизмунд был признан королем Чехии.

Такова в общих чертах внешняя история гуситских войн, но в ином виде представляется нам та же самая история, если мы взглянем на нее с точки зрения внутренних чешских отношений. Религиозное движение первой трети XV в. было национальным, общенародным, т. к. в нем участвовали все общественные элементы, но если гуситы разделились на партии, то причина этого заключалась не в одном различии мнений о том, как должна быть проведена религиозная реформа: *распадение гуситов в религиозном отношении на умеренных и крайних скрывало под собою социальный разлад*, и с точки зрения социально-политической гуситские войны были *целую революцию, совершавшуюся под знаменем религиозных идей*, так что история гуситства может быть хорошо понята лишь на почве общественных отношений Чехии в эту эпоху. Мы только что упоминали, что в 1415 г. в чешской аристократии образовался союз на защиту учения Гуса; в сущности, она с горожанами и составила умеренную партию, которая изложила свою программу в четырех пражских статьях, требовавшую именно 1) свободной проповеди Слова Божия, 2) причащения под обоими видами, 3) лишения духовенства его светской власти и земельной собственности, пагубных для самого клира и вредных для светского правительства и 4) наказания в каждом сословии сословными властями смертных грехов, особенно же нарушающих общественное спокойствие. Эта партия получила название пражан, калликстинцев (т. е. чашников) или утравкистов. Партия крайних, отрицавших чистилище, культ святых, икон и мощей, посты и праздники, присягу и смертную казнь, в общественном смысле была демократическою, и к ней-то принадлежали и Жижка, и Николай из Гусинца, составляли же ее крестьяне и мелкое рыцарство, из которого происходил, между прочим, сам Жижка. Радикальные гуситы построили упомянутый город Табор, откуда их название таборитов. Исход гуситских войн в том и заключался, что национальная борьба против немцев оказалась бессильною сгладить религиозные и социальные распри в самой чешской нации: умеренные гуситы готовы были скорее сделать уступки церкви, чем допустить дальнейшее развитие радикальных учений, и вот победа пражан над таборитами положила конец чешской революции 20-х гг. XV в. Дело было в том еще, что среди самих радикалов образовались еще более крайние учения, подавлявшиеся самим Жижкою с беспощадною жестокостью. Именно между ними образовалась фракция милленариев, веривших в скорое наступление тысячелетнего царства Христа (хилиазм), в котором уничтожены будут все сословные и общественные различия вместе с частною собственностью, и никто не будет иметь права учить других. Под влиянием проповеди этих сектантов многие продавали свое имущество за дешевую плату, крестьяне жгли свои хижины и уходили в пять городов, считавшихся спасенными, или же в горы и делали попытки устроить свою

жизнь на коммунистических началах. Среди них особенно выделяются николаиты (по имени крестьянина Николая), говорившие, что царство Христово наступило и что в верных живет сам Христос, а потому они не могут грешить, — учение, напоминающее воззрения более ранних мистических сект с пантеистическим оттенком, как хилиастические ожидания были лишь другою формою «вечного Евангелия». Николаиты (у позднейших писателей они называются адамиты) устроили коммунистическое общежитие (с общностью жен даже) на островке Нежарке, разрушенное впоследствии отрядом, который против них был послан Жижкою, что не мешало врагам гуситства и особенно таборитов навязывать им всем идеи адамитов. Менее удалялись от чистого гуситства разные еретики, которых обобщали под названием пикардов (бегардов), но и их преследовал Жижка мечом и огнем. В миллениариях, николаитах и пикардах мы имеем дело с самыми крайними из тех социальных стремлений, какие проявились в гуситстве.

Одною из четырех пражских статей 1420 г., как было сказано, было требование отобрать у церкви ее земельные имущества, и если принять в расчет всю ту массу земли, какою владело духовенство, да еще движимую собственность церкви, мы вполне поймем значение, какое получило приведение в исполнение этого постановления. Вся выгода от этого, однако, была на стороне богатых и дворян, ибо крестьянам и городским рабочим еле что досталось при разделе. В pendant¹ к этому политическая программа умеренных отличалась аристократическим характером, ибо они хотели сосредоточить власть в сейме из дворянства и горожан, а духовное руководство — в своего рода аристократии докторов и магистров, т. к. и пражский университет был на их стороне: сеймы должны были располагать короной, да и по избрании короля все-таки удерживать за собою настоящую власть. К концу гуситских войн, впрочем, аристократия оттеснила городской элемент на задний план. Этим элементом был именно патрициат, столь же мало располагавшей к себе таборитов, как и аристократия. Табориты, с другой стороны, мечтали о полном разрушении феодального строя и каких бы то ни было аристократических привилегий. По их учению, всякая власть должна была иметь основу в добродетели и вере, а потому государственное верховенство принадлежит обществу святых, которое вправе дать власть своему избраннику, контролировать его и отнять у него эту власть, когда захочет. Верные не могут отчуждать власти, дарованной им самим Господом, вследствие чего не дозволено выбирать короля: сам Бог должен царствовать. Но если у всех людей должны быть одни и те же права, зачем будет существовать неравенство имуществ? И табориты также отбирали в свою пользу церковные земли, после чего нередко думали, что этим дело реформы кончено. Весьма часто, заявляя такие принципы, табориты ссылались, между прочим, на общинные традиции старочешского устройства. Впрочем, коммунизм не был общим у всех таборитов, и громадное большинство партий требовало лишь гражданского равенства, уничтоже-

¹ Вдобавок (фр.). — Прим. ред.

ния наследственных привилегий, отмены зависимости человека от человека, освобождения земли от поборов. Таборитская проповедь увлекала и низший класс городского населения, и поселян: в них Жижка и оба Прокопы даже имели лучших бойцов в борьбе за независимость нации. Понятно, что для духовной иерархии, для императора, для всего феодального мира гуситство было не простою ересью: оно было проповедью политической и социальной революции, да и для чешских панов с утравкистами таборитские принципы имели такое же значение. И в то время, как извне на Чехию шли крестоносцы, внутри она была разделена на два лагеря, борьба между которыми облегчала дело крестоносцев. Тем не менее табориты имели временно весьма большой успех, не только взяли перевес над пражанами, не только отразили внешнее нашествие, но даже сами стали вторгаться в соседние с Богемией области Германии, доходя даже до Баварии и Данцига. Внешняя опасность соединяла пражан и таборитов, но стоило ей миновать, и внутренние несогласия выдвигались на первый план: сами враги гуситов в этом внутреннем разделении видели чуть не главную причину своего спасения, беда же для них была и в том, что гуситы нашли приверженцев в самой Германии. Вторжение демократических таборитов в Германию должно было еще более внушать опасений: можно было бояться заразы восстания. В послании к базельскому собору французские епископы прямо писали, что по естественной склонности человек не любит кому-либо подчиняться и платить дань, а чешская ересь именно к этому и стремится: если ересь Ария, не будучи основана ни на какой естественной склонности, зажгла такой пожар в значительной части вселенной, то чего не может наделать такая ересь, как гуситство! Папские буллы, послания папских нунциев полны такими же соображениями, указаниями на политическую и социальную опасность гуситской проповеди. И император, и папский легат старались поэтому убедить утравкистов, что их союз с таборитами подрывает самое существование дворянского сословия.

Внутренняя борьба, происходившая в Чехии под знаменем религиозных идей гуситства и закончившаяся липанскою победою пражан над таборитами, была сама результатом совершавшегося в Чехии социального процесса. В борьбе Чехии с Германией наибольшую энергию выказали мелкое рыцарство (владыки) и крестьянство (кметы), более нерешительности и колебаний — аристократия (лехи). Дело в том, что в Чехии в XIV в. положение крестьян ухудшалось, они прикреплялись к земле, лишались личной свободы, и в то же время рыцарство все более и более становилось в подчиненное положение по отношению к богатым и знатым панам, вследствие чего в более ранних политических столкновениях они становились на сторону короля против панов. Религиозная реформа и для крестьян, и для рыцарей сделалась средством и для проведения реформы социально-политической, тогда как аристократия, сначала благопритествовавшая преобразованию церкви, отшатнулась от этого дела и соединилась с Сигизмундом, но недаром. Во второй половине XV в. в Чехии издается сеймами ряд законов, превращающих крестьян в насто-

ящих крепостных. Та же борьба происходила между городским патрициатом, в большинстве случаев немецким, и городским пролетариатом, состоявшим из чехов.

В истории религиозной Реформации, происходившей в Чехии в 20-х гг. XV в., мы можем видеть действие всех главных сил и наличность всех существенных явлений, с какими мы встречаемся в истории бурной реформационной эпохи, наступившей для всей Западной Европы через столетие после сожжения Гуса, так что уже одно более подробное изучение чешской истории в гуситскую эпоху могло бы доставить нам все необходимое для понимания религиозной Реформации XVI в., не только как стремления, направленного против порчи церкви, не только как оппозиции против светской власти папы и духовенства, но и как целого ряда политических и социальных движений, пошедших под знаменем религиозных идей — библейских и мистических. Гуситские учения в XV в. приобрели сторонников и вне Чехии, хотя чисто национальный характер, какой гуситы хотели придать своей церкви, был препятствием к тому, чтобы чешский уtrakвизм мог получить более широкое распространение. Главным образом самый пример победоносной борьбы гуситов с церковью действовал в том смысле, что колебал убеждение в несокрушимости церковных установлений. Гус обыкновенно считается предшественником Лютера, но не в том смысле, чтобы учение немецкого реформатора сложилось под влиянием реформатора чешского: гуситская теология не нашла последователей в Германии XV в., и между Гусом и Лютером не было никакой преемственной связи. Если в чем искать гуситского влияния на Германию реформационной эпохи, то разве только в социальных учениях, проявившихся в сектантстве времен Крестьянской войны, отделенной от чешской революции целым столетием, не считая, например, крестьянского движения в Бадене (1476) под влиянием проповедей Иоанна Бегейма, т. е. Богемца (Beheim, Böhme), имя и идеи которого связывают его с Чехией. Он был схвачен и казнен, причем ему вменялось в вину то, что *hussitarum hereseos imitabatur venenum* и учил народ восставать против светских владельцев, не платить повинностей и сообща владеть рыбными ловлями и лесами.

Мы познакомились с главными политическими и социальными вопросами, которые были поставлены историческою жизнью европейского Запада в конце Средних веков: вот эти-то вопросы и стали разрешаться в XVI в. под знаменем религиозных идей. И в Германии в двадцатых и тридцатых годах XVI в., и в Англии в сороковых и пятидесятых годах следующего столетия, — беря только начало и конец реформационного периода, — повторилось то, что происходило в Чехии в 1420—1434 гг., т. е. совершалась социально-политическая революция, сопровождавшаяся церковной Реформацией и заимствовавшая из религиозного переворота свои принципы.

Заключение

XLII. Главные общие выводы

Необходимость подведения итогов. — Фактические отношения и принципы новой государственности. — То же самое в социальной сфере. — Взаимные отношения государственной и общественной истории. — Значение светских и религиозных идей. — Индивидуализм Нового времени. — Личность и государство. — Этика и экономика. — Падение средневековых идеалов. — Оппозиция католицизму. — Подготовка Реформации. — Важность изучения Реформации.

Познакомившись с зарождением социальных и культурных явлений Нового времени, мы можем теперь свести вместе эти явления, которые мы были принуждены рассматривать по известным категориям, по возможности строго отделяя одну категорию от другой. Категорий этих у нас было четыре: государство и общество, церковь и духовная культура, причем в каждой из них мы рассматривали как фактические отношения, так и принципы, которые лежали в основе этих отношений, или от которых последние отступили или, наконец, по которым их желали преобразовать тогдашние люди, — и причем также нами было обращено внимание на то значение, какое эти отношения и принципы имели для личной, индивидуальной жизни. Все эти явления, т. е. политические учреждения, структура общества, религия и образованность, находясь во взаимодействии с личностью, которую они формируют, подвергаясь в то же время видоизменяющему их действию личности, не существовали и сами между собою изолированно, но находились также во взаимодействии фактических отношений и принципов морали, политики и права, во взаимодействии отдельных сторон явлений одной категории с отдельными же сторонами других категорий. Это и заставляет нас свести в одно целое главные черты того, что до сих пор было рассматриваемо отдельно, имея в виду дальнейшую историю политических, социальных, культурных и морально-религиозных явлений. Все эти элементы исторической жизни мы найдем в известном соединении в каждом крупном событии новой истории, а крупные события тем именно и создаются, что в них, как лучи в фокусе, сходятся отдельные социальные и культурные стремления. Возьмем для примера Реформацию в Германии, которая была только частью общего реформаци-

онного движения: изучая эту эпоху, мы видим, что в ней разрешались в общей связи поставленные всею предыдущею жизнью немецкого народа вопросы политические (главным образом о национальном государстве, об отношениях власти императора и князей и об отношении между церковью и государством), социальные (преимущественно крестьянский вопрос и вопрос о церковном землевладении), церковно-религиозные, внешним образом доминировавшие над другими, а с ними вместе и вопросы духовной культуры, так что для понимания одной немецкой Реформации необходимо принимать в расчет все главные стороны исторической жизни в стране, но то же относится и к другим государствам в реформационную эпоху. Или возьмем Французскую революцию, в которой равным образом в общей связи разрешались вопросы политические и социальные, выдвигавшиеся на первый план самую жизнь, но вместе с тем и религиозно-церковные (положение католицизма в государстве, гражданская религия, свобода совести) и общекультурные.

В области фактических отношений, как мы видели, Новое время характеризуется победою государственности над феодализмом, идущей параллельно с усилением государственной идеи, которая развивается на двух основах, на основе светской, ведущей свое начало из античного мира (римское право, образцы античной политики), и на основе религиозной, когда уже в Новое время учению о народовластии была противопоставлена теория божественного права королей (Боссюэт, Фильмер в XVII в.). Эта государственность в области фактических отношений принимает форму абсолютной монархии, опирающейся на только что указанные идеи, хотя рядом же с ними и на светской почве античных традиций (еще с Марсилия Падуанского), и на религиозной почве Реформации (кальвинисты, индепенденты) развиваются идеи народовластия, делающиеся знаменем, под которым борются в Новое время сословно-представительные учреждения против абсолютизма или происходит добывание общественными элементами политических прав: в первую половину Нового времени фактические столкновения между королевскою властью и сословиями сопровождаются борьбою противоположных политических принципов на религиозно-богословской подкладке (Франция, Шотландия, Нидерланды в XVI в., Чехия и Англия в XVII в.), тогда как во вторую дело принимает и в области фактов, и в сфере идей светский характер.

Сословный строй, вышедший из феодализма, разрушался сверху и снизу, государством и народом, но так, что первое разрушало главным образом его политическую сторону, последний — социальную: Новое время как в области фактических отношений, так и в сфере принципов характеризуется постепенною отменой сословных привилегий сверху или снизу, в интересах государства или в интересах народа, на основании идей религиозных, как это делалось в реформационную эпоху, или на основа-

нии философских принципов, что мы наблюдаем в XVIII в. Эта социальная история, находясь в тесной связи с историей идей, с историей религии, морали, философии и науки, дававших принципиальную санкцию тем или другим общественным стремлениям, была, в свою очередь, во взаимодействии с историей политической, как в фактическом, так и в идейном отношениях. Старые представительные учреждения пали, ибо между отдельными сословиями, в них представленными, существовал иногда непримиримый антагонизм и потому еще, что они вели себя эгоистически по отношению к народной массе: раздор сословий и народное равнодушие создали опору для королевской власти, искавшей нравственного оправдания для своего абсолютизма в своем служении общему благу. Королевская политика стремится к общественному нивелированию, когда само общество, переросшее феодальные рамки, призывается ходом событий к участию в государственной жизни.

В истории фактических политических и социальных отношений большую роль играют, как мы видели, и религиозные, и философские идеи, причем и те и другие могли принимать разный характер: античные традиции освящали одинаково и абсолютизм, и народовластие, равно как и божественное право на власть у политиков с теологическим оттенком переносилось и на королей (Боссюэт, Фильмер), и на народ (кальвинисты, индепенденты). Эти идеи давали богословское или философское оправдание тем или другим политическим стремлениям и оправдание нравственное общественным и индивидуальным притязаниям. Отсутствие в личностях и в обществе, из них состоящем, моральной силы делало их неспособными извлекать из того, что добывалось усилиями мысли — все равно, богословской или философской, — принципы личного или общественного существования, и подобно тому, как омертвела в своих формах католическая религия, так и итальянский гуманизм не внес новых начал в общественное движение, не внес того оживления, которое, наоборот, было результатом религиозного протеста XV в. или позднее результатом философского Просвещения XVIII в. Работа гуманизма, в общем, была не творческая, а отрицательная, и великое его историческое значение заключается в том, что в нем впервые с особою силою, хотя и не в полном объеме, и не во всех лучших своих сторонах, проявился индивидуализм Нового времени. То, чего ему не доставало, — а не доставало ему моральной силы и общественного идеализма, — было внесено в жизнь протестантизмом и Просвещением XVIII в., выросшими из того же индивидуализма. Положение личности в государстве и обществе и ее права в сферах религии, теоретической мысли и морали — делаются в Новое время одним из важнейших исторических вопросов, но только с великим трудом и большою постепенностью утверждаются права личности сначала теоретически, потом фактически и утверждаются в таком именно по-

рядке и тогда, когда дело шло о ее внутренней свободе (главным образом о свободе совести в реформационную эпоху), и тогда, когда вопрос был о свободе внешней (декларация прав). Таким образом, вопрос о личности и ее правах касался и государственности (индивидуальная свобода), и сословности (гражданское равенство), и религии (свобода совести), и той области, в которой он соприкасался с просвещением и моралью (свобода мысли и свободное развитие сил). Личность перерастает стеснявшие ее католико-феодальные формы, но в фактических условиях нового государства и политических теориях Нового времени она находит новое отрицание своих стремлений. С одной стороны, абсолютизм, с другой — поглощение государственностью всех общественных сил с соответствующими всему этому теориями (например, Гоббса) не были благоприятны для развития прав индивидуума, но последний мало-помалу все-таки приобретает свои права сначала в сфере религиозной (веротерпимость), потом в сфере практической жизни (государственное невмешательство). Начало этому движению с принципиальной стороны дают гуманизм и протестантизм, но фактически оно, как и движения общественные, зарождается в фактических отношениях культурной и социальной жизни, в последнем же анализе — в области общественной морали и экономии, т. е. в области нравственной и материальной жизни отдельного индивидуума и в области отношений между многими индивидуумами, имеющих или этический, или экономический характер.

Материальные интересы и моральные принципы были всегда двумя великими деятелями истории, и мы их находим в основе всех рассмотренных явлений. Феодалная сословность, государственные учреждения и т. д. были не только организациями как бы на службе у известных интересов, но и фактическими проявлениями известных взглядов на внутреннее достоинство человека, какой бы односторонний характер ни имели эти интересы и как бы ложно ни оценивалось человеческое достоинство. С другой стороны, соединение моральных принципов с экономическими интересами было всегда основанием наиболее крупных исторических движений. Слабость итальянского гуманизма в том и заключалась, что, не выработав этического миросозерцания, он не представлял собою и интересов ни одного социального класса. Другое дело — Реформация: религиозный протест имел нравственную подкладку, и под его знаменем пошли общественные интересы, были ли то интересы узкосословные (как во Франции и в Польше), или интересы общенародные (как в Германии).

В первом периоде новой истории совершается религиозная Реформация. Мораль и политика, которые выводились гуманизмом на почву человеческих начал и светской философии, принимают и с фактической, и с принципиальной стороны религиозную окраску. Одновременно происходят, то помогая друг другу, то друг другу мешая, два течения: светско-

гуманистическое и религиозно-реформационное, и оба они становятся в оппозицию к основам морали и политики средневекового католицизма — к аскетизму и теократии и к основанным на них монашеству и папству. В то же время и папство, и монашество падают внутренне, и это падение, в общем, объясняется тем, что у обоих материальные интересы возобладали над нравственными принципами. Конец Средних веков ознаменован был самою разнообразною оппозицией против католицизма — со стороны наций и правительств высших сословий и народной массы, представителей нового образования — и как во имя начал человеческих, так и во имя начал божеских.

В XIV и XV, в XVI и XVII вв. народы стремятся к церковной независимости; государи выбиваются из-под папской опеки, подчиняют себе духовенство, отбирают церковные земли; дворянство нередко пользуется этими землями; уничтожается монашество; являются светское образование, и гуманистическая философия; мораль и политика с их отрицательным отношением к католической церкви знаменуют собою начавшуюся секуляризацию культуры, с особою силою продолжающуюся в XVIII в. С другой стороны, порча церкви вызывает потребность реформы: соборные реформаторы первой половины XV в. были предшественниками тех людей, которые произвели во второй половине XVI в., хотя и на иных началах, реставрацию католицизма. Виклиф, а особенно Гус и гуситы уже указывают на то, чем станет религиозная Реформация, к которой так тогда все стремились, и если в английском и чешском реформаторах мы видим как бы Лютеров и Кальвинов XIV и XV вв., то разные сектанты, а в их числе и тaborиты — являются предтечами немецкого анабаптизма XVI в. и английского индепендентства в XVII столетии. Религиозное движение с началом Реформации в 20-х гг. XVI в. затирает, как мы видели, движение гуманистическое, или светский Ренессанс, около 1500 г. сильно распространившийся из Италии по всей Европе, но он же, восприняв в себя многие начала протестантизма, снова овладел умственной сферою в Просвещении XVIII в., получив и более общественный характер. Между тем Реформация в церкви совершилась, и этот крупный переворот не мог иметь значение перемены в одном лишь религиозном сознании, в общественном богочитании и во внешней организации церкви, т. к. религия вообще, а средневековый католицизм в особенности накладывают свою печать на моральную и политическую жизнь, и крушение средневекового католицизма не могло не отразиться и на тех сферах культурного и социального быта, которые не имеют прямого и непосредственного отношения к самой религии. Образование национальных церквей, установление новых отношений между церковью и государством, уничтожение светских прав клира, его привилегий и землевладения клира, отмена монашества, переход церковной и монастырской собственности в новые руки, внесение новых начал в вероучение и церковное устройство, участие в реформе церкви правителей, организо-

ванных общественных сил, народных масс, представителей нового образования, возникновение религиозных несогласий, приводивших в столкновение подданных со светскою властью или к раздору между гражданами одного и того же государства, появление сект, соединявших с мистическими учениями стремление к полному общественному перевороту, то религиозное возбуждение, тот энтузиазм, который порой овладевал целыми народами, — все эти явления не могли не отражаться на государственном и общественном строе, на умственной и нравственной культуре народов, в какую бы сторону в каждом отдельном государстве ни были решены поставленные жизнью вопросы, — и притом не могли не отражаться как на фактических отношениях, так и на моральных и политических принципах. В середине XVI в. обновленный католицизм стремится остановить Реформацию и возвратить себе былую власть над западноевропейским человечеством; на его сторону становятся целые нации, многие государи, отдельные общественные классы, люди науки, но ни они, ни сам обновленный католицизм не избежали духа времени и влияния среды, ибо итальянская беспринципная мораль и политика воплощается в иезуитизме, который, смотря по обстоятельствам, брал под свое покровительство то тиранию, то народовластие, а в нравственной сфере выработал самый покладистый оппортунизм.

Вот та точка зрения, с которой изучению реформационного движения должно принадлежать первое место в исторических занятиях новым временем: в бурный период от выступления Лютера (около 1520 г.) до окончания Тридцатилетней войны и первой английской революции (около 1650 г.) совершается глубокий переворот в исторической жизни Запада, подобный которому был вызван лишь 270 лет спустя после начала Реформации — Французскою революцией, другим важным событием Нового времени. Между Германией в 20-х гг. XVI в. и Францией XVIII в. существует глубокая аналогия, и переворот 1789 г. во второй половине Нового времени подобно Реформации в первой половине играет роль такого же узла, к которому сходятся и от которого расходятся главные культурно-социальные явления новой истории. Этим и определяется то, что новая история Западной Европы может быть сосредоточена на этих двух событиях, нанеших самые сильные удары основам средневекового быта — католицизму и феодализму.

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	5
ПЕРЕХОД ОТ СРЕДНИХ ВЕКОВ К НОВОМУ ВРЕМЕНИ	9
ВСТУПЛЕНИЕ	10
I. Западноевропейская история	10
II. Католицизм и феодализм.	18
III. Культурно-социальная история	26
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ КОНЦА СРЕДНИХ ВЕКОВ	35
IV. Феодальное устройство	37
V. Муниципальный быт.	43
VI. Сословно-представительные учреждения	50
VII. Великая хартия	59
VIII. Возникновение парламента.	67
IX. Права парламента.	76
X. Королевская власть во Франции.	82
XI. Политическое раздробление Германии	91
XII. Политические вопросы Нового времени	101
XIII. Крепостничество во Франции	108
XIV. Эпоха освобождения французских крестьян.	118
XV. Положение немецких крестьян в конце Средних веков.	132
XVI. Социальный строй Англии	140
XVII. Церковное землевладение	149
XVIII. Цехи	157
XIX. Денежное хозяйство	165
XX. Общественный характер литературы.	173
XXI. Положение личности в обществе	181
СРЕДНЕВЕКОВЫЙ КАТОЛИЦИЗМ	189
XXII. Католическая церковь и светское общество	191
XXIII. Отношение католицизма к личности	200
XXIV. Политическая оппозиция церкви.	207
XXV. Зарождение литературной оппозиции католицизму	217

ВОЗРОЖДЕНИЕ И ГУМАНИЗМ 225

XXVI. Средние века и классическая древность	227
XXVII. Петрарка как первый гуманист	237
XXVIII. Гуманистическое значение Боккаччо	246
XXIX. Главные итальянские гуманисты	254
XXX. Ренессанс вне Италии	263
XXXI. Гуманистическая мораль	273
XXXII. Гуманистическая политика	284
XXXIII. Гуманистическая наука	294
XXXIV. Возрождение и Реформация	302

ПОРЧА ЦЕРКВИ И СТРЕМЛЕНИЕ К РЕФОРМЕ 311

XXXV. Упадок папства и монашества	313
XXXVI. Суеверия и злоупотребление религией	322
XXXVII. Обличение духовенства в литературе	330
XXXVIII. Неудача соборной реформы	339
XXXIX. Предшественники Реформации XVI в.	349
XL. Внецерковные силы в религиозной реформе	360
XLI. Общественное значение религиозных движений	368

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 376

XLII. Главные общие выводы	376
--------------------------------------	-----